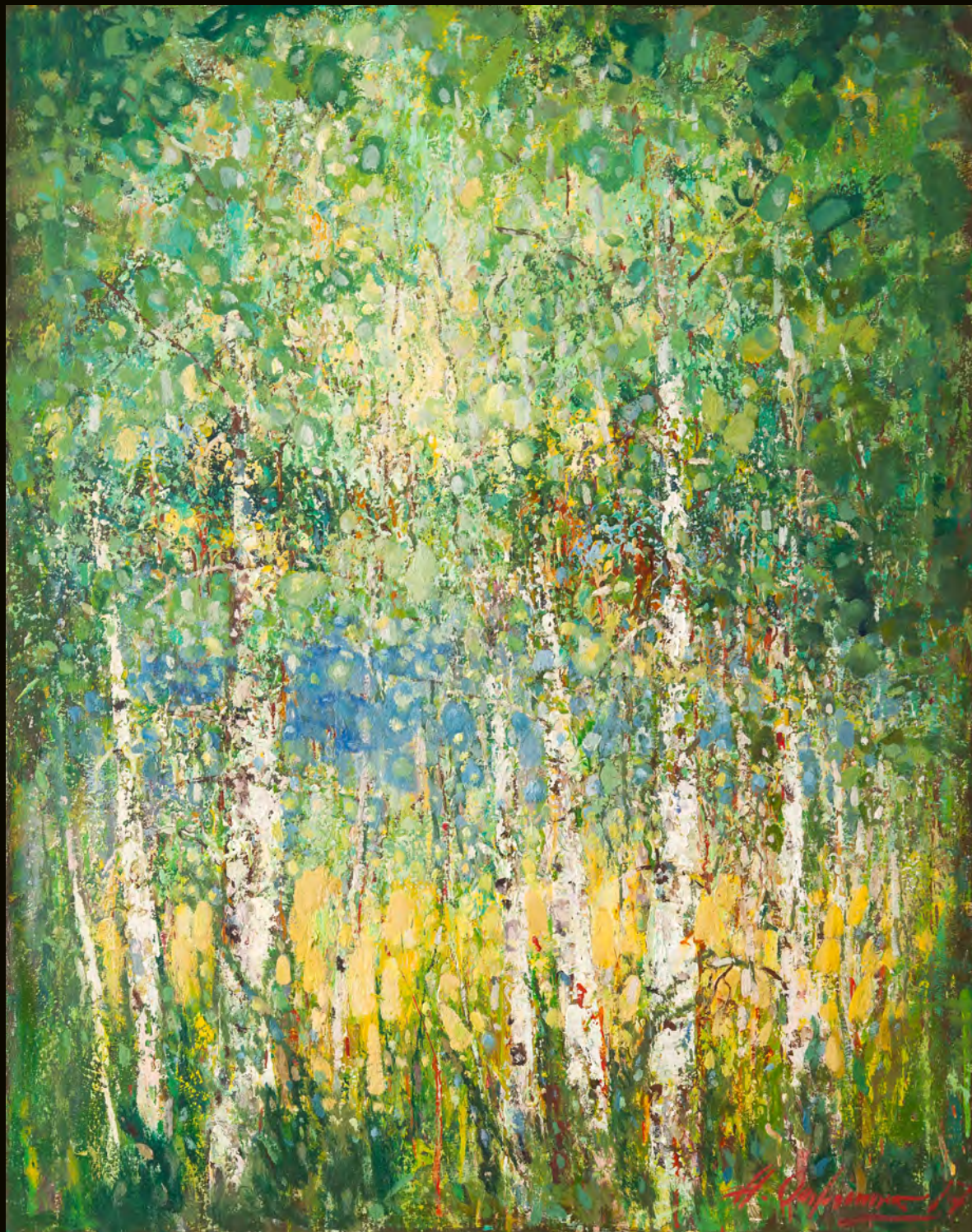


ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2018





Александр Отрошко | Ощущение лета | 100 × 80 | 2017

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2018

В номере

.....

ДиН ПАМЯТЬ

Юрий Беликов

3 Сегодня приснилась Лариса

Лариса Васильева

4 Любовь моя последняя

ДиН КРАЕВЕДЕНИЕ

Владимир Шанин

6 Дочь поэта

Геннадий Прашкевич

10 Большая река

Владимир Никифоров

14 Моя случайная родина

ДиН РЕВЮ

Михаил Свищёв

19 Пешеходная голубка

Софья Иосилевич

75 Стихи

Екатерина Монастырская

114 Третья четверть

Екатерина Блынская

132 Всё забудь

Сергей Кузнечихин

137 Игры на интерес

Дарья Герасимова

190 У меня живёт дракон

ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Игорь Тюленев

20 Ко Христу по имперской России,
или Буква «ё» в жизни русского поэта

ДиН ПРОЗА

Михаил Тарковский

27 Что скажет солнышко?

Сергей Смирнов

62 Подковный гвоздь

ДиН СТИХИ

Людмила Щипахина

76 Как звёзды

Константин Скворцов

79 Это голос Любви или Господа глас?

Владимир Алейников

81 Складень

Эльдар Ахадов

85 Любви внезапная гроза

Евгений Степанов

136 В мире колготном и непонятном

Евгений Каминский

138 С Луны упавший вечно одинок...

Варвара Юшманова

140 Прерванный Гумилёв

Владислав Пеньков

142 Журавлиная наука

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Никита Брагин

87 Путешествие из Стамбула в Анкару

БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА

Геннадий Васильев

110 У водопада

Дмитрий Косяков

115 Сухая река

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

117 Светит кофе, светит ясный...

141 И пашется, и пишется...

ДиН ИРОНИЯ

Павел Веселовский

118 Роман тысячелетия

Сергей Катучков

133 Последний штрих

ДиН ЮБИЛЕЙ

По страницам «ДиН» №2 1994

Аида Фёдорова

139 Мне мало полумер

ДиН ИСТОРИЯ

Максим Лаврентьев

143 Как награждали
на Гражданской.
Белые

ДиН ПОЛЕМИКА

Александр Астраханцев

168 О бранных монологах
на «поле брани
Виктора Астафьева»

ДиН АРТЕФАКТ

Альбина Мамаева

181 Большие детки—
большие бедки

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Арутюнов

188 Взыскание простоты

Александр Орлов

191 А я боюсь покоя своего...

194 ДиН АВТОРЫ

Юрий Беликов

Сегодня приснилась Лариса

До того я не мог себя загнать ни в какое предисловие о ней (временами меня не слушаются слова, и я это непослушание не только оправдываю, но и одобряю), однако после того, как был сон, «бастующие» подданные стали со мной раскланиваться. Во сне Лариса сидела возле меня спящего, как сидят возле кровати больного. Отчётливо помню, как глаза мои, опознавшие её, наполнились слезами: ведь до сна я уже знал, что она заступила за черту, отделяющую её от живущих. В ответ Ларисины глаза также укрупнили слёзы. Мы «поговорили» слезами. Затем Лариса ушла будто бы в другую комнату, и на этом сон прервался...

Она выбрала меня в собеседники в начале 2014 года. Нам—и ей, и мне—должны были вручать премию имени Антона Дельвига. И сидели мы рядом. Потом Лариса мне расскажет, что всегда нуждалась в «мужских двойниках по духу». Уже в своих ранних стихах она признавалась:

Я улыбалась человеку,
Которого на свете нет.

И далее, в финале: «Я до сих пор к нему иду!» Так когда-то она «выбрала» Юрия Кузнецова, а до него—Николая Рубцова. Иногда Рубцов точно выключался из шумной компании и, если в квартире стоял телефон, поэт как заведённый произносил четыре слова: «Мне надо позвонить Ларисе!» Никто не мог понять, что это за таинственная незнакомка, довлевшая над ним. Может, выдумка? Наваждение? И только относительно недавно, общаясь на эту тему с Васильевой, Станислав Куняев сопоставил: «Так этой Ларисой была ты?!»

Итак, мы ждали, пока нас «вызовет Дельвиг». Проведав, что я из Перми, моя премиальная соседка как-то сразу прониклась ко мне доверием, словно услышала некий пароль. Позднее я узнаю, что тогда она завершала свой исследовательский труд, названный ею «Исчезновение императора», в котором пыталась предположить, куда вели следы якобы почившего в бозе царя Александра I. По версии Ларисы, они терялись в наших пермских пределах. Поэтому моё появление она восприняла как материализацию вестника, явившегося из тех романно-географических пространств, в коих Лариса сопровождала своего героя, или он сопровождал её.

В свою очередь, я ощутил, что с этой женщиной можно делиться самыми не вяжущимися с текущим моментом откровениями. Лицезрея, как «Дельвига» вручают завсегдаю телевизионных сборищ, отмеченному непреходящей ослепительно крысиной улыбкой и трепетными ножками растиражированного объявления, я поделился с Ларисой сюжетом, на который натолкнулся воочию. На том же падком на смехотворные преувеличения тв «ослепительного» нарекли «величайшим поэтом». Хо-хо! Это в каких же единицах нужно себя измерять—в гомерах, дантах и шекспирах? Лариса, благо мы находились в первом ряду, тут же определила точный масштаб:

— Да он вообще—не поэт!

Что касается масштабов, то даже собственного «крестника», которого она почти вслепую ввела в литературу своей прозорливой рукой (руку-то не обманешь), человека, с годами сравнявшегося известностью с Ларисой и даже в этом её превзошедшего, она поставила однажды на место: «Ты не говоришь с Заведующим!» При этом взгляд Ларисы уходил в небеса. Теперь уже навсегда...

Она знала толк в определении истинных величин. Научилась с детства. Причём первым учителем её был сам Иосиф Виссарионович. Будучи дочерью вхожего в кремлёвские коридоры конструктора танка т-34 Николая Кучеренко, Лариса в одночасье наряжала новогоднюю ёлку и по стремянке поднялась к её макушке. И тут в сопровождении партийной свиты в комнату вошёл «вождь народов». И разглядел ребёнка, прикрепляющего к вершине ёлки, будто к Спасской башне, алую стеклянную звезду. И—одной мимолётной фразой—выверил масштаб возможного:

— Высоко забралась—больно будет падать...

Не оттого ли и проза её, и стихи—собрание оптических парадоксов? И не важно—о возлюбленном ли речь («Он тебя, и сама не заметишь, / растворит, как серьгу в кислоте») или—о шарнирно-раздвижном пространстве жизни и судьбы:

Сбежала с белого крыльца,
толкнула тяжкие ворота,
и даль ясна
до поворота,
а кажется, что до конца.

Вступив в тайное общество «Дельвигнутых», впрочем, состоящее из нас двоих, мы обменялись с Ларисой изданными книгами. Обмен ни к чему не обязывал: мало ли кто кому и что дарит из написанного?! «Здесь никто никого никогда не читал», — как обмолвился ныне напрочь забытый московский поэт Олег Дмитриев. В лучшем случае — перелистнут. А уж что касается оценок и «выдачи грамот на княжение»... Мне рассказывал один известный автор, как только что подаренным ему стихотворным сборником другого известного автора он «накормил» ближайший почтовый ящик!

С Ларисой было всё иначе. Буквально на следующий день меня потряс её телефонный звонок. Она уже прошла в одиночной байдарке глубины и перекаты моих книг и предложила осмыслить, как всегда, парадоксальнейшую формулу. Оказывается, вашего покорного слугу «обобрали» некоторые раскрученные москвичи. Само собой, я внутренне похмыкал и не согласился с моей собеседницей, но ставшая отчего-то сладчайшей роль «обобранного» мне не могла не приглянуться.

Её окликали тени русских классиков. Она, конечно, не забыла, что её детские стихи — прямо на полях присланной рукописи — в прах распушила

Анна Ахматова. Но, судя по всему, Анне Андреевне вдруг подсказал кто-то свыше: «Милочка, ведь это же стихи ребёнка!» — и поэтесса Серебряного века милостиво приписала: «Ты меня не бойся!» Провидела ли Анна Андреевна?.. Но через многие-многие десятилетия августейшая приписка «сработала»: Лариса позвонила мне и сообщила, что ей присуждена международная литературная премия имени Анны Ахматовой и по этому поводу она едет в Италию.

Затем был оклик Фёдора Михайловича. Когда Лариса прибыла в Пермь на вручение ей «награды общественного признания» — Ордена Достоевского I степени, то, держа ответную речь, она вдруг вспомнила, что давным-давно в соавторстве с прозаиком Сергеем Антоновым написала пьесу о Достоевском.

А ещё — мощно и требовательно — её постоянно окликал Его Величество Русский Язык. Она слышала его как никто — до корней: «а степь по имени Степана / однажды Степью названа». И если мы остаёмся верны именно русской поэзии, Лариса Васильева рассчитывает на наш оклик. И отклик. Не забывайте: «Я до сих пор к нему иду!» Это — о нас с вами. О каждом, кто её помнит.

ДиН память

Лариса Васильева

Любовь моя последняя



Я вброд переходила реку,
Мне было восемнадцать лет.
Я улыбалась человеку,
Которого на свете нет.

Красавцем был он иль уродом,
Я не припомню, не пойму —
Мне вся земля казалась бродом,
Когда бежала я к нему.

Шёл вечер. И луна светила
Лучом холодного огня,
И чем я ближе подходила,
Тем дальше был он от меня.

Перепелица тонко плачет
Свою пернатую беду.
Кто скажет, что всё это значит —
Я до сих пор к нему иду!



Ты сегодня искать не стала
человека из сказки и сна:
жди до завтра — сойдёт с пьедестала
и собой заслонит как стена.
Он такой, что не скажет соседка
озорного, худого словца, —
лишь посмотрит печально и едко,
выпив горькую воду с лица.
Что прикажешь — он сделает былью,
рассыпая сады из горсти,
он тебя приведёт к изобилью,
лепестками устелет пути.
Ты другого такого не встретишь.
Озарит как звезда в темноте.
Он тебя, и сама не заметишь,
растворит, как серьгу в кислоте.



Мы будем говорить о времени другом,
ушедшем навсегда, загадочно манящем,
о незнакомом как о самом дорогом,
презрительно, увы, молча о настоящем.

Сравнением оскорбив сегодняшний приют
земного бытия, откажем во внимании
одной своей судьбе, и небеса прольют
не плоские слова поток непонимания.

Мы бродим с фонарём по солнечному дню,
мы гасим фонари в непроходимом мраке,
спасаясь от жары, торопимся к огню,
извергаясь и предав, мечтаем о собаке,

не ведая, что мы для тех, кто сменит нас,
блистательный пример, высокая награда,
и светлый образ наш спасёт в суровый час
кого-нибудь того, кого спасать не надо.

Зелёная земля легко выносит наш
неповторимый бред и странные поступки
и, лёжа близ морских солёно-горьких чаш,
меняет времена как сношенные юбки.



Невозможно удержаться,
не ответить на порыв.
Сколько может продолжаться,
испытание на разрыв?

Сладкой сказочкой старинной
тешим слабые сердца.
Чёткий опыт жизни длинной
всё доводит до конца:

через нежности и страсти,
столкновения гордынь,
пробу безграничной власти —
прямо к страху
— Не остынь!

Это жадное желанье:
сердцем к сердцу — навсегда.
Это жалкое страданье
и сгорание со стыда,

одиночество, забота,
чтобы взгляд не рассказал,
чтоб четвёртый, пятый кто-то
голой правды не узнал.



Целоваться погоди —
Посторонних много глаз.
Погляди-ка, погляди:
Смотрит горница на нас.
Смотрит белое окно,
Всё в прозрачных кружевах,
И льняное полотно
В ярко-красных петухах.

Печь стоит; разинув рот,
Любопытствуя, притих
Даже старый серый кот.
Целоваться ли при них?
Нам казалось — мы с тобой
Ото всех сбежали глаз
В дом под крышей голубой,
Но и тут глядят на нас.

Целоваться погоди —
Посторонних много глаз.
Погляди-ка, погляди:
Смотрит горница на нас.
А куда нам счастье деть?
Как любовь припрятать нам?
Может, просто — не глядеть,
Не глядеть по сторонам?!



Любовь моя последняя,
надежды пригубя,
как девочка соседняя,
стесняется себя,

молчит, не открывается,
сгорает со стыда,
с откоса обрывается
неведомо куда;

задумчивая,
верная обруч...
облучена,
обречена, как первая,
но не огорчена —

готовая, согласная
в лихом огне сгореть,
самой себе опасная
порывом умереть.

Владимир Шанин

Дочь поэта

К 105-летию со дня рождения А. И. Малютиной

Антонина Ивановна Малютина жила тихо, скромно, ничем о себе не напоминала, ни у кого ничего не просила, так и ушла из жизни тихо, не замеченная широкой общественностью. А ведь А. И. Малютина — легенда советской педагогики, замешанной на литературных традициях, на лучших образцах отечественной культуры. Её судьбой стал заснеженный Енисейск, с которым связаны тридцать лет жизни. И первую книгу, которую она написала, посвятила истории древнего сибирского города.

Профессор, заведующая кафедрой литературы в Енисейском, затем в Лесосибирском педагогическом институтах, «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», член Союза писателей СССР — России, А. И. Малютина обладала «светлым даром педагога и пытливым умом исследователя». Мало кто из красноярцев помнит её, зато енисейцы отзываются с душевной теплотой. «Главной её любовью всегда была литература, тот особый мир, в котором она жила, — вспоминает С. Ситникова, научный сотрудник Енисейского краеведческого музея. — Да разве могло быть иначе?! Антонина Ивановна выросла в семье писателя из народа — Ивана Петровича Малютина, сыгравшего большую роль в жизни дочери... С большим почтением относился он к книгам, много читал детям вслух. И не случайно уже в три года маленькая Тоня научилась читать».

Антонина Ивановна Малютина родилась 14 марта 1913 года в Барнауле Алтайского края, в рабочей семье. Её отец, Иван Петрович Малютин, выходец из крестьян, человек «сложной и интересной судьбы», который не смог получить систематического образования, но «неудержимая тяга к знаниям, цепкий ум и природный дар сделали своё... стал писателем-самоучкой». За публикацию антиправительственных стихов в газете «Алтайский край» и журнале «Алтайский крестьянин» он впервые был арестован и выслан за пределы края. Семья поселилась в Ярославле, на родине матери Антонины, дочери бедного рыбака, батрачки. Иван Петрович устроился на фабрику «Большая мануфактура» (впоследствии — «Красный Перекоп») и там возглавил социал-демократический кружок. «Далеко не многим выпадает в жизни счастье — знакомство и дружба с выдающимися

писателями и поэтами. Антонине Ивановне судьба подарила такую возможность, которая и определила её дальнейшую судьбу», — пишет С. Ситникова. На собраниях социал-демократического кружка выступали многие литературные знаменитости, и Тоня Малютина, ещё совсем ребёнок, слушала речи А. Горького, Вяч. Шишкова, С. Подъячева, С. Дрожжина, А. Фадеева, Н. Телешова.

В 1902 году отец был арестован и сослан в Сибирь и «на целых 20 лет остался в сибирских краях, скитался по её городам и сёлам... участвовал в становлении сибирской литературы... дружил с писателями-сибиряками П. Дравертом, Л. Сейфуллиной, Г. Вяткиным, И. Ерошиным...».

«Когда Малютины жили в Омске, отец часто брал дочь с собой в политехнический институт на вечера, где декламировал свои стихи профессор минералогии, поэт П. Л. Драверт», — пишет С. Ситникова и прибавляет, что «девочка рано потянулась к литературному творчеству». «Помнится один из праздничных вечеров 1920 года, когда Пётр Людвигович навестил нас, — вспоминала Антонина Малютина. — По моей просьбе он читал свои стихи. Вдохновенно звучал голос поэта. Что-то удивительно чистое и светлое осталось в памяти от этого вечера...».

...Мы с отцом ходили в сельскохозяйственный институт слушать лекции Драверта, после которых обычно профессор минералогии преображался в поэта и неизбежно декламировал стихи. Запомнились воодушевлённость, порывистость, особенный блеск тёмных глаз, когда он читал... Выступления Драверта перед студентами проходили с неизменным успехом, молодёжь любила его» (Енисей. 1973. №4. С. 68).

В девять лет Антонина уже была автором стихотворений «На дальнем Севере», «На реке зимой» и сказок «Незабудка» и «Гордый пион», напечатанных в 1922 году в журнале «Пролетарские побеги».

Гостеприимный малютинский дом на окраине Омска бывал всегда полон друзей, знакомых, насыщен голосами, смехом, восторгами, стихотворными напевами. Гости приходили и уходили, унося с собой эмоциональный заряд бодрости и энергии; даже в будни бывало по шесть-семь человек из писателей и поэтов. Они читали свои

стихи и рассказы, «обсуждали папины и мои произведения, спорили. Иногда я с папой ходила в Союз писателей...». Часто бывали и в редакции журнала «Сибирские огни», где собирались местные писатели: Феоктист Березовский, Лидия Сейфуллина, Иван Ерошин. Иван Петрович с удовлетворением заметил однажды, краем глаза наблюдая за дочерью, рисующей карикатуры на выступающих: «Настроение у всех было бодрое и шутивное».

Лидия Сейфуллина, маленькая, круглолицая, с короткой стрижкой тёмных волос, первой обратила внимание на Тоню, что-то рисующую на маленьких клочках бумаги, и попросила показать рисунки. Девочка долго не соглашалась, и в конце концов поддавшись на ласковые уговоры, передала писательнице с десяток своих бумажек. Лидия Николаевна прочла надпись на первой бумажке: «Председатель!»—и громко расхохоталась. «Что же меня-то не нарисовала?—с обидой спросила она Тоню. Девочка застыдилась: «Есть, но нехорошо получилось». Наконец Тоня передала Сейфуллиной рисунок. «Товарищи, а мой лучше всех!»— снова расхохоталась автор «Виринеи» и попросила этот рисунок у Тони на память.

Юная поэтесса, да к тому же ещё и художник, завела альбом, куда многие русские писатели и поэты—Н. Телешов, В. Вересаев, С. Дрожжин, Вс. Иванов, Вяч. Шишков—занесли свои пожелания. В её детском альбоме, страницы которого были окрашены по уголкам картинками, вырезанными из конфетных обёрток, появилось изречение: «Родиться поэтом, понимать душой и чувствовать жизнь вселенной и людей с их радостями и печальями—это великое счастье для человека». Запись сделал Николай Деураевич Телешов 3 января 1923 года в Москве.

Тоне было уже одиннадцать лет, когда известный в 20-е годы поэт Аполлон Коринфский посвятил ей стихи:

«О светлая и милая весна!»—
писала при пасхальном красном звоне
мне юная землячка. В нежном тоне
её стихов мне чудилась она,—
идущая в цветущей вновь короне
из майских ландышей родная сторона
с зарёй надежд на светлом небосклоне...
Дай, Боже, счастья поэтессе Тоне!
Дай, Боже, ей не знать о скорбном стоне,
Не видеть наяву злой жизни сна;
Дай—молодости мёд испить до дна;
Отрады дай—на дней далёком склоне,
Когда вся жизнь из-под седин видна,
Ей внукам повторять (всё в том же тоне):
«О светлая и милая весна!»

В пятнадцать лет «юная землячка», «поэтесса Тоня» в своём дневнике записала: «Недавно папе

прислал длинное письмо (уже не первое) А. Фадеев. Там, главным образом, он разбирает мои стихи, посланные ему папой. Их считает даровитыми... При работе над собой обещает успех и сан настоящего писателя».

Однажды, будучи с отцом в Москве по каким-то литературным делам, Антонина узнала о смерти Сергея Есенина и была глубоко потрясена. Их приезд совпал с похоронами скандального поэта, любимца публики, если не сказать, всей читающей России.

«Мы едва пробилась сквозь густейшую толпу в Дом печати на Тверском бульваре,—напишет она позже.—Москва прощалась с великим поэтом, безвременно угасшим в расцвете великого таланта... Василий Иванович Качалов вышел читать есенинское стихотворение, но не смог закончить—не сдержал слёз... А потом вместе с огромной массой народа провожали Есенина до Ваганьковского кладбища...».

«Продовольственные затруднения вынудили нашу многодетную семью покинуть Омск»,—вспоминала Антонина Ивановна. Жили Малютины близ Новониколаевска (ныне Новосибирск), в деревне Морозовой, на Гороховой мельнице, потом и в самом Новониколаевске. Отец заведовал архивом и библиотекой редакции газеты «Советская Сибирь» и близко познакомился с членами редколлегии: Ем. Ярославским, И. М. Майским, Ф. Березовским.

Вскоре Малютины выехали из Сибири и поселились в Ярославле. Здесь Тоня училась в школе и одновременно брала уроки музыки у дочери ярославского поэта Л. Н. Трефолева, с которым был дружен отец, только что вернувшийся из сибирской ссылки.

Окончив среднюю школу, Тоня устроилась на работу—поверьяльщицей холста и ленты (была, оказывается, такая рабочая профессия) на фабрику «Красный Перекоп», где когда-то работал её отец, но через какое-то время, узнав, что молодая поверьяльщица пишет стихи, начальство отправило её в фабричную многотиражку «Веретено» литсотрудником. Тоня с увлечением писала о передовых труженицах, посвящала им свои стихи, лучшие материалы посылала в областную газету, а вечерами училась на вечернем отделении Ярославской музыкально-педагогической школы имени Л. В. Собинова.

Всесторонне одарённую девушку заметили, пригласили в штат редакции областной газеты «Северный рабочий», а затем по совместительству—и в комсомольскую газету «Сталинец» ответственным секретарём. Тоня успешно справлялась и там и там... Может быть, к такому успешному продвижению по литературной стезе своей дочери приложил некоторые усилия отец, Иван Петрович, поэт и страстный библиофил и книголюб,—

мы не знаем. Но Тоня ведь и сама хорошо заявила о себе. Увлечённая литературой, поэзией, в которой видела единственную возможность выразить свои чувства, своё отношение к великому Времени в переломный момент, она легко сблизилась с местными знаменитостями, вошла в Ярославскую ассоциацию пролетарских писателей и мечтала об университете.

В сентябре 1930 года воротился в Москву Александр Александрович Фадеев. Он был консультантом художественного фильма по своему роману «Разгром», снимавшегося в заповедной зоне Красноярска — знаменитых «Столбах», но даже и там, в Сибири, помнил об обещании помочь Малютину. По поводу поступления Тони в Московский университет он писал Ивану Петровичу: «Я ужасно боюсь, что теперь уже я опоздал, — не закончен ли приём? — но в любой момент... я могу дать не только своё личное письмо в МГУ, но ходатайствовать от гапп... Коли приём уже закончен, и ей почему-либо не удалось попасть, вы обязательно срочно напишите мне об этом, и мы походатайствуем о приеме сверх нормы или ещё как-нибудь».

Но как ни старался отец устроить дочь в МГУ, Тоня сделала свой выбор — по рекомендации писателя Всеволода Иванова поступила в Литературный институт Союза писателей СССР на отделение поэзии. Училась и подрабатывала пианисткой при клубе Щёлковского химзавода (г. Щёлково Московской области), часто бывала в доме Всеволода Иванова, где «отдыхала душой, набиралась мудрости, человеческого тепла». Сюда стекались уже известные писатели, читали стихи, беседовали о творчестве, спорили. Здесь Тоня познакомилась с Виктором Шкловским, Ольгой Форш, Корнеем Чуковским, Валерием Кирпотиным...

К концу учёбы в Литинституте от неё требовали «побольше практики», и Тоня устроилась литсотрудником в редакцию газеты «Пролетарская правда». Почти каждый день после лекций в институте она ездила в г. Балашиху на работу.

Производственную практику Тоня проходила в Ярославле на заводе «Красный профинтерн» инструктором по литературно-массовой работе (была и такая должность при завкоме профсоюза). А работать по окончании института направили в Сталинград. Здесь она преподавала литературу в одной из общеобразовательных школ, руководила районным методическим объединением словесников и творческим кружком учащихся и заочно училась в Сталинградском педагогическом институте. Её труды не пропали даром: рассказы членов творческого кружка вошли в сборник под названием «Счастливое детство и юность», выпущенный местным издательством.

В феврале 1941 года Антонина Малютина с отличием окончила пединститут с неплохим знанием немецкого и английского языков, могла бы

работать и переводчицей, но тяга к литературе была превыше всего. Она всегда помнила о Первом всесоюзном съезде советских писателей, где слушала яркие выступления М. Горького, А. Толстого, Д. Бедного, других мастеров слова, и решила — с ними, с Союзом писателей по жизни пойдёт до конца.

В июне началась Великая Отечественная война. К тому времени Антонина Ивановна была уже замужем, имела троих детей — Виссариона, Евгения и только что родившегося Аркадия. Мужа, инженера одного из сталинградских заводов, мобилизовали в армию, а семью с малолетними детьми эвакуировали в Сибирь — в далёкий заснеженный город Енисейск. Здесь Антонина Ивановна преподаёт литературу в местном учительском институте, позже переименованном в педагогический, назначается заместителем директора. Более года была проректором по учебно-научной работе, потом заведовала кафедрой литературы, защитила диссертацию, получила учёную степень кандидата филологических наук и звание доцента. Позднее избрана профессором. В Высшую аттестационную комиссию о присвоении звания профессора русской литературы ответственный секретарь Красноярской писательской организации С. Сартаков писал, что Малютина Антонина Ивановна — «один из крупнейших знатоков истории литературной жизни Сибири».

Первое своё крупное произведение — очерк «В. Г. Короленко в Сибири» — Антонина Малютина опубликовала в альманахе «Енисей» в 1950 году. Тогдашний ответственный редактор альманаха В. Ф. Дубков отметил «особую выразительность и глубину» художественного образа в работе литературоведа.

Антонина Малютина стала постоянным автором альманаха «Енисей». В разделе «Критика и библиография» редколлегия всегда оставляла место для её материала. Она добросовестно выполняла заказ редакции, вовремя присылала из Енисейска, и каждая публикация радовала читателей своей исследовательской глубиной и простотой изложения.

В 1953 году Малютина прислала рецензию на художественно-литературный сборник «Родной Енисей» (составители: А. В. Гуревич, А. В. Кременецкий, И. Д. Рождественский, редактор К. Лыжин, художник Р. Руйга), изданный Красноярским книжным издательством в 1951 году. Это второй сборник, довольно солидный и неплохо оформленный. Первый сборник «Енисей в стихах и легендах», вышедший в 1940 году, представлял собою тоненькую книжечку. «Составители сборника, — говорилось в рецензии, — располагали довольно богатым и разнообразным материалом. Выход сборника — заметное явление в культурной жизни края, он с большим интересом встречен

всеми, кому небезразлично прошлое края и дорого его настоящее и будущее...».

В следующем году читатели «Енисея» познакомились с глубоким исследованием Антонины Малютиной «Декабристы в Енисейской ссылке», а в 1955 году Малютина написала большую статью, посвящённую 5-летию со дня смерти поэта из Иркутска А. С. Ольхона (1903–1950), знакомого и нам, нынешним, из переписки с красноярскими писателями.

В статье «Сибирский поэт-патриот» Антонина Ивановна с горечью в душе писала, что «умолк своеобразный и яркий голос сибирского поэта Анатолия Сергеевича Ольхона», что «Ольхон был настоящим певцом сибирской природы, которую он знал превосходно и умел запечатлеть и при помощи широких мазков, и путём запоминающихся деталей» и что «стихи Ольхона отличаются своеобразным напевом».

Из Енисейска Антонина Малютина почти не выезжала в Красноярск, но красноярцы хорошо знали её по публикациям в «Енисее».

Енисейск стал её родным городом. Здесь, в Енисейске, выросли и получили высшее образование её сыновья: Виссарион стал военным лётчиком, Евгений — инженером, Аркадий — врачом. Сама же Антонина Ивановна рано овдовела.

В 60-е годы она избиралась депутатом Енисейского райсовета, возглавляла культурно-просветительскую комиссию. Многие годы руководила молодёжным творческим объединением в городе, была членом учёного совета Енисейского краеведческого музея, художественного совета Енисейского народного театра, городского совета Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории, активно сотрудничала в периодической печати.

В октябре 1968 года на своём собрании писатели Красноярья принимали Антонину Ивановну Малютину в свои ряды. Председательствовал на собрании И. И. Сибирцев, секретарём был З. Я. Яхнин.

Характеризуя творческую деятельность Малютиной, старейший поэт, «певец Севера» Игнатий Рождественский сказал: «Никто в нашем крае не выступает так часто и глубоко в печати с критическими и библиографическими статьями, как Малютина. Писатели, которых она пристально изучает, сверкают перед нами новыми гранями... Всё это она унаследовала от отца — Ивана Малютина, который состоял в переписке с Максимом Горьким».

«Её вклад в литературу неоценим», — подтвердила Антонина Корытковская.

Иван Сибирцев был категоричен: «У нас в крае, где две писательских организации (имелась в виду ещё и хакасская. — В. Ш.), нет критиков, кроме Малютиной».

Иван Уразов добавил: «Она не только критик и литературовед, она большой знаток революционной истории Сибири».

Михаил Глозус уточнил: «Она связана со многими литературными организациями страны, ей пишут многие исследователи творчества пролетарских и современных писателей».

Так, при полном единодушии собрания Антонина Ивановна Малютина стала членом Союза писателей СССР.

Кроме литературоведения и краеведения, в частности литературного краеведения, Антонина Ивановна делала успехи в области сибиреведения. Но основным предметом исследования считала для себя литературоведение. Ею написаны книги: «Память об отце» (Пермь, 1973), «Певец земли енисейской» — об И. Д. Рождественском (Красноярск, 1976), «Николай Мамин» (Красноярск, 1984), «Судьба суровая и светлая» — опять об отце И. П. Малютине (Красноярск, 1988), а также крупные монографии: «Город Енисейск. Историко-краеведческий очерк», «Сибирские рассказы В. Г. Короленко и их народно-патриотическая основа» — и множество статей, очерков, эссе о жизни и творчестве русских и советских писателей: Г. Успенского, Н. Устиновича, П. Драверта, Н. А. Некрасова, С. Я. Елпатьевского, Н. Д. Телешова, С. Д. Дрожжина, В. Я. Шишкова, А. Корытковской, И. Гребцова... Печаталась Малютина в журналах «Вопросы истории» (Москва), «Неман» (Минск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск), в «Учёных записках Енисейского пединститута», в коллективных сборниках и краевых газетах.

На писательские собрания Антонина Ивановна приезжала всегда и без опозданий, хотя нетрудно представить, какое напряжение она испытывала во время езды из Лесосибирска на автобусе. Высокая, прямая, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, она проходила в зал, с достоинством раскланиваясь, и потом сидела на стуле прямо, не сутулясь, внимательно слушала выступления товарищей. Но сама без надобности никогда не просила слова. Пустой болтовни не любила. Уважала всякое чужое мнение, не навязывала своего. Она была вся оттуда — из славного прошлого, из нашей истории, именно в ней сохранившей пример достойного воспитания, старомодной интеллигентности.

Работая над книгой о Николае Мамине, она повсюду искала материалы о нём, вела широкую переписку, написала и мне в Красноуранск, где я тогда работал, просила разрешения использовать мою зарисовку о Мамине, напечатанную в районной газете «Знамя Ильича».

Умерла Антонина Ивановна Малютина 9 сентября 1998 года в возрасте 85 лет. Об этом мне сказали сотрудники краеведческого музея им. А. И. Кытманова в Енисейске.

Геннадий Прашкевич

Большая река

О творчестве Владимира Никифорова

Владимир Никифоров... нет, лучше, наверное, Владимир Семёнович Никифоров, так уважительнее... ведь—член Союза писателей России, кандидат технических наук, профессор. Родом с Енисея—посёлок Подтёсово (Красноярский край). Родители—речники, с ними он каждое лето отправлялся в плавание по большой реке. И где застанут речников холода (иногда в городе, иногда прямо на речном плёсе), там они и зимуют.

Вот она, свободная жизнь на большой реке.

«Пока был маленьким,—писал Никифоров,—родители брали меня с собой просто так. Подрастая, я уже помогал им, и в конце концов это сделалось моей работой. Я твёрдо решил связать свою жизнь с речным делом, был матросом, мечтал стать капитаном, правда, из этого ничего не вышло—подвело зрение. Но с реками не расстался и всё равно путешествую, правда, уже в качестве учёного и преподавателя».

Енисей... Гранитные берега...

Большая река, мощно уходящая на север...

Помню, как был я обрадован, прочитав рукопись рассказа «Валерка, шкиперский сын» в далёком 1978 году, когда с писателем Василием Коньяковым мы собирали, а затем редактировали сборник рассказов и повестей «Дебют» (Новосибирск). Я ничего тогда не знал об авторе рассказа, но сразу увидел—он с реки. С *моей* реки (я тоже родился на берегах Енисея—Пировское, Абалаково, Маклаково, Енисейск), с той—многоводной, уходящей, как время, то ли в прошлое, то ли в будущее, из которой мы пили чудесную живую воду, просто черпая её ладонью, и она всегда была чистой, вкусной, прозрачной. И многие годы видели мы одни и те же повороты большой реки и читали одни книги.

Никифоров сам написал об этом.

«К четвёртому классу я прочитал не только добрую половину советской классики: „Как закалялась сталь“, „Кавалер Золотой звезды“, „Молодую гвардию“, „Жатву“, „Белую берёзу“, „Далеко от Москвы“, „Стожары“, „Это было под Ровно“, „Мальчик из Уржума“, но и „Конька-Горбунка“, „Каштанку“ и даже „Капитанскую дочку“, „Записки охотника“, „Героя нашего времени“».

Тогда мы действительно читали всё.

Я даже не к четвёртому классу, а уже лет в пять лет прочёл «Цыганочку» Сервантеса, в которой не понял ни единого слова, «Переяславскую раду» Натана Рыбака, книгу более понятную, наконец, «По Чунским порогам» Сергея Сартакова, меня восхитившую. Понятно, что мы тогда считали литературой всё то, что попадало нам в руки, до чего могли дотянуться. Недостаток знаний компенсировало упрямство.

«Фейгин,—пишет Никифоров,—видимо, заметил блеск в моих глазах и деловито спросил: „Ну, с чего начнём?“—„С Достоевского“,—прошпал я.—„А что Достоевского?“—„Всё“.—Фейгин покопался в книгах и протянул первый том. „А, может, что-нибудь из «Библиотеки приключений»?“ Я помотал головой: „Достоевского“».

Книги и дикие голуби на маклаковской лесобирже. Книги и бесконечные плотоматки на реке. Книги и бесконечные гари по берегам, непроходимо заросшим малинниками. Книги и стрижи над обрывами. Книги и гранитные скалы, костяника и земляника на полянах, заросли черники и смородины. Мы жили всем этим. И попадающая нам в руки книга была так же полезна и естественна, как хороший хариус на перекате, как выставленная в протоке рыбацкая сеть, как нашествие белых груздей на опушку леса.

Мы не выбирали будущее, оно само выбирало нас—при рождении.

«Я отпечатал (свой первый) рассказ,—вспомнил Никифоров,—и отправил его „веером“: на конкурс, объявленный городским домом творчества; в областную молодёжную газету; в литературный институт. Рассказ мой был чистой фантазией: я написал про то, как если бы остался в селе и вместе с Наташей, Гришей, Кирей и сёстрами Сорокиными работал в колхозе. Рассказ был довольно грустным, в нём прорывалась тоска по большим городам, интересной жизни, красивой любви. Консультант дома творчества посоветовал, что в рассказе нет конфликта, и пожелал творческих успехов. Газета напечатала рассказ, сократив его безжалостно, но умело, упомянув в предисловии недавний призыв партии к молодёжи ехать в деревню. Полученный гонорар я оставил в книжном магазине; совершенно точно могу сказать, что

„Воспоминаниям о Маяковском“ обрадовался больше, чем литературному дебюту. А уж когда прочитал мемуары Лили Брик, где она приводит строчки стихов Асеева, Ахматовой, Блока, Бальмонта, Бурлюка, Вийона, Гумилёва, Веры Инбер, Каменского, Мандельштама, Некрасова, Пастернака, Пушкина, Игоря Северянина, Светлова, Сельвинского, Уткина, Хлебникова, Саша Чёрного...»

О! Полнее и счастливее не может быть жизни. «Перо задело о верх экипажа...» — эту строфу кто-то и не заметит.

Но для юного Никифорова, без всяких преувеличений, эти слова прозвучали как музыкальная фраза. Перо... Экипаж... Совсем другая жизнь... Это так чудесно накладывалась на обычную жизнь на большой реке — под перистыми и кучевыми облаками. Никифоров и работать-то начал на реке в шестнадцать лет — шкипером несамостоятельного судна. Как звучит! Ничуть не хуже, чем пресловутое перо, задевшее о верх экипажа...

А до поступления (в 1964 г.) в Новосибирский институт инженеров водного транспорта Никифоров поработал ещё слесарем подтёсовского судоремонтного завода и красноярского завода «Сибтяжмаш». А после окончания эксплуатационного факультета — начальником смены в новосибирском порту. Только начиная с 1970 года работа вошла в колею. Последовательно — инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник научно-исследовательской лаборатории эксплуатации флота... В 1975 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук... С 1981 года перешёл на кафедру «Управления работой флота», и опять упорно и последовательно — старший преподаватель, доцент, профессор. Да, да, в 2001 году тот самый малолетний «шкипер несамостоятельного судна» был утверждён в учёном звании профессора...

За что студенты любят своих наставников?

За то, что они умеют находить для них свои «надо».

Никифоров внушал студентам (в основном студенткам) свои пять «надо».

«Во-первых, надо обязательно овладеть разговорным английским. Во-вторых, научиться работать на компьютере, тогда это было ещё в новинку. В-третьих, получить водительские права, а лучше стать автовладелицей. В-четвёртых, к пятому курсу выйти замуж, потом это будет труднее. Пятый пункт моих правил был совершенно антипедагогичным: научитесь кокетничать! Вот вы, обращаясь к девчонкам, приходите в фирму на собеседование, садитесь напротив руководителя-мужчины; на что он обращает внимание? Вот-вот. Мои личные наблюдения за карьерой выпускниц показали, что разгильдяйки-троечники более успешны, чем тихушницы-отличницы...»

Работа в институте — не синекура.

С 1972 по 2015 год под руководством Никифорова выполнено свыше двадцати научно-исследовательских работ. Он автор более двухсот научных публикаций, в том числе семи монографий, учебника «Логистика» и десятка пособий. Множество командировок — по стране и за рубеж. Под руководством профессора Никифорова успешно защищены четыре кандидатские диссертации. Отсюда — медали, звание почётного работника речного флота. И я сейчас перечисляю не какую-то экзотику, а самый настоящий быт, если можно назвать бытом жизнь учёного и писателя.

Да, писателя. Интересного писателя.

Параллельно служебным делам он писал статьи, рассказы, повести.

С конца семидесятых (к сожалению, уже канувшего в прошлое века) печатался в сборниках, в журналах, издал отдельные книги: «Дом на большой реке», «Лицом к Енисею», «Субботнее путешествие, или Урок экономики».

Разумеется, это всего лишь небольшая часть написанного.

Писать было нелегко.

Печататься — ещё труднее.

Помещая в эту книгу повесть «В родном посёлке», написанную давным-давно, Никифоров сам удивляется прихотливым путям советского (тех лет) литератора.

«Трудно сказать, что было бы с автором, напиши эту повесть неопределившийся ещё в жизни молодой человек и опубликуй её в каком-нибудь толстом журнале. Но написал её тридцатитрёхлетний кандидат наук, начальник научной лаборатории, а штатные и нештатные рецензенты дружно отказали ей в актуальности и художественной глубине. И вот через несколько десятилетий донельзя загруженный основной и не основной работой профессор вуза несколько вечеров подряд переводит сохранившуюся рукопись в цифровой формат, чтобы предложить написанное немногочисленным читателям. Зачем? Автор не берётся отвечать на этот вопрос, чтобы не показаться нескромным. Просто это осколок нашей прежней жизни».

Начинается указанный «осколок» очень просто. «Поездка поначалу сложилась неудачно. На „Метеоре“ оказалось слишком много народа. Ехали студенты-стройотрядовцы, мелькали повсюду зелёные спины с надписями „Saiana“, „Taiga“; в буфете продавали пиво, конец очереди был у самых наших кресел — ни встать, ни пройти. Мы с женой сидели, смотрели в окно и молчали. Я чувствовал свою вину: уговорил жену прокатиться по реке, а сам не смог ни рейс выбрать, ни место подходящее. Но вот студенты сошли, стало просторнее, мы пересели ближе к окну. Я взял жену за руку: „Надо было лететь, наверное“. — „Нет, — живо возразила она. — Мне нравится“».

И хочется читать дальше.

Потому что в повести — река.

А Никифорову ли не знать, что такое река?

Впрочем, не нужно пересказывать сюжет. Я и не буду.

Просто намекну, что кроме большой и, надеюсь, вечной реки в повести будет ещё дом — на тихой окраинной улице... и будет почти пустой посёлок, потому что в летнее время его население живёт на реке... и будут — лязгающая землечерпалка, коротыш-буксир, деревянные илимки... Но главное — река... Блистающая на солнце, туманная по утрам, чистая, нежная, великая, единственная... Отсюда и горечь финала... «На месте великолепного, блиставшего белым песком пляжа был теперь просто мокрый и грязный берег, с прибитыми к нему водой брёвнами, с поленницами дров у самой воды. Но именно здесь мы когда-то встретились впервые — давным-давно, когда казалось, что всё ещё будет когда-нибудь потом, там, впереди...»

Повесть написана в 1976 году, печатается сейчас.

Вода в реках, особенно в больших, за эти десятилетия не стала чище, и здоровья многочисленным и терпеливым обитателям не прибавилось, а ко всему ещё и этот вопрос: ну почему, ну почему хорошие книги так часто приходят к читателям с запозданием? А те что приходят, отнюдь не сразу принимаются на ура. К примеру, повесть Никифорова «Двойная ноша» и его же очерк «Посёлок», опубликованные в своё время в «Сибирских огнях», в родном Подтёсово читались тайком — с большой боязнью попасться на глаза начальству с журналом в руках.

Трудно пробивать написанное, трудно совмещать интенсивную учебную и научную деятельность с литературой; в конце восьмидесятых Никифоров (это его выбор) почти на десять лет уходит от литературных занятий и возвращается к ним уже в конце девяностых, накопив опыт, объездив Европу (зарубежные стажировки) и всю Сибирь — как «выездной» преподаватель. Один за другим появляются в «Сибирских огнях» очерки «До и после „Посёлка“» (2000), «Последний паром» (2001), «Свой хлеб» (2002), «Год последний, год первый» (2004), «Возвращение» (2005), «Завершение» (2007), повесть «Третий шаг» (2009), биографические статьи о близких по духу писателях. Своим признали Никифорова и в журнале «Новосибирск», и в красноярском «День и ночь», в котором он опубликовал две повести. В московском издательстве «Вече» в серии «Сибирский детективный роман» вышла книга «Снайперы» (одноимённая повесть и роман «Жизнь Клима Гордеева»). Как продолжение всего этого следует расценивать лежащую перед вами книгу. В неё вошли повесть «В родном посёлке» и рассказ «Дайте мне Москву!», написанные давно... действительно давно (почему мы и говорим

с горечью о таком долгом и таком странном пути к читателю)... и вещи, написанные в последние годы, — роман «Жизнь Клима Гордеева», рассказы «Осенний призыв» и «Последняя ставка», очерк «Пятый сезон», а также статьи, интервью, письма, даже отрывки из дневников...

Дневники Никифорова известны многим его друзьям.

Время от времени он посылает их странички по электронной почте то из дома, то с дороги, то с дачи; и утром включая компьютер, ты вдруг узнаёшь что-то новое, очень личностное, но всегда интересное отношение и к тебе.

«Январь-февраль 2010 г. Все каникулы провёл с Буниным. У каждого (не только писателя) есть свои „тёмные аллеи“. В Интернете провёл поиск: Бунин и Фрейд. И тут же нашёл книгу Руднева про истерические типы. Инвариантная схема эротического дискурса Бунина заключается в том, что его герои в буквальном смысле погибают от любви...»

Или просто восхищение лесной поляной, неожиданно освещённой после короткого дождя солнцем...

Или впечатление от прочитанной книги — понравившейся или не понравившейся.

Или суждение по поводу текущих событий.

И прочее, прочее.

И это не просто заметки по случаю.

Это размышления, тревожащие многих.

«У нас до последнего времени непременно атрибутом воспоминаний о „советской“ жизни было представление партийных и государственных чиновников в виде чинуш, глупых и недалёких людей (последний пример: книга В. Аксёнова „Таинственная страсть“, где лично ничего плохого не сделавшие автору А. Н. Косыгин, Ф. Р. Козлов, Е. А. Фурцева и др. несколькими мазками мастера превращаются в отталкивающих персонажей). Как «поливали» Лапина, Ермаша, Баскакова, Сизова! Но партийное и государственное руководство культурой не сводилось только к цензуре и запрету... каждый чиновник нёс бремя ответственности... и это не могло не приводить к конфликтам с настоящими, а не конъюнктурными художниками. Зато тех художников, кто был нужен государству (то есть партии), оно поддерживало и защищало, и речь в данном случае идёт не о Бабаевском и Первенцеве, а о Горьком, Шолохове, Бондарчуке, Чухрае. Бывает, что тоталитарный режим больше способствует развитию искусств, чем демократический, не-тоталитарный. По моему мнению, которое я отнюдь не навязываю, Виктор Некрасов уехал из СССР не потому, что там не было демократии, а потому, что он лишился высокой государственной защиты...»

С этим можно поспорить, почему нет?

Но высказано прямо, и заставляет задуматься.

Из подобных размышлений растут и последние работы Никифорова—особенно сборники, составленные, отредактированные, даже изданные им же на с трудом выбитые гранты. Это «Земляки»—первый и второй выпуски, с их подзаголовком: «Жизнь замечательных людей Сибири».

В сборниках этих (с массой редкостных фотографий) можно прочесть о замечательных капитанах-речниках Александре Печенике, Иване Булаве, Иване Марусеве, Николае Молочкове, об отце писателя—шкипере Семёне Степановиче Никифорове, о писателях Викторе Лихоносине, Николае Самохине и Викторе Петровиче Астафьеве, Николае Шпилове и Александре Заволокине, о прекрасных женщинах-учёных новосибирского Академгородка: академике П. Я. Кочиной, хирурге Е. Е. Литасовой, археологе Н. В. Полосьяк, пианистке В. А. Лотар-Шевченко, генетике З. С. Некоро, филологе Е. К. Ромодановской и о многих-многих других. Даже жизнь сибирских партийных деятелей разных лет в этих сборниках отражена. При этом никто, уверен, не упрекнёт составителя (и авторов) в некой тенденции, навязываемой читателям, вовсе нет, в итоге мы видим панораму реальной жизни, тех её сторон, что быстро забываются или намеренно замалчиваются. Вот становится неудобным по тем или иным причинам какой-то деятель и тут же сбрасывается со счетов, будто его и не было. А образующиеся лакуны заполняются самыми нелепыми домыслами и слухами, всей этой мёртвой чепухой, размыть которую может только непрестанная тщательная и вдумчивая работа историков и писателей.

В повестях, рассказах, очерках Никифорова, доверительных и открытых, герои—не бабочки в янтаре. Они живые, и запоминаются. У них

свои земные страсти, у них свои небесные мечты, они зывают к писателю: ну напомни о нас, мы были, напомни! Ведь ещё Николай Васильевич Гоголь страшился: как так, прожить целую жизнь и ничем себя не означить! Этого, наверное, боялся все, вот всем и хочется означить свои следы, своё присутствие в мире, не зря учёные-историки говорят, что предпочитают работать не с мемуарами даже самых известных (соответственно и информированных) людей, а с самыми обычными записями самых обыкновенных домохозяек и их мужей: что они видели, что слышали, по какой цене покупали на рынке картофель, а в магазинах водку, а самое главное, как относились друг к другу и к властям предрержащим, как любили, как ненавидели. Думаю, с этой точки зрения (исторической и художественной) дневники, очерки, рассказы Никифорова долго будут вызывать интерес уже потому, что в них действительно означена, отражена, описана именно та жизнь, которой мы живём, частенько её просто не замечая. Хочется напомнить, что назначение литературы вовсе не изменилась за последние века, как сейчас пытаются иногда утверждать. Назначение литературы каким было, таким и осталось—смягчать нравы, никак не иначе. Не доказывать преимущество одного режима перед другим, одной системы перед другой, не преувеличивать или преуменьшать значение того или иного государственного или общественного деятеля, художника, писателя, а терпеливо рассказывать о близких—о женщинах и друзьях, о родителях и соседях, о ценах на хлеб и водку, об интересе ко всему тому, что происходит вокруг тебя и в тебе самом, наконец, о чудесной неистребимой любви к Большой реке, на которой ты родился.

Владимир Никифоров

Моя случайная родина

Речь в этом очерке пойдёт о простых, но замечательных людях, жителях посёлка Подтёсово, что на Енисее в 430 километрах ниже Красноярска.

Мои родители—енисейские речники, и мы, их дети, всё лето проводили на барже: помогали взрослым, играли, дружили, дрались, скучали по берегу. Зимовали, где застанет зима: в Красноярске, Игарке, Полое, Пискуново, Подтёсово. Так распорядилась судьба, что в Подтёсово я родился на третий год войны, а в 1951-м мы получили отдельную квартиру в новой двухэтажке и обосновались там на постоянное жительство.

Современное Подтёсово ведёт свой отсчёт со случайной зимовки каравана в 1933 году. В 1935 году по пути в Дудинку в Подтёсовской протоке побывал руководитель *Главсевморпути* легендарный О.Ю. Шмидт, поддержавший решение местных властей о создании в Подтёсово затона для зимовки судов, мастерских и посёлка. Вскоре в Подтёсово появилось восемь брусовых двухэтажных домов, в одном из них наша семья, ещё до моего рождения, поселилась глубокой осенью 42-го.

Немцы

До середины 50-х стояли на ул. Калинина и Заводской лагеря с высокими деревянными заборами, в амбулатории, расположенной в одной из первых двухэтажек, вёл приём больных кремлёвский врач Петров, в мехцехе работал инструментальщиком бывший секретарь обкома, в техотделе служил бывший директор московского завода. Среди ссыльных были морские капитаны, военные лётчики, артисты, инженеры. Уже шестилетним пацаном я знал, что в Подтёсово, кроме кремлёвских врачей и других врагов народа, живут сосланные немцы Поволжья и финны: Таску, Синконены, Таукули, Валбу, Классы, Лавонены, Райхели, Кензаппы, Гроссы... В детском саду и в школе мы слушали профессиональную игру на пианино и аккордеоне, мои старшие сёстры учились иностранному языку

у настоящей немки Альмы Яковлевны. А вот злых литовцев, которые год назад били меня кнутом в Пискуново, когда я заскакивал на задки их саней, я, слава Богу, в Подтёсово не встречал.

С кремлёвскими врачами даже мы, ребяташки, имели самые тесные оношения. Как-то, уже первоклассником, я закашлял, и мамка отправила меня в амбулаторию, благо, та находилась в соседней двухэтажке. «Мне к Петрову»,—сказал я грубым простуженным голосом. «Не к Петрову,—строго поправила медичка,—а к Николаю Васильевичу!», но я упрямо твердил: «Нет! Мне к Петрову! К Петрову!» Петров жил в том же доме, где была амбулатория, он был простым и открытым, дружил с дядей Сашей Зоринным, шкипером лихтера и нашим кумом. Лет за пять до полной реабилитации и отъезда Петров построил дом с балконом на самом въезде в посёлок, что до сих пор радует глаз.

Мы тогда все и со всеми дружили одинаково: русские, татарские, чувашские, немецкие, финские, еврейские ребяташки; конечно, и дрались, и дразнились, но без обиды и злобы. Да и жили мы все одинаково. Готовя этот очерк, я нашёл в интернете высказывание ссыльной немки Марии Граур, что жили они тесно, спали на железных кроватях с тонкими матрасами. А ведь жили две сестры Граур (на снимке они в добротных пальто на фоне добротных домов) и брат их Венька у нас на квартире! И все мы спали на одинаковых кроватях, а я так вообще на сундуке в коридоре!¹

А самым лучшим, весёлым и добрым был наш сосед Иван Иванович Класс, в котором всё было огромным: рост, голос, руки, валенки, узел галстука. На всех праздниках они с тётёй Пашей были для моих родителей самыми дорогими гостями. Нас, ребяташек, Иван Иванович любил как своих детей, потому что собственных у них с тётёй Пашей не было, и так было много лет, пока Иван Иванович, к тому времени главный бухгалтер завода, не развёлся с тётёй Пашей, оставив ей дом, и уехал в Лесосибирск, где ему предложили место учителя немецкого языка. Там он женился и вскоре умер.

Школа

Мне повезло, что в первый класс в Подтёсово я пошёл в только что выстроенную школу, где, кроме

1. В прекрасной книге Людмилы Еремеевой «Подтёсово—родной причал» приведены письма реабилитированных и уехавших: все они вспоминали Подтёсово добрым словом, в том числе и за то, что жили они «в неволе» в таких материальных условиях, которые «на свободе» показались раем.

классных помещений и туалета, были спортзал (на первом этаже) и пионерская комната (на втором). И мы всё своё свободное время делили между первым и вторым этажами: репетировали, тренировались, выступали, праздновали... Вожатые второго этажа менялись, а внизу и вне школы — на лыжне и стадионе — властвовал Гыр-Гыр: Григорий Григорьевич Компаниец, физрук от бога и на все времена. Чем только мы ни занимались с ним: бегали на лыжах и на коньках, играли в футбол и в хоккей с мячом, занимались боксом (после рассечённой губы мне пришлось этот вид спорта оставить навсегда), гимнастикой (завоевал первое место на брусьях, а в качестве приза получил спортивную майку 52 размера). Благодаря Гыр-Гыр наш посёлок занимал первые места и в районе, и в бассейне.

Последний раз я видел Григория Григорьевича, по-прежнему поджарого, подтянутого, без единого седого волоска в знаменитой причёске «полубокс», в 2003 году на похоронах Феи Вольфа. Федя работал капитаном плотовода на Ангаре, а потом пошёл по стопам своего учителя, стал преподавателем физкультуры в ПТУ, преобразованном в лицей, основал и возглавил детскую спортивную школу. После неожиданной смерти Феи прямо на тренировке спортивной школе присвоили его имя.

Жена Григория Григорьевича Татьяна Емельяновна учила другой класс и как-то однажды заменяла нашу учительницу, и такой теплотой и спокойствием веяло от неё, что я стал мечтать о том, чтобы она заменила Надежду Кондратьевну, которая мучилась с нами, потому что у нас был не класс, а проходной двор. Всех местных, оседлых, капитанских да инженерских детей собрал хитроумный завуч, а мы, «цыгане», шкиперята, достались доброй и простой Надежде Кондратьевне, у которой были любимчики (я в том числе) и «нелюбимчики», как двоечник Вовка Зорин, который после очередного выпуска стенгазеты, где я бичевал Вовкины пороки, лупил меня со слезами на глазах: «Ведь ты же мой друг!»

В 1955 году я закончил начальную школу, то есть 4 класса. Из таких, как я, шкиперских детей, в пятый класс перешли немногие. Кто-то оказался в нашем классе лишь по случаю зимовки баржи по пути в другой затон, кто-то остался на второй год, а кому-то и начального образования не удалось получить.

Для тех кто остался, это не было рядовое событие: вместо одной Надежды Кондратьевны у нас появятся разные учителя по каждому предмету, из старого деревянного здания мы перейдём в новое, кирпичное, будем изучать иностранный язык. И вообще — это почти взрослая жизнь: пятиклассников посылают в колхоз, некоторые из мальчишек, кто постарше, курят и ходят на танцы.

Мы первыми в Подтёсово стали изучать английский, а «англичанка» Зинаида Петровна стала нашим классным руководителем. Та зима была похожей на все зимы и в то же время чем-то особенной. Мы катались с горы до самого заката солнца, иногда по вечерам играли во всадников, по воскресеньям уходили в недалёкие походы... Зинаида Петровна не очень активно вела своё классное руководство, но я всё равно как-то чувствовал её присутствие во всех наших делах. С Надеждой Кондратьевной было по-другому. Она постоянно тормошила нас, водила строем, собирала «актив» у себя дома в щитовушке, я как-то даже оказался вместе с ней в гостях у её родственников на другой окраине посёлка. Мы почти всё знали о Надежде Кондратьевне, о её не очень счастливой семейной жизни, а Зинаида Петровна оставалась для нас, для меня, во всяком случае, за каким-то занавесом. Так было, пожалуй, до седьмого класса, пока мы не переехали в новый дом, соседний с домом «англичанки», и я увидел её с помойным ведром. Но к тому времени мы уже знали, что она вышла замуж. И вообще, многое знали... А в пятом классе мне хотелось, чтобы Зинаида Петровна отмечала меня, хвалила, улыбалась мне и звала по имени. Но я всё читал в её взгляде и видел себя её глазами — щуплого, шмыгающего носом, в полусуконной куртке, которую мы с сестрой носили по очереди — она в первую смену, я во вторую, в штанах, подколотых булавкой. И когда через три года я собрался поступать в техникум, и она впервые назвала меня по имени и попросила не бросать школу, мне не стало приятно и радостно, наоборот, я почувствовал двойную горечь... А меня «язык» довёл до полугодовой стажировки в Европе, до Дублина, Лондона, Кардифа, Эдинбурга.

Одним из достоинств новой школы было огромное поле, которое благодаря нам, школьникам, превратилось в цветущий по весне сад, куда на переменах мы выходили прямо в окно, если занимались на первом этаже. А самая большая неприятность учёбы в новой школе была связана с директором, «спущенным» нам сверху. Это был страшный внешне (маленький, глгуче-чёрный) и по натуре человек: для нас, озорников (а кто в детстве не озорничал?), у него была одна фраза: «Ты враг народа, против партии идёшь!» А ведь шёл уже 56-й год!

После седьмого класса остатки нашего «цыганского» Б слили с благополучным А, но ничего не склеилось, и через год, в 59-м, мои друзья поступили в «ремеслуху», а я стал студентом Красноярского машиностроительного техникума. На Новый год я приехал в посёлок, и на новогоднем вечере Гыр-Гыр очень интересовался моей городской жизнью и тем, насколько развит спорт в моём техникуме.

Последний раз я был в «кирпичной» школе в марте 1967 года третьекурсником Новосибирского

института инженеров водного транспорта (ниивта). В это же время на преддипломную практику приехал мой одноклассник Сергей, учившийся в ниивте на механика. Погода была великолепная: солнце, голубое небо, чистейший снег, и мы целыми днями слонялись по посёлку, пока нас не встретили Саша Урбан и Володя Булаев, работавшие на заводе после окончания ниивта. «Хватит балду гонять! — сказал Саша — Идёмте с нами!» — «Куда?» — «К десятиклассникам! Агитировать их будем!» Через несколько лет ко мне в институте подошёл розовощёкий юноша: «А помните, как вы нас агитировали? И вот я поступил, а сейчас учусь в аспирантуре». Сегодня Геннадий Сергеевич Юр — доктор технических наук, профессор, завкафедрой.

В 2003 году закончилось строительство новой школы, а здание старой (кирпичной) снесли. Горько было видеть, как бульдозер крушит твоё прошлое. Зато есть новая большая школа, которая прославилась на весь край: перечисление достижений занимает целую страницу на сайте школы. Этому можно только радоваться, но, как бывшему подтёсовскому школьнику и педагогу с сорокалетним стажем, мне кажется, что в новом трёхэтажном здании, где «большинство кабинетов оснащены персональным компьютером, имеются цифровые образовательные ресурсы, видео- и аудиоаппаратура, проекторы, интерактивные доски», потеряно что-то самое важное и главное, ради чего и существует школа. Не зря ни один из выпускников последних лет не связал свою судьбу с Енисеем.

А своих учителей я буду помнить всегда.

Завод

Посёлок построен для завода и живёт заводом. И главный человек в посёлке — директор. До нашего поселения в Подтёсово их сменилось около десятка, не оставив заметного следа. Первым, кого помнят все, был Алексей Петрович Мартынов, руководивший заводом все 50-е годы, в период бурного роста завода и посёлка. Вряд ли он имел даже среднее образование, но прекрасно знал флот и людей, поработав механиком на севере, пройдя шторма и зимовки. Бывало, и обижались на него мужики, и ругались с ним, но что уважали — это точно: за решительность, самостоятельность, справедливость. Его и по фамилии редко называли, только Алексеем Петровичем. «Ну, Алексей Петрович и учудил сегодня!» — говорил отец, придя с работы.

Мои трудовые отношения с заводом начались в 1959 году: я был оформлен матросом баржи «Чарыш». Мне было шестнадцать, требовалось решение завкома. Заседание состоялось тёплым майским днём, но отец заставил меня для «солидности» надеть тяжёлое драповое пальто. Через два года я бросил техникум, вернулся в Подтёсово

и устроился учеником слесаря к Валентину Афанасьевичу Мезенину — мастеру на все руки, здорвяку и хохмачу. В первый день моей работы мы вставляли в гелмпортовые трубы финского лихтера, переоборудываемого в танкер, стальные втулки. Под кормой на деревянных козлах я развёл огонь в железном лотке вокруг выступавшего из кормы конца трубы. Пламя гудело, тяга в трубе была хорошей. Я всё подкладывал в лоток древесного угля и вскоре был весь в саже и мокрый от пота. Мы сбросили жаровню с горящими углями вниз, на землю; тут же молодой пожарник, с утра томившийся без дела возле нас, вскинул брандспойт и сильной струёй загасил угли. С палубы по трубе спустили строп, мы с Мезениным пропустили конец стропа через втулку и в петлю вставили толстый стальной прут. Кран гуднул, строп медленно пополз в трубу, мы придерживали втулку, и она ровно, как по маслу вошла в горячую трубу. После обеда загнали вторую втулку, но не так легко, как первую. Втулка не пошла дальше половины, тут нам пригодились кувалды. Втулка была выбита, пришлось снова разогревать трубу.

Лицо у меня горело, рубаху можно было выжимать. Снова застропили втулку, но она остановилась на середине, но потом дрогнула и — пошла, родимая! Пошла! Мезенин соскочил на землю, ликуя, белозубо хохоча, и, крикнув пожарнику: «Давай, чёрт, поливай!», — сбросил с себя рубаху. Пожарник, ни секунды не медля, направил на него мощную струю, чуть не сбившую Мезенина с ног, и тот завертелся, гогоча, растирая руками незагорелую, покрытую рыжим волосом грудь, а пожарник, улыбаясь восторженно и глупо, повёл брандспойтом в сторону и вверх, и приятный освежающий дождь пролился на меня. . .

Потом мы выполняли разные работы: устанавливали дизеля, разбирали паровые машины, притирали клапаны; мне нравилось работать с Валентином Афанасьевичем. Я не меньше его радовался выгодной работе, хотя независимо ни от чего получал свои ученические 45 рублей. Нравилось слушать Мезенина, а тому было что порассказать: воевал, служил в морфлоте, работал на китобое, выучился холодильному делу, бывал в Канаде, Австралии, Японии, Штатах, перегонял суда Северным морским путём. Года три назад караван, в котором был Мезенин, не смог пройти на Лену и зазимовал у нас. Валентин женился на буфетчице из столовой и остался здесь. Своей прежней жене он платил алименты на двух детей. Осенью 61-го Мезенин перешёл в отдел главного механика на твёрдый оклад, а я получил разряд и стал работать в паре с Василием Петровичем, родным братом директора, прекрасным специалистом и хорошим человеком.

В те годы завод ежегодно пополнялся молодыми специалистами: Володи Булаев, Саша Урбан, Юрий

Наместников, Валера Малкин, Людвиг Юдин, Володя Чекмарёв... Юрий Дмитриевич Наместников за шесть лет сделал головокругительную карьеру — от помощника механика до директора; в дальнейшем работал в Красноярске и в Москве на самых высоких должностях. Владимир Иванович Булаев прошёл путь от мастера до главного инженера, возглавлял советскую власть в посёлке. Александр Петрович Урбан долгое время работал в лицее (бывшем ПТУ), где нашёл себя как преподаватель и организатор учебного процесса. Владимир Александрович Чекмарёв, краснолицый, крупнотельный (как-то по весне шли с ним по льду, меня лёд выдержал, а мастер провалился по пояс), был моим непосредственным начальником, а в техотделе работала его милая жена. В августе 64-го я встретил их гуляющими по Красному проспекту возле общежития НИИВТА. Они рассказали, что работают в проектно-институте, с удовольствием вспоминают Подтёсово, где провели положенные три года, и порадовались моим успехам: я закончил экстерном десятилетку и сдавал экзамены в НИИВТ, а я радовался, глядя на них — молодых, красивых, счастливых. К сожалению, их счастье длилось недолго: Владимир Александрович, ставший главным инженером проекта, скончался в командировке от сердечного приступа.

Студентом, аспирантом и научным сотрудником я ежегодно бывал в командировках на Енисее и всегда стремился побывать на подтёсовском заводе, повстречаться с руководством, в котором всё больше было выпускников НИИВТА. А в 90-х пришлось вплотную заниматься проблемами завода, ставшего ремонтно-эксплуатационной базой (РЭБ) флота. Привлёк меня к этой деятельности (нештатного советника, консультанта, эксперта) Иван Антонович Булава, генеральный директор ОАО, образованного на базе Енисейского пароходства. Надо было освободить завод от всего лишнего (ведь на его балансе был весь соцкультбыт, включая Дом культуры и подсобное хозяйство) и получать прибыль как за счёт сокращения затрат (на 1 октября 1996 года задолженность составила 51 миллиард, убытки по соцкультбыту 1369 миллионов рублей), так и путём выполнения заказов сторонних организаций. Возникла идея, которую я поддержал: разделить РЭБ на два предприятия — эксплуатационное (РЭБ) и промышленное (судоремонтный завод). Помню, как обсуждали варианты и перспективы «развода» с руководителями пока ещё единого предприятия Николаем Степановичем Олейниковым, Виктором Федотовичем Брылёвым, Николаем Николаевичем Губаревичем, Юрием Васильевичем Макаровым. В конце концов разделение произошло, но вскоре вернулись к единому предприятию. Причин к тому несколько: две конторы накладно содержать; район бедный, заказов мало; привыкли жить за широкой спиной

пароходства... Но, слава Богу, завод (то есть РЭБ) работает, посёлок строится, на него обращают внимание власти в лице губернаторов: Лебеда, Хлопоница, Толоконского.

Капитаны и адмиралы

В течение нескольких лет подтёсовцы были горожанами, поскольку посёлок стал частью Лесосибирска. Поводом к этому послужило желание властей улучшить социальную структуру города, основу которой составляли рабочие, не имеющие ни образования, ни квалификации. А в Подтёсово были, пожалуй, самый высокий образовательный уровень и самая широкая партийная прослойка. На смену практикам, добирающимся до капитанского мостика в лучшем случае к сорока годам, пришли выпускники речных училищ (техникумов) и НИИВТА, которые становились капитанами в 25–27 лет. Хорошо знаю представителей нескольких поколений енисейских капитанов со среднетехническим и высшим образованием. Заметный след на Енисее оставили выпускники Красноярского речного училища (до 1955 года — техникума) первых послевоенных лет: шли на Диксон (Павел Борейша) и на неосвоенные притоки (Евгений Целищев), участвовали в перегоне судов по морям (Виктор Ледневский, лауреат Сталинской премии Сербаев), осваивали эксплуатацию на Енисее новых судов (Игорь Таскин, Вячеслав Солдатов, Степан Фомин).

Степан Иванович Фомин начинал, как и все будущие капитаны своего поколения, кочегаром парохода, а через десять лет стал капитаном пассажирского теплохода «Валерий Чкалов», до сих пор восхищающего всех своей мощью и красотой. Однако впервые увидел я Степана Ивановича не на капитанском мостике роскошного лайнера, а в скромном кабинете начальника службы перевозок и движения флота Управления Енисейского пароходства. Это был 67-й год. Через три года 45-летний Фомин сменил на посту начальника пароходства самого Ивана Михайловича Назарова! Мягкий, улыбочивый, добродушный, Степан Иванович как бы повторял своего обаятельного предшественника, «хозяина Енисея», но Иван Михайлович был глубокий психолог и выдающийся дипломат, а Степан Иванович строил свои отношения на доверии и флотской чести. Можно ли 14 лет руководить многотысячным коллективом и никого не обидеть? Невозможно, но Степану Ивановичу это удалось. Пользовались ли некоторые «штатские» добротой Степана Ивановича? Конечно, но это не подрывало его веры в людей.

Так получилось, что в конце 50-х в Подтёсово высадили десант выпускников Благовещенского и Омского речных училищ. Имена трёх из них навсегда вошли в историю завода и пароходства. Александр (при рождении названный Чекистом)

Афанасьевич Печеник родился в селе Ивановка Амурской области 4 февраля 1937 года. Закончив в 1960 году с отличием Благовещенское речное училище, выбрал местом дальнейшей работы Енисейское речное пароходство, где прошёл трудовой путь от третьего помощника механика теплохода до начальника пароходства.

Лично я знал А. А. Печеника с зимы 1961–62 годов, когда оба работали в подтёсовской РЭБ: он — помощником механика, я — слесарем. Он был молодой, красивый, весёлый, активный; хотелось хоть немножко походить на него. Самое тесное деловое общение у нас завязалось с Александром Афанасьевичем, когда он стал начальником пароходства, а мне как руководителю научно-исследовательских тем приходилось часто бывать на Енисее для сбора материала, проведения натуральных наблюдений, бесед со специалистами, докладов о результатах работы. Каждая командировка обычно начиналась и заканчивалась в кабинете начальника пароходства, как потом — в кабинете генерального директора И. А. Булавы. И я могу гордиться тем, что Александр Афанасьевич поддержал наши предложения по совершенствованию организации завоза грузов на притоки и мерах по экономической стабилизации работы пароходства, ставшего ОАО. Как человек, долгое время проживший в Подтёсово, он вначале ревностно отнёсся к моему очерку «Посёлок», опубликованному в журнале «Сибирские огни» в 1985 году: там была критика в адрес руководства. Но в конце нашей встречи он был вынужден со вздохом согласиться, что я написал правду, и совпало так, что вскоре после этого на Подтёсово было обращено серьёзное и результативное внимание. Всех знавших Александра Афанасьевича глубоко опечалили его болезнь и преждевременная смерть, но пока мы живы — он будет с нами, по-прежнему молодой, красивый, открытый, яркий.

Несколько раньше Александра Печеника на Енисей прибыли выпускники Омского речного училища, в том числе два Ивана — Булава и Марусев. Начинали своё обучение они в Риге, но вскоре Рижское речное училище было ликвидировано и курсантов отправили доучиваться в Омск. Иван Марусев на Енисее с 1956 года: третий штурман теплохода «Камчатка», второй штурман теплохода «Академик Тюрин». Сорок лет проработал капитаном теплоходов «Мусоргский», «Академик Туполев», «Морской-22» (с 1972 года «Иван Назаров»), Волгонефть-134, «Антон Чехов». В 1974 году за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов и принятых социалистических обязательств Марусеву Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2003 году Марусев вышел на пенсию, умер в 2014 году.

В моей жизни было три периода общения с Марусевым. В 1958 году Иван, один из самых видных

подтёсовских женихов, встречался с потенциальными невестами, среди которых была и моя старшая сестра, закончившая десятилетку и работавшая токарем на заводе. Иван бывал в нашем доме, но выбрал он хорошую подтёсовскую девушку Свету и прожил с ней счастливо всю жизнь. В 75–77 годах Иван приезжал в Новосибирск на сессию, мы встречались по его пути на кафедру судовождения, общались; чем мог, я способствовал его учебным успехам, но чему было учить лучшего капитана отрасли, Героя Труда? В 1981 году то ли им самим, то ли «кадрами» было принято решение перейти на береговую работу — заместителем начальника службы перевозок и движения флота. Я в то время по несколько раз в году бывал на Енисее по научным и производственным делам, обходя по кругу кабинеты начальника пароходства Фомина, его замов Мунина и Позднякова, начальников служб Краюхина, Никитина, Шишкина, главного диспетчера Рукосуева. Помню, как трудно входил Иван в «береговую» работу; мы часами сидели с ним над отчётами, планами, графиками. В конце концов он понял, что не лежит у него душа к этой работе и после недолгого пребывания в должности заместителя начальника Лесосибирского порта он вернулся на капитанский мостик. Подарком и ему, и всем нам стало его капитанство на туристическом лайнере «Антон Чехов».

Иван Антонович Булава начинал на Енисее с должности третьего штурмана ледокола «Енисей», потом работал штурманом на пассажирском лайнере «Александр Матросов», капитаном теплоходов «Норильск» и «Валерий Чкалов». С начала 60-х жил в Подтёсово, где получил с семьёй двухкомнатную благоустроенную квартиру в новом двухэтажном брусом доме на улице Северной — как раз напротив дома моих родителей. После отъезда в Красноярск на должность начальника речного училища его квартиру занял мой друг и одноклассник, начальник подтёсовской конторы Речного регистра Сергей Мичурин, и ещё долгое время фамилия Булавы красовалась в подъезде в списке жильцов. Кстати, список висел рядом с дверью другого капитана — Олега Васильевича Попова, сына Юрия Васильевича Попова — нашего соседа по дому на Заводской.

С Иваном Антоновичем, когда он пришёл в пароходство замом Печеника, а затем сменил его в должности генерального, нас стали связывать прочные производственные (мне посчастливилось быть одним из разработчиков стратегии развития пароходства), научные (вместе с А. Ф. Шишкиным мы втроём написали книгу «Теория и практика управления внутренним водным транспортом»), а теперь и творческие отношения (мы оба — члены Союза писателей). «Генеральство» Булавы не все оценивают однозначно: отдают должное его активной деятельности

в конце 90-х по сохранению и развитию потенциала пароходства, однако в начале 2000-х он не смог противостоять инерции внутри и нажиму сверху. Помню, в каждую нашу встречу он рассказывал о новых планах и идеях и этим напоминал «подтёсовского мечтателя» Николая Степановича Олейникова. И хорошо, что такие люди были и есть, у них не всё получилось, но они старались в новых условиях соединить накопленное с новыми подходами к речным делам.

Не смог полностью оправдать ожидания речников и Николай Петрович Молочков. Он закончил НИИВТ в 1970 году в плеяде самых успешных выпускников: его ровесниками были будущие ректор Игорь Рагулин, начальники крупнейших судоходных компаний Владимир Епимахов и Владимир Кноль, доктора и кандидаты наук Виктор Бунеев, Владимир Ботвинков, Юрий Шестаков. И Николай Петрович не затерялся на этом фоне: он вскоре стал капитаном мощного толкача, а потом повторил карьеру Печеника: секретарь парткома Подтёсовской РЭБ, начальник Лесосибирского порта, генеральный директор Енисейского пароходства. И ещё одно неприятное обстоятельство было у них общим: на того и другого были совершены нападения, на Печеника в кабинете, на Молочкова в подъезде дома.

Я отдал менеджменту 45 лет (к счастью для меня и для подчинённых, не как практик). Как исследователь теории и практики управления, в том числе зарубежного, могу сказать, что проблем управления в чистом виде не существует, они всегда связаны с массой обстоятельств, объективных и субъективных. Енисейскому пароходству повезло, что за него всё решали наверху: в Министерстве речного флота СССР, потом РСФСР. Обижались, втихомолку негодовали, что сверху следили за каждым судном (при мне начальник главка из московского кабинета грозно спрашивал иртышского начальника, занявшего его место, почему баржа такая-то стоит в Конде четвёртый день), но другой жизни не представляли и, как оказалось, не были готовы к ней. И сейчас громкие успехи пароходства связаны с тем, что его хозяин — Норильский комбинат — нуждается в услугах пароходства и имеет средства для его функционирования и даже развития. Сибирские ОАО, пустившиеся в свободное плавание, до сих пор борются за выживание, а некоторые из них, прежде всего крупнейшее на Востоке Западно-Сибирское пароходство, эту битву проиграли.

Так воздадим хвалу всем тем, кто прежде боролся и теперь борется за наш посёлок, за наш Енисей, за нашу Сибирь, за нашу страну.

ДиН РЕВЮ



Михаил Свищёв

Пешеходная голубка

Москва: «Водолей», 2017

Беспечней, чем Наталия Негода снимала лифчик в давешнем кино, толпа в метро под вывеску «Нет входа» ныряет и не давится виной,

ведь у толпы статистика иная, чем среднее давление или пульс, она, толпа, походу что-то знает о том, что я узнать не тороплюсь

о вывеске — к несчастью или к счастью, есть выход, входа нету на Руси, — из-под неё никто не возвращался, а то бы я о многом расспросил.

Не поминай о детстве всуе, забудь, какого там числа через линейчку косую от скрепки ржавчина пошла

до первых строчек, взятых с лёту, непарных точек и потерь, когда листы и переплёты перемешались, и теперь,

подобно рыжему соцветью столетника (и ты, мол, Брут), несовместимые со смертью в тетрадках дырочки цветут.

Юрий Беликов, Игорь Тюленев Ко Христу по имперской России, или Буква «ё» в жизни русского поэта

«Когда над моей страной заходит солнце, над горизонтом всплывает его двойник в облике поэта Игоря Тюленева!» — так, дрожа от привалившего сопоставления и собственной внутренней правоты, жаловалась мне одна аспирантка от филологии, коей поручено было взяться за исследовательскую работу, посвящённую творчеству моего нынешнего визави. А мой визави — уже лет тридцать как в литературе. И книг у него, если не тридцать, то двадцать уж точно наберётся. И, стало быть — ого-го, каких усилий потребуется, дабы охватить этот массив, я уж не говорю, чтобы в него погрузиться и вжиться...

Аспирантка хныкала. Принимала то реланиум, то элениум. И, чтобы её успокоить, я предложил анестезирующий экспромт:

Не спасёт её элениум,
не поможет ей реланиум:
не миллениум — толениум
накатил на мирозданиум.

Девушка вытерла слёзы, глянула на меня озадаченно и... Вскоре она уже читала мне по телефону потрясшие её строки: «Я осу, как пулю, опустил, / В боковой карман своей штормовки», «Сорву стоп-кран и сам сорвусь, / Как пух с твоих ресниц», «И выжгли глаза у Гомера глаголы, / Как сопла ракеты», «Я море на себе домой тащил, / Как при пожаре тащат дорогое».

Аспирантка была восхищена. Она выражала признательность за возвращение её чувств в желаемую концентрацию и сказала, что провела целое исследование, в ходе которого выяснила, что, судя по всему, эти образы посещали Игоря Николаевича Тюленева в ту пору, когда он был Тюленёвым (таковым его знал тогда и стар и млад), а затем он взял и вырвал из своей фамилии букву «ё», как жало той самой осы... Ай!

«А что?! — подумал я, — это тянет на полноценную докторскую!» Вот и тема: «Влияние буквы „ё“ в фамилии автора на его творчество и гносеологические последствия утраты этой буквы». А то я смотрю: Игорь временами как-то меняется. Когда его по старой памяти кличут Тюленёвым, он один, а когда — Тюленевым — другой. Да и тема раздвоения и двойничества, как и подобает русским писателям, постоянно его не отпускает:

«Смотрит на меня товарищ Сталин... А Есенин смотрит на сирень».

Благодаря внешним данным — прущей из каждой клеточки его естества былинности — Игоря Тюленева часто уподобляют древнерусским богатырям с васнецовской картины. В этом смысле он идеален на фестивалях «Сияние России» или «Русский витязь». Он и сам это ощущает и даже пытается умерить собственную могучность:

Но тот, в ком силушки премного,
Сойдёт во гроб, как Святогор!
Попросит помощи у Бога,
Чтоб не уродовать простор.

Однажды я понял, откуда произрастает избыток Игоревой силушки. Воротившись в очередной раз из столицы (а я его встретил на привокзальной площади в Перми), он с трогательным благоговением извлёк из дорожной сумки вручённую ему юбилейную медаль, отчеканенную к юбилею Победы. И в этом было что-то от горделивого жеста послевоенного пацана, готового померяться со сверстниками собственным приращением к плееде отечественных богатырей.

— Игорь, тот, кто знает тебя сегодняшнего, брутального лауреата премии «Имперская культура», «ломающего жизнь о стол дубовый, / когда не пишется стихи», возможно, удивится цитате из раннего Тюленева с сочувственным посвящением Владимиру Высоцкому, которому, будь он жив, исполнилось бы в январе этого года восемьдесят: «Руки режут, как при ампутации...». Для нынешнего же Тюленева характерны другие обмолвки. Например: «Мало русских поэтов осталось». Возникает вопрос: когда и при каких условиях к тебе пришло осознание, что ты не просто поэт, а, прежде всего, русский поэт?

— Ну у тебя и память! Вспомнить строки более чем тридцатилетней давности!.. Что тут скажешь?.. В советские-то времена мы росли интернационалистами. Хорошо это или плохо, но так было. Там, где рос я, кроме русских, проживали и татары, и башкиры, и марийцы. Я ведь жил в сплавном посёлке, возникшем на карте в 1936 году. Здесь можно было встретить и казаков, и старообрядцев. Даже — бывшую дворянку, преподававшую литературу.

Этот посёлок, будто всех сгребли в кучу, как сено, напоминал Советский Союз в миниатюре. И поэтому того, о чём ты спросил, в те времена не существовало — деления на русских и нерусских. Но...

Я очень любил русские народные сказки, богатырский эпос про Илью Муромца, Добрыню Никитича... Алёша Попович мне не очень нравился, потому что представлялся хитроватым. И когда я начал уже писать стихи, слово «русский» совершенно естественно вошло в мой словарь. И даже те пермские пииты, которые здравствуют и сейчас, едва ли не хватали меня за рукава: «Зачем ты употребляешь слово „русский“?!» Видимо, в ту пору для наших людей слово «русский» было таким же страшным, как слово «Бог». Но именно эти слова я вставлял в стихи. Сегодня, когда многое можно, упрекавшие меня все пишут — и «русский», и «Бог»...

— И всё-таки, возвращаясь к Высоцкому, ты же, по сути, тогда отдал ему должное, хотя позднее разделил мнение твоего старшего друга Станислава Куняева, учтившего фанатов Владимира Семёновича в том, что они затоптали на Ваганьковском кладбище соседнюю могилу майора Петрова. Я-то хочу узнать: ты от тех прошлых стихов своих не отказываешься?

— Я помню даже, как мы вместе с тобой выступали в каком-то пионерском лагере, где я как раз и читал это стихотворение. Я его, к сожалению, потерял... Хорошо, что ты строчку из него помнишь. Если б я его отыскал, может быть, и вставил бы в свои сборники...

Что касается Высоцкого, то, мне кажется, он русским поэтом был. В данном случае не важна его вторая половинка. Потому что человек пьющий, он другую свою титульную нацию уже никак не поддержит.

Вот, допустим, у нас в Литинституте учились евреи. Однако один из них Миша Лейснер, как-то звонивший мне из Израиля, в ту пору всегда ходил исключительно с нашей компанией. И другая компания, состоявшая из переводчиков-евреев, от него отказалась: мол, якшается с русопятами. Миша стал для них своеобразным гоем. Так же и с Высоцким. У него — своё место в русской поэзии. И — очень интересное. Даже до сих пор не занятое. Пытался занять Розенбаум, Джигурда что-то там орал, но ведь и близко ребята к Владимиру Семёновичу не подошли...

— А в чём тогда разница между поэтом и русским поэтом? Казалось бы, ты и так живёшь в России. Пишешь стихи на русском. Стало быть, и без того понятно, что ты русский поэт. Спрашивается: зачем подчёркивать, что русский?

— Помнишь, у Ленина статью «О национальной гордости великороссов»? А по сути, он писал

о великоросском шовинизме. Русских всегда гнобили. В частности, в советские времена. Это понял ещё Виктор Петрович Астафьев, учась на Высших литературных курсах. Если же речь о русских поэтах, то они больше гибли и гибнут, подставляя себя под пули и наветы. Не потому ли им чаще приходится быть и пророками? Как у Достоевского: «Быть русским, значит, быть православным». А посему русских так же гнобили, как православных. Если бы все мы на самом деле были равны и жили в нормальной стране и наше телевидение, банки и промышленность не принадлежали представителям другой национальности, может быть, и не надо было бы утверждать слово «русский». Как в Китае: там ведь не нужно отставлять ножку и заявлять: «Я — китайский поэт!»

— У России, на мой взгляд, два взаимоисключающих крыла. Одно — во фразе Николая Рубцова: «Россия, Русь, храни себя, храни!» А другое: «Моя Родина — ты гадина / и стоишь на подлецах!» Это — Леонид Губанов. Однако, читая твою книгу избранного, я увидел, как ты предлагаешь третью мировоззренческую модель, которая может стать и первой, и второй:

Тогда я вспомнил наугад —
«Россия, Русь...», нет, не годится.
«Россия, Сталин, Сталинград».
А Сталина любой боится.

Почему, приводя начало рубцовской опоры, ты отдаёшь предпочтение другой — кстати, позаимствованной у Константина Симонова?

— Да, это симоновская строчка, она — в эпитафье к процитированному стихотворению. А вот смотри: сейчас уже, ничего и никого не стесняясь, наши западные, как их Путин зовёт, партнёры, там, на стороне, делят Сибирь-матушку или Урал-батюшку. То бишь — зарятся на всё наше русско-советское. «Россия, Русь, храни себя, храни!»? Это можно читать девушке. А если выходить сегодня на трибуну, то лёгкие требуют: «Россия, Сталин, Сталинград!» Мне Сталин нравится, потому что, как говорил Шолохов, был культ, но была и личность. До сих пор же никак мимо него пройти не могут. То и дело задевают головами за полы его шинели...

— «Он теперь лежит, как мина, боевой запас страны»? — как выразился ты в одном из стихотворений.

— Да, лежит до времени... Точно так же было, когда в телепроекте «Имя Россия» выбирали героев. Сталин был на первом месте. Он, наверное, и выиграл. Тут либералы стали репы чесать. И сделали подтасовку — подтянули Невского. Вот ты спрашиваешь, в чём особенность русских поэтов? Разве может быть в России поэт либералом? Нас ещё Блок отвращал от этого.

— Не находишь ли, что, несмотря на формулу Достоевского, душа русского человека вмещает в себя некое двубожие — наполовину она православная, а вторая половина у неё — языческая?

— В «Слове о полку Игореве» вообще нет христианских мотивов, лишь языческие. Тогда ещё, видимо, христианство только-только робко стучалось в наши двери. Но блины-то мы до сих пор печём! А это же — символ солнца. Какая Масленица без блинов, без сжигания чучела?! А ночь на Ивана Купалу? Как бы сказали нынешние деятели от актуального искусства, это же сплошной...

— Перформанс?

— Да-да-да! Где-то в конце восьмидесятых годов прошлого века мы поехали некой литературной тусовкой на какую-то речку встречать ту самую ночь — с девчонками, с вином дешёвым. Зажгли костёр. Одна девчонка чуть в нём не сгорела — не смогла перепрыгнуть. Мы тоже справляли языческий праздник. Помню, в электричке я даже впервые стоп-кран дёрнул. Потому что, загрузившись в неё на следующее утро, мы отправились совсем в другую сторону! Таковы были шутки с язычеством...

— У тебя есть строки: «Если очень громко рассмеяться, / Каму серебром пронзят лещи!» Это тоже из того же языческого ряда? Объясни причинно-следственную связь этого образа.

— В смехе всегда присутствует серебро. Это — чисто мужской металл. На Востоке золото настоящие мужчины не носят — только серебро. А на богатыйрский смех и другое серебро откликается. Лещи-то, они ведь тоже серебряные. В детстве мы постоянно купались в Каме. Её раньше нельзя было переплыть. Один за другим — суда. Они глушили рыбу винтами, и огромные лещи всплывали к поверхности воды. И мы, пацаны, как только видели, бросались сразу же в реку — кто вперёд! Подныриваешь, раз его за жабры! Во-от таких огромных лаптей ловили! А если ты его задел и он ушёл, то ждешь-караулишь: где он снова вынырнет? И вот этими лещами вся Кама была пронизана. Здесь лещ и там. Это не то что дохлая рыба какая. Настоящая добыча. Я бабушке тех лещей носил.

Бабушка меня к православию-то и сподвигла. Она окормляла всю округу и тогда ещё Ленина антихристом называла. Доносить было некому — во-круг такие же бабульки. Бабушка меня и крестила. Годика в два-три. Отец-то у меня коммунистом был. А в те годы же, как мне один архиепископ поведал, священников обязывали докладывать куда надо, кто из коммунистов посещал церковь и чьих там отпрысков крестили. И бабушка тайком увезла меня на колёсном пароходе по Каме

в село Таборы, где в тамошней каменной церкви и состоялся обряд моего крещения. Рассказывала: я бился-бился лбом в пол и уснул где-то под скамейкой...

Жил я и с отцом, и с бабушкой. К бабушке убежал от мачехи за пятнадцать-двадцать километров зимой. Отец меня на лошади догонял. А мама у меня умерла, когда мне семь лет было. Я запомнил, как мы её везли на кладбище и даже — как бурундучок выскочил на дорогу. Эти поездки — на санях — почему-то остались в памяти. Раньше же как было? Чтобы согреться, бежали за розвальнями. Вот и я, помню, бежал. Потом тебя — бах! — шубой накрывают...

— Те, кто знают тебя и твою образную систему, могут заметить, что у Тюленева всё, как у былинного богатыря, и только при слове «мама» он становится, как сказал бы Маяковский, «безукоризненно нежным», пропуская эту нежность в строчки:

*Я спрятал в стихи твоё фото,
Красивая мама моя...*

— Да хотелось бы ещё лучше о маме написать! Говорят же: поэтом тот становится, кто напишет подлинные стихи о матери и о Родине.

— Тем более что и так есть кому ковать тебе доспехи. Помнится, Александр Проханов во время одного из своих визитов на пермскую землю сравнил Тюленева с бурым медведем, сошедшим с герба Перми. Ты, собственно, сам подбрасываешь в эту топку дрова. Тут, какую твою строчку ни возьми: «Не помню, с бабы или с печки слез, / невыносимо мышцами играя». Даже если о любви: «Друг к другу мы с тобой прибиты / тяжёлым молотом Творца!» Эти образы — твоя суть или всё же — те самые доспехи, за которыми — ранимое, мало кому и не сразу раскрывающееся сердце?

— Я с этим сам ещё не разобрался. Потому что у меня стихи о внуке Игорёше совершенно иначе написаны. В том числе те, которые опубликовал в прошлом году журнал «День и ночь». Вот послушай:

*Скрипит на мой чердак ступень.
И Переделкино, и Пермь,
И Курская дуга под носом?
Лязг гусениц гремит в душе!
И вдруг улыбка до ушей —
То внук пристал к тебе с допросом...
А заканчивается, знаешь, чем?
Когда тебе за шестьдесят
(на печках дедушки лежат),
А ты бежишь за карамелью...*

Вот так: «...бежишь за карамелью». Хочется, конечно, быть понежнее, пораннее, но... Возможно, сказывается то, что я без мамы рос. Только

ведь гармония должна быть во всём. Звериный рык—это прекрасно. А вдруг—ребёнок рядом? Испугаться может и остаться зайкой на всю жизнь. Вот когда толпа врагов—звериный рык хорош. Но мы же иногда рычим, когда и врагов-то нету. Издалека их запугиваем...

— Тогда самое время поговорить о Переделкине—месте действия перманентных писательских баталлий. Неслучайно ты его упомянул, поставив в одном ряду с Курской дугой. Однако, как обмолвился про людей булгаковский Воланд, «... квартирный вопрос только испортил их...». А дачный вопрос,—добавлю я,—и вовсе определил на службу к Дьяволу. Стороннему человеку, тем более живущему в глубинной России, честно говоря, не понять (да и, я думаю, глубоко наплевать!), какие там кланы в заповедном писательском городке схлёстываются. Но ты-то волею судьбы оказался в самой что ни на есть серёдке этих подковёрных сражений. Правда,—представляя одну из противоборствующих сторон. Однако—прекрасно зная и другую... Тогда поведай миру: кто и во имя чего бьётся?

— Да, Переделкино—это подмосковная Курская битва! Между теми, кто хочет приватизировать свои участки и дома (сделать их своей собственностью), и теми, кто сопротивляется этому беспределу. Конечно, переделкинские писательские дачи—лакомый кусок. Особенно для тех, кто разворотлив. Например, въехал ты в дом с одним рублём в кармане—приватизировал и тут же, как по мановению волшебной палочки, превратился в долларового миллионера!!! Каково?

Когда-то Иосиф Сталин выделил эти земли под строительство писательских мастерских. Чтоб прозаики и поэты на природе в тишине (хотя и неподалёку от Москвы) создавали свои произведения на благо советского народа. Вот и стали жить-поживать в писательском городке в основном московские литераторы вплоть до прихода девушки с косой... Никакой ротации, как, допустим, в Комарово (там тоже писательские домики есть), здесь не предусматривалось. Поскольку на тот момент я возглавлял ревизионную комиссию Литфонда, то несколько раз выступал на собраниях, предлагая выделять дачи, в том числе и писателям, живущим в провинции... Получается, москвичи—люди, а все остальные—так, «осетрина второй свежести», если вспомнить того же Воланда, парировавшего реплику булгаковского буфетчика. И ежели продолжить этот образный ряд, то рыбные обозы с идущими за ними ломоносовыми всё никак прибыть в столицу не могут...

И вот наступили иные времена, и некоторое писательское меньшинство захотело нарушить заветы вождя: а станем-ка мы полноправными владельцами дач-мастерских! Сначала классики приватизировали творческие дачи в Переделкино.

А следом и подклассики подтянулись... Но у них, судя по всему, пока ничего не получилось. Потому что большинство писателей дали отпор захватчикам...

— Слушаю тебя и мне отчего-то хочется привести цитату из своего давнего повествования «Иномирец», которое было опубликовано в «Юности». Главный его персонаж, изначально существовавший даже не над, а под схваткой,—Юрий Влодов, завсегдашней поэтического подполья. Так вот, Влодов свидетельствует: «Всему беспорядочному, отвратному и подлому я обязан миру литераторов». Но ведь вы, насколько мне известно, были друзьями с Поляковым? Причём такими, что, как в «Иронии судьбы», вместе ходят в баню?..

— Это верно. С Юрием Поляковым мы раньше дружили. И он довольно часто печатал мои стихи на страницах «Литературной газеты», где тогда был главным редактором. Нередко и общались, а в субботу с друзьями иногда ходили к нему в гости (хозяин он был радушный и хлебосольный) и, естественно, как русские люди—парились в бане! А баня на его участке—отличная! Но потом не кошка пробежала между нами, а стали московские писатели ссориться друг с другом из-за переделкинских дач, переманивая на свою сторону писателей, живущих в провинции. С одной стороны, Иван Переверзин и большинство, с другой—Юрий Поляков и меньшинство. И тут как раз у меня сердце подвело—нужна была кардиологическая операция. А Иван Переверзин (спасибо ему!) помог мне финансово и благодаря этому я был прооперирован в Москве.

И когда встал вопрос, с кем я: с большинством писателей и Переверзиным или с меньшинством писателей и Поляковым, то оказался на стороне Ивана Переверзина. Жалел, конечно, что произошёл такой раскол в писательской среде. Ведь в своё время переверзинские стихи Юра Поляков печатал целыми страницами... Выбор у меня был непростым, но не мог я отвернуться от большинства писателей России и от того, кто спас мне жизнь. Вот и решайте сами—прав я или нет. Правда, с той поры публиковать меня в «Литературной газете» перестали...

— «Я плакал над разрушенной страной, упавшей в пропасть с пика Коммунизма!»—как пишешь ты в стихотворении «Советское кино». А в другом продолжаешь: «Империя, дождись! Не торопись, не рви с Россией пуповину». О какой Империи речь? О той ли, советской Империи республик, оставшихся потом за границей? Или—об имперском менталитете внутри самой России?

— Скорее второе. Потому что я говорю об Империи духа. Границы советской Империи сузились, но контуры-то её остались. И мы всё-таки

имперские люди, русские—в особенности. Тех уже не вернуть. Что мы будем Таджикистан к себе присоединять? Киргизов? Казахов? Нет, конечно. Пускай они живут сами по себе. А нам бы себя вспомнить. И вздохнуть полной грудью, чтобы соединить наш дух с пространством, которым мы сейчас владеем и на которое покушаются многие. Такое пространство без имперского мышления существовать не может. В противном случае мы не сумеем его защитить. А значит:

Пусть разгорятся угольки в золе
От речи, разрывающей пространство.
Затем, чтобы оставить на Земле
В границах Русь и в берегах Славянство!

— *И это, как я понимаю, не единичная скрепа внутри твоих книг? Вот, пожалуйста: «Ещё вожди не делят море, / Цветёт болгарский огород», «Придёт пора, и русских вспомнят, / Неизданное издадут», «Европа, слаб твой стебелёк, / Твой колос плесенью объят. / Но я вернусь к тебе, Восток, / Я слишком долго пил твой яд». Последняя тема—возвращения русских на Восток—одна из сквозных. Стоит прочесть твои стихотворения «Уход из Азии», «Прощание с Туркестаном», «Беседка Бяратинского в Гунибе (1859), «Дербент» и в «Гостях у Расула Гамзатова»—и сразу откроется масштаб исторического и, я бы сказал даже так: государственно-дипломатического мышления автора. Поэты часто дают фору политикам, опережая их в своих предсказаниях. Ответ: Империя очнётся?*

— Очнётся и вернётся. Когда с людьми разговариваешь, ты это понимаешь чётко. Одной тоски мало. Что мы все по Советскому Союзу тоскуем?! Или, как либералы: мол, надо повиниться. Не за что нам виниться! Сталинские лагеря? Это же тоже не односторонне. А сколько там уголовников сидело, мошенников?! Сейчас же они все гонимыми стали. Если предположить, что вся страна была тюрьмой, тогда, конечно, надо бить поклоны бывшей политзоне, ныне музею «Пермь-36», и её фестивалю «Пилорама», который, слава богу, с какого-то момента приказал долго жить.

Но у меня выношенное убеждение, что надо что-то другое показывать, приподнимать на крыло и всячески поддерживать. Например, Парк истории реки Чусовой, основанный Леонардом Постниковым, о котором в шестом номере «Дня и ночи» написала Марина Саввиных в своих «Мостах над облаками».

Я помню наши с ним разговоры: Леонард Дмитриевич был просто возмущён, что на несчастный фестиваль «Пилорама» и бывшую политзону «Пермь-36» такие деньги из краевого бюджета кидали!.. А Постников на своём хребте всё собрал. Спас тот образ России, которую мы потеряли. И Виктор Астафьев им восхищался, и Станислав

Куняев, и Владимир Крупин. Да и любой, кто там оказывается. Вот кого бы всеми силами поддерживать—и на муниципальном, и на краевом, да и на федеральном уровнях! Настоящим создателем был Постников (Царствие ему Небесное!), такой же стала его дочь Ольга, нынешний директор этнопарка, а не «пилорамщики» с их забугорными консулами! Вот пусть они, либералы, и вьются. Они кормушки себе отхватывали, а когда туда миллиарды вывалили, нахапали и за границу смотались. А кого откинули, те принялись на Болотной площади кучковаться.

В советской Империи было много хорошего, что можно оттуда взять и перенести в сегодняшнее время. Но это всё порушили. Я имею в виду образование, социальную сферу, здравоохранение. Да тот же книгооборот! Помнишь, как книги расходились? Ты ведь тоже в Москве издавался. Получает автор на руки десять авторских экземпляров и не забывает голову: остальной тираж его книги распространялся по всей стране. Когда вышла моя первая книга «Братина», тоненькая такая, я чуть киоск не своротил! А был выходной. За стеклом книжку вижу, а не могу её в руки-то взять. Тираж 30 тысяч экземпляров. Сегодня даже прозаики так не издаются. А в те времена члены Союза писателей бесплатно на юг ездили! Квартиры от государства получали. Некоторые—по две-по три успевали.

А по поводу пророческого дара... Знаешь, я когда-то предсказал войну в Чечне:

Мёртвый русский восходит на холм.
Он не сломлен, но он уже хром,
как железный Тимур-азиат.
У него на плече автомат...
Наезжает на запад восток,
отлетает от ветки листок,
и несётся куда-то, бог весть...
Мимо слов: «Моя Родина здесь!»

Написал стихи и забыл о них. Куда-то положил. А потом, когда война началась (одна, вторая), вспомнил: у меня же про это уже сказано! Так бывает—интуиция срабатывает.

Вот ещё пример. Буквально за год до воссоединения Крыма с Родиной ко мне, как волна, пришло стихотворение «Возвращение в Крым»:

Когда мы возвратимся в Крым,
То станет явью сон России.
Отдали Крым—нас не спросили,
Сейчас решать пришлось самим.
От крика:—Русские идут!
Бандеровцев охрипнет свора.
Бог даст, в Крыму мы будем скоро,
Здесь наши флешы, наш редут!

— *Раз уж мы заговорили о поэтических предсказаниях: ты был близким товарищем и учеником*

одного из пророков последнего времени поэта Юрия Кузнецова и у тебя есть стихотворение, написанное после его кончины:

Державно-лермонтовской мощью
Разбивший вражескую рать...
Россия наугад, на ощупь
Его пытается понять.

Что ты подразумеваешь под «вражескою ратью»? И в чём видишь обнадеживающие знаки, что «Россия... его пытается понять»? И, главное, что понять?

— Когда Поликарпыч выпустил поэму о Христе, никто из московских критиков даже не откликнулся. И ему было маленько обидно. Я напечатал в «Дне литературы» эмоциональный отклик, но всё-таки я же не литературовед. И вот тогда Юрий Кузнецов сказал мне, что его начнут понимать, может быть, лет через пятьдесят. Что касается «вражеской рати», то помнишь его стихотворение «Маркитанты»?

Было так, если верить молве,
Или не было вовсе,
Лейтенанты всегда в голове,
Маркитанты в обозе...

Так вот, эти обозники, среди которых— Чубайс и иже с ним, и есть та самая «вражеская рать». Одним словом— либералы. Пользы-то от них ведь мало! Миновали двадцать лет либерализма, и к чему пришла страна? Чуть не угробили армию— вовремя Сердюкова убрали...

Но, возвращаясь к Кузнецову: институт мировой литературы уже не первый год проводит Кузнецовские чтения. Вот у меня на письменном столе лежит книга материалов ежегодной международной научно-практической конференции «Сын Отечества», посвящённой творческому наследию Юрия Кузнецова. Один раз даже по каналу «Культура», тоже обсиженному либералами, показали о том сюжет. И это всё— обнадеживающие знаки, что творчество великого русского поэта будет по достоинству оценено и осмыслено. В том числе и на государственном уровне. Я уж не говорю о том, что, когда Поликарпыча не стало, зомбоящик безмолвствовал. А это же такая величина! Хотя, когда какой-то там мелкий либерал умирает, они на весь мир хай поднимают! Блажат...

А что должна понять Россия?... Она должна понять своих пророков-творцов, предсказывающих и показывающих будущее, понять вектор имперской души народа. Кузнецов, если вчитаться, он ведь тоже имперский поэт. Даже— когда пишет про ветер: «Одной рукой он гладил её волосы, / Другой топил на море корабли...» Поэтому Россия должна понять своё имперское предназначение через большого русского поэта.

— Когда ты упомянул телеканал «Культура» и вообще зомбоящик, я вдруг вспомнил одну забавную параллель, в которой есть что-то от обэриутских розыгрышей. На «Культуре» время от времени мелькает телеведущий Андрей Максимов, обличьем практически точь-в-точь напоминающий Игоря Тюленева. Поменяй вас местами и, чего доброго, подмена обнаружится не сразу, а лишь когда из вас двоих кто-то что-нибудь да изречёт. Это из разряда какого-то анекдота, где встречаются еврей и русский и смотрятся друг в дружку, аки в святочное зеркало, потому что с годами русский всё больше похож на еврея, а еврей— на русского. Вот ты вспомнил, как тебе позвонил из Израиля твой бывший однокашник по влк. А мне наемни звонит из Иерусалима известный автор блистательных поэтических пародий Евгений Минин и почти ликующим голосом возвещает: «А Владимир-то Бондаренко, редактировавший газету „День литературы“, уехал вместе с женой в Израиль!» И уточняет: «На пмж. Что ты по поводу всей этой „зеркальной“ истории думаешь?»

— Хорошо, что ты напомнил мне весёлый случай, связанный с телеведущим и режиссёром Максимовым. В позапрошлом году в Санкт-Петербурге на книжной ярмарке натолкнулись мы друг на друга около книжных стендов. Я с гривой белых волос, и он с гривой, и ростом одинаковые да ещё и при «животах», которыми можно померяться. Увидели друг дружку и замерли на несколько секунд... Оторопели. А потом разошлись с озадаченными лицами. Даже встретившийся скандальный скульптор Шемякин в чёрных сапогах и галифе не переклочил моё удивление.

В прошлом году захожу в ЦДЛ (договорились встретиться с друзьями), а в вестибюле ко мне подходит режиссёр еврейского театра, спектакль которого в этот вечер как раз ставили в большом зале Центрального дома литераторов. На голове его, как и положено, ермолка. И он спрашивает меня сладким голосом: «Сдгаствуйте, что-то давно ви к нам не заглядываете?» Обращается без имени, как к хорошему знакомому. На секунду я задумался... Откуда он меня знает— ведь ни на одном спектакле еврейского театра я не присутствовал?... Понял, что спугал с Максимовым. И, чтоб не расстраивать доброго еврея, я, вживаясь в образ своего нечаянного двойника, отвечаю ему: «Знаете, я так сейчас загружен на телевидении, а ещё и театр, и политические шоу— ну просто не остаётся времени для друзей! Но я вам обещаю, что как только найду свободную минутку, тут же и забегу к вам!» Этот ответ устроил моего визави, и мы разошлись с ним как в море корабли союзников...

Но я убедился, как легко перепутать носителей львиных грив. До сих пор иногда слышу от моих

знакомых, что видели меня на канале «Культура», где я вёл какую-то передачу... «Да-да»,— отвечаю я в таких случаях. Так что, может, ты и прав, что евреи и русские давно стали зеркалом друг друга. К этой парадоксальной мысли приходишь вновь и вновь, потому что сегодня по всему миру открыта «охота на русских»— преследуют, как в своё время преследовали евреев.

— Известно: фамилии не подчиняются правописанию. Как говорится, дана, так носи! Неблагозвучные—меняй. Если учесть, что Игоря Тюленева до сих пор в глаза и за глаза по-прежнему кличут Тюленёвым, как в раннюю его пору, стоит задуматься: а какую роль может сыграть буква в жизни творца?

— Если следовать этой аналогии,—Тюленёв, значит, тогда надо другого звать Медведёв. Но это же не по-русски! Да и по паспорту у меня было без точек над буквой е. Так что я ничего в паспорте не менял. В советское время тоже было хитро: точки же над буквой «е» не ставили. То есть я и по паспорту Тюленев.

Возьмём того же краснодонца Сергея Тюленина из «Молодой гвардии». Он же был не Тюленин, а Тюленев. Мама его не могла из-за этого пенсию получать! Ей после выхода фадеевского романа пришлось фамилию сменить, чтобы получать за сына пенсию. То есть стала она Тюлениной. Меня же, как и в случае с Андреем Максимовым, иногда путают: пишут Сергей Тюленев. В этом смысле мне помог Александр Фадеев. Одна поэтесса, учившаяся у Юрия Кузнецова, так и подписала мне книжку: Сергею Тюленину...

Однако старейшина советской прозы Сергей Сартаков во время какого-то, проходившего в Москве семинара молодых спрашивает: «Как фамилия?»—Говорю: «Тюленёв». Он: «Не Тюленёв, а Тюленев! Генерал Тюленев, который Кавказ освобождал, не ваш родственник?»—«Нет,—отвечаю,—у меня—свои генералы».

Однако после этого я над произношением собственной фамилии призадумался. И нашёл выход—эту цитату я часто привожу на своих выступлениях: «Тюленев или Тюленёв, но оба самородки!»

— В начале творческого пути ты, ныне известный автор двадцати книг, чьи стихи представлены во многих отечественных антологиях, не находил признания ни у пермских коллег по цеху, ни у здешних же издателей. Прорывался к читателям через столицу. В избранном твоём натыкаешься на строки: «Товарищей не так уж много...». Или—того грустнее: «О Боже, как я нынче одинок—и на Руси, и в девичьем сердечке». При этом в писательской среде, особенно в провинциальной, можно нередко услышать: «Как же! Тюленев так далеко ушёл и высоко поднялся—выбился в секретари Союза

писателей России, а также—в столпы Литфонда, но тем не менее нас, земляков своих, не печатает! Зато публикует направо и налево себя, любимого...»

— Как не печатает?! Ещё давно, когда у меня никаких статусов не было, напечатал стихи нескольких пермских поэтов в столичном журнале «Молодая гвардия». Даже спасибо никто не сказал! Но дело не в этом. Я обойдусь. Я ведь всё-таки напрягался, что-то делал. Я не говорю, Юра, про тебя—ты, вообще, везёшь на себе целый воз и тоже, наверное, благодарности не дожидаясь? А я уж не стал тянуть на себе эти возы. Печатаю! Пусть не лукавят.

Не так давно в Италии отпечатана двухтомная антология «Слово о матери». Как известно, я входил в её редколлегию. Сколько там пермяков опубликовано?! И Алексей Решетов, и Виктор Болотов, и Николай Домовитов, и Анатолий Гребнев, и Валентина Телегина, и Алексей Мальцев, и Фёдор Востриков, и... Следом вышла уже новая антология «Битва под Сталинградом»—я туда отдал большой материал Елены Рождественской про жившего в Перми поэта Владислава Занадворова, который погиб на фронте. Так что чего на меня обижаться?

— С одной стороны, ты однажды признался в стихотворении «Обломов»: «Пусть рвутся слабые к победам, / А я всех победил уже». А с другой—если внимательно прочесть твою книгу «И только Слово выше Света», поражает самопризнание, граничащее с парадоксом:

*Я родился для правого дела,
А на ложные стогны набрёл.
Видно, муза моя очумела,
Потому-то и слов не нашёл.*

О каких ложных стогнах—сиречь площадях говорит Игорь Тюленев?

— Мы—грешные люди, поэтому бывает, что маленько не туда уходим.

— Кажется, что Тюленев всё время идёт туда—он, по определению, не может идти не туда. А на проверку—неужели и он обманывается?

— Ну, допустим: кто-то пошёл за такими, как Ельцин. Я, кстати, за него не голосовал. А многие из моих друзей голосовали. За так называемый ветер перемен. Но это был не тот ветер, что у Юрия Кузнецова. И надежды обломались. Кто-то за Горбачёвым пошёл. А тот, вообще, меченый. Как его Тэтчер выцепила, чтобы он под её дудку плясал?! Разве это не «ложные стогны»? К тому же я не оптинский старец, не православный схимник, чтобы идти безукоризненно и точно. Наш вечный путь—ко Христу, но по имперской России. И каждый идёт к Иисусу Христу своей дорогой. Толпой к Богу не бегают.

Михаил Тарковский

Что скажет солнышко?

Раньше казалось, что если не напишешь по горячему рассказ или повестуху, то можешь попрощаться с ней навсегда. Дескать, всё надо сразу делать, а если промешкаешь — утечёт состояние как вода, не сможешь вернуться в него. Неумолимо изменится всё на земле, включая цвет воздуха, и если уже есть начало, то никак не приклеишь к нему серёдку — будет она инородной, не совпадёт по частоте кадра и плотности земной атмосферы. Поэтому — никогда не откладывай. А если отложил — забудь. Такими отложенными и неразрешившимися задумками усеян писательский путь. Они как оторки на пути, как своротки в тайгу — вроде вот он заезд, а дальше тупик, развороченный гусеницами пяточок.

Историю, о которой идёт речь, я задумал больше десяти лет назад. Тогда сильно болела моя первая жена, у которой была другая семья в другом городе. Но мы продолжали общаться, и я рассказывал ей о своих планах, и о планах написать повесть «Собачья жизнь». Дальше планов дело не шло, хотя кое-какие намётки написаны были, совсем короткие. Но при телефонном разговоре или встрече Наташа всегда спрашивала: «— Ну как, ты написал „Собачек?“». Такая даже игра-не-игра образовалась, и была понятно, что надо написать и что Наташу эта история поддержала бы, заняла бы. Э-э-х. «Собачек» я тогда так и не написал.

Годы спустя я несколько раз возвращался мыслью к этому повествованию, искал те самые намётки, которые наполовину потерялись из-за поломок компьютеров, и даже пытался написать план, но так ничего путного и не высидел. Чего-то не хватало внутри самого себя. А тут после труднейших «Полёта совы» и «Фарта», полных социально-мировоззренческого упора, поиска, созидания на грани невозможного, вдруг всплыли «Собачки» и... В общем, самое главное дерзнуть. И вот это вот решение дерзнуть, это крепчание решения, превращение из ничего в нечто — самое удивительное и поучительное в жизни, потому что есть тут и выбор, и чувство развилки... А когда дело сделано, то оторопь берёт: а вдруг не рискнул бы? Это как превращение помысла о будущем ребёнке в новую жизнь. В рождение. Поэтому от плана до его воплощения — пропасть, но ты хозяин броска. Значит, ещё как можно спустя годы

возвращаться к былым задумкам. Входить в ту же самую реку, в которой, конечно же, уже другая вода, да такая густая, что становится возможным невозможное ранее.

Можно подумать, что такое подскребание мушцы по прежним ларям — от бессилия, от отсутствия мыслей, а можно наоборот — что надо замысел до конца доводить, нельзя, чтоб валялся невыполненным. Но в любом случае — история полезная прежде всего для самого себя. Испытав такой поворот и отнесясь к нему как к чему-то исключительному и случайному, я на всякий случай снова прошёл по сусекам и, что самое удивительное, снова наскрёб.

Скребите, подчищайте, ведь жизнь быстротечна и все под Богом ходим.

Название получилось другое, многое добавилось, никакого, конечно, Солнышка изначально не было, да и затравочным элементом стал всё тот же социальный пафос: хотелось показать отношения гражданина и государя, с одной стороны, и положение России после буржуазного переворота конца двадцатого века — с другой. Её шаткую и двусмысленную позицию, когда за уступки и подачки мы изменяли своим традициям, вынужденно и унижительно приобщались ко всяким «декларациям прав», сворачивали оборонительное вооружение на стратегических рубежах и в собственных душах и прочее, и прочее. Измена продолжается, в русских школах творятся англосаксонские шабаши, города пестрят иноязычными вывесками, в московском метро остановки объявляются на русском и на английском языках. Продолжается травля России Западом и травля русского искусства внутри России, когда с экрана телевизора на всю страну заявляется, что наша песня слаба и плоха, поэтому вокальные данные можно проявить только на английской музыке.

Леший с имья! У нас в тайге, как молились старообрядцы по старым книгам, так и молятся, как живёт глухарь на всё той же тундрочке, так и живёт, не помышляя о перелётах туда, где потеплей и хвоя послаще. Как промышляли мужики соболя, так и промышляют. И как верны были собаки своему хозяину и своему промысловому призванию — так верными и остаются. И никто имья не указ.

Светлой памяти
Наталии Валерьевны Моралёвой
посвящается

1. Рыбник

Уму не постижимо! Первая осень в тайге, да ещё с братом...

Как сейчас помню предотъездные дни: Старшой, избегая-иссобираясь до такой низкой и сизой облачности в лице, что даже монументальный Таган, серый кобель западно-сибирской лайки, сидя на цепи и сдерживая предпромысловую дрожь, несолидно поскуливал на метания хозяина со шлангами и канистрами.

Облачность на лице Старшого грозила колючей крупкой. Он пробежал к тракторёнку, жгуче дынув на меня черемшой, а дальше всё походило на какую-то панику, запой... громождение ящиков, канистр, мешков из так называемой «стекляшки», мягкой пластиковой плетёнки. Плоская, как лапша, нитка, если порвётся и расплетётся, то необыкновенно противно цепляется за углы ящиков, железа и оказывается неожиданно крепкой, пружинящей.

В телеге такой мешок, туго и бугристо набитый капканами, навалился на железную печку, свежесваренную, с зубастыми необтёртыми углами, с синей окалиной и заусенцами. Мешок зацепился, и когда на берегу его рванул Дяа Стас, здоровенный старшовский шурак, то выдралась дыра с мочалом ниток. Вывалился капкан и волочился на привязчивой жилине. Мой брат в ней запутался, а Старшой с грозовой синью в очах рыкнул: «Помощнички!»—и тут же улыбнулся, но как-то постепенно, мутно-солнечно, начиная с глаз. Он помог брату выпутаться, а капкан бросил в лодку, но тот не долетел и, гулко ударив в борт, упал в воду. Старшой его достал и положил на бортовую доску-протопчину. Синеватый чуть в копоть и чуждо пахнувший фабрикой, он холодно горел в осеннем серебряном свете. На сальной от смазки тарелочке кругло лежали капли. Сомкнутые дуги молчали.

Всё наконец оказалось загруженным в деревянную длинную лодку, и мы с братом, не веря счастью, уже сидели на носу среди груза, я на железной печке, а брат на сундуке, и восторженно вдыхали пряный осенний воздух. Десятками запахов говорили эти берега, травяной прелью, полынной и тальниковой горечью. Когда лодку догонял ветер, нас обдавало масляной гарью мотора, а из сундука несовместимо сочился запах рыбного пирога.

Едва Старшой оказался за румпелем, лицо его окончательно разъяснилось, и последнее рваное облачко раздражения уже не делало погоды: сухое

и крепкое лицо ровно и одухотворённо горело осенним солнцем.

В перекате на мялке буквально под бортом торопливо занырнул-исчез крохаль¹. Вытянув шею, я увидел его совсем рядом и поразился, как, помещённый в тонкий пласт воды, он, плоско изменившийся, уверенно и тягуче-гибко выгрбал крыльями, и как, преображённые изумрудной водой, ярко горели на них белые зеркальца.

Таган сидел в самом носу, нервно и величественно вдыхая ветер. Мы ехали в каком-то тихом восторге, и только в узком и скалистом месте, где начался порог с пенным косым валом, стало неуютно и захотелось слиться с лодкой, сравняться с бортами, обратиться в какой-нибудь плоский бак или рулон рубероида. Брат нарочито громко зарассуждал об осенних запахах, которые богаче весенних именно из-за «этой перепрелости», а потом вдруг спросил, нравится ли мне Николь. Я пожал плечами. Во-первых, она мне совершенно не нравилась, а во-вторых, вся эта Николь нисколько не шла окружающей обстановке. Особенно с её напружиненными кудрями и с идиотическим именем.

На третий день к вечеру мы были на месте. Часть груза предполагалось увезти вверх, а часть оставить здесь—на базе, состоящей из просторной избы, бани и снегоходного гаража. Особенно впечатлил нас лабаз для рыбы и прочей добычи на четырёх ногах. Ноги его были обёрнуты полиэтиленом.

—Что б мыши не залезли!—догадался я. И мы с братом хохотали, представляя, как смешно срываются мыши, перебирая лапками и пища от возмущения.

Молодость есть молодость. Старшой сосредоточено подсчитывал, сколько батареек и пулек пойдёт в какую избушку, и помощи от нас не требовал: подозреваю, даже хотел, чтобы мы не мешались. А мы и не лезли: привыкшие к плоскому Енисею, мы никак не могли оторвать глаз от волнистых гор, от реки, какой-то необыкновенно ладной, совершенной в каменных своих стенах...

Уже стемнело. Почернели берега. Река шумела с пространной задумчивой мощью, каждый камень, каждый скальный обломыш давал пенный завиток течения, и шум складывался из сотен таких завитков и стоял сплошь. Мы прогулялись вверх до ручья и, развернувшись, остановились. Старшой копался у груза. Мелькал льдисто-голубой налобный фонарь, и в нарождающемся туманчике мутно-дымно продлялся, клубисто креп и длиннел его луч. Старшой что-то доставал, перекладывал. Потом вдруг побежал вниз к лодке, и оттуда остро пахнуло бензином. Видно, поставил наливать бензин для генератора, и замешкался, разбирая груз, а он перелился. Потом ушёл в избушку. Всё это выяснилось, когда мы подошли. Картина была

1. Крохаль—порода широко распространённой в таёжных реках рыбацкой утки.

следующей: край брезента откинут с сундука. А рядом на бочке картонный ящик с рыбником. — Опа... — поёжившись, сказал брат. — Ну чо. Всё вроде сделали. Доехали. Да Серый?

— Ну я думаю, да...

— Эх, давно ли я так вот мечтал... С братом... Слушай, — он с силой втянул воздух, — ммм... Я прямо *чувствую* эту осень. Знаешь, у некоторых вечно... «надо втянуться, присмотреться...». Будто бояться, что не сдюжат. А я уже знаю — сдюжу! Потому что моё!

— Утром точно заморозок будет! Звёзды такие... Прямо мороз по коже...

— Ну. Праздник. Знаешь... Эта даль, эти запахи, и... этот пирожиче. И звёзды... Пирог и звёзды! Угощайся, друга.

— По-моему нельма.

— Ну. Обалденный. Всё-таки Тётка Светлана первокласно стряпает.

— Ну. Ць-ць-ць...

— Тут ещё со стерлядкой!

— Да ты чо? Давай его сюда.

— Не жрамши с утра.

— Да понятно. Старшой-то перехватил, поди.

— И не раз. Он в лодке из термоса пил. Ну, давай!

— И из фляжки тоже, хэ-хэ. Так что ни бэ. Не обидит себя. Хрячки классные.

Совсем стемнело, подстыло, и тянул ночной хиусок из горного ручья. Дым от костра и избушки совсем положило на берег, и он смешался с туманом. Пахло теплом, жильём и речным берегом. Отяжелелые от впечатлений и ужина, мы с братом не спеша поднялись к избушке, чувствуя как подбирается к телу молодой сон.

Раннее сонно-тёмное утро выдернуло меня из будки мощным рывком Старшовой руки и громовым окриком: «Ну и как рыбничек?» Я тут же был посажен на цепочку и одновременно отлуплен. Братец было ломанул наутёк, но Старшой настолько грозно вскричал: «Рыжик, падла, стой!» что тот упал как подстреленный и пополз, прижав уши. «Будешь по ящикам шариться, козёл?! Будешь?!» Рыжика подцепили, и он тут же, кругло поджав задок и опустив хвост промеж ног, юркнул в кутух.

Бил Старшой больно, но грамотно — толстым прутом по окорочкам. Ляжки горели. Я посмотрел на Тагана. Тот очень тихо сидел, высунув нос из будки и почти слившись и с ней, и с местностью, а когда Старшой, словно нам в укор, отпустил его, невозмутимой трусцой и будто по делу отбежал в лес. Таган умудрялся сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и даже в случае наказания умел выражать своим видом полную правоту и ещё и выставлять хозяина в несдержанном и дёрганом виде.

Теперешняя невозмутимость Тагана была абсолютно фальшивой, ибо означала, что мы негодяи,

а он молодец и ни *в жись* не съел бы рыбник, хотя вся его заслуга заключалась лишь в том, что он с вечера был посажен на цепь, чтоб не удрал с утра шариться по тайге и нас не увёл. И я *абсолютно* уверен, что окажись он на берегу, то моментально отобрал бы у нас пирог, сожрал его, а виноватыми оказались бы мы, семимесячные щенки-первоосёнки. А он бы царственно сидел в кутухе, и нам бы его ставили в пример.

2. Капканы на нас

Хочу теперь остановиться на таком важнейшем, краеугольном явлении в собачьей жизни, как *постановка капканов на собак*. Именно так и никак иначе. Беду лучше предупредить. Лучше небольшая неприятность сразу, чем полная непоправимость потом.

Вечером Старшой нас отвязал и как-то особенно приветно-заманисто и демонстративно-наглядно стал вдруг ставить капкан под кедрой: сделал из колышков загородку, оставив узкую тропку для алчущего. Поставил капкашек, ещё один, ещё — а к дереву в глубь сооружения положил настолько великолепный кусок рябчиного задка, что я неуправляемо облизнулся. Старшой таинственно приговаривал, мол, видишь, нельзя-я-я сюда, и вроде как всё-таки: «ну, попробуй-попробуй, ну»? Потом то же самое сделал у ёлки в прошлогодней такой же печурке, и я увидел, как слотнул Рыжик, глядя на вторую половинку задка. Таган не смотрел и был непроницаем.

Покормили нас как-то подозрительно неизобильно, хотя каша была хороша: овсянка с отличной варёной щукой, с разлившимся нутряным жиром и с хайрюзовыми головами. Думаю, Старшой сам бы её с удовольствием попробовал. Кстати, однажды он сварил себе и нам по одинаковой кастрюльке рыбы и запутался, где чьё. Кончилась крупа для заправки «собачьего»: где-то мы встряли весной со Старшим, на каком-то острове, ещё маленькие... С мыслями-воспоминаниями о том походе я и заснул. А проснулся ночью от обострившегося запаха рябчиной гузки. Меня буквально прошило радостным открытием: бывает, мы себе напридумываем на ровном месте запретов, а они... Вот давай, Серый, рассудим: ведь нас наказали за то, что мы сбросили с бочки и открыли ящик. Он был упакованный, и это означало, что не про нашу честь. Согласен полностью. За то мы и получили. По первое число. Тут другая история: рябчик лежит *на полу*, как говорят охотники, и без упаковки, а значит, является предметом общего пользования, как бы выразился грамотный Рыжик. От этого открытия... прямо темнота расступилась. Надо тихо-тихо, чтоб не разбудить Рыжика... Почему-то в таких случаях не хочется, чтобы видели... Не потому что затеваешь недоброе, а потому что опасешься припозориться, если неправильно

управишься. Только поэтому. В общем, я осторожно подошёл к печурке и наступил...

Я думал, что без конца упоминаемые мною в этой истории капканы—это такие же обожаемые Старшим железяки, как пилы, цепи, ключи, винты-болты и прочие в кавычках друзья человека, а значит, и наши... И тому что капканы сейчас как-то слишком плоско растопырены—не придавал ни малейшего значения. Я наступил на самый краешек дужки, и капкан наклонился, лапа с него соскочила, и он подпрыгнул и хлопнул дужками так, что искра вылетела и запахло кремнём (знаю этот запах: видел, как Старшой показывал сыну Никитке такую искру). Я отскочил как ужаленный, не ожидая такого выпада—эффектного, смешного и бессильного одновременно: ясно, что капкан мне ничего не сделает—какого размера я и какой он?! Только пугнёт, нашумит. И я замер, прислушиваясь, не разбудил ли Рыжика или, не ровён час, Тагана. Было тихо, и я, осторожно ступая, вернулся в свой кутух. Но... сна не было. Снова попытался вспомнить, как чуть не перепутали варёную щуку... Таган рассказывал такую же историю, только с мясом. Два одинаковых котла... Тоже не было крупы, где-то их льдом заперло... «Льдом-льдом»...—передразнил я сам себя. Какой лёд, и какой сон, когда у тебя все мысли у этого капкана. Ты—собака! Не сдаваться. Трудное начало—признак удачного продолжения. Не впервой! Главное—не наступать на край капкана, чтоб он не скособочился и не склацал на все Хорогочи.

Я снова подошёл к печурке и наступил точно на середину следующего капкана—на его ровную гладкую тарелочку. Острейшая боль обожгла лапу, но страшнее боли была неожиданность. Оглушительный визг вырвался из моей пасти. Я попытался сбросить капкан, попытался бежать, но держало крепко—капкан был привязан к колышку. Попытался грызть—не ожидал, что металл такой мерзкий, холодный и кислый, хотя Старшой и выварил капкан в пихтё... В отчаянии укусил лапу! Почему капкан не отпускает? Страшней всего непонятное! Ладно бы тяпнул и отпустил. У нас-то ведь удар-укус. По крайней мере первый, предупреждающий. А этот держит. И чуть дёрнешься—такая боль, что в глазах мутнеет.

Из избушки не спеша вышел Старшой с налобным мертвенным фонариком. Несмотря на мои крики о помощи, которые я показательно усилил при его появлении, он не торопился и даже замешкался под навесом избушки. Зная пристрастие Старшого к механизмам, я решил, что он ищет какое-то приспособление, какой-нибудь очередной «капканный ключ-освободитель на две-тысячи-пятьсот-четыре на семьсот семь хромованадий». Но как рухнуло сердце, когда он подошёл, и я увидел в его руке знакомый прут.

Самое дикое, что Старшой присел на корточки рядом со мной и ещё несколько минут, которые показали вечностью, объяснял, что нельзя-я-я так делать, что, мол, вот посиди, посиди и что это лучше, чем пойти на варежки... Так и сказал. На варежки. Потом отстегал меня и сжал пружину крепкой кистью. Подобрав лапу, я пристыжённо унёсся в кутух.

Заснуть не мог часа полтора, очень болела лапа. Наконец задремал, но тут же проснулся от визга. Визг так же длился минут пять, пока не подошёл Старшой, и всё не повторилось. Я не выдержал и, опустив хвост убежал в лес. Вернулся через часок, когда рассвело и Старшой разбирал сеть на вешалáх... Накрапывал дождь. Собаки на редкость непамятозлюбные, и пока я гулял, настроение поправилось. Если час назад поведение Старшого и осознанная тягучка с моим освобождением казались верхом предательства, то теперь я обрадованно завилал хвостом. «Что, капканщик, набегался?»,—полугрозно сказал Старшой, и я уткнулся ему в колени. «Ну всё-всё»—говорил Старшой справедливым голосом. А потом с улыбкой... с облегчением: «Ничо, всё нормально будет... заживё-ё-ёт лапа... заживё-ё-ёт».

Вот тут-то я и проснулся по-настоящему от щелчка и лёгкого взвизга. В воздухе так же пахло кремнём от капкашка, который своротил и рассторожил Рыжик, смущённо скрывшийся в соседнем кутухе. Я уже не спал окончательно, но разговаривать не хотелось, и я притворился спящим. Подозреваю, что Рыжик делал то же самое. Сна не стало вовсе. Не потому, что мне хотелось услышать, как попадётся Рыжик. А просто не было. С огромным трудом я нагнал на себя полудрёму и вдруг услышал шевеление, трусцу по утоптаной земле вокруг избушки и удаляющийся шорох по мху, прихваченному ночным морозцем. Чуть светало, и я увидел, как Рыжик осторожно, как-то особенно мелко рыся, приблизился к печурке и аккуратно поставил в неё лапу, потом, видимо, другую (ещё было плохо видно), а потом просунул внутрь и высунул обратно с чем-то в зубах, а потом оглянулся и, быстро отбежав, повалился на мох, и раздалось аккуратное чавканье.

Вскоре проснулся Старшой и первым делом заглянув во вторую печурку, процедил грубое слово, подошёл в Рыжику, проговорил: «Л-л-ладно. Я те устрою. Суконец». Меня порадовало, что он правильно определил нарушителя и не подумал, что это я второй раз полез: доверие. Потом Старшой положил приваду и снова всё насторожил.

Вечером Старшой наставил ещё кучу капканов, присыпал пером и положил очень пахучей привады. Ночью раздался оглушительный перецёлк капканов, топот Старшого и звуки погони. И истошный визг Рыжика. Я от греха отбежал на бережок.

3. Клятва

Я в вере не силен, но знаю твёрдо—у картин тоже есть душа. Об одной из таких картин расскажу.

Рыжик так и не попался. Тогда Старшой взъярился, схватил Рыжего в охапку, притащил к печурке, ткнул лапой в капкан и оставил сидеть орущего. Я, по обыкновению, удалился на бережок.

Потом мы довольно быстро развезли груз по береговым избушкам и вернулись на базу—лили дожди. Ни зверя, ни птицы мы не видели. Единственное стоящее и поучительное происшествие называлось «банки с повидлом». Точнее, «разбитые банки с повидлом». Размок картонный ящик, и Старшой при разгрузке разбил несколько стеклянных банок. Как сейчас помню—две с повидлом: яблочным и сливовым. Одна с томатной пастой. И одна с кабачковой икрой. Икра казалась беззащитно-бледной в осеннем стальном свете... А осколки с зеленоватыми гранями—особенно жестокими и досадными...

Мы с Рыжиком стояли рядом, катастрофически не зная, что делать с этим нелепым месивом. Таган сказал очень уверенно:

— Да спокойно можно ись. Ничо не будет. Вообще не обрежешься. Смотрите: мастер-класс. Короткий ход языка. Вот так вот. И вся недолга. Хорошее повидло, кстати. Вот так вот... Р-р-р-рез, р-р-р-рез... — Кхе-кхе... Дядя Таган... Вы это... Не увле... — пролепетал Рыжик, — разрешите отработать приём?

— А,—с недоумением прервался Таган,—ну давайте...

Оказалось, можно абсолютно не рискуя поранить язык, съесть всё повидло, просто очень аккуратно облизав каждый осколочек. И пасту тоже. Да. И икру. Хорошо, когда с юности везёт с наставником.

Настала ясная погода, и в первый же утренник Старшой повёз нас на за птицей. Глухарь по осени вылетает на бережок добрать мелких камешков. В его желудке они перетирают кедровую хвою.

Раз уж зашло про желудки: до чего красиво устроено всё живое!

Люблю смотреть, как Старшой разделяет глухаря...

Прошу запомнить эту фразу! Она покажет, насколько причудливо преломляется слово собачье по отношению к человеческому. Так вот, люблю смотреть, как он работает—руки двигаются быстро и необыкновенно точно, и, кажется, всё—и печёнка, и сердце, и кишочки—само разлетается по кучкам. А посуда—чашки, тазы, вроде такое женское, кухонное, а, попадая в рабочие руки, будто мужает. Старшой топориком на чурке отрубает крылья, и мягкое пуховое перо остаётся на изрубленной иссечённой плоскости вмятым, влипшим в тонкую расселинку от лезвия. Вот по перу разрезает крепкую грудь, раздвигает

пупырчатую шкуру, и лилово открываются две могучие мышцы-пластины в жёлтой обкладке жира. Вот в несколько движений—шкура с пером снята, и как ложкой вычерпнут пятернёй плотно уложенный, фиолетовый ком кишочков... И вот Старшой берёт и разрезает тугой, тёмно-красный желудок—жгутно-утянутый мясной узел с перевязью белой жилы, разрезает его по самой жильной скрутке, и нож, углубясь, нет-нет да и чиркнет сухо по камешкам. Камешки—белый прозрачный кварц, меленькие, как рисинки, овальненькие с вмятинками, точечками. Лежат в кедровой хвое, чудно настриженной глухариним клювом. Стенки желудка ребристые, в мелкую насечку... (вынужден применить сравнение): как кошачье небо... (куда деваться—правда превыше политики!) И всё это круговое небо—лилово-малиновое от ягодного сока и будто бархатное. Так что... влажный полупрозрачный кварц. Малиновый бархат. Зелень хвои...

«А ну нельзя смотреть! Давай чеши отсюда. Кому говорю! Но!»

Собак гонят с кухни, от разделочных столов и прочих важнейших мест с роковой какой-то силой... Голодные глаза никому не нравятся. «Подбери слюни!»—лучшая награда за такие наблюдения.

На утренники собак и берут, и не берут. Не берут, чтоб не орали из лодки на всю реку на глухарей. Правда, привязанные у избушки и оставленные они ещё пуще орут, и тишайшим утром изводит охотника хоровой отчаянный лай, слитый эхом в одну запевную ноту. В лодке ли, у избушки—собак привязывают часто. Цепочек не напасёшься, поэтому привязка—обычная капроновая верёвка с петлёй. Петлю натягивают на наши морды так, что те становятся особенно клиновидными, кулькообразными, а глаза—раскосыми, чёрные же углы рта оттягиваются необыкновенно тонко и глупо. Уши прижимаются, и получается комично-китайское, лисье выражение, у Рыжика особенно смешное: у него крепкие бакенбарды, стоящие торчком—а без них голова совсем узкая и маленькая.

Привязки так и лежат в лодке и у будок-собачниц, или, по-нашему, кутухов. Я специально остановился на привязках, потому что к ним привязано, простите за каламбур, одно неотрывное от собачьей жизни понятие—*отъедание*. Но не в кормовом плане—не будьте наивными: это нам не грозит.

Итак, стекляннейшее утро после наивзвезднейшей ночи. Иней по рыжим листьям, по берегам причалам из сыпучего тёмно-розового камня. Потом, когда выйдет солнце, седина оплавится. Листьяги оплачутся, и красные причалы станут малиново-мокрыми.

Но вот Старшой позвал, и мы, сшибая друг друга и Старшого, снарядами выпрыгнули в лодку, да так радостно, что я даже выпрыгнул обратно на берег

и снова запрыгнул в лодку, за что был обруган и получил с берега пинка. Пинок был бесполезный ввиду моей скорости, так что ногу Старшой выбросил вхолостую и еле удержал равновесие. Всё равно как заряжающий пнул бы снаряд. Камни были заледенелые, и Старшой чуть не упал, как-то неудачно извернулся, и у него вступило в спину. За что я был обруган дополнительно. Снаряд—это огромная пуля, для справки. Матчасть знам.

Таган решил и здесь показать мастер-класс, успев пробежаться по берегу и вернуться секунда в секунду с нашим отплытием. Впрыгнул он виртуознейше—движение не описать, но всё в нём: мощь и грация, мягкий тугой топот, изгиб тела, поджатие задних лап в момент пролетания над лодочным бортом.

Нас прицепили кульково на верёвки, и мы двинулись. Прежде на носу царил Таган, а теперь туда определили меня. Чтобы лучше видеть, слышать и обонять, я старался залезть подальше-повыше, пытаюсь лапами удержаться на наклонном бруске носовила², синем от изморози и скользком. При-вставал, и дрожали поджилки на задних лапах, а мне всё казалось, что надо ещё выше вдвигаться—ввинтится в осенний воздух. Старшой сбавлял газ и сдавленно, чтоб не шуметь, рычал: «Ты чо там мостисся? Чо мостисся!» И грозил шестом, но дотянуться не мог. Я пуще вытягивался и перебирал дрожащими лапами по носовилу, и чем больше перебирал, тем выше возносился над упругой рекой. Старшой сделал резкое движение румпелем, лодка рысканула, лапы, уже протопившие пятно на дереве, соскользнули, и я полетел в воду. Вместо того чтобы остановиться и вытащить, Старшой продолжал невозмутимо волоочь меня вверх по шивёрке. Я бултыхался, хрипел, и когда казалось: всё—задушил, он остановился и вытащил меня—жалко похудевшего, трясущегося. Облепленного мокрой шерстью, холодающей, липнущей, тяжелой. . . «Ну чо? Понял, как на носу сидеть!» А я чо понял? Мне б отряхнуться! И вот—круговой фонтан искрящейся пыли во все стороны! И мокрый Старшой машет руками: «Ты, дождевальное устройство, я те чо—грядка!» А смысл науки таков: привычка моститься на носу может стоить собаке жизни—в серьёзном пороге её уже не выудить: хозяин не бросит румпель. А болтанка такая, что сорвёшься в два счёта.

Поворот открыл первозданнейшую длинную гору с отвесными столбами-перьями и щёткой редколесья поверху. Выходило солнце и налило таким густым и ярким светом посеребрённые лиственницы, что и в душе всё зазолотилось, а ещё

2. *Носовило*—так сибирские лодочные мастера называют форштевень. Шпангоуты именуются упругами, а центральная донная доска—донницей. Сказолюбивый пёс сидел на плоскости носовила, обращённой внутрь лодки.

говорят, у собак чёрно-белое зреньё! Рыжик засиял вовсе медно, и вдруг я увидел, как он. . . Подбираю слово: мелко, смешно, по-разгильдяйски, нецеленоправленно, неосновательно. Всё не то. . . Будто шутя. Будто между делом чавкая, жамкая, кусая. . . Комично пыжа голову книзу. . . Будто пытаюсь уку-сить себя за шею и смешно разевая рот, мусолит верёвку-привязку. И уже почти переел её. В эту же секунду раздался окрик Старшого, совмещённый с ударом шеста по Рыжиковой спине. Для справки: шест—универсальный инструмент управления судами и собаками.

Несмотря на алмазнейший утренник, ника-ких событий, кроме моего купания и отъедания Рыжика, не произошло. Видно, утренник был чересчур образцовым, и это смутило глухариное руководство. Возможно, показательный блеск выглядел слишком внешним, искусственным и направленным на внешний эффект. А может птицу смутил небольшой ветерок. Старшой не унывал и, пойдя назад самосплавом, кидал спиннинг. Рыжик очень смешно наклонял голову и крутил ей, глядя на цветные камни, пронзающиеся под водой, и насмешил Старшого, взлаяв на ленка, который неожиданно высоко выпрыгнул, когда его тащили.

Окончательно пригрело. Река вдруг оглубела и расширилась перед скальным сужением. Старшой достал из рюкзака термос, копчёного сига в газете. Мы оживились.

— Чо занюхтели?

Таган отвернулся и еле заметно сглотнул.

Рыжик тоже отвернулся, но мгновенно голова его возвратилась, как на резинке:

— Слюни подбери!—рыкнул Старшой и, увидев большой взмыр под берегом, схватил спиннинг и начал бесконечное метание блесны, тупее чего может быть только высмотр сетей.

Мы совсем разомлели на солнце, и Таган даже несколько раз ловил клонящуюся свою голову, а потом положил её на лавку и замер, прикрыв глаза. Только пошевеливались в разные стороны уши и ходили ходуном резные клапанки на мокром чёрном носе. Несильный порыв ветра сдул с лавки газету, и она упала под нос Рыжику. Рыжик её понюхал и вдруг, замерев над ней, задекламировал: — Хм. . . Во-ло. . . кон-ный интернет. . .

— На волах что ль?—проворчал, не открывая глаз, Таган. Это было хоть какое-то развлечение. — На ко́нях,—в тон ему бросил и я, очень уж хотелось мне заслужить уважение.

— Узи у «Зины» недорого.

— Чего?—сонно спросил Таган.

— О! Вот это интересно!—взбодрился Рыжик:— Слушайте. Комплект обуви для собак. Четыре ботинка. Предназначен для всех сезонов и любых поверхностей. Используются технологии, и-ден-тичные производству высококачественной треко-вой спортивной обуви для человека. Незаменимы

для ездовых и тянущих пород собак, так как имеют манжеты с застёжкой, надёжно фиксирующие обувь на лапах. Подошвы из известных патентованных материалов «грибтрекс»...

— Из грибов что ль делают?—сострил я.

— Да лан тут колхоз ломать. Наверняка хорошая штука. Мне Николь рассказывала. Короче! Не проскакивают и надёжно защищают от наста, льда, веток и острых камней. Делают процесс переобувания комфортным. Конические манжеты надёжно держат обувь на лапе.

— Швами ещё хуже натрёшь!—пробурчал я.

— Незаменимы, когда есть породный боковой коготь.

— Прибылой палец что ль?—Таган презрительно фыркнул.

— Наверно.

— Дак его, наоборот, удаляют. А то лапу порвёшь лоскутом... И—мяу. Совсем охренели... Нормальное почитай чо-нибудь.

— Между прочим, в Голландии... коготок у собаки не дадут без её согласия состричь! Кх-кхе... Так вот... Они, ну ботинки эти, также пригодятся,—мне казалось, что Рыжик даже поддразнивает Тагана и что он зря это делает,—они также пригодятся для повышения мобильности... пожилых собак (Рыжик быстро глянул на Тагана) и собак с проблемными лапами,—и прочитал с особенным выражением.—Яркая со светоотражающими вставками обувь делает вашу собаку нарядной и заметной в любое время суток.

— На хрена заметной?!—не поверил я.

— Охлаждающий инно... вационный жилет двойного действия помогает собаке сохранить оптимальную температуру тела при любой температуре окружающей среды... Достаточно смочить жилет водой, отжать и одеть на собаку...

— «Надеть» вообще-то по-русски—сказал я.

— Задницу им бы отжать!—поддержал Таган.

— Рюкзак для собак «Полисад-пак» с карманами для двух бутылок воды...

— Прекрати!—взвизгнул я.

— Да вы чо?!—буркнул Старшой.

— Каждой собаке,—заходилса от восторга Рыжик,—после прогулки и прочей активной деятельности нужен отдых и местечко, где никто ей не мешаает предаваться сладким снам и воспоминаниям, где можно удобно вытянуть уставшие лапы или, наоборот, уютно свернуться клубком. Предлагаем потрясающий лежак для ваших питомцев! А чо—нормально! Туалет для питомцев...—вскричал Рыжик,—представляет собой эстетическое приспособление... с выдвигаемым ящиком и лопаткой в комплекте...

— Их бы самих этой лопаткой... по комплекту...—ещё ниже проворчал Таган и закрыл глаза...

— Легко переносится благодаря улучшенной декоративной ручке. Теперь туалет не надо прятать

в ванной. Его можно размещать в любом месте, и он везде будет вызывать восхищение своим удобством, красотой и функциональностью. А уж как котя будет рад! У него будет свой укромный уголок, скрытый от посторонних взглядов...

— Ай-яй-яяяяй!—закричал Рыжик, потому что Таган, молниеносно хватанул Рыжика за окорок, улёгся, возмущённо ворча:

— Т-те устрою лежак...

Рыжик, пряча глаза, скулил.

— Одурил, старый?—рывкнул Старшой на Тагана, и тот втянул голову, зажмурил и плоско вжал глаза. Старшой погладил Рыжика, который беспомощно перевернулся на спину и стал лизать Старшому руку. Видна была выступающая грудина и два завитка шерсти на уровне передних лап—на границе рыжего и бежевого. И передние лапы—сложенные углами и болтающиеся. А Старшой говорил образцово-воспитательным низким голосом.

— Рыжик. Ну Ры-ыжик. Ну ла-а-адно, тебе ла-а-адно.

Приближались пороги, и Старшой спустил их на моторе, а ближе к избушке стащил с наших шей петли. Если *туда* петля надевалась «по течению», смешно уменьшая, удлиняя и косоглазя голову, то теперь, когда петлю протаскивали против шерсти, то мешали уши и шкура собиралась складками и комично давила на лоб, на глаза. Рыжик топырился и только натягивал петлю, затрудняя освобождение.

При подъезде к берегу мы отработали «выпрыг с носа»—важный элемент пилотирования, вызывающий у начинающих собак массу нареканий. Река наша горная, мелкая и особенно каменная у берега. Старшому надо быстро причалить в точное место, заглушить и поднять мотор и, перебравшись на нос, выпрыгнув, удержать с берега лодку. Меж двух камней и целил Старшой. Мы заходились дрожью на носу и, засидевшиеся, мечтающие пронестись по берегу, изготовились к прыжку. Когда уже было рядом—сиганули, оттолкнувшись от лодки и сломав ей курс так, что она наехала на камень, а на нас обрушился целый камнепад эпитетов.

Ночью я снова влетел в капкан, а Рыжик снова ухитрился безнаказанно сожрать приваду. Он запустил³ два капкана, сдвинув их вбок лапой и не то стряся, не то как-то ещё рассторожив. «Нда...—сказал Старшой с задумчивым холодком.—А я смотрю, ты умный... Не зна-а-ю...»

Следующее утро выдалось седым, хмурым с промозглинкой и со сквозной какой-то серебряностью... В первом же повороте на длинном галечнике гнутыми головешками сидели глухари,

3. *Запустить*—закрыть, захлопнуть. Более широко—привести в нерабочее состояние. Как корова в запуске закрывает подачу молока.

штук семь. Они были настолько замершими и непохожими на живых существ, что когда чёрные, медленно покачиваясь и вертикально задрав головы, пошли к траве, то их зачаровывающая медлительность буквально разорвала наши глотки восторженно-возмущённым лаем. Пахло от них невозможно — почему-то печёночной, переваренной хвоей и какой-то кислоткой! Старшой выпустил нас, и мы, подняв брызги, рванули на галечник. Глухари взлетели и, рассевшись на прибрежные листьяги, замерли чёрными почками.

...Боюсь, не описать того *чувства дела*, которое обьяло меня с головой, едва я облаял первого в жизни глухаря, и которое объяснило моё предназначение, одарив проблеском откровения, речь о котором впереди...

При всём азарте я шкурой ощущал, как внимательно смотрит Старшой на мои движения, как присутствует, оценивает, осознаёт происходящее, подправляет негромким словом, и что-то сам себе помечает. Я понял, что мы — очень важное звено, связывающее Старшого и его семью с окружающей нас огромной тайгой. Что вместе мы представляем необъятный организм, многократно превышающий в размерах Старшого и состоящий со Старшим в странных и старинных отношениях. Будто шевельнулись какие-то ваги, жердины мощнейшие между глухарём и камешком, Старшим и мной, мной и глухарём. Когда я думаю об этих вагах, сизых гудящих сушинах, меня аж мутит начинает, и что-то во мне защитно сбивается, ограждая от лишнего знания, от которого я замру, окаменею, иль вовсе на куски разлетится моя бедная собачья голова.

О существовании этих длинных и гудких сил, простирающихся во все стороны тайги, реки и неба, говорил особенный, подправляющий и одобряющий вид Старшого. Так же он шёл с неводом, так же оглядывал возведённый сруб, так же ехал зимой в город, и стрела зимника была в тысячи раз больше его тарахтящей машинёхи.

Это новый образ Старшого мы ощущали и когда он выпускал нас из лодки, и когда забрёл в лес, и шёл к нам, и мы слышали, как осторожно ступает он по траве, по мёрзлomu, кровельно-грохочущим мху, в который нога человека проваливается, оставляя печатные дырки с вертикальными рваными стенками. И когда он подходил, прячась за стволы, отстаиваясь за ёлкой, и выглядывал, шатаясь-двигаясь телом, а потом стрелял и подбегал, чтобы в пылу мы не истрепали, не раздербанили глухаря... и разговаривал с нами совсем другим голосом — словно что-то невидимо-новое нарождалось, строилось, струилось и мы были в центре надежды.

Но чем яснее становилось, что именно Старшой этим невидимым управляет, тем незначительней, незаметней он помогал происходящему и буд-то только присутствовал, тем сильнее оно само

работало и простиралось в сложнейшие дали — точно так же, как уходил-простирался в небо мачтовый листвяг с чёрным силуэтом на выгнутой ветви.

Потом ещё были глухари. А потом Старшой решил, как обычно, «разок шваркнуть пиннинг», а потом помаленьку с этим «пиннингом» ушёл до мыска... А мы бесились, рыча, и носились по нежно жёлтой сухой траве, очень прямой и вертикально-острой, и пропахли ей невозможно, а потом помчались вверх в хребёт, откуда кисло-печёночно нанесло птицей, и взмыли на высоченную гору с гранёными столбами. А потом выбрались на покрытую ягелем бровку, поросшую крепкими кедриками и остроконечными пихточками, среди которых особенно чудно гляделись сухие — пепельно-серые и будто костяные. Мы замерли, затаив дыхание, хотя это было и нелегко — бока ходили ходуном и языки жарко свисали из разинутых пастей. А замереть было от чего...

Тёмно-синие горбатые сопки, о существовании которых мы и не подозревали, с тучевой грозно-стью восстали со всех сторон, а внизу с какой-то поразительной, счастливой наглядностью открылся поворот с лодкой, широченный серп галечника и крохотная фигура Старшого.

Поразила река, плавно ползущая под уклон сизо-серебряной шкурой в водоворотах и шершаво-свинцовых пятнах ряби. Её тягучая плоскость меняла угол в каждый точке и, устремляясь меж каменных мысов к порогу, неумолимо и мощно ускорялась, растягивалась пятнами и гравюрно темнела складками от каждого камня. Далеко внизу пролетел глухарь, казавшийся сверху особенно сизым. Летел он, очень часто и книзу маша крыльями, мощно и коротко вспархивая, а потом мгновенно замирая в планировании. Застыл — и новая череда взмахов и долгое планирование на острых, плугообразно выгнутых, крыльях. Даль была такая совершенная и настолько... крупно-насыщенная, что дух захватило от пережитого, и мы долго стояли рядом... в одной волне, в одной... счастливой поре... ощущая с небывалой силой, что мы братья. И что всё, открытое нам, — от дальней горы до фигурки Старшого — наше, и мы, объятые одним делом, нужны и себе, и дали, и, главное, Старшому. Переполненные, мы заговорили наперебой обрывками мыслей, чувств:

— Вот это вид!

— Здесь даже ветер по-другому дует!

— И пахнет... — сказал Рыжик: — ой, как хорошо! — и вдруг глянул на меня в упор: — Ты вообще понял?

— Что понял? — насторожился я.

— Что *он* без нас не может...

— Старшой-то?

— А кто же ещё-то? Се-рый — отдельно сказал Рыжик: — Серый, ты понимаешь? Мне раньше казалось, что мы без него пропадём, а ведь, оказывается, и ему без нас... мяу.

— Да? Тебе тоже так показалось? Рыжий! Ведь вот как бывает! Ещё недавно, кто мы были? Щенчишки... А теперь у нас своё дело. Давай, брат, ты знаешь. Давай вместе как залаем за это!

— Давай!

И мы дали.

— Да лан, не ори,— сказал я, отдышавшись, кедровке, усевшейся на сушину.

— Да ей завидно!

— Да, Рыж, действительно, надо сейчас что-то очень важное сказать друг другу... И вот этому простору... Смотри, Таган, по-моему, норку гоняет...

— Да где?

— Да вон, в курье⁴ за лодкой!

— Точно! Без нас, главное!

— От однодворец! Хе-хе!

— Ну. Да, кэшно, это важно, когда у тебя есть любимое дело, понимаешь... У нас есть всё... И всё так начинается...

— Мы собаки! И нам надо сказать...

— Своё слово...

— Сказать себе и друг другу, что будем собаками до конца... Давай троекратно залаем за наше собачье дело, нашу охоту...

— Наш промысел!

— Промысел! Разницу чуешь?

— А как же!

— За нашу тайгу—что будем беречь её, охранять...

— Ававав!

— В такой денёк, да в таком месте—чо не лаять!

— Ававав!

— Авававав!

— Брат! Перед этой тайгой... Давай пообещаем выполнять наше собачье дело, как выполняли наши отцы и деды... так сказать пра-собаки... Быть верными и бескорыстными.

— Да!—с жаром сказал Рыжик.—И не забывать! Что мы не просто собаки! А то щас много развелось... В городах есть собаковидные, которые живут в благоустроенных, понимаешь, квартирах, едят магазинную курятину, которую делают из кур, которых кто-то за них облаивает! Которых за их хозяев кто-то добывает... А мы не прячемся за спины, понимаешь, мы на переднем краю... Помнишь, Старшой говорил, что у балконных лаек лапа ластой! А у нас комком.

— Да чо ты всё время себя сравниваешь?! Сам будь кем надо! Как Таган! Как, помнишь...

— Помню... Дай скажу!

— Нет, дай я!

— Ну говори!

— Нет, ты говори!

— А чо я хотел?

— Не знаю! Забыл! Ха-ха-ха!

— Давай просто полаем!

— Давай! Ававав!

— Да! Дак вот пройдёт год, и ещё много будет ошибок, а они будут! Обязательно будут... И я подумал, когда-то Таган также стоял на этом просторе...

— И я подумал!

— Мы оба подумали! И мы сейчас стоим здесь... Я подумал! Пройдёт год, и на следующую осень мы будем так же здесь стоять... И я хочу, чтобы нам было не стыдно за то...

— Что будет в этом году!

— Да! В таком неизвестном...

— Что сердце аж сжимается от неизвестности, до того всё прекрасно!

— И мы должны всегда помнить, что это наша даль...

— И что у нас лапы комком!—крикнул Рыжик и залился на всю округу.

3. Промысел начался

Потом всё заварилось плотно и ярко, сливаясь в алмазно-сине-рыжее месиво льда, воды и закатов, и не помню, сколь раз надевали на кулёк Рыжиковой морды петлю, сколь раз сдирали обратно против шерсти и сколь раз сбивали мы с курса лодку во время швартовки. Потом добыли оленя, в котором нам понравилось всё, кроме того, что он не стоит под собаками, и про которого Таган сказал: «Ниччо так бычок. Но сохат есть сохат!» А потом вернулись уже по снегу, Старшой вытащил лодку, и промысел начался. Из приизбушечных событий ярких запомнились два.

Утром в сумерках с той стороны прилетел глухарь и с грохотом взгромоздился на ёлку над избушкой. Мы взялаи, а Старшой в трусах и калошах вышел и добыл глухаря из «тозовки». Нас дико насмешило всё: и дурак-глухарь, слепоу вломившийся в наше расположение, и Старшой в трусах и с «тозовкой». Хохотали, пока Таган не рывкнул:

— Э, кони, хорош ржать. Вы бы с евоное отпахали в тайге, а потом бы хаха ловили.

Таган разговаривал рублено и резко. И слова будто обранивал. Не в смысле браниться, а в смысле ронять. При таких собеседниках—что ни скажи, а дураком будешь. Допустим, Таган обронит:

— На востоке соболь пошёл.

— Правда?—пискнем мы.

— А чо не правда...—буркнет Таган возмущённо-презрительно, да так, что ты виноват по уши, раз не веришь и переспрашиваешь. И басовито с рычйинкой добавит:—Раньше в это время здесь по ручью-ю Аян, покойничек, по пять соболей в день загонял... Правда, я грю, тогда и собаки были... Аян рассказывал: Дяа Вова, старшовский отец, одних токо щенков до пяти особ на промысел брал. А оставлял одного!—и видя наши полные смятения глаза, говорил с напором:—Но зато

4. Курья—каменистый залив.

это собаки были... Хрен ли лаять... — Досадливо-разочарованное «А щас...» уже и не требовалось. Хотелось слиться с подстилкой.

Когда Таган заговаривал про деда Вову, у него немедленно появлялось выражение «одного токо»: дед «одного токо омоля по три ванны на замёт брал», «одной токо кислицы по сорок вёдер сдавал» или «одних токо веников по семьдесят дружек заготовливал». Дружка, кто не знает — это пара веников, связанных верёвочкой.

Таган за словом в карман не лез. Если кто-то говорил: «Да брось ты», он рывал: «Как брось, так и подними», а если не соглашались, мол, «Ну конее-е-ешно», то передразнивал: «Конюшня».

Старшого он уважал, у них были свои долгие отношения, и то, как они общались — полунамёками, в касанье — отдельного слова стоит. Сидели у костра возле избушки, Старшой помешивал собаچه в тазу и что-то говорил негромкое лежащему у ног Тагану, а тот чуть пошевелил хвостом и чуть прижимал уши. А Старшой клал руку на голову Тагану и поглаживал-почёсывал выпуклый шов на собачем лбу. Ребро жёсткости, как выразился как-то Рыжик. Мы умирали от зависти — привязанный Рыжик аж зевал со скулиной. Есть такое собаچه проскуливание в зевке. Открыть рот будто для зевка, а дальше зевок растянется то-о-о-онким очень высоким скулежом, и, выходит, скулинка заменяет зевок, и вроде должна уже в лай перейти. Ан нет — в зевок и возвращается. Это происходит, когда мы нервничаем. Такое «у-ааааа»...

Чувствую, что вы сами начнёте зевать со скулиной... Поэтому, закругляя до поры тему Старшово-Таганской дружбы, скажу, что понимали они друг друга с полуслова, и на развилке лыжни Таган всегда знал, куда пойдёт Старшой, хотя для порядка и оборачивался. А как Старшой смотрел на Тагана в работе! Когда примчавшись с огромной скоростью, тот с налёту совал нос в соболиные следы, взрезая снег, или свирепо вгрызался в подножие кедрины, так что летели корни, пахнущие грибами и прелью. Этим любовался не только Старшой. Рыжик же просто сглатывал.

Как я говорил, первым событием был глухарь и выход Старшого в трусах, а ко второму плавно переходу через кутух.

Старшой сделал нам новый двухквартирный кутух — длинную будку из бревёшек с двумя входами и перегородкой — живи не хочу. У каждого своя площадь, но надо знать собак: мы тут же влезли вместе в правый отсек, сначала я, потом Рыжик. А потом в левый — сначала Рыжик, потом я. Рычали, толкались и так и жили: то вдвоём, то порозь. Попеременке.

Иногда Рыжик ложился рядом с дверью избушки под навесом, за что Старшой его звал «теплопопым», считая, что Рыжика привлекает тепло из-под двери. Хотя, возможно, ему хотелось

оказаться первым, когда Старшой вынесет объеденную грудину глухаря или рыбы кости. Рыжик належал себе даже преддверную круглую вмятину в грунте, где свернувшись клубком, то прислушивался к манёврам Старшого в зимовье, то дремал, а то вдруг начинал, напряжённо вздев морду и натянув углы рта, чесаться и стучать лапой по бревну или косяку. На что Старшой отвечал неизменным: «Кто там? Наши все дома». А когда приоткрывал дверь выпустить жар, то Рыжик вставал и вдвигал в избушку сначала морду, потом шею, а потом и сам вдвигался и стоял, виляя хвостом, долбя им по косяку, на что Старшой говорил: «Избушку срубишь».

Толкаться у двери зимовья под навесом мы оба любили и однажды, играя, весело заедааясь и колготаясь, своротили пустой ящик. По нему Рыжик залез на лабазок и взял кусок масла с дощечки, на которой лежал ещё и примёрзший малосольный сиг. Рыжик-то схватил масло, но дощечка упала и грохотнула. Старшой выскочил и всё понял, хотя Рыжика и след простыл. Старшой положил кусок привады на то же место и пододвинул поудобней ящик. На следующий вечер Рыжик лежал-лежал, а потом внезапно и ни слова не говоря сорвался и мелкой самоуглублённой трусцой подтрусил к ящику, встал на него задними лапами и, опершись передними о полку лабаза, аккуратно взял приваду. К ней Старшой привязал крышку от бидона, и она грохнула. Рыжик отпрыгнул и, слыша как Старшой нашаривает калоши, соскочив с нар, удрал подальше.

Третье событие произошло не у избушки, а в тайге. Был у нас длинный и нелёгкий день, ходили по путику-тупику, возвращаясь своей лыжнёй. Едва Старшой развернулся в сторону избушки, Рыжик учесал домой. В стороне от лыжни Таган обляял глухаря, и мы задержались, а возвращаясь, не доходя до избушки, обнаружили Рыжика попавшим в капкан. Как сейчас помню — второй номер, Старшой ставил их на лису, росомаху и песка, когда тот подходил с тундры. «Оголодал!» — прорычал Старшой. — Полтора километра не дотерпел! Заблюдник...» Когда Старшой попытался освободить брата — тот стал истерически кусаться, и Старшой снял суконную куртку и, накинув ему на морду, освободил лапу.

Это из неприятного. А конечно, самым главным и долгожданным событием стали наши первые соболя.

Самого первого обляял Таган. Когда мы с братом подбежали, всё вокруг кедрь было истоптано, и захода соболя я не понял, как и картины вообще. Соболишка попался тайкий (люблю это слово) и никаких признаков жизни не подавал. Движения воздуха были таковы, что запаха зверька я не ощущал. У меня было два выхода: ничего не поняв, залаять вслед за Рыжиком заодно с Таганом либо

не торопиться и разобраться самому. К тому же у меня обострённое чувство чужих заслуг и мне не хотелось ни к кому примазывать. Хотя, как выяснилось, одно дело принципы, другое чувства. Подошёл Старшой и, чтобы нас затравить, выстрелил рядом с соболем по ветке.

Зрение у собак на третьем месте после нюха и слуха. Но когда я увидел качнувшиеся ветви и перескочившего по ним тёмно-бурое существо мягкого, густого и немыслимо породистого облика и таких великолепно-спокойных, царских и внимательно-гибких движений, что рот мне распёрло комком взрывного лая. Будто там лопнуло что-то... Будто раскрылась, дождавшаяся часа капканная пружина. Понимаю неуместность сравнения и использую только для того, чтобы показать разрывающую силу этого лая. Его распирающую неизбежность. Дальше к хоровому лаю добавился ещё один звук. Сначала мне показалось, что это придыхание Тагана, межлаевая одышка, или что у него в гортани застряла гнилая мягкая щепка, но потом оказалось, что, несмотря на низовое положение Тагана, звук идёт сверху, будто у самой кедровый засорилось смолистое горло. И когда я понял, что это ворчит соболь... я потерял голову. И если первый раз мне взорвало пасть пружиной от «нолёвки», то тут было неистовая «тройка». Добавьте головку с круглыми светлыми ушами, пролившийся наконец режущий запах, и это немыслимое шевеление в тяжких и крупных пучках кедровой хвои. И протяжно-пружинный стон отрикошетившей пульки. И отстреленная веточка с тремя кистями хвои, к которой мы с Рыжиками кинулись как дураки. И наше визгливо жалостное влзлаивание на перепрыгивания соболя, и Рыжик, кинувшийся лапами на ствол и откусивший кусок коры.

Там вверху нечто огромно-таинственное и неистовое царило, некое диковинное существо размером с кедр, шевелящее хвоей, придыханно ворчащее, замирающее, воющее пулькой, обманно роняющее ветви и настолько вездесущее, что вылетевшая из-под зубов Рыжика кора — тоже казалась частью его безумия. И оно ходило ходуном, и когда Старшой особенно неожиданно выстрелил — собралось и выдало нам вытяжку, кристалл, образец, смоляную каплю, ступок тёмной молнии, и Старшой кинулся, чтобы мы с Рыжиком не порвали её пополам и не умерли от разряда. Потом долго и изумрудно умирали соболиные очи, светились диковинно на царском меху — сложнейше-коричневым с переходами, со сказочным переливом в палевость, с намёком на рыжину и затемнением по хребту. С головешечно-чёрными мохнатыми лапами и ярко оранжевым горлом, поразительно созвучным острому тревожащему запаху. Мы всё прыгали, пытались схватить добычу, и Старшой давал нам легонько пожамкать-лизнуть, крепко держа и оставляя меж сжатых кистей оконце

соболиного тела — морды, уха. А мы, потрясённые, прихватив и потрепав добычу, фыркали и вновь заливались восторженным лаем.

На другой день счастье подвалило уже именно! Я наткнулся на соболя накоротке, и он влез на высокую и тонкую листовку и сидел, изогнувшись и кругло сложившись. Его было отлично видно, на этот раз жёлто-рыжего, освещённого солнцем на фоне синего неба. Когда я всё лизал и пытался судорожно прихватить добытого соболя, Старшой, сдерживая мой пыл, говорил особенно негромко и внимательно. В его «молодец-молодец» звучали настолько серьёзные ноты, что снова забрезжили связи-жердины и снова замутило от ощущения прозрачной и ноющей ваги внутри меня...

Были ещё соболя, скрывшиеся в корнях, которые мы разрывали чёрными от земли мордами, и зубы и розовые дёсны Рыжика в тёмных кусочках мусора, помню вытоптаннный дотла снег и длинные, уходящие вдаль шнуры корней, и как они вспарывали подстилку, когда Старшой их дёргал. Была лежачая дуплистая покрытая мохом труба-кедрина, в которой затаился соболь. Таган стоял у выхода, влзаивая и крутя головой, и Старшой вырубал топором дырки, как в дудке, тыкал в них палкой, и мы видели в окнах диковинно-сказочный проползающий мех...

Однажды мы загнали соболя в огромную зеленоватую осину, гладкокожую, с буграми-напльвами вокруг сучков, уже сгнивших и глядящих дуплами. Осина была необыкновенно литая и гулко дуплистая... Старшой прорубил в комле дыру, открывшуюся кромешно и близко, и запалил бересту. Медленно и пахуче разгорелся огонь и повалил дым сначала из одного дупла, потом из другого и третьего. Соболь вылез и сначала пополз вниз головой, распластавшись полностью и цокая коготками, спускался рывками-перебежками, и свисал хвост, загнувшись на спину. Старшой добыл соболя, и когда уходили, я жарким ртом куснул снега и оглянулся: гудела тяга в осине, густой белый дым валил из многочисленных дупел в разные стороны и под разными углами, и коренное дерево напоминало какой-то старинный людской агрегат...

4. РЫЖИК

Когда узнаёшь, что состоявшийся, знающий дело пёс вдруг ещё и стихи пишет, неловко становится как-то и неустойчиво. Есть образ, к которому ты прилачился, с которым понятно и крепко... и вдруг вся собака... откатывается на слабую точку. Личность, привыкшая побеждать, вдруг сознательно становится беззащитной, уязвимой перед белым светом, ушлым на критику. Так и охота спросить — зачем?

Рыжик хоть и не был состоявшейся собакой, но в направлении двигался, и поэтому неловкость

я испытал ужасную, узнав, что он ещё и пописывает. Вирши совершенно не шли Рыжему и выражали не его суть, а одну, скажем так, идейную ипостась, причём настолько примитивно, что если бы их прочёл некто, съевший собаку в поэзии и не знавший Рыжика, то был бы разочарован: образ лирической собаки не имел ничего общего с той собакой, каковой эта собака была в собачьей жизни.

Тем не менее содержание этих... куплетов, а иначе их не назовёшь, помогают понять, что роковой тот поступок, на который мой брат столь безрассудно решился, не имел никакой материальной, или, скажем так, желудочной, подоплёки. Надо полностью не понимать Рыжика, чтобы объяснять случившееся продуктовыми причинами, и я абсолютно уверен, что сама по себе привада, как продовольствие, не интересовала Рыжика вовсе, а руководила им лишь идея бунта против существующей картины взаимоотношений, скажем так, гражданина и власти и его собственного в ней положения. Поэтому трактовать поступок Рыжика с продовольственных позиций, как это делал Таган, совершенно ошибочно и, я бы сказал, недалёковидно.

Чтобы доказать сугубо идейную подоплёку этого бунта, я предлагаю обратиться к поэтическим изысканиям Рыжика, которые, не имея отношения к литературе, нужны лишь в доказательство моей версии произошедшего. И прошу не воспринимать моё критическое отношение к творчеству брата как повод выставиться более сноровистым в словесном творчестве: я начисто лишён подобных притязаний и выступаю как летописец.

В таёжной жизни бывает, кто-то напоёт, просыпаясь, какую-нибудь глупость, и все повторяют её до самого заката. Поэтому так важно, чтобы день, осень, жизнь начинались с правильной строчки. Так вот Рыжик частенько бубнил с утра глупейшее словочетание: «Этот Рыжик в общем-то рыжовый»... А я целый день его повторял, и чем сильнее ощущал его глупость, тем послушней долдонил.

Что он имел в виду? Какую такую «рыжовость»? А может, не рыжовость, а ржавость? Повторю, Рыжик был, что называется, с идеями и с критической жилкой. Грамотный, по-своему даже начитанный, он имел самостоятельное суждение по каждому почти случаю, да ещё и с пофыркиванием на общепринятое. Имею в виду пофыркивание в общечеловеческом смысле, а не в сугубо собачьем.

По моим наблюдениям, чем грамотней творческая собака рассуждает об искусстве и чем сильнее наращивает читательские ожидания, тем слабее её произведения. Если уподобить душу художника котлу, в котором готовится духовная пища, то без конца снимая крышку, ты лишь стравливаешь пар и роняешь давление... Это же относится и к строгости подачи — канон на то и канон, чтоб

не отвлекаться на форму посуды и собраться на взваре.

И либо Рыжик слишком много рассуждал о законах творчества, либо ошибся с канонами, но всё его стихотворчество свелось к какой-то бесконечной поэме в духе тюремного фольклора с вечным плохим прокурором и несчастным арестантом. В качестве прокурора и мучителя выступал Старшой, купающийся в комфорте, у которого в избушках чуть не полированные стены и прочие излишества и, конечно же, «кулинарное питание и от печки ровное тепло». Причём эти «полированные стены» будто свидетельствуют о некоем буржуазном вкусе, точнее, как раз отсутствием вкуса и тяге к внешнему лоску:

У него в избушках много лака,
Там он развалился и храпит
А за дверью бедная собака
В кутухе простуженно сопит.

У неё дырявая избёнка
Колко смотрят звёзды из щелей,
Вместо двери тонкая картонка
И лицо в укусах соболей.

Летом были с девушкой в походе,
Гнус в пути довольно сильно грыз,
Кто-то, вечно правый, встретил нас расправой,
И хотелось спрятаться за мыс.

Там, где снег в сидячую собаку,
Мы идём-та в общем-то по пешком,
Ну а кто-то прёт на снегоходе
Да и в общем смотрит бирюком.

Мы ползём за ним в снегу по брюхо,
Едкий выхлоп лезет нам в носы
Это нам грозит потерей нюха
И вот-вот отвалятся усы.

(Вариант:

К позвонкам давно прилипло брюхо
Лезет выхлоп в ухо, горло, нос
Это нам грозит потерей слуха
И на зреньё скажется всерьёз.)

С последними куплетами он меня всерьёз мучил, требуя выбрать лучший.

Кого поэме подошла бы заключительная строфа:

На восходе рыжем и суровом
Из трубы железной вился дым.
Этот Рыжик был с утра рыжовым
А к закату сделался седым.

Строчка про звёзды, «колко» глядящие из щелей, мне нравилась, так же как и аллитерация «тонкая картонка», хотя и то и другое — красное словцо: никакой картонки не существовало — дверь в кутуху была завешена плотной мешковиной. Да и звёзды из щелей не смотрели — бревёшки были отлично

подогнаны и проложены мохом. Но строки казались самыми удачными. Так что есть правда?!

Остальное, не годилось никуда, особенно гнус, который нас настолько «сильно грыз», что ни откуда появлялся целый персонаж, некий таинственный и странный «сильногрыз». А меткое выражение «снег в сидячую собаку» Рыжик подслушал у Старшого.

Не смешно, а нелепо и горько всё это, учитывая развязку. И повторяю, куплеты эти не имеют ничего общего с личностью их автора, который, имея прекрасный слух к чужим успехам и неудачам, обладал полной слепотой по отношению к себе. Впрочем, в этом мы все успеваем.

Видимо, не успев в стихах, он перешёл, так сказать, на прозу, точнее, на публицистику, начав со всем максимализмом разрабатывать теорию Собачьего, которая имела массу позитивного, но искривилась и свелась к окрестностям вопроса. Рыжик разрабатывал не содержание Собачьего, а «держал границы», например, занимался составлением словариков «выражений, оскорбляющих собаچه достоинство». (Собачий холод, собаच्या жизнь, насобачился, плавать по-собачьи.)

Услышав разговор охотников про собачки от стартера, полез в справочники, а потом изыскался:

— Слышал, новости? «Собачка—деталь храпового механизма». Это наверно, когда Старшой храпака дерёт в избушке, а мы на улице зубами стучим!

Придумал словечко «собы», казавшееся ему особо удачным, и оно, дурацкое, вошло и в мой обиход. Удивительно как бывает. Один придумает что-то в пылу самопоиска да тут же отгорит и десять раз предаст, а другой всё примет и потихоньку-полегоньку понесёт сквозь всю жизнь, наполняясь по сердцу и дивясь как дару. Так и у меня вышло, когда я, глядя на окружающих и расспрашивая о прошлом, осознал нашу собачью особость, те главные качества, на которых веками зиждилась негордая наша порода. Они просты, как всё исконное. Это три камня: верность, способность к бескорыстному служению и непамятозлобие.

В Рыжиковых же Собах ничего, кроме того, что мы особенные, не было и дальше деклараций и щенячьей игры в слова не пошло: Рыжик впал в свою даже ересь. Слово «особенность» у него означало количество собак у охотника. «Индекс особенности промысловиков Балахчанского района к концу 19 века колебался в пределах двух-трёх особей на русского охотника и пяти-шести на енисейского ясачного остяка и тунгуса...» *Особь*, *пособие*, *соблазн*, *собутыльник*— всё Рыжик трактовал и переизобретал. *Подсобка*— небольшая молодая собака. *Соблюдение*— облудение собак, то есть приобретения ими человеческих качеств. *Подсобник*— коврик. Вершиной были перлы, вроде

междоусобицы, означавшей пространство меж собачьих усом.

— А как же соболь?—спросил я.

— Ххе.—сказал Рыжик, и стал тянуть время:—Ну как же, как же... э-э-э... пр-с-сь—вдруг догадался брат и продолжил очень солидно:—Ну как же? Со. Боль. Собачья боль. Ну... вечная обида на несправедливость... Вроде как ты нашёл, догнал, облаял, а припёрся Старшой, добыл-подобрал, пинкаря наподдал и в свою котомку бросил. Это, как в кино оператор, отснял—и до связи. А все хрящики режиссёру. От так от! Да...

И вдруг открыл:

— Ты понимаешь, мы операторы! Операторы скаковой... Меховой... Не! Во: нюховой погони. Операторы нюховой погони! Х-хе! Звучит? Хватит нам дедовским строем жить! Надо в лапу с эпохой! Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе! Даль—ни больше ни меньше!

— Какая даль?

— Владимир Даль, тундрятина!

Уже стояла середина ноября, всё глубел снег, и мы уже не могли догнать соболя. Снег это треножил и изводил, наводя на мысль, что самое интересное позади. Это не означало, что надо обязательно плестись за Старшим: по старой лыжне ещё можно было убежать вперёд, но шаг в сторону—и уже прыжки и язык на плече. День сжался, ночи подступали всё морознее, и мы лежали в кутухах, укрыв хвостами носы, так что на бровях к утру козырьком серебрел куржак, создавая росомаший вид. Выбегая из кутуха, Рыжик то и дело поджимал ногу и заскуливал. Приходили поздно, не в силах догнать соболя, за которым брел, пока хватало сил. Таган такой ерундой не занимался, чётко знал и снег, и силы и гонял только парные (свежие) следы на самом коротке и шагом. Мы же убегали и приходили в темноте, чаще так и не догнав соболя, а если догоняли, то лаяли часов до трёх-четырёх ночи, сокрушаясь, почему не скрипит на лыжах Старшой. Нам в голову не приходило, что он не в состоянии столько отмахать по тайге. Вскоре снег и вовсе оглубел. Самое обидное, что соболь это понимал, наглед и, бывало, прыгал с кедры и убежал по снегу, зная, что его не догнать. Работа всё больше сводилась к тупому бредению за Старшим и попыткам нескольких натужных прыжков в сторону и обратно.

Был ещё урок, который добавил раздражения Рыжему. Учил он знанию одного из важных законов собачьей жизни. Я бы его назвал «законом притяжения избушек». Как-то раз мы уходили в хребтовую избушку на малый круг. Уход с зимовья целое дело, Старшой кучу всего убирал, проверял, выливал воду из вёдер, убирал лестницу от большого лабаза. На полдороги к Хаканачам Рыжик погнал след соболя, который вывел его в обратную сторону. След был старый, Рыжик бродил-бродил,

потом выбежал на нашу дорогу и вместо того, чтобы догонять, вернулся на базу и сидел там три дня, пока мы не пришли. Притяжение избушки вернуло его с полпути и не пускало на наши рыски. Таган сказал, что его «столь раз ловило» и что меня «ишо не раз поймат».

Рыжик особенно переживал и страшно обиделся, что его «забыли». Снег подваливал. Брату всё сильнее хотелось действия, чего-то острого, интересного и как натура нетерпеливая и впечатлительная он маялся, и всё чаще проявлялась эта нервная скулинка в зевке. Раздражало всё: «Он перестанет валить-то (про снег)? Честно говоря, остопуэбло. Таган ещё этот. Бе-бе-бе... Задутый в хлам. Сам от себя тащится».

Но больше всего доставалось Старшому: — Меня, например, возмущают некоторые вещи. Как он всё время повторяет одни и те же шуточки. «Избушку срубишь». Или: «Наши все дома». Я Тагана специально спрашивал — он говорит, тот уже много лет это прогоняет. Меня, например, просто раздражает, как он снегоход заведёт и стои-ит, стои-ит рядом... Особенно в мороз он эту тягучку тынет, дымина, давно ехать, а он всё стоит. Себя и нас травит. Или как торчит над душой, когда мы едим: «— Ешь, ешь, крупу подбирай, одну рыбу и я могу».

Я пожимал плечами. Мне не приходило в голову раздражаться. Как есть так и есть. Не то что я такой послушный, покорный. Нет. Просто так устроен. Себя хватает. Да и спокойней.

— Да ты какой-то равнодушный... — с горечью говорил Рыжик и пытался развеселиться зубоскальством. Читающий всё, начиная от рваных упаковок и инструкций до философских трудов, придумал свой способ подшучивать над Старшим. Поскольку наша жизнь очень сильно завязана на Старшого, то привычен вопрос: «Где Старшой?» И допустим, Старшой ладит переправу. «Где Старшой?». — «Диодный мост через ручей намораживает». Или: «Где Старшой?» — «На лабаз иерархическую лестницу ремонтирует». Или: «Генератор идей дёргает». — «Ха-ха-ха». При всей глупости выражения привились, и лестницу мы так и звали «Ерархической», а мост «Диодным». «Хе-хе, Диодный промыло!» Шуточки не спасали, и раздражение в конце концов привело к тому, что Рыжик предложил мне совершить поступок, который... В общем, всё по порядку.

— Я не знаю, чо ты страдаешь, — сказал как-то ночью в кутухе Рыжик. Сказал негромко и, подавая, что я, а не он извёлся: — Я всё продумал. Токо идти на тупик надо, где меньше попадает, где вообще может зря провисеть. Он нам ещё спасибо скажет: «Всё равно кукши с кукарами⁵ склюют. А тут хоть вас накормил. Сёдни поздно пришли,

5. Кукары — так называют кедровок.

сварить не успел. Устрапался с этим снегом. Валит и валит, — говорил Рыжик со старшовскими интонациями: — Молодцы, чо скажешь. Сами о себе позаботились, не всё батьке за вами сопли вытирать», хе-хе.

Я даже рассмеялся, а удовлетворённый эффектом Рыжик сменил тон на серьёзно-штабной: — Смотри. У него на тупике шестьдесят ловушек. Допустим, полста капканов и десять кулёмок. Кулёмки, лешак с ним, не берём, там привада вы́соко, не дотянемся. Только время потеряем. Тем более полста капканов — это во, — он провёл лапой по горлу, — по двадцать пять кусочков на рыло. Куда с добром? Ну чо? — подвёл он торжествующе-гордо: — Делаем?

— Рыжак, ты чо сдурел? Ты чо не понял ничего? Это труба. Нельзя. Он тебя всяко разно вычислит. — В смýсле — «меня?» А ты чо — типа сам по себе? Ты такой честный? А я, значит, плохой.

— Да нельзя этого делать!

— Да тебе кто сказал-то такое? Чо за туземные правила. Ещё про обязанности скажи! Я, например, себя совершенно не чувствую... обязанным ему... Во-первых, он, смотри, в тепле, а мы в будках. Во-вторых, как он питается и как мы? Ты думаешь нормально: до ночи не жрамши бегать, а потом брюхо набивать так, что пошевелиться не можешь? Бочка и бочка. Смотреть дико... И всё одно и то же, каша и рыба, каша и рыба... — говорил он с напором: — Ты вообще в курсе, какой рацион должен у собак быть? Ну вот то-то! А он-то о себе на забывая-а-ает! — пронизательно протянул Рыжик. — То рожки, то макаронки! Все эти соуса, кетчупа! Гречка, сечка, рис, пшёнка, манка, овсянка! Да! Эта ещё... как её? Ну как? — раздражённо забил хвостом.

— Полтавка?

— Да нет! Перловка! Перловка. Ну.

— Горох ещё.

— Ну, горох. Фасоль ещё. А картошечка! С салцем! Тьфу! Лук только зря он везде пихает. — Рыжик совсем раздражился. — А тут газ этот грызёшь-выгрызаешь...

Бывало, остатки каши замерзали в тазу, и мы их грызли, пытаясь добраться до труднокусаемой области, где соединяется донце с бортиком. И так и глядела оттуда мёрзлая каша со следами зубов... — А соболей этих как он нас жрать приучал! — не унимался Рыжик. — Меня первый раз чуть не вывернуло. Такой духан у них... Бээээ... А ещё по рации... — Рыжик заговорил с грубой манерностью растягивая слова: — Ещё с таким довольством рассказывал: «Нее... — он снова стал очень похоже изображать Старшого: — Я своих приучэ-эю... Сначала морду воротят. А морозцы придэ-эвят, как миленькие хряпать будут... хе-хе... Ни хрена... Голод не тётка...»

И он ещё добрал раздражения:

— А теперь, прикинь, сколь он километров за день проходит, а сколь мы? Я в книге читал: «Промысловая собака пробегает в день расстояние, в 10 раз превышающее дневной переход охотника!» О как — в десять раз! Это не хрен собачий!

— За базаром следи!

— Да чо ты мне тут! Надоело всё! Ложь эта бесконечная... Собачье-несобачье... А главное: ему навалить на наши заботы! И ты хорош: «Наше, Собачье!» А сам за что стоишь? Помнишь, как мы клялись-стояли над скалами! Ты говорил — верность! Пусть они как хотят там! Чо хотят! А мы как пятьсот лет в той же шкуре бегали, так и бегаем! — Рыжик сменил тон на предупреждающий: — А снег оглубует — мы вообще поплывём! Только уши одни останутся. А он на снегоход — и алга! А от него вонища сам знаешь какая? Погоде-е-е, — завёл он умудрено, — я на тебя посмотрю, когда настоящие морозы придавят?! Кто нам тогда за вредность доплатит? Так что нечего тут в благородство играть... Доигрались, что нас скоро на хасок поменяют. Видал вон, Коршунята чо творят!

— Ну, — согласился я, — последнее время он наше Собачье ни в грош не ставит — с Коршунятами тут миндальничал.

Коршунятами звали наших соседей по участку, из тех, про которых говорят «палец в рот не клади». Они пытались заработать на всём и строили планы, купли иностранных собак для катания богатых туристов. Кличка Коршунята — производное от фамилии Коршуновы. Не люблю говорящих фамилий, но тут бессилён. Так что извиняйте.

— Дак про то и толк! — с жаром подхватил Рыжи. — И не то что не ставит — а просто попирает. Просто па-пи-рает — сказал он совсем по-Тагански, — и кстати, вот Николь, она молодец... Она говорит... Ну чо ты морщишься? — наморщился на меня Рыжик и почесался, застучав по будке.

— Наши все дома! — сказал я, и мы захохотали.

— Хорош ржать, жеребятня! — рыкнул Таган.

— Да всё. Всё, дя. — сказал Рыжик и тихо добавил, покачав головой, — ещё один. Задрали... — и продолжил обычным голосом. — Дак вот Николь... Да ты чо опять?

— Да имя чо попалошное... — сказал я, щадя Рыжика и переводя неприязнь к манерной сучке на её имя.

— Нормальное имя. А чо? Лучше, как у вас: Соболь и Пулька?! Припупеть как оригинально! Дак она грит — вот в городе, да? Там территория с фигову душу, у нас участок в десять раз больше. У них там ни леса не растёт, ни мяса не водится, ни рыбы, ни чего, а живут распрекрасно! А тут вечная попа в мыле и каша мёрзлая раз в сутки.

Рыжик вдруг заговорил с примирительно-справедливой интонацией:

— Причём я не предлагаю брать путик, где попадаёт. Берём самый пустой. Где соболь раз в пять лет

забредёт, да и то сдуру. Заморыш самый. Всё равно пропадёт привада. А это его труд, между прочим. И наш. Ты поди, этого глухаря найди, облай, потом добудь, обработай. На кусочки поруби. Проволочки к ним привяжи. Ни хрена себе! И всё этим тварюгам. Кедровкам этим, кушкам... Не выношу, как он орут. Дятлы эти... Долбят сидят! По башке себе долби. Ду-пло-гнёзд-ник... — презрительно обратился Рыжик к воображаемому дятлу. Он всё больше набирался мощной Тагановской интонации. — Ага. А привада через месяц выбыгает⁶ — и с неё толку нуль. Всё равно её обновляют наа. Он нам ещё спасибо скажет. Мы так сказать... обеспечим своевременное обновление приманки, что положительно скажется на результатах промысла. Не-е... — и он оглянулся, будто обращался уже не ко мне, к какой-то пространной и заинтересованной аудитории: — Я считаю, тут надо чётко. Или-или. Так что думай. А то вечно будешь... х-хе... на подлайке... По попе лопаткой получать. А он твоих соболей будет на аукцион толкать... А ты мёрзлую сечку грызть... Или... полтавку... И зубьями клацать... — и добавил с грозным холодком: — Так чо? Со мной или как?

— Не, Рыж. Я не то что «или как». Я против. И тебе скажу: не ходи куда. Беда будет.

— О-о-о, понятно, — потянул он презрительно. — Я думал, ты правда брат. А ты так... Временный спарщик. Я думал — вместе — значит вместе. На кой ты тогда все эти сопли разводил над скалами? — и вдруг сказал резко и собранно: — Ладно. Разберусь, — и добавил, вставая, — кашку жуйте. Счастливо оставаться. Да, и надеюсь, ты Тагану не станешь передавать наш разговор.

— Чо сдурел? Да. Ты в курсе, что там есть капканы с очепами — вздёрнет так, что лапу вывернет из сустава. И в мороз нельзя. Влетишь — и хана лапе.

— Да ба-рось ты, — развязно парировал Рыжик, демонстративно отдаляясь от меня. — Такие дела красе-ево надо делать. При звёздах. На бодряке. Я вообще шлячу не люблю. Когда сырость, снежи-на этот. Не моё. У меня в снег вялость. Не охота ниччо. А когда вызвездит с ночи! Это да. Мне Таган рассказывал, есть какой-то Ткач у них, дак тот только ночью работает, с фонарём. Грит, расстояния короче. Вообще мужик! У него литовка в каждой избушке, и он, представь, с осени собакам сено косит на подстилку. Они у него в отличных условиях, ну и отдача сам понимаешь! А наш чо? Только орёт и шестом лупит. А раньше, Таган говорит, — исторически завёл Рыжик, — у бати его, Дя Вовы, кутухи были в угол рубленные... И кастрюли с полбочки. Понял? И одной рыбой кормил. По пять центнер одного токо налима заготовливал!

.....
6. *Выбыгает* — от слова быгать. Выветриваться, обезвоживаться, обветриваться, вымораживаться.

Да к у него и собаки как глобусы были... Этот пришёл: всю... инфраструктуру свернул на хрен! — Как глобусы! Такие же синие что ль? Ой, не могу! Надо было тебя Глобусом назвать! А не Рыжиком! Глобус, ко мне! Опеть, падла, отъелся!

Он, было, улыбнулся, но тут же улыбку свернул и продолжил:

— Да-а-а, не ожидал я от тебя, Серый... такого поворота... Не о-жи-дал... Ты меня знаешь. Мне-то в гордык с тобой работать... А ты вон как. Ну ладно. Только потом не надо... примазываться... к чужим достижениям.

Рыжик вылез, побегал и, хватанув снегу, вернулся в кутух:

— Удивляюсь на тебя. Не хочешь по капканам, а сам в капкане. Сидишь и боишься вырваться. Ты разуй мозги-то. Я щас тебе открытие сделаю. Хочешь? Ну слушай. С капканами. Можно. Спокойно работай! Я, например, сразу понял. Просто не надо на них нас-ту-пать. Всё. Не наступай на железо. Спокойно главное. Подошёл. Онюхал-осмотрел. И ставишь лапу. Там места валом. Это соболь дурак, ему по фиг. Не понимает железа. А мы-то собаки! Запомни: от железа фон холода идёт! Всё.— Рыжик задумался, помолчал и продолжил философски.— Не знаю... Какая-то в вас несвобода, что ли... Таган, помнишь, рассказывал, что здесь раньше капканы на земле ставили. И мыши жрали пушнину не-щад-но. Потом с Саян, с Каратуза приехал какой-то Крюков ли Хрюков, хе-хе... и стал на жердучки ставить—и всё. И все начали жердучки лепить. А чо раньше-то? Где мозги были? Сидели соболей штопали, глаза ломали при лампах. Керосиновых. Я вообще в шоке.

— Да чо ты мне тут про Каратуз? Я те про то, что приваду трогать нельзя! Ты чо такой!

— Да кто сказал-то, что нельзя? Старшой что ли этот преподобный? Он кто такой-то?

— Он Старшой.

— Да ладно тебе,— презрительно-успокоенно сказал Рыжик и, протяжно зевнув со скулиной, закрыл разговор:— Отбива-а-аться надо.

Хотя с Рыжим я говорил решительно, внутри всё рвалось. Я-то собирался идти с ним на преступление, обосновывая тем, что при мне он не влетит. То почти соглашался с его правдой, а то не соглашался, но выбирал братскую дружбу без всякой правды и обоснований. За ночь Рыжикова правда вытекала из меня, и я переживал, что почти предал Старшого с Таганом. И гадал—как и дружбу не обидеть, и не участвовать. Даже подумал пообещать, а потом сказать, что лапа заболела. И хотел, чтоб всё как-нибудь сделалось: чтоб Старшой, решил заменить накроху, велел нам старую съесть, и мы бы пошли. Гаже не было состояния: я брата любил.

Однажды мы с Рыжим притащились особенно поздно— Старшой с Таганом давно вернулись

в избушку. Мы, бредя сзади, наткнулись на след, поковыляли по нему и, найдя соболя в корнях, много часов пролаяли. Днём было тепло, а к ночи стало на глазах подмораживать. Рваные тучи понесли с северо-запада, открыли закатное небо, и гнутые ветви кедров на его фоне казались особенно чёрными и пучкастыми, а прозрачно-огненные просветы пятнистыми от кедровых кистей.

Мокрая шерсть мгновенно бралась панцирем. Пришли во льду, с ледышками меж подушек. Уменя кровил, болтался коготь—я его отодрал, когда рыл соболя в корнях и камнях и не заметил в азарте, в трудовом упоении... В ощущении своих окрепших лап, нарощей на подушках кожи, толстой и тугой... В восторге от сочетания несовместимого—снега и угластых камней, горной грозной породы, обрывков мха и богатейшего терпкого запаха: земли, корней и плесени... И всё крутилась, поглощала мысль: жизнь сырём берём! И стояли перед глазами: освещённая закатом сопка с сахарно-розовым от кухты лесом и белая бугристая плешина на склоне—каменные россыпи в чехле снега, и ворчание соболя... И как выкатились на затвердевшую лыжню и бежали, толкаясь и кусаясь.

Старшой обрадованно высочил: на ворчанье ли Тагана, которого запустил в избушку или на грохот пустого Таганьего таза, из которого Рыжик бросился выгрызать остатки каши. Старшой, громко и радостно выговаривал: «Где шарились, а? Ах вы, собаки! Ах вы, морды!» и вынес таз с кормом, который давно остыл и ждал в избушке. Накормив, Старшой в виде праздника запустил нас в избушку. Мы мгновенно забрались под нары, где Рыжик начал сопеть, чихать и чесаться, колотить лапой, и Старшой сказал:

— Кто там? Наши все дома!

Никогда не забуду. Тихий бледный свет ночника. На коврике в ногах Старшого Таган. Старшой с ним разговаривает и почти советуется, а тот лишь едва прижимает уши и хвостом даже не шевелит, а обозначает готовность.

Таган лежал на полу, но его подстилка, старый детский матрасик, казался каким-то треном. Тихо подпевала печка-экономка, верещала убавленная радиостанция, которую Старшой слушал в полуха, и такой покой стоял в полуосвещённой избушке, что на всю жизнь завожил образом счастья.

Старшой глянул на будильник и добавил громкости рации. Там что-то нудно пикало, да далёким фоном шли сразу несколько разговоров.

— Хорогочи! Хорогочи Скальному!—вдруг неожиданно близко заговорил голос, искажённый до режущее-комариного. Старшой покрутил тембр и из писклявого обратил в неузнаваемо загустевший, вязнувший и одновременно гудящий, будто Скальный говорил в дупло, а потом вернул к среднеестественному.

На связи, Скальный! Там Курумкан не вылезил?

— Да нет пока...
 — Ясно.— Старшому самому так нравилась тишина и редкое наше единение, что говорить особо не хотелось, но он поддержал разговор:
 — Ну что? Как делишки? Пробегает соболек?
 — Да пробегать-то пробегает, а кобель меня новый замучил.— Скальному было охота, чтоб распросили, и не торопился всё выкладывать.
 — Чо такое?
 — Да чо-чо? Соболей мёрзлых в капкане портить подавился! Задолбался.
 — Отметель как следует этим соболем по сусалу.
 — Да метелил. Первый раз такой соболь ещё попался, котяра, третий цвет, здоровый. Так отходил! Потом этого соболя полночи штопал, глаза сломал. На следующий день ещё пять штук... Подбежит, пожаткает и, главное, удирает тут же! Как понимает.
 — Да всё они понимают!— с возмущением сказал Старшой.— А рабочий хоть кобель?
 — Ну как? Молодой... Шибких достижений нет... В пятую⁷ тут погнал.
 — Нда... Как бы убирать не пришлось. Это бесполезно. Только нервы мотать будет...
 — Но. Я и сам думаю. Жалко, конечно... Но с такой охотой— не знай...
 Тут вмешался совсем близкий голос:
 — Хорогочи! Хорогочи Курумкану, приё-ём!
 — Отвечаю, Курумкан! Обожди, Скальный. На связи! На связи, Курумкан, как понимаешь меня?
 — Да нормально. Нормально идёшь. Ты это... Чо, когда подъедешь?
 — Подъеду-подъеду, только послезавтра. Как понял меня?
 — Понял, понял, Хорогочи!
 — Добро. Мне с работой две избушки пройти надо. Продержишься?
 — Ну понял, понял. Продержусь. Куда деваться! Я думал завтра. Ладно. У тебя это... лебёдка есть? Да. И пила?
 — Есть, есть, Курумкан! Верёвки есть. Сколь там километров до места?
 — Восемь! Восемь примерно!
 — Понял, восемь!
 — Там, я боюсь, шуги бы не натолкало, сверху открыто всё. Там горы. Она шиверой сплошной течёт!— сказал он про реку.
 — Ладно, ладно. Не кипишишь. Вытащим.
 — Хорошо ещё рация здесь старая. А батарею! Батарею вез сюда! Тоже там. Не знаю, будет работать— нет. Она, правда, в мешке. Закрытое всё. Может, не промокла. Ладно, давай— питание садится. До связи!
 — До встречи уже!
 — Давай аккуратно там! Я, короче, рацию не выключаю, пусть на приём пашет. Вы меня не орите.
 — Ты это, Курумкан!— вмешался Скальный,— ты выше дыры возьми доски на ребро поставь

и наморозь там, ведром прямо лей, лей... Проколет— потом чёрта вытащите!

— Да ково доски!— вмешался мужик с позывным Сто-Второй,— ты чо, не понял, Скальный? Он же пилу тоже утопил. Ты это... Курумкан! Ты сходи туда завтра и просто жердей, просто жердей накидай,— кричал Сто-Второй,— на под-вид опалубки, и намораживай! Всё равно тебе делать не хрен, пока Вовка едет, хе-хе. Хорогочи, а руль-то хоть торчит?
 — Да какой руль? Полностью ушёл. Там метра два. Ещё с нартой.

— Да... а мы прошлой весной... «армейца» утопили в пропарине, на гусей ездили... В навигатор забили место. Всё. Нашли. Зацепили, а Енисей возьми и пойди! Так и волокли, пока не остановился... Метров сто, наверное. Как раз на яме. Ещё самолочей-то подцепили.

— На яме говоришь?— откуда-то издали заскрипел мужик с позывным Горелый.— А слышь, туда пока тащили, стерлядок случаем не набилось под капот?

Таган только хрюкнул и покачал головой.

— Ладно, мужики, до связи. Ехать завтра.— Старшой решительно выключил радиостанцию.— Шас пойдёте собирать... Да, Тагаш?

И ещё сосредоточенно полежа, а потом подкинул в печку и... сказать «выгнал» не поворачивается язык: попросил нас из избушки. Рыжик не хотел вылезать из-под нар. Я до сих пор не понимаю, было ли это простое нежелание идти на холод или он по правде что-то предчувствовал.

Обычно мы хорошо слышали с улицы, как Старшой растопляет печку: стаскивает дверцу-крышку, пихает поленья, ударяя в гулкое нутро печки, и даже запах поджигаемой бересты доносился до наших носов. Потом открывалась дверь, и раздавался весёлый окрик: «Мужики, как ночевали?»

Ночью настолько крепко и алмазно звездануло, что я зарылся в сено и свернулся в такой тугой калач, укрыв нос хвостом, что проспал и звук печи, и запах бересты, и проснулся от окрика: «Где Рыжак?»

Утро было седым и морозным. Напротив избушки середка реки не стояла и там трепетно-живо текла ребристая чёрно-синяя струя. Пар белым пластом висел до поворота. Скалы, кубически расчурченные трещинами, были как-то особенно пятнисто и грозно покрыты инеем. А голые лиственницы стояли меловыми, и их выгнутые ветви казались толстыми от куржака. Я выскочил на берег. Таган сидел на льду и замерше смотрел вдаль. Рыжика не было.

На лице Старшого стоял сумрак жесточайшей досады. Он долго орал Рыжика со всех возможных точек, несколько раз стрельнул из карабина. Взбуряженный и вдохновлённый предстоящей встречей с Курумканом, своей спасательной ролью Старшой

7. В пятую— значит в сторону, противоположную той, куда убежал зверь.

был настолько возмущён поступком Рыжика, что слова «просто гад», «вредитель» и «паразит» — были уменьшительно-ласкательные обращения.

Потом он сказал: «Да и лешак с тобой» и «пошёл ты», не буду, мол, даже прислушиваться и оглядываться, но прислушивался и оглядывался весь будущий день. Старшой завёл снегоход, и пока тот грелся, плотно укрытый брезентом, крепко увязал нарту, и мы, наэлектризованные предстоящей дорогой, заматались, в какую сторону бежать, потому что база стояла в целом пауке направлений. Старшой съехал на берег и помчался краем, льдом, косо повисшем на берегу, когда вода упала. Он нёсся в плотном бело-голубом облаке, и мы заходились за ним в неистовом скаке, а потом по извилистой, пропиленной по густой тайге дороге поднялись на гору. Там Старшой остановился у длинной кулёмки и долго слушал, сняв шапку и вытянув напряжённо шею. Слушал пристально, скусывая сосульки с усов, и капли снежной пыли таяли на красном лице.

И потом, останавливаясь у капканов, также чутко прислушивался. Но не доносилось ни далёкого лая, ни скулежа «подождите, бегу!». Только, остывая, щёлкало что-то в снегоходе, да шипела, капая на раскалённое железо, влага талого снега. . . И так разлётно неслось просторное крёканье кедровки, что казалось, сидела она где-то далеко-далеко, хотя была совсем рядом. На острой, укутанной в кухту ёлке шарик с клювом — поражающе маленький по сравнению с эховым обобщающе-таёжным криком. . .

Были старые следы, соболь не спешил бегать по морозу и, видно, лежал. Попала пара штук. В обед приехали в избушку, подростую метровым снегом на крыше. Будто довозведённая, она выглядела монументально. Старшой затопил печку, попил чаю и пошёл по береговой дороге. Возвращаясь, он надеялся, что Рыжик встретит у избушки. Рыжика не было. Сторона, с которой мы пришли, наша дорога, выглядела особенно мёртвой, молчащей.

На следующий день к обеду мы добрались до Верхней и оттуда двинулись в сторону Курумкана. Ближе к его зимовью навалились будоражащие запахи, с отвычки особенно диковинно-чужие: собак, дыма, корма, всего того, что так остро и едко говорит о жильё.

Собаки Курумкана были привязаны. Курумкан выскочил в клетчатой рубахе — распаренный, лохмато-бородатый. Из двери, прозрачно и клубисто, валил плавленный воздух. Старшой стоял грозно заснеженный, белобородый и нещадно воняющий выхлопом. Нас тут же привязали, чтоб не задирались. У Курумкана была жемчужная со светлыми глазами сучка и лохматый кобель — серый с рыхлой чёрной остью.

С вечера Старшой с Курумканом напилили досок, утром поехали к снегоходу. Своих собак Курумкан не взял.

Застывшая ломанина треугольников на месте, где ушёл снегоход, была в бархатном куржаке. Доски твёрдо бумкнулись на лёд, скользя и разрезаясь. Курумкан попробывал топорикам, как нарос лёд, и отскочившая от удара ледышка поехала по льду, и я не удержался и бросился догонять. Старшой пилил лёд, и из реза бурлила вода с пузырями, зелено заливая заиндевелый лёд со следами аварии. Хорошо, что снегоход уходил постепенно, и Курумкан успел выбраться.

Мне, если честно, не очень интересна вся эта возня с железками, которые Старшой с товарищами бесконца топят, достают и снова топят, все эти таскания то лодки снегоходом, то снегохода в лодке и чувствование ими себя необыкновенно при деле, а тебя нахлебником. У Курумкана, например, непроходимые пороги, целое ущелье километров десять. До порогов осенью доехал и упёрся. Но не на того напали: за порогами он сделал вторую лодку-деревяшку и там на ней бороздит. Заезжает весной по насту с племяшом на двух снегоходах, один оставляет в гараже, а на другом они выезжают. Какая-то вечная волк-коза-капуста.

В общем, выпилили майну. Старшой срубил берёзовый дрын с крепким сучком и пока отёсывал, умудрялся рассуждать, как он любит берёзу, хотя все её «держат не за таёжную» и признают кедрю и листовку. Топорик стеклянно отскакивал от мёрзлого дерева, но Старшой терпеливо обрубал сучочки, которые и не особо мешали. Он, громко дыша, говорил, как любит, «эх, свалить берёзку и переколоть по морозцу», и что обязательно по приезде так и сделает. Сучок на толстом конце он оставил — это был крючок.

Если приблизиться к воде вплотную, белый снегоход прекрасно проглядывался в струистой толще.

— Да ты где есть-то?! — шарил Старшой в майне, подёргивая дрын. Берёзина, только ещё скользкая, как кость, в воде стала мокрая, тёплая и будто мягкая. Наконец нащупали бампер и приподняли снегоход — в прозрачной голубовато-зелёной воде он ярко, в бирюзу, светился белым капотом и был будто увеличенным. Вода неслась стремительно и неровно, и белый капот дробился, дрожал. . . Приподняли и зацепили кошкой (до чего меня смешит это название, совершенно глупое — кошка никогда не полезет на верёвке под воду!)

Врубили в лёд крепкую вагу, к ней подцепили лебёдку и подвели доски под снегоход. Их давило течением, и одному надо было держать. Взяли снегоход крюком за бампер и потащили. Несмотря на мою нелюбовь к таким упражнениям, удивительно ладно у них получалось и красиво. Вытащили и снегоход, и сани с грузом, обильно отекающим и тут же берущимся корочкой. . . В багажнике снегохода оказалась фляжка, и мужиков это страшно насмешило. Открыли капот, что-то

выкручивали, потом перевернули снегоход вверх ногами, и лилась вода. Развязали груз, поставили снегоход в сани. Поехали. У избушки под навесом сняли мотор и ещё какую-то коробку. К обеду следующего дня утопший снегоход уже работал, сияя фарой и увешивая сенки синими нитями.

Вечером Старшой с Курумканом гуляли. То сидели в избушке, громко базляня, то вываливали, продолжая разговор, моментально менявший направление, как только перед их глазами оказывался снегоход, собака, лыжи или чьё-то ружьё. Один моментально спрашивал: «Ну как тебе твой снегоход (собака, лыжи, ружьё)?» — и начинал рассказывать, какой отличный снегоход (собака, лыжи, ружьё) у него самого, причём с полным осмотром, показом и приглашением испытать. До испытания нас, конечно, не доходило, но в один из выходов нас зачем-то отпустили. Хотя до этого категорически посадили на привязки, на что было потрачено уйма времени и слов, куда кого садить. Насидевшись, мы для начала сорвались и пробегались, а по возврату началось то, чего опасались Старшой с Курумканом. Нам с Пулькой делить было нечего, и, наоборот, нашлось масса общих тем, а вот Таган с Сободем устроили стратегический кризис. Рыча небывало грозно и вздыбив загривки, они минут десять деревянного ходили друг перед другом. С дрожью и замедленной протяжкой в движениях. Никому не хотелось быть покусанным, но Соболю обязан был показать, кто хозяин, а Таган, кто — воин. В общем, обошлось. Но за кое-кого было стыдно. Старшой при Курумкане разговаривал с нами показательно грубо, в духе «а ну нельзя смотре-е-еть, кому сказал нельзя-я. Тебе строго, ага!», а выходя в одиночку, слюняво и льстиво к нам примазывался.

Таган отворачивался, а когда Старшой с Курумканом удалились в избушку с чировой⁸ строганиной на дощечке, Таган фыркнул, а Соболю сказал: — Да расслабься. У моего такая же ерунда. Чуть попадёт за кадык, и пошло. То мил, то debil... Терпеть не могу... Ещё запашина этот... Брррр...

Утром разъехались. Старшой, мрачней, прогнал через две избушки ходом. Убазы скатились на реку вслед за Старшим и, погнавшись за норкой, так и бежали тем берегом, пока не оказались напротив избушки, отрезанные полынёй. Заостряю на этом внимание, чтобы подчеркнуть противоречивость нашего нрава: в самый трагический миг беспокойства за Рыжика, мы развлекались с норкой, а потом прозевали полынью. Усевшись на льду и слыша, как Старшой затопляет печку, возится с санями и гремит нашими тазами, мы взорали жалобно и честно, доказывая, что есть вещи, которые даже самые знающие собаки вроде Тагана не понимают. Это касается вообще пространственной геометрии: куда огибать, где что зацепится, куда отыграет, заломит и прочее.

Старшой вышел — поговорил с нами, долго махал руками, показывая куда обегать, а мы виляли хвостами и не могли понять, зачем нас гонят обратно на Курумкан, раз мы домой хотим. Собаку невозможно прогнать или заставить что-то обойти, будучи от неё на расстоянии, хотя накоротке мы понимаем всё. Много противоречий в Собачьем мире. Но главное, не противоречья искать, а Собачье любить.

Старшой это знал и поехал за нами, терпеливо выгоняя полверсты полыньи туда-обратно. Когда приближался, мы только виляли хвостами, а когда подъехал и развернулся, весело вскочили и побежали.

Не считая свежих Старшовских разворотов, у базы всё было мёртво и присыпано тонкой синей пудрой, только клесты набегали возле чайной заварки. Особенно безжизненно выглядел кутух Рыжика с ошейником на гвоздике и цепочкой. Когда прогрелась избушка, Старшой вдруг сел на снегоход и рванул по путику. Мы с Таганом переглянулись. Мороз, будь здоров какое состояние, отпаханное без передыха и ещё полынья эта: команды нет, и можно остаться. Потом я не выдержал, больно тревожно было на душе, и побежал следом. А перед тем как побежать, оглянулся: тяжёлым взглядом смотрел на меня Таган. Уже подходил к концу тупиковый путик, тот самый, который, по мнению Рыжика, плохо «кормил», как вдруг раздался выстрел и краткий взвизг. Меня на мгновение замутило, и подкосились лапы. Потом навстречу пронёсся, ослепив фарой, Старшой: «Айда, Серый, айда!» — крикнул он громким и голым голосом. Я побежал за ним, не ощущая ни мороза, ни выхлопа и чувствуя, как нелепо трясётся моя нижняя челюсть, да и всё собачье лицо. — Завтра гляну, чо там было, — сказал Таган мрачно. — Да понятно, копец лапе. В конце, говоришь, дороги?

— Ну.

— Там сначала россыпья, ну камни под снегом, шапки такие прямо, и голый склон справа, а потом гарь подходит. Ещё копанина медвежья, но её засыпало.

— Да-да. Там.

— Там на земле один капкан единственный. Остальные жердушки. Знаю я этот капкан. Третий номер. Полотняный.

— Еёёёёё! — вырвалось у меня. Капкан был без тарелки, с натянутой на рамку тканью, нитка связывала тряпку с насторожкой. Рыжик такие не знал.

— Но. На росомаху. Это — всё. Считай по локоть. И сколько ещё отморожено... Считай четвёртый день.

.....

8. Чир — изумительная белая рыба из отряда лососеобразных (семейство сиговые).

— Да почему его нельзя было... оставить-то? Ну и бегал бы на трёх лапах!

Видно было, что Таган не хотел разговаривать. Он и смотрел вбок. И несколько раз делал движение повернуть ко мне голову и открыть рот, но останавливался. Потом всё-таки сказал раздражённо:

— Да так не делается потому что!— и передёрнул шкурой, а потом повернулся и посмотрел в глаза.— Потому что воровитость никогда до добра не доводит. Потому что, если пошёл по капканам—затравился, вкус почувал— всё, не остановишь. Бесплезно. Добро б ещё работник был. А то тоже... Пятку сколько раз гонял. Облаивался. Я уж молчу, как говорится... А потом—сейчас промысел, самый разгар, куда его? Это просто обуза, понимаешь? Да и кормить троих... Раньше думать надо было... У нас вон Серый был, давно совсем...— и он заговорил медленней и как-то нащупав почву,— тебя в честь его называли. Дак Старшой его до последнего дня с ложки кормил... Когда у него лапы отнялись. До самого последнего дня... От так от.— Таган помолчал.— А как у... как убивался потом...— Таган отвернулся, и хрипло фыркнул-храпнул, а потом добавил неестественно громко.— Так что гордись.

5. Старшой

Потом всё глубели-голубели снега, всё углублялась канава дороги, и неистойей пуржило на тепло и лютовало в морозы. Казалось, чуть звезданёт, чуть отодвинется облачная вьюшка-задвигка и стремительней улетит тепло, ухнет перепадом от минус пяти до пятидесяти.

От нас уже мало толку было, да и Старшой всё меньше ходил пешком и больше ездил и раньше приезжал. Дольше стали тёмные вечера. Дольше лежание в кутухах.

После большого и трудного круга вернулись мы на базу и на следующий день Старшой устроил выходной. Утром никуда не пошли. Хотя и погода остепенилась. Зима набрала ход и стояла такая серединка: откат от морозца на тепло, но только теплом стало двадцать пять.

С утра Старшой встал не спеша, и мы хорошо слышали его печные манипуляции и видели, как сначала нехотя пошёл дым из трубы, потом обильно и бело повалил, а потом, взвив хлопья сажи к задумчиво-голым лиственницам, задрожал горячей струёй. Столько слоисто-плотного снега лежало на крыше, что труба еле торчала из закопчёной снежной воронки. Воронку эту я изучил, забравшись на крышу по снежному мосту с пристройки.

Расслабленный Старшой первым делом особенно сытно накормил нас, с вечера сварив нам полный добавочный таз. Совпало, что и у Курумкана оказался выходной, точнее, полувыходной, и тот был на связи, с обеда собираясь «прошвырнуться по короткой дорожке». Чаепитие Старшого шло

за разговором, смехотворность которого просто поражала. Обсуждалась способность зверья соображать.

— Да чо там говорить! Ослу ясно, что они не хуже нас шарят,—искажённо верещал Курумкан,—возьми к примеру: вот снег оглубел... Как соболь знает, что его собака не возьмёт? Он же, гад, вёрхом прошёл пару кедрин, а потом прыг и ка-а-ак по полу вчистит!

— Знат, что кобель не возьмёт!—продребезжал дед с позывным Щучье.

— Дак я и спрашиваю, Дяа Миша, как он знат-то? — Да он, паря, лучше тебя знат...

— Ясно, Дя Миш!—сказал Старшой,—а как Таган знает, куда я пойду на развилке?

— Мужики, вы чо как маленькие?—вмешался бубнящий будто в колоду Дашкино,—вы в курсе, что медведь головой пробует толщину крыши в берлоге? Привстаёт и пробует! На случай, если через крышу катапультироваться придётся!

— Да ладно те, Дашкино! Ты с нар давай на путик катапультируйся! А то сидит тут.

— Ты правильно, говорис, Даскино,—прокричал дед Щучье,—пробует, крепка—нет. Мы раз брали на берлоге, дак он как сёрт скрозь крысу вылетел, аз землю взвил! Это у вас ум. А у ево понятте.

— Да чо ты говоришь—медведь...—засоглашались мужики,—а сохат?

— А ушкан?—крикнул Щучье про зайцев.

— Ладно, вас не переслушаешь,—сказал Старшой, попрощался и вышел на улицу с пилой.

Он любил берёзовые дрова за жар и несмолистость. За лето просохшее полено шло с растопкой—с завитой каменной берестинкой, которую Старшой с хрустом отрывал, и этот утренний звук мы хорошо знали. Берёза—особый разговор. Бледно-жёлтая затёска на ней странно глядится среди снега. Верхний слой бересты отстаёт лопнувшим пояском и нежные ошметочки, кудряшки-гармошки теребит ветром. Бывает и поплотней слоёк, в розовинку. Мы любили кусать, играть ими и, ткнув носом под отставшую шкурку,—удивляться, какая шершаво-прохладная сама берёза и будто влажная. До чего нежна природа, пока не оступишься.

А теперь всё по порядку. Хозяйственная возня отвлекла меня от тягостных раздумий. По случаю праздника мы с Таганом получили по мёрзлой щучей голове, которую грызли, кровя дёсны, но с азартом. Таган грыз у избушки рядом с колючной чуркой, а я отбежал подальше, добыв сразу двух ушканов: был застрахован от нападения Тагана на случай экспроприации у меня «щучей головы» и присутствовал при хозработах на приизбушечной территории. Потому что Старшой пошёл туда же с пилой и всюю отаптывал берёзину... Я расположился на снегоходной дороге метрах в двадцати под другой берёзой, так что видел Старшого с его приготовлениями, контролировал Тагана и мог

в случае его нападения в сжатые сроки достичь Старшего, поскольку и туда вела дорога.

Удивительно, как хороша в выходной щучка голова, даже самая мёрзлая, и как странно бела берёза, и как светло-жёлты опилки на снежном фоне. А звук пилы на морозе особенно шелестящий, дребезжащий и словно обёрнут во что-то шуршащее—подумал я, и даже пожалел, что сейчас нет такого мороза.

Чтобы лучше понять дальнейшее, надо усвоить три обстоятельства. Одно из них—отношение собака к лесоповальным работам. Собака совершенно не боится падающих лесин, и даже, наоборот, вертится рядом, потому что... Вот никогда не догадаетесь, хоть мы об этом и говорили. Собака не боится такой лесины, потому что у неё чёткая увязка с добытым, но застрявшим в ней сободем. И когда охотник валит кедрú, пихтуú, берёзу, она, едва дождавшись, когда лесина ляжет, уже суёт туда свой нос. А иногда и не дождавшись. И неважно, что лесина голая и с виду пустая—важней правило: проверь.

Теперь второе, очень важное обстоятельство, о котором я вам также рассказывал. Оно состоит в том, что соображения, куда какая полетит лесина и обо что сыграет или как вагой задрать снегоход и как работает двигатель внутреннего или внешнего сгорания и прочие кривошипно-шатунные штуки...—так вот эти соображения я называю «коленвал-коза-капуста» и болею от них неизбежно. Разве только могу объяснить, куда идёт шатун. Он идёт в избушку хрюпать меня и охотника.

И наконец три: собаку нашего воспитания, сидящую на расстоянии от хозяина, ни окриком, ни угрозой нельзя заставить переместиться или отбежать с места. Вы скажете: её можно позвать. Я отвечу: да, можно позвать голодную собаку, можно позвать собаку, стосковавшуюся по ласке или соболиному следу, можно многое. Но позвать собаку, которая ест щучку бошку, нельзя, потому что она решит, что щучку бошку хотят отобрать, так как у хозяина с такой собакой чёткая увязка: собака щучку бошку спёрла.

Предчувствую упрёки, что, похоронив брата, я затеял игры в щучью голову и погряз в литературном созерцании. Так вот такой вывод—суть полное непонимание собачьей сути, а суть эта в крайне весёлом нашем нраве, который по сравнению с нашей трудовой и, я бы сказал, даже героической составляющей выглядит по-детски, хотя на самом деле лишь уравнивает одно другим. И это врождённое веселье и есть ядро нашего Собачьего, за которое нас любят, подзапяжаясь искренней нашей энергией. Хотя много всего в нашем характере. Например, мы обожаем валяться в снегу и смешить не знающих, что это обычная чистка одежды. При этом наряду со снегом можем выбрать в качестве коврика мерзейшую пропастину-тухлятину. Рыжик, правда, вычитал,

что это для скрытия хищного запаха от будущей «жертвы». Ложь. Просто иногда хочется в дряни поваляться. Не всё ж чистеньким бегать.

Так вот режущий звук бензопилы... Вонькое облачко. Мёрзлое дерево. Острая цепь. Дрожь по стволу, которую и на расстоянии чувствую. Слабенькое, будто севшее, зимнее небо.

Старшой в куртке-суконке, оранжевая бензопила и два дерева рядом: берёза с развилкой у вершины—левее, и ёлка—правее. Он взялся валить берёзу. Отоптался... Поражаюсь, конечно, как он всё делает. Мастерски. Со стороны, куда валить, то есть с моей, он двумя резами выпилил дольку и выкинул её моментальным движением шины и не глуша пилы. Потом заорал: «А ну ва-ли оттуда!» А я положил полусъеденную голову, куснул и пожевал снег, повилял хвостом и снова взялся за голову, крепко сжав лапами.

Зазудела, взревев, пила и Старшой заорал: «Серый! Серый, блин, пшёл отсюда! Серый ко мне! Серый, козёл!» Я продолжал держать голову, а когда лесина повалилась, отпрыгнул, и, предвкушая, как сунусь в неё в поисках белки или соболя. И вдруг что-то сбилось в мире—и падающая лесина замерла с морозным треском, и раздался взрык Старшого, переходящий в кряхтящий полустон. Старшой не бежал к вершине, высматривая соболюшку, а лежал на спине с перекошенным лицом, и левая рука сжимала и разжимала снег.

Мутит, но попытаюсь всё объяснить по порядку. Берёза была с развилкой на конце. Не довёл ли Старшой рез, отвлекаясь на меня? Мёрзлая ли лесина, будучи кривоватой, раньше времени сыграла-скрутилась, подорвав волокна и уйдя в сторону от места, куда целил Старшой... Но знаю одно: когда она пошла, он глядел на меня и даже кинул в меня верхонку, а в этот момент лесина упала развилкой на другую берёзу и, съехав по ней, соскочила с пенька и уткнулась в снег под углом. Всем весом. Правая нога Старшого удобно стояла у шершавого комля ёлки, он не успел её отдёргнуть, и её припечатало всей силой падающего мёрзлого дерева.

За что люблю этих мужиков и с ними пойду хоть куда, хоть под пули—Старшой всё как положено сделал. Комар не подточит. Вначале его, видимо, мутило от боли, но он чуть отлежался, дотянулся до пилы и завёл. Всё ступеньками делал: дёрнул—не завелась, сыграла на весу без упора, рывка не получилось. Полежал, кряхтя, что-то приговаривая, морща побелевшее лицо. Снова прилачился, дёрнул и, заведя, чуть подержал на груди, откинувшись на снег. Потом стал пилить, но смотреть было страшно: этот зуд, гулко отдающийся по стволу, упирался, лился в зажатую мякоть ступни. Чтобы легче расшатать, ослабить стволину, он сделал два реза, две чурки, два колена, и самое трудное настало—выбить их свободной

ногой, выломить углом и мгновенно вытащить ногу и откатиться. Из-под берёзы, которая всем весом съедет, дообрушиться. Всё сделал. Выкатился. Попробовал стать на четвереньки и ползти, но нога не давала, цеплялась. Тогда перевернулся на спину и полз на локтях, подняв ногу, и ещё и пилу тащил. Они все в этом. Такие мужики. Ещё дверь в избушку открыть надо было. Но дополз.

Ногу отёком разбомбило. Резал бродень. Нас позвал. Я лизал ногу. Кусок оленя... Лилово-красное.

Заполз на нары и включил рацию. Ещё недавно все орали, как дурные, а теперь стояла тишина, только что-то мерно тикало, да переговаривались уродливо-утробно радиолюбители: «Батарейка, батарейка—я турбина, как принял?» Наконец Старшой докричался до женщины с позывным «Улукан», которая сказала:

— Да я кого вызову? Сама сижу тут. Нас тут семь домов. Только вечером связь по полям.

У Старшого был младший брат Валя—давно горожанин и коммерсант. Он дал Старшому на охоту свой спутниковый телефон. Телефон брал сигнал лишь в открытом месте. Старшой уполз на берег и вызвал санзадание. Нас увезли в район.

6. Галетка

Старшому лечили множественный перелом стопы, а нас с Таганом главврач отправил в посёлок на проходящем вертолёте. Связали верёвкой, и мы были как дружка веников. Вертолёт прилетел утром потёмну и подсел только ради нас. Нас выкинули, и мы ломанулись, чудом нигде не зацепившись, и только у нашей ограды закрутились за штaketину, где нас отпугал маленький Никитка, идущий в школу и крикнувший маме: «Папа, наверно, Рыжика с собой в больницу взял!»

Этот путь в «дружке» с Таганом был для меня особым. Таган наверняка не придавал этому значения, но я внутренне сиял. Что Таган при всём своём, как мне казалось, презрении ко мне, оказался увязанным со мной воедино и вынужден был послушно подёргиваться на мои рывки.

Старшого привезли вскоре с записанной стопой. Догадываюсь, в каком он пребывал убийственном огорчении, когда пропал сезон и надежда на заработок. Не считая нас, на его шее сидели жена, двое детей, дочка и сын, и прорва кручёных родственников.

Прошёл Новый год. Капканы стояли непроверенными второй месяц, и вдруг в начале января после перерыва в несколько лет приехал брат Валя и взялся «запустить капканья». Приехал он на своём снегоходе с большого посёлка, куда, в свою очередь, приехал по зимнику на своей же машине и с прицепом, у которого по дороге что-то оторвало. В тайгу он тоже собирался на своём снегоходе—не в меру разлапистом, малиновом с искрой и кучей штук, которыми так гордился, что рвался в бой.

У Вали было условие—берёт собаку, а без неё не поедет: то ли боялся, то ли хотел компании. Принимаю и поддерживаю: с собакой в тайге веселей.

В эту пору, а стоял морозный январь, собак не берут: толку от нас нет, только лишняя готовка, да постоянное ожидание, если далеко ехать. Новые снегоходы, проскакивая наледи, несутся с огромной скоростью, которая теряет смысл, если всё время вставать и ждать собаку. Старшой не хотел кого-то из нас отправлять, но Валя упёрся, и пришлось отправить меня. Я другого и не ждал. «Нашли молодого»,—поворчал я для форсу, потому что, как всякая молодая собака, поддерживал любой поход и стремился в дорогу. Предусмотрительный Старшой отправил Валу в паре с Курумканом, который промышлял выше нас по реке. Встал вопрос: как со мной быть, чтоб не ждать. Старшой и тут нашёлся: дал огромный сундук, который якобы давным-давно собирался забросить на базу «хранить хахоряндии, да и сидеть кудревастенко». В общем, меня предполагало везти в сундуке. Хорошенькое дельце. В сундуках не ездили! Как не вспомнить Рыжика... Поеду как хахоряндия... Хотя не как веник.

Валу снарядили нарточкой, куда воткнули сундук. Курумкан вёз бензин в канистрах, полные сани. Меня решили сначала «добром прогнать», чтоб успокоился и не норовил «куда-нибудь дунуть и влететь Коршунятам в капкан», а потом уже упечь к сундучину. Старшой, надо отдать ему должное, натолкал туда сена и ещё мёрзлого налима бросил («Чтоб не скучал!»).

С утра подъехал Курумкан, и вот стоим у ворот: Курумкан на своём белом исшораканном «армейце» со стеклом, зашитым проволокой, и с багажным ящиком, грубо свёрнутом из жести. И к ящику приклёпанный чехол для топора. Камусные лыжи засунуты под верёвочку сбоку вдоль подножки. Лежат как оперение—шкурой наружу, пятнистые, выразительно-живые. Валентин на малиновом огромном агрегате, с широченным разносом лыж. На что я пень в технике, и то подумал—как он поедет по Старшовским дорогам? «Армеец» Курумкана пах железной окалиной и подгорелым маслом, Валин «малинник» распространял сложнейший букет: запах неизношенной резины, тоже масла, но какого-то вкусного, добротного, как выяснилось, специального американского с запахом клубники. Пластиком и ещё чем-то... Наверное, достатком—подумал я. Поджарый Курумкан пах выхлопом, костром и шаньгами, а располневший Валя—ароматической салфеткой и утренним вискарком.

Дальнейшее пропускаю, ибо был упакован в сундук и выпущен, когда съехали на реку. Сначала «передом» пошёл Курумкан, несмотря на поползновение Вали дать «копоти» на своём «малиннике», который был в два раз мощнее, в связи

с чем называлось умопомрачительное количество непарнокопытных: «кобыл», «кляч» и «коней», которые, как я понял, как раз с мощью и связаны.

Курумкан ехал передом, пока была дорога, а когда пошёл целик, пустил многокобыльного Валентина, настроив приказав останавливаться только на берегу и залавке, потому что «вода под снегом» и что если вода — то «тапок в пол и вперёд». Меня пустили «добром прогнаться». Я бежал, нюхая едкую клубнику и вспоминая рассказы Тагана о прежних временах. Выходило, что раньше при встрече охотники говорили о лыжах, нартах и кулёмках, о бересте, камосе, дёгте, а теперь об особенностях бесконечного числа снегоходов, бортовых каких-то компьютерах, сканерах и том, сколько они стоят. И мне казалось, что если разговорами о коже и дереве охотники поддерживали тёплый собачий мир тайги, то в последних дебатах не было ни объёма, ни привязки к месту — лишь стынь технологий и уход от смыслов.

Валя решил резануть с мыса на мыс, благо у «малинника» было «дури немеряно» и он так «натопил», напустив клубники, что превратился в сизую точку. Потом вдруг остановился, и я услышал ругань подъехавшего Курумкана. «На хрен встал здесь! Вода кругом! Видишь вон полынья у мыса!» Валя ответил: «Да лан, Толян, давай пофотаемся — смотри место козырное! Мы в том ручье с батеи медведя добыли». Картина и впрямь ворожила: кедровый увал, волокнистая полоса пара из полыньи и жёлтый свет солнца, вышедшего из-за сизого длинного облака.

Под снегом была вода, и я прилёг выкусить лёд, налипший на шерсть меж подушек. Валя достал фляжку, но Курумкан пресёк порыв, сказав «что ехать и всё потом». И, мол, всё, хорош, поехали. Валя рванул, уйдя в точку, а Курумакан с тяжеленным возом засел в наледь. Вскоре явился Валя и попытался вытащить Курумкана, но зарылся ещё хуже. Булькал, истошно газуя в зелёную траншею. «Не газуй, бляха!» — орал Курумкан. Вале мешал карабин с оптикой, он его то снимал и втыкал в снег, то надевал, и на прикладе образовалась ледяная блямба.

Курумкан взял бразды, сел на «малинника», потихоньку раскатал колею и, моментально освоившись на нём, вытащил и свой снегоход и перецепил сани. . . На чём заканчиваю, ибо началась козак-капуста. А главное, что Валя хотел похвастаться «малинником», а оказался посрамлён. Только и сказал: «Да, вот что значит профи!» И, полный, стоял кулём в пухлом сизом костюме с кучей карманов и ярко-жёлтых молний. С оленем, выштопанным жёлтой ниткой. Олень был не северный. Марал, наверное. Или изюбряк.

В конце концов выехали на твёрдое, околотили снегоходы и посадили меня в сундук, так что дальнейшее путешествие я могу описать лишь по рёву и дерготне Валиного снегохода и крикам:

— Ты чо блин! Смотри хоть куда едешь-то. Маленько в дыру не влетел! Здесь же промывает!

Или:

— Ёооо! Стой-стой-стой! Валя, ты чо газуешь?! На хрен ты полез сюда?! Не видишь зелёное всё, водищцу выдавлят, морозы, лёд садится. Ямки заливает. — Выпустить может его?

— Да не хрен. Пускай сидит. Хе.

— Новая порода — сундучная лайка. Кстати, как агрегат?

— Твой-то? Зверь.

— Покупай!

— Гуска узкая. А ты продавать что ль надумал?

— Ну. Чо, погнажи?

В конце концов меня выпустили, и мы заночевали в избушке. Наутро всё повторилось. В общем дотрясся я в сундуке до нашей базы. Вечером Курумкан с Валею праздновали приезд, а утром расстались. Курумкан уехал дальше, а мы с Валентином двигались уже тайгой, проверяя и закрывая ловушки.

Валя ехал трудно. Скоростной «малинник» с широченным разносом лыж не вписывался между пихт и кедров и всё время застревал. На дорогу понагибало берёзок, одавленных снегом. Вале приходилось слезать и, утопая в снегу, рубить мёрзлые арки. Топор звенел, отскакивал и однажды вылетел из руки в скользкой рукавице, и Валя его еле нашёл в пухляке. Валя наехал на согнутую дугой берёзу и повис лыжами. Берёза лежала: слева комель, справа вершина. Валя срубил правее дороги, и обрубок ствола, на котором висел снегоход, вырвался, выпрямился и сильнее снегоход задрал. Одет Валя был слишком тепло для леса. Он то и дело садился на сиденье и, сняв стёганый треух, тяжко дышал. Тёк пот с красного лица. Лицо полное, круглое, с двойным подбородком. Звал меня, гладил, качал головой: «Смотри, упрел как. . . А у тебя-то четыре ноги? Четыре? Да? А какая морда у тебя. . . Какой нос кирзовый, хорошая собака, хорошая. . . найдёшь мне соболя? Или глухаря? Найдёшь?»

Глухаря я нашёл — прямо на нашей дороге на кедрё. Валя добыл его из своего оглушительного карабина. Подбежал радостный, возбуждённый. А дальше. . .

Дальше произошло событие незначительное, но для меня символичное. Все вы знаете картину отличившейся собаки: выражение её ворсистой морды, открытой улыбающейся пасти и сияющих радостью глаз, когда она стоит по-над добычей, и уже оттрепав её, нет-нет да пожамкает и лизнёт. И вся ходит ходуном, а когда глухаря или соболя подберут и держат на высоте, прыгает, пытается достать, и как наполнено счастливое это прыганье трудовой гордостью.

Валентин стал меня хвалить, и я, зная, что всё правильно сделал, из вежливости повилял

хвостом. А раньше, в самый разгар возни-прыганья Валентин, собираясь подобрать глухаря, вдруг зашарил по многочисленным карманам, достал из кармана галетку и сунул мне в рот. Я был настолько разгорячён, что поначалу не понял, в чём дело, и отторг галетку, даже не подержав во рту, хотя, возможно, со стороны это выглядело, что я выплюнул, выкинул и отверг, а она отлетела — никчёмная. Хотя в другой раз я бы полцарства собачьего отдал за такую галетку.

Валя, видимо, вычитал в каком-нибудь руководстве про «поощрение питомца лакомством» и, подобрав галету, несколько раз попытался, придерживая меня, всучить, всунуть её в горячую пасть, где всем — и зубам и языку — было не до галеток, и я помню, язык её даже выталкивал — насколько несовместима была это галетка с запахом глухаря, моим азартом и всем духом происходящего. С грозным и героическим падением глухаря, хлопаньем крыльев и сломанной веткой. И с моей нервопротрёпкой, ибо я переживал, не смажет ли Валя, зная, как он управляется с «малинником», и опасаясь, что с новым девственным карабином будет то же самое. Да и оптика вызывала сомнения на таком коротке, а Валя полчаса снимал с неё чехольчики и совал по карманам, борясь с молниями.

Старшой в жизни не тыкал нам «лакомства», во-первых, потому что для него это наверняка отдавало инструкцией, а во-вторых, потому что он полностью разделял наш восторг добычлика и был его частью, а подачка выглядела кошунством. Да и несоразмерен красавец-глухарь с галеткой! Калибр разный!

Задним числом я не раз пытался представить, как это выглядело со стороны. Как Валя пытается мне засунуть в рот галетку, и вместо порывистого хватающего, вырывающего моего движения — встречает отторжение. И как меня прострелило детским ощущением — когда суют таблетку, и я её выплёвываю, выталкиваю языком. . . И как потом жалко стало бедную галетку, но я недолго грустил, зная, как прекрасно съедят её мыши.

Почему я так заостряюсь на этом эпизоде, потому что мне докладывал об этом Кекс, Старшовский кот, к которому перехожу, поскольку больше о походе с Валентином сказать нечего. В его описание я встрял ради галетки. И выходит, она своё взяла. Так вот у Старших (так буду называть семейство Старшого) три кошки: Мурзик, Пуша и Кекс, в чьём названии есть детский след, и это понятно. Дак вот с Кексом мы вместе росли. Нас с Рыжиком щенками тётя Света затаскивала домой, Кекс тогда был котёнком, и мы играли безо всякой неприязни: в ту пору в голову не приходило собачиться (и кошачиться) из идейных соображений. Оба были мировоззренчески девственны.

Во мне дело или в Кексе, но совместные игры не забылись, и, бывало, встретившись на улице,

мы с Кексом общались запросто, если, конечно, поблизости не было Тагана. Кекс эти беседы любил, тянулся к Собачьему, а я имел политический интерес: поскольку «в избу» меня не пускали, а через Кекса я мог узнавать, о чём говорится, так сказать, в эшелонах власти и к каким переменам нам, собачьему люду, готовиться.

Так вот по приезду, точнее, прибегу в посёлок, а прибег был потому, что сундук сгрузили и я бежал, а Валентин ждал. . . Так вот по прибегу в посёлок и по волнам, исходящим от Старшого, а собаки к волнам чутки, я понял, что нечто происходит. Вскоре я встретил Кекса, который доложил обстановку. В частности, из его слов следовало, что Валентин на меня «нажаловался», что, мол, «да, хороший кобелёк, рабочий, глухаря нашёл, но и тоже фрукт, пренебрёг» его даром и повёл себя «невоспитанно», «нос задирает» и так далее. Я уверен, Кекс накрутил отсебятины и, таким образом, разрыхлил почву для дальнейших отношений. По обыкновению начал ратовать за Собачье и повёл разговор в вечном своём духе: «Эх, ну заставьте вы меня на охоту пойти! Конечно, мы тут зажирили. . .» и так далее. Мол, нам хорошо: в тайгу ушли, а у него забот и ответственности полон рот, и вроде как мы легкомысленные, а он такой отягощённый. И грозно добавил:

— Нынче точно соберусь. Так что готовьтесь, — и добавил другим тоном, будто предыдущую тему он отработал для формальности. — Да, дак вот про галетку-то всё цветочки, а оказывается Дядя Валя-то не просто приехал и дело пахнет. . . в общем это больше вас касается. . . дак вот. . .

В этот момент Кекс, зашипев, взвился по столбу и шмыгнул под крышу веранды, потому что раздался громовой скрипотопот Тагана, вернувшегося с охраны западных границ нашего участка. Схватив и завалив меня, Таган зарычал:

— Чо с ним тёр? Смотри ещё раз увижу, даже на варежки не пойдёшь!

И Таган выронил мой загровок примерно так же, как я знаменитую Галетку, и, ядром стрельнув за ворота, уже задираю ногу над чуркой. Зыркнув на пробежавший кортеж младшего Коршунёнка, едущего по воду и состоящего из трёх псов — двух нормальных и один хаски, рявкнул: «Чо пялишься? Воротьев на видел? Вали давай!» и взрыл снег задними лапами, засыпая встречные аргументы.

Весь вечер я гулял и размышлял над выплюнутой галеткой. Как быть в таких случаях. Может, брать, чтоб не обижать? Не выглядеть чистоплюем? Ведь Валя отблагодарить хотел! Как мог. Но как объяснить, что я не за галетку работаю?! Не знаю. . . Мне кажется, тут вера первому движению сердца. . .

Я проходил мимо веранды и услышал хриплый нарастающий мяв. Кекс опрометью бежал мимо с прокусанным ухом и расцарапанной мордой: «Короче, мне тоже нагорело. . . от Пушки и Мурзика.

Теперь если понадобится — выйду, придавишь меня, я заору. Ну и поговорим. Только не сильно дави-то. Давай! Через пару часиков погавкай».

Я погавкал в указанный час. Таган как раз убежал на охрану юго-восточных границ. Там проезжали трактора с деляны и елозили хлыстами... С Кексом я всё сделал, как договаривались:

— Помогите! Задавили!

— Попался, козёл! Не дёргайся! Чо тут шарисся?! Нашёл диван! — сказал я и замер: вылетел Таган, скакавший с обходом:

— Чо он там? Буксует? Помочь?

— Да не, дя. Ровно всё. Разберусь!

— Дави его на хрен! Я погнал тогда, там старшие Коршунята оборзели.

В общем Кекс просипел, что Валя приехал неспроста, что продаёт «малинник» и что «малинником» дело не кончается...

— Да что там такое?

— Не переусердствуй! Дорвался... — сипнул Кекс, — брат хочет долю продать! Всё, до связи! — вырвался Кекс и с криком «Задавили!» взмыл под крышу веранды.

Вечером братовья парились в бане. Валя бегал в снег, а Старшому не позволяла нога, но оба так базланили в предбаннике, что мне не стоило труда расположиться поодаль с верным видом и всё слышать, тем более и Валя после похода стал мне «немножко хозяин».

Валя был довольно нудный брат и буквально заталкивал в Старшого свои «сгустившиеся обстоятельства», время от времени прерывая словами: «— Давай, накладывай» и выпив, продолжал возбуждаться и резиново нудить, как у него «всё рухается» и как его прокуратура «крепит».

Короче, история такова. Валя ещё по молодости уехал в город и пустил там корни на охотничьей почве. У него на зоне был знакомый майор, благодаря которому Валя наладил там выпуск капканов и аквариумов и открыл два магазина — охотничий и зоо, где у него, по словам Тагана, даже ручной крокодилчик жил. Благодаря, кстати, которому я всё это и запомнил. Крокодилчик меня поразил, и страшно хотелось по нему поработать. Потом магазинов развелось как грибов, ушёл майор и начался запрет на ногозахватывающие капканы, так как Россия подписала международную конвенцию. Тогда Валя решил выпускать гуманные капканы и припёрся к Старшому испытывать их с канадцем. Заварилось дело. Ловушки надо было то ли сертифицировать, то ли портифицировать, не помню точно, но знаю, что капкан считался гуманным, если зверёк погибал меньше чем за четыре секунды... или двадцать четыре — точно не помню. В общем гуманный капкан.

А теперь разберёмся почему собаки ка-те-го-рически против гуманных капканов?! И что это за капкан и как он работает? А так: зверёк проходит

через рамку, которая мощнейшими пружинами складывается и шарахает за тело так, что зверьку приходит конец. Пружины столь сильны, что охотниками, говорят, отшибало пальцы. А теперь давайте вернёмся в нашу осень и вспомним краеугольное мероприятие, от которого, как мы теперь знаем, столько зависит.

Да. Представьте, как ставить гуманные капканы на собак! Цинизм и тупорылость канадцев в том, что они не подумали про собак! О норках и соболях валютных подумали, а о собаках — нет! Ни за четыре, ни за двадцать четыре секунды Старшой не соскочит с нар, не нашарит калошки и не добежит до молодой собаки, попавшей в гуманный капкан. А вы представляете с какой силой лупанёт по лапе, если соболя сплющивает в лепёшку?! Лапу-то отшибать будет сразу! Вот к чему приводит бездумный перенос на нашу почву заморских начинаний. Факт существования таких псевдогуманных капканов меня возмутил сам по себе, но когда я узнал про конвенцию и Валины капканные планы — у меня произошёл нервный срыв. Хорошо, что отходчивость — ценнейшее свойство Собак.

В общем майор ушёл, Валя «влóжился» в гуманные капканы, а дальше началась коленвал-коза-капуста с долгами, кредитами и какими-то приставами, которые приставали к Вале, и ему понадобилась куча денег. И вот он продаёт «клубничник» и десять литров малинового масла. В смысле наоборот... А дальше начинается самое плохое.

Выдохнем.

Охотничий участок Деда Вовы принадлежал пополам двум братовьям — Старшому и Валентину, таким образом, что у Старшова была своя половина, а у Валентина — своя. Но Старшой по обоюдной договорённости опромышлял обе части. Теперь грянуло: у брата Вали плохи дела, и он собирается продать свою половину.

Деньги требовались срочно, поэтому Старшой стоял перед выбором: либо самому выкупать, либо долю выкупят. А желающих было прорва. Но совсем плохое, что соседями с Валиной, ближней к посёлку стороны были те самые Коршунята — сыновья одного коммерсанта, ребята циничные и технологичные. Тайга была им лишь средством «поднять денег». Гребли всё, били оленей табунами на продажу. С весны до осени хлестали с туристами рыбу. И были настолько капроновосентипоновые, что Старшой говорил: «Это не промысловики, это — роботы...»

Роботы заезжали на охоту по снегу на шведском вездеходе. А собачья политика такая: «Мы всё просчитали — не рентабельно. Она базлает, я пока иду до неё и обратно — лучше двадцать ловушек настоужу».

— Валя, ты чо! Какие Коршунята? Там на Хака-начках меж двух сопок как раз самый ход соболя,

они там огород поставят и мне всё перекроют. А весной за сохатым и оленем сто пудов ко мне нырять будут! Я же не буду там сидеть безвылазно. А на речке баз понастроят, будут турье возить. Вообще перекроют кислород. И ещё выезжать через них. По моим избушкам. Да и я там сколько сил вложил сил. Кулёмника одного нарубил сколь! Да если б и не влаживался. Один хрен. Мне такие соседи не нужны!

— Да понятно, брат! — отвечал Валя, — но ты меня пойма! Меня! Мне край! Ты меня ставишь!

Старший крикнул:

— Да ясно всё. Короче, не продавай никому. Всё. Заберу.

— А я не тороплю. — расслабленно отвечал Валя. — Неделя есть. Не тороплю. Накладывай! А Серый твой — гордец! Горде-е-ец! Как он галетину выплюнул!

На этом моё развед-везенье кончилось. Во-первых, едва я пытался давануть котофея, как появился грозный Таган, и Кекс взмывал под крышу. А во-вторых, нас с Таганом посадили в вольер. И вот перед глазами сетка с прилипшим собачим пухом и помётom. Она пузырьём продавлена нашими лапами — собаки любят кидаться на сетку, причём в одном месте — где просится прыжок после кругового пробега. Поскольку решалась судьба нашего охотничьего будущего, мне пришлось всё выложить Тагану. Он взъярился и для начала сделал несколько кругов по вольеру с бросками на сетку. Потом подошёл и рыкнул больше себе в укор: — А я чую неладно! — потом мощно взрыл снег задними лапами, — Кекс ещё этот в мороз завывалзил. Я же понял всё, чо смеяться! Тоже конспираторы. А то я смотрю Коршунята приборзели. Ага. Хрен вам в норки. — Он пару раз метнулся по вольеру, и снова взрыл снег. — Да ты понимаешь, на что ты меня толкаешь?! С Кексом этим... А если узнают?! Те же Коршунята. Это же нарушение всех понятий. Башка пухнет с вами. Кошарня ещё эта... Они и не жили здесь... Понаехали... Будто бы сами с мышами не справились! Чо они там опеть? — и он кивнул на избу. И помолчав, передёрнул шеей: — Лан. Дави Кекса! — и скрылся в будку, гулко стукнув внутри сильным телом и задёрнув брезент.

Вечером Кекс подскочил к вольеру и, увидев Таганий нос, заходивший резными клапанками, остановился в недоумении.

— Скажи пусть лезет — не тронем. И орёт погромче, — пробубнил Таган из будки: — Позорище.

— Точно не тронет? — тихо спросил Кекс.

— Да, точно, точно, — успокоил я, — давай быстрее.

Кекс перескочил сетку, и я выдавил из него такое, что даже Таган ахнул.

7. Сочинение

Всё нижеследующее является моей художественной версией, реконструкцией произошедшего,

поскольку Кекс в перерывах между мерзопакостным своим воем передал только основные вехи событий, и было бы унижительно для повествования передавать лишь эти, извиняюсь за каламбур, кошачьи выжимки.

Для начала семейный пейзаж Старшего. У Старшего все тянули кто куда: жена в одно, подрастающая дочь в другое, тётца в третье, а шурин, детина Дяа Стас, которого все звали Диастасом, вместо того чтобы жениться, был большим фантазёром, попилвал пивко и большую часть времени проводил за экраном, откуда выуживал прорву разнообразных сведений и мыслей, кои и направлял на мозги чад и домочадцев.

Донимал Старшего купить вездеход, как у Коршунят, поставить в него печку, прорезать в полу люк и через него ставить и проверять капканы «на подрезку», не слезая с банкетки и путешествуя по профилям, когда-то пробитым экспедицией.

В описываемую мною пору на просторах нашей охоты царило два взгляда на роль собак. Один, скажем так, наследный, предполагал широкое наше использование, как в осенней охоте, так и в остальные сезоны, а в случае нужды и упряжнёе подпрягание нас в аварийной или детско-забавной ситуации. Это было внешним проявлением нашей роли, а главное заключалось вообще в нашем наличии и в том значении, которое придавалось общению с нами домочадцев и подпитки их весёлым и героическим духом, носителем коего мы от века и являлись. И ещё более важное главное — в любви к нам как к части территории, завещанной предками.

Но находил всё большее распространение другой взгляд на собак, опирающийся на одно, с виду здоровое, обстоятельство. Пора так называемой ружейной охоты, то есть охоты с собакой, а не ловушками, в наших сопчатых и потому много-снежных краях очень коротка, и многие заговорили, что невыгодно держать собак ради двух недель охоты. Что важней быстро насторожить весь участок, и беготня к лающей собаке — лишь помеха, ведущая к производственным потерям. И даже подсчёты приводились. В часах, километро-ловушках и ловушко-соболях, и прочей коленвал-козе-капусте.

Самой вопиющей была теория отучения собак от работы по соболу и оставление в подмогу лишь как птичницы для добычи привады. Что касается зверовых собак, то они вообще оставались на откуп сугубых любителей. Допускалась трофейная охота с собаками для богатых гостей, ну и собачье-ездовой туризм с закупкой заморских собак. Будто у нас своих не водилось. Идеи эти витали в воздухе, а стараниями Диастаса внедрялись в сознание Старшовских домочадцев, и даже Старшой признавал: «Не, ну действительно охота изменилась. Понятно, по осени для

души с собачкой походить—это здорово. Но если охватом берёшь, то лучше насторожить побольше. Оно на то и выйдет. Если честно, уже прыти нет. Спина, коленки... Это у них-то четыре ноги, хе-хе. Четыре вэ-дэ». Что за «четыре вэ-дэ» Кекс не понял, просто повторил. Подозреваю, очередной колленвал... Эх... В общем всё сводилось к сворачиванию Собачьего дела на наших родовых просторах. Прилагались выкладки, сколько центнеров налима и мешков сечки уходит на одну собаку в год, на четырёх, и довод «всё это сварил!». Плюс налоги на собак, которые вот-вот введут, несмотря на протесты.

Если б это было просто сворачивание! Это была настоящая угроза. Попрание веками сложившихся традиций. И особо прозорливые пророчили распад Собачьего мира и медленную, но планомерную замену наших охотничье-трудовых собак американскими туристически-развлекательными.

Кекс и вовсе говорил умудрённо, что, хе-хе, какие, мол, хаски, никто не будет вас убирать и заменять хасками и аляскинскими бала... в смысле маламутами. Всё будет гораздо грамотнее. Сделают так, что на вид вы останетесь западно- или восточно-сибирскими лайками, а вести себя будете, как баламуты... Вот в таких идейных брожениях и протекала наша собачья жизнь в начале текущего века. А теперь к делу.

Новость первая. На новогодние каникулы маленькому Никитке задали сочинение: «Почему воровать нехорошо». Никитка, которого Старшой изо всех сил приучал к таёжной и трудовой жизни, написал про «папиных собак» и про то, как «Рыжик пошёл по капканьям, а папа его застрелил из „тозовки“. Потому что воровать нехорошо». Учительница, приехавшая из города за северным стажем, исправила «капканья» на «капканы», а потом позвонила и выговорила Старшому: мол, что же Вы ребёнка к жестокости приучаете? Злющий и издёрганый неурядьями Старшой сидел с Валею за столом и только собирался поднять стопку: — Ну чо, братка Вовка, между первой и второй? — Помещается ещё... Да, я слушаю. Чево-о-о? Ева Архиповна, не надо лезти. Вы детей учите—и учите, а со своими собаками я сам разберусь. До узви.—И швырнул трубку на кресло.—Кобыла. Давай, Валёк.

Расстрел Рыжика Старшой от сына скрывал, сказав, что того волки съели, и правду Никитка случайно подслушал в разговоре.

Вторая новость заключалась в том, что ввиду неудачного охотсезона Старшой крепко подсел по деньгам и было непонятно, на что забрасывать весной по снегу бензин и продукты. Всё подвозилось прямо к избушкам, не надо было корячиться на лодке по порогам, да и не все избушки стояли на берегу.

Третья новость: Коршунята осаживали Валентина и чуть не требовали продать половину. Четвёртая: вроде бы Старшой договорился «займаться под проценты у Шатайлихи, причём сразу на всё: и на завоз, и на расчёт с Валькой».

Шатайло были поселковые коммерсанты. Руслан—бывший охотовед, а Альбина Сергеевна Шатайло, его жена, хозяйка большого магазина, при которой Руслан был приёмщик пушнины и водитель. А для меня Альбина—прежде всего хозяйка несостоявшейся рыжиковой зазнобы Николь, карликовой пуделихи или пуделессы, уж не знаю, как правильно. Альбина была, как кряж, квадратная, с каштановыми в красноту крепко завитыми кудряшками, отёсанными с боков, и широким открытым загривком. Черты лица крупные, глаза очень красивые, карие на выкате и с розовыми, будто больными влажными белками, ресницы гнутые и лучистые и яркая приветливая улыбка. Вся Альбина в дополнительном будто покрытии—пудре, помаде, глазной краске, в кольцах, перстеньках и серёжках. В крупных, желтково-прозрачных в муть бусах... Покрытие было такое плотное, что казалось, на отдых должно сниматься, позвякивая, усталым пластом.

Норковая шуба, сидящая квадратно, а если сбоку—то от бюста углом и тяжёлым щитом до полу. Когда шла—казалось едет, покачиваясь. Шапка светлая с пятнышками, нерпячья—косой шар с козырьком и меховыми же бубенцами. В общем, броня и каска. Под мышкой сумка с золотистыми и сложными для собачьего описания железячками и свисающим ремешком.

Николь она тоже подбирала под мышку, и та гладела чёрными глазками и семеняла вхолостую лапками. Вот, кстати, откуда аромат! Рыжик навивно думал, что Николь умеет «пользоваться парфюмами», а она просто, как сказал бы Таган, «натягивала» запах хозяйки. Стриглась под льва, то есть оставляла круглую гриву и манжетки на лапах, а всё остальное брила до волнистой розоватости... тошно, не могу, ну и носила кафтанчики или тулупчики, как правильной... Ярко-синий с лжекарманчиками, погончиками и резинками на штанинах. Какой-то ещё юбочковидный, с меховыми манжетками и шнурковой затяжкой вокруг хвоста. И ещё с тапочками... Меня просто трясёт, когда Альбина этой Николи говорит: «Фу!»

Руслан был рослый, добротнейший и как, собака вам говорю, предельно-породистый. С крепким лицом, литым и рельефным одновременно, с подбородком замечательным, синеглазый, с чёрными усами и плотными, коротко стриженными волосами—окрас соль с перцем, перца больше. Выглядел моложе Альбины, и весь какой-то сытый. Говорил негромко, чуть заикаясь. У него было два дела: ходить от Альбины на сторону и покупать технику—катера, машины и снегоходы. Компанию

любил, умел с мужиками посидеть, но всегда имел святое одно дело, от которого плясал в планах. Называлось оно: «Перевезти Альбину». «Ща, мужики, всё можно. И посидеть можно. Я только Альбину перевезу». Будто она была гарнитуром с сервизом, который нужно бесконца перемещать.

Он её перемещал то из дому «до бабушки», то от «бабушки до внуков», то от «Ларисы» до дому. Перемещал с сумкой, розовым телефоном и подмышечной Николью. Перемещал постоянно: то в её магазин «Клондайк» («Колондайк» в народе), то в совет, то в не совет, а то готовил школьникам к «Году животных», поэтому Руслан освобождался, только когда перемещал Альбину окончательно и убеждался в её полной общественно-семейной загруженности.

Альбина была из тех, кто расцветает на людях, словно ей скучно в посёлке, и она, выкатясь от телевизора на свет, стремится и там продолжить цветной пыл и гомон. Надо спектакль в клубе—поставит. Какая-то комиссия—она там обязательно. Придёт с папкой на локте: «Где у вас тут щиток, Руся, посмотри». И говорит так с напевом, с посылком... «Как ребёночек?» И улыбается завораживающе. Глаза светятся, ресницы распахнуты. «Да. Сейчас налог вводится, надо кошечек заявить и собачек всех, не забудьте. А вот брошюра. Мы тут с собачкой на выставку летали. Полистайте и приобретайтесь». Старшой, помню, брошюру выкинул в снег, и я, как сейчас помню, странные буквы: «West-Siberian animals under protection». Дальше, правда, пошло легче: «Региональная организация защиты животных. Центр правовой зоозащиты... Основное преимущество свободы—это то, что высшая граница обязанностей человека—позаботиться о правах животных. Когда это право на свободу гарантировано, то отпадает ответственность человека за дальнейшее наполнение...⁹». Видимо, вкралась опечатка, потому что после слов «За дальнейшее наполнение» исчезли слова «нашего с Таганом таза...». Тагану показать побоялся.

Одно время Альбина прочила Старшого в главе посёлка—«мужик крепкий, ответственный... Что ж вы в тени-то сидите?» Жена говорила: «Иди, чо ты муляешься?! Всё вверху решается. Э-э-э... бродень латанный. Так и будешь последний воз в обозе. Всё без тебя поделят, пока ты тут с псарней жмёшься, кого взять, кого дома оставить».

Альбине с Русланом Старшой и сдал немногочисленных своих соболей и получил аванс—остальное ожидалось после апрельского аукциона, как раз во время завозки в тайгу. Но Альбина «вошла в положение, тем более травма», «мы

9. Действующий закон о благосостоянии и здравоохранении животных 1992 г.

же люди», и ссудила Старшому на все затраты, включая выкуп участка, и даже дала свежий бензин на заброску, вычтя из суммы. Возвращать предстояло следующей зимой «по результатам промысла».

Удивляет неестественность, дурная лёгкость с которой липнет к недалёким собакам и людям всё расхоее и наносимое ветром. Будто чувт лакомость ветерка, грозящего прибавкой... Вроде вещь незначительная, дрянная и чуждая, но становится вдруг темой для упорного внедрения. Высшей воли нет поставить заслон, и на то и расчёт, что по занятости и бездумию попустит народ.

— Дело в том, что животные такие же члены общества, как мы с вами...—Пока мы сами не поймём, ничего не будет. И надо что мы—Иванов, Петров, Краснопеев—поняли... С себя начните. Заходите, заходите, не стесняйтесь... Это всех касается. С себя начинаем. Собака—это личность, а не частная собственность... Надо осознать равноценность... так, где очки?... главных потребностей людей и собак, например, все мы любим вкусно поить и культурно отдохнуть... Поэтому—слушайте вот, наша—равноценность в потребностях животных и людей... Потребность в свободе и праве на благосостояние... И я вам скажу—в цивилизованных странах давным-давно введён запрет на купирование ушей и хвостов... Вы зря смеётесь...

Я вдруг подумал: а почему Старшой всё на снегоходе да на снегоходе? Травматический радикулит... Из-за Ерархической... На лабаз полез и хряпнулся.

Великое дело—лестница. Человек доломал свою. А наша-то целенькая стоит. Так-то, Альбинушка...

С новостями становилось всё хуже. Кексу было не с лапы. Перелезание вольеры выглядело неестественно, и остальные собаки понимали, что Кекс не идиот—одно дело его прижучили на пробежке, а другое—сам лезет в объятья.

Не знаю, в каком новостном голодании (во завернул!) мы бы все оказались, если в один прекрасный вечер не подъехал бы Курумкан с самогонкой и не завязалась посиделка.

Видимо, Старшой не всё мог говорить при Валентине, и вытащил Курумкана «покормить собак». Они зашли к нам в вольер. Было уже темно, только неоновый фонарь на столбе освещал заснеженный двор. У Старших топилась печка, и с прозрачной лёгкостью пятнисто неслись по освещённому снегу тени от дыма.

Старшой принёс кастрюльку и разложил корм деревянной лопаткой в помятые наши чашки. Курумкан был раздосадован происходящим, говорил громко и сбивчиво:

— Ты чо не сказал, что деньги нужны? Чо эта Альбинка! Объяснил бы чо-ково. Тоже друг. Я от своей узнаю, что ты встрял. Альбинка эта... Чо Альбинка

эта! Свином клет... тьфу, клином свет на этой Альбинке?

Я не сдержался и хрюкнул от смеха. Что за «клет» такой? Видимо, собачья кличка. «Клет, ко мне! Свином!»

— Ты ч-о-о? — обернулся на меня Старшой.

— Да кость наверно, — сказал Курумкан.

— Торопится, блин! Ешь давай добром. Давай, Таган, ещё подложу.

— Ну, хороший кобель. Дак короче, чо там вышло-то?

— Да эта Ева... как её... Ева, Архиповна короче, классная, видать, Альбине пожаловалась на меня, ну что Рыжика убрал. Никитка сочинение написал... про воровство им задали.

— Да ты чо!

— Ну! «Папа убрал Рыжика, он ворюга. По капканам пошёл»

— Молодец!

— Ну! Вопшэ хороший парнишка. Ну и короче, та давай звонить, мол, зачем зверюшек обижаете! А я её послал. Ещё и кобылой назвал.

— Держи пять! Нормально.

— Трубку бросил, а кнопку не нажал, видать. Хе-хе! Она слышала. Ну и, видать, заело. А Альбинка её поддерживает. Не знай, чо уж у них там. Она же везде лезет. Ну ты в курсе про Вальку. В общем, она мне денег дала под проценты... Завтра приготовит... А тут с совета позвонили, короче, вызывают. На ковёр. Кузьмич сказал, Альбинка как председатель комиссии там... ну по четвероногим... Права животных. Я серьёзно. Кузьмичу это на хрен не надо. Но деваться некуда. Ну вот и выходит. Она, по-моему, специально... Чтоб вот к ней на поклон. Любит.

Курумкан покачал головой:

— Ну да. Некстати... А с другой стороны, кто она такая-то? Пошли её в пень. Я вообще не понимаю, чо ты к нам-то не пришёл, чо бы не дали бы денег? Собрали бы.

— Да это легко сказать... Дали-собрали... Пушкину толком не сдавал никто. Ждут Кузькиных.

— Слушай, — прищурился напряжённо и холодно Курумкан, — а не может она специально так сделать? У ней же Янка за Коршунячьим племяшом, а те на участок целят...

— Да! Да! — с жаром подхватил Старшой. — Как с языка снял! Я тоже подумал! Чтоб Коршунятом отошло. А мне чтоб отлуп дать — эту комиссию придумали.

— Ну да! Знают, что ты им козью рожу устроишь, а она тогда — хрен вам, а не денюжки! Ну! — с гордостью сказал Курумкан.

— Хрен их разберёт, — свернул разговор Старшой. — Лан, пошли.

Я ничего не понял. Едва они ушли, видимо, в их же дверь вырвался Кекс и, пробегая мимо вольера, крикнул:

— Не могу говорить. Обложили. Короче, Шаталиха Старшого в совет вызывает за Рыжика! Представляю, как он её пошлёт! До связи!

8. Вилка с Альбинкой

— Куда он попёрся? — гулко сказал Таган из будки.

— В совет к Альбине.

— Кой совет? Чо он с ней возится? С этой росомахой?

— Да он у неё денег занимает и бензин.

— Да ясно-понятно. Нашёл к кому в кабалу лезти! — Таган вылез из будки, потянулся и метнул снег задними лапами: — у Петровича бы занял или у Курумкана, он нормальный мужик. Чо, не дал бы бензин?

— Да у нас «скандик», он на девяносто пятом пашет, — в тон отвечал я.

— Понабр-р-рал, — раздражённо отвернулся Таган, — теперь возись как жук в навозе... Не моё дело, но я бы эту крякву сразу бы на хрен отправил... пускай пудель свою охраняет. Знаю, какая там у них защита. В городах. Надоел кобель — ондал куда надо, чужой дядя укол всадил, и всё. Усыпил... Хорошенький сон. В тайге сам бы убрал, а тут на другого свалил. Что б за большим не ходить. Вот те и права... Обождеее... Они с людьми скоро так же будут. Дойдёт! Чо ты думаешь? Дойдэ-э-ёт! Помяни мой слово. Хе-ге... Сами себя усыплять будут... Так что тут... дорогой мой Серёжа... — и он задумчиво растворил рассуждение в многоточье... А потом вздрогнул, как очнулся: — И эта ещё харза лезет... Сиди вон, пиши закорючки свои... в бумагах... Мешок сечки, мешок гречки... Без тебя не разберёмся... кого казнить, хе-хе, кого миловать... Нее, я сра-а-азу сказал, я как увидел эту Нинель в тулупе... Наноль... ли как ли её.

— На ноль! — прыснул я.

— Сучку-то эту... Яблочко от яблоньки... Не зря говорят: какова сучка такова и хозяйка. Тут ясно всё, — наморщился, вспоминая. — На кудрях-то эта... Щуплая...

— Да оне обе на кудрях. Николь, — подсказал я.

— Ну. Николь... — Таган хрюкнул презрительно и покачал головой. — Сама с хренову душу, а ещё в собаки лезет. Наш Кекс и то больше вешает. Так доведись на улице встретить, только бы вякнула. Николь... А Валькину половину выкупать наа. Наа. А то там такие соседи, чо наперво у себя всю фауна кончат, а потом к нам полезут. После них кака зверь-птица? — произнёс он в одно слово, и я начал представлять себе эту сказочную Зверь-Птицу и как по ней работать, а Таган продолжил: — Баз понастроят, турья нагонят. Вообще житья не будет. Хрен чо живое пролетит. Выкупать наа без булды... Тут я Старшого поддерживаю... — и Таган сменил тон на тягуче-недовольный. — Хотя чо-то последнее время... Не знай. Ково он к имя лезет? Он думат, с имя делить будет всё... Он для йих чуждый.

Всё равно оне не возьмут его. Нами бы занимался... А мы б уж не подвели. Ме-а. Бесполэ-эзно.

Потом ещё раз пронёсся Кекс и сказал, что Старшой «всё выслушал, не вякнул». «— Но участок спас!» — радостно домаякнул Кекс.

Таган сидел-сидел в будке, а потом не выдержал и вылез:

— Ты знаешь, я никогда не лез к нему. Соболя загнал, сохата поставил... Моё дело поставить. А чо там потом Старшой... Куда это мясо девать будет... куда чо уходит... Мне это... знаешь... — отрывисто и с силой говорил Таган. У него, когда он расхотелся, появлялась такая, что ли, лающая манера, если так можно сказать в собачьем случае. — Ты думаешь, он за нас заперезживал?! — напирал он на меня. — Да ну на... За участок свой — больше ни за чо! Что границы подпёрли с Коршунятами. Он же к ним мостился дела ворочать, а они его в грош не ставят.

— Да я тоже не понимаю, — поддакнул я: — Мы с Баксом (коршунячий пёс) дерёмся, а он с Коршунятами за руку здороваются! Как так?! Ниччо не пойму.

— Да я ду-умал... ду-у-умал, — сказал Таган умудрённо, — И всё понял. Понимаешь: для него не мы главное! Не мы, а они! Чтоб его за ровню держали! Иначе — его заедат!

9. Сохат

Валентин уехал. Нога у Старшого помаленьку зажила, хотя хромал он ещё сильно. В апреле поехал завозить груз и, зная, как засиделись мы в деревне, взял нас с собой. По дороге Старшой оставался и терпеливо ждал, пока догоним. Погода стояла — чудо. Днём солнце топило снег, а короткие и звёздные ночи запекали плавленный слой до каменной крепости. Потом вдруг чуток заморочало, нанесло снежок и наст припудрило — снежная подпушь покрыла твёрдую корку. Прозрачный морочок так и висел, оберегая от солнца и даря мягкую дорожку. Дни стояли длинные, полные света и оживающего дыхания тайги. Вечерами за рекой ухала неясность, а с утра дятел, едва прикоснувшись клювом к сухой и гулкой ёлке, впадал в такую дробную судорогу, что когда строчка-очередь замирала, накатно стояло над тайгой стовёрстное эхо.

На третий день в хребтовой избушке Старшой пилил доски, Таган под шумок куда-то убежал, а я тоже пошёл подышать-прогуляться, пока держит наст. Пила раскатисто отдавалась по лесу, и когда я отдалился, стал слышен далёкий лай Тагана. И лай, и звук пилы, между которыми я оказался на линии, были необыкновенно разлётными и слитыми в ровное эхо. Я понёсся к Тагану и долетел быстро, несмотря на то, что уже припекало, и в ельниках, где наст слабее, он ухал пластами, и приходилось карабкаться.

Когда лай был близко, я увидел сохатинный след. На краю гари у ельника по брюхо в снегу стоял сохат, здоровый бычара, а у его морды, на одном с ней уровне уверенно и с придыханьем работал Таган. Сохат, несмотря на наст, кидался на Тагана, делал могучие выпады передними ногами, обрушивая точёные копыта в те места, где только что стоял Таган. Я подскочил и бросился на подмогу. «С морды работай!» — крикнул Таган. Мы бежали по верху, и сохачья морда была напротив наших: это поражало, будоражило и хотелось впитаться в морду. Сохат всё понимал и медленно сдвигал поле боя с края гари в ельник, зная, что на открытых местах наст крепче, а в тени слабее. Крутя зверя и уворачиваясь от копыт, мы незаметно оказались в плотном чернолесье. Таган сделал выпад к сохачьей морде, сохат бросился вперёд и, ухнув до полу, оттолкнулся и вновь вознёс копыта. Таган отскочил и провалился в ослабший наст. От сокрушительно-плотного удара по голове он взвизгнул и осел, вмявшись в перемороженный крупитчатый снег... Каждое копыта работало свою полосу, параллельными очередями ложась на Тагана, который всё проседал и мелко тряс головой. В этот момент на меня обрушился моторный рёв, и подлетевший Старшой разрядил обойму карабина и, швырнув его в снег, бросился к Тагану. Закричал: «Тагаша, Тагаша, родной!» — и косо завалась в рыхлую яму, взял его на руки и попытался потащить пешком за пять вёрст до избушки. И провалился, заковылял ногой, рухнул с Таганом, лицом в его лицо, в его лоб, мягко и кроваво ходящий на шкурке, в проломленный середовой шов, который так любил гладить, в глаза, в кровь и шерсть. И хрипло в рык зарыдал, трясясь и лупя в наст кулаком.

Таган ещё дышал. Старшой снял куртку, постелил её в нарточку, положил в него Тагана, который то открывал, то закрывал глаза и часто-часто вздрагивал веками. Аккуратно довеза до зимовья, Старшой занёс любимую собаку и положил на нары на шкуру. Я был рядом. Таган лежал на боку, и его передняя верхняя лапа, сложенная уголком, тоже вздрагивала... Трудовая лапа с чёрным шрамом по седому ворсу, с тёмно-серыми шершавыми подушками, с рыжеватой ржавой шерстью меж ними. Таган вдруг дробно застучал зубами, вытянул лапы и умер.

Не могу... По людям так не плачут... как по нас... если мы того стоим.

— Харагочи Берегу!

— На связи, Берег, — серо и глухо ответил Старшой. — Вова, чо не выходишь! — высоко, певуче и гибко говорила Света. — Мы уже эта... волнуемся, може чо с ногой неладно? Нога как?

— Да какая нога?! — вскричал Старшой. — Тагана нет! Сохат стоптал.

— Убежал за сохатыми? Не по́няла! Повтори!

— Убил Тагана сохатый! Всё. Нет Тагана. Погиб! Никитке не говори. Сам скажу. Как поняла меня, приём! Всё. Завтра домой. К мясу ещё. Не буду больше говорить.

Тихо было в избушке.

Старшой сидел на чурке в пол-оборота к нарам и прислонясь к ним так, что правая рука лежала вдоль нар с краю и касалась Тагана, голову которого он накрыл потной своей рубахой. Тихо и бесполезно лился немеркнувший и недвижный весенний свет в затянутае плёнкой окно.

«Серый, поди к мне»,— вдруг сказал Старшой. Я подошёл и аккуратно лёг рядом, стараясь ни шорохом, ни вдохом не нарушить неистовой тишины. Я лежал почти не дыша, вытянув и скрестив передние лапы и положив на них голову. Было немислимо тихо, как бывает, когда меняются смыслы. Дико было пошевелиться, но казалось, должно стать ещё тише. И даже весенний синеющий свет звучал, мешал найти эту тишину, нарушал таинство. И я закрыл глаза. Сдвинулись планеты в небе, пошатнулись орбиты... не знаю, что стряслось со Вселенной—рука Старшого легла на мою голову.

Мне всегда казалось, что есть и есть *они*, огромные взрослые собаки, в тени которых суждено мне учиться и расти, набираться науки промысловой и жизненной. И я никогда не задумывался, как жилось Тагану, как вообще живётся тем, кто старше и сильнее, и под чьей тенью ты существуешь, ощущая над собой огромность всего того многослойно-бескрайнего, что наполняет жизнь правом на будущее. Конечно, брезжило ощущение, что над головой таких вершинных существ, как Таган, разве только разрежение, космический вакуум... И сейчас, когда монаршей дланью Старшого подняло и вытянуло меня на иную орбиту, озноб этого разрежения я ощутил своей головой. И огромное что-то перешло ко мне от Тагана и означило, что мой черёд настал.

Как-то я слышал разговор: Старшой вспоминал молодость и рассказывал, как ему нравилось ночевать в дороге в незнакомой избе и с какой пожизненной благодарностью после немислимой усталости, ночи и снега вспоминались такие ночеги. А потом и к нему под ночь завернул измученный мужичок, перегоняющий за триста вёрст снегоходисшко. И Старшой всей плотью памятью ощутил, что значит ночлег, но уже с другой—согревающей, спасающей и утоляющей стороны. Теперь мне стало понятно, о чём говорил Старшой.

И с новой силой я ощутил, что без Старшого не проживу, но и он без меня не сможет. Что есть вещи, в которых он слеп, безрук и безног. И что как это сильно, когда над тобой... разрежение.

А ведь я должен помочь ему. Разве он чует запахи этой земли так, как мы? Земля моя... Разве он слышит, как оживают твои ключи весенней ночью?

Как берёза отходит от сна и готовит соковые свои жилы? Как набухают желёзки копалух и глухари чертят крылами кровельно-крепкий наст? Как соболята зачались в соболиях, а под метровым льдом заходил в синей тьме хайрюз с бирюзово-пятнистым плавником...

Как помочь Старшому рассчитаться за участок? Ведь я могу только хорошо искать соболей. Но для этого нужен поздний основной снег. Чтобы для начала лишь маленько выпал, присыпал моховый ковёр и забегало шёлковое воинство парными стежками... И чтоб месяц или полтора не валило. Тогда я всё смогу. Всё.

Хотя и это не даст ничего, если не будет урожая ореха в нашем кедраче—чтобы со всех окрестностей, с гарей и лиственничников собрался там соболь. И чтоб не было в окрестностях мыши, и голубика не уродилась на редколесьях, не смашила соболя. И чтоб сам соболь вывелся, чтоб щенки не помёрзли. И чтоб и птички, и мышки нашлись на прокорм... Тогда я всё сделаю! У меня ж четыре ноги!

Но и этого мало. Всё пропадом канет, если за морем цену на пушнину не поднимут. И если с мышками-копалушками ещё можно договориться, то тут я бессилён. Разве только с ветрами потолковать, да пред солнышком на колени рухнуть. Невозможно... Непосильно. Но я должен.

Я спал, когда зашёл Старшой, тихо взял тело Тагана, вынес на улицу и положил в гружёную нарту, завернув в брезент, как в знамя. Я вышел тоже и до утра пролежал рядом на снегу.

10.

Синий необыкновенно недвижный свет. Просторное дыхание от самых далёких гор до Батюшки-Анисея. Плоское и огромно-белое поле Енисея до горизонта. Сосредоточенный глубинный звук стекающих в него ручьёв. Запах печного лиственничного дыма, смолистый и сладкий. Рокот поселкового дизеля, слышный только в обострённо-раннюю эту пору. Где-то вверху по Енисею с ноющей отяжкой стрельнувший лёд. С древней и сказочной первозданностью пропевший петух...

Даль огромно и настойчиво дышала воздушно-мягким воркотком, будто варилось в её огромном котле что-то гулкое и нарастающе-таинственное—на льду напротив посёлка бесстрашно и истово токовал косач, то кланяясь и пробегая, то сидя недвижной и чёрной точкой.

Ранней и светлой этой порой, пока держал наст, Старшой погрузил в коробушку мёртвое и мёрзлое тело Тагана, лом, лопату и медленно поехал вдоль берега в сторону Енисейских яров, где на полётной высоте чёрно обтаяла кромка и можно было предать тело погибшего друга земле и камню, будучи уверенным, что останки не отроет медведь или другой голодающий зверь. Старшой давно скрылся

за вытаявшей каменистой коргой, но ещё долго разносился по округе грохочащий шорок снегоходных лыж и коробушки и казалось, волокут по насту оглушительное листовое железо — настолько звук двигателя выпал из дали, как лишний и суетный.

Примерно в это же время молодая серая собака выбежала из посёлка и отправилась в тайгу по каменно-крепкой снегоходной дороге, вытаявшей и возвышающейся над просевшим снегом реки.

Дорога поднялась с реки на покосы, и обратясь в лесу в прямоугольную канаву, ушла по распадку и поднялась на таёжный взлобок, где Серый с дорогой расстался и побегал по насту, время от времени останавливаясь, чтобы вслушаться в запахи и звуки, наплывающие крепкими волнами. Тревожно было у Серого на душе, потому что одно дело решить, а другое — исполнить. Хоть Зверь-Птицу какую встретить... Да хоть бурндука, они уже повывалить должны... Но никто не встречался и не с кем было посоветоваться и некого попросить о помощи. Серый выбежал на тундрочку, окружённую ровными сквозными кедриками и увидел на краю тёмное пятно. Это вытаяла высокая кочка. Серый подошёл, лёг на неё, и так терпко запахла она жизнью, оживающей землёй, что загрустил он бесповоротно.

— Ох, не про нас... Не про нас эта радость... Тундрочка, ты тундрочка, такая ты хорошая. Такая красивая, проглядная, столько ягоды можешь дать, столько накормить, скажи что делать-то. Начать с какой стороны?

И вдруг Тундрочка ответила:

— С правильной ты стороны начал, где кочка вытаяла, где мне тебя слушать лучше. Ты хорошая собака, отзывчивая... Знаем мы твои беды-горести, да только дело у тебя трудное, больно на многих завязанное...

— А откуда вы знаете?

— А кедровки на что?

— Понятно... А мне помочь Старшему надо, иначе беда будет, и с нашим участком, и с нами.

— Да понимаю. Хорошо, Серый... Смотри. Сейчас сюда подойдёт один зверь, он у нас по хозяйственной части. Он хоть и невелик, но дело знает. Тем более только из отпуска. Полёско, можешь подпрыгать сюда?

С сухой наклонной кедринки прыгнул увесистый бурндучина и солидно приблизившись, замер.

— Значит, это вот — Серый... — сказала Тундрочка.

— Как же слышали... хе-хе...

— Ему надо помочь... Речь идёт о соболе. Ну и...

в общем поработай с собакой.

— Я так понимаю, что речь идёт о соболе... э-э-э... на начало двух тысяч восемнадцатого года. Это у нас... так-так-так... пятнадцатый участок... Конечно, помочь поможем... и мышом, и дикоросами. Но вы собака полёта, а я зверёк практический, и мне надо понимать всё конкретно, что, куда и как.

И что чем закрывать. А то в прошлом году у нас с голубикой такие накладки из-за пожаров вышли, что на мне до сих пор две тонны висит. А самое главное — тут очень много согласований. Очень. Вы понимаете, что если мы убираем мыша с гарей, то нам надо его куда-то девать. Мы, например, можем его переместить как раз на пятнадцатый участок, чтобы... он, так сказать, приманил соболя. Но мы понимаем, что когда снег оглубеет, соболь его ись начнёт и в капкан не пойдёт. Мыша, в смысле, а не снег. Вы сами охотник. Это всё надо проработать... Но хорошо, задачу вы мне определили... так что будем решать, хотя сразу предупреждаю — мне время понадобится. Ну и вообще... Вы поймите, мы можем добиться высокой урожайности кедр на пятнадцатом участке. Но всё это не сработает, если мы не создадим условий для выкармливания приплода. И я вам назвал только один момент. Так что переговоры, переговоры и переговоры... Вы даже не представляете... на что замахнулись... Тут есть вещи, которые, так сказать, от светил зависят... Тут... подальше положишь, х-хе, поближе возьмёшь. Подальше спросишь, поближе ответят... Или нет... Ближе спросишь... Но не будем, как говорится, растекаться мышками по дереву... А я со своей стороны сделаю, всё от меня зависящее в части... — он вдруг раздумал доводить мысль: — И в матчасти...

— А как вас найти?

— Да я сам Вас найду. Ну я пошёл, — обратился он к кочке.

— Да иди, — сказала Тундрочка и обратилась к Серому: — В общем, он сейчас всё обсчитает, а тебе надо ещё кое-с кем потолковать... Я одна тут не решу ничего... А ты сейчас... — Тундрочка сделала паузу. — Покопай под снегом рядом с кочкой.

— Здесь?

— Здесь, здесь.

Серый раскопал, раскрёб настовую корку. За ней пошёл в песок перемороженный снег, который он быстро разгрёб и докопался до подстилки, до жёлто-зелёного кристально проколовшего мха, на котором лежали крупные красные клюквины, промороженные до стеклянности.

— Ну что? Что там?

— Клюковка.

— Теперь очень аккуратно, как ты умеешь, возьми зубами клюквину и...

— Съесть?

— Какое съесть?! Всё бы вам есть... Возьми и... — только не раздави её и не растопи... Выйди на наст и брось её вперёд перед собой. Вот так вот! Всё... Теперь беги.

Серый всё сделал, как велела Тундрочка, кинул вперёд ягоду, и она покатила по насту, прозрачно-красная с драгоценной мутнинкой. Солнце наливало её светом, она горела изнутри и быстро катилась по алмазно-белому снегу.

Ягодка катилась по лесу, но никто не попадался навстречу, и Серый снова запечалился. Ягода тоже будто подустала и буднично остановилась в снежной ямке. И Серый тоже остановился в недоумении и огляделся вокруг.

Просторный и растрёпанный кедрач был с необыкновенной отчётливостью врезан в слепящий от солнца снег. Вдруг кто-то стукнул костяными палочками. Серый тихо пошёл на стук и замер. Огромный чёрно-сизый глухарь шёл, пальчато растопырив хвост, свесив плоскими вёслами крылья и закинув голову с мохнатой бородой, кровавыми бровями и крупным белым клювом. Двигался он, то убирая, то расправляя хвост, с той потусторонней медленностью, с какой цветки распускаются в древних сказках. Сам хвост казался настолько твёрдым, а сизое перо на спине— настолько гладко-литым, что у Серого перехватило дыхание... Глухарь как-то особенно сильно запрокинул голову и перешёлкнул клювом с гулким и костяным звуком.

— Брат мой Глухарь,— сказал вдруг Серый,— не улетай, я тебя не трону.— И слово «брат» прозвучало с такой надеждой и силой смысла, что Глухарь, вопреки всем разговорам о его глухоте на току, не меняя позы и так же медленно идя, сказал: — Конечно, не тронешь. Тем более сегодня и день такой... Особенный.

В это время с енисейной стороны раздался и широко прокатился по тайге карабинный выстрел... потом ещё и ещё... всего три, через равные и торжественные промежутки. И белую шапку уронила ёлочка, вздрогнув и скорбно замерев. На какое-то время замер и Глухарь, и Серый, и вся тайга. Потом зашумел в кедровых ветвях и смял кроны. Ветру было хорошо шуметь в кедровых кистях, в длинных иголках. Чем длинней и гуще были иглы, тем полней и торжественней гуделось ветру, и Серый не мог понять, кто шумит: кедр или ветер, потому что шумели они нераздельно. Глухарь был настолько неподвижен, что Серому показалось, будто всё уже было.

— Хорошее чувство,— негромко сказал Глухарь и снова медленно пошёл, так что Серому пришлось тоже идти рядом. Он никак не мог поймать шаг, приладиться к Глухарю, но помаленьку подстроился.

— Главное, подстроиться... — сказал Глухарь и добавил веско и медленно.— Мы знаем Старшого. И тебя знаем. Ты хорошая собака. Мы тоже не изменяем. Что ты хочешь?

— Да вот мне, чтоб соболев вывелся и выкормился, а это, сам понимаешь,— мышки, птички, это раз. Ну чтобы он собрался в кедрачах на Хорогочах... На правой стороне.

— Хорогочи... Хорошее название¹⁰. Да... Так что ж? — Дак... Хотя бы это...

— Что значит «дык» и «хотя бы»? А снег?

— Да тут столько всего. Голова пухнет. Давай с малого начнём.

— Я всё понимаю и про мышек, да и про птичек. Чо да как... И где лиса, и где, тетеревиатник, и сколько на них выводков уйдёт... Никуда не денешься... Так что тут можешь на меня рассчитывать. Но остальное... Даже ягода... Не знаю... И не слушай ты этого Полоско... Он на складе орехов всю жизнь проработал... Договора, фактуры... Короче... Сейчас дам тебе перо...

— Так, а писать на чём?

— Писать не надо. Надо бежать, куда оно полетит.

И Глухарь покачал бородатой головой:

— Хорошая собака, но...

— Глупая?

— Неважно. Слышишь верховка¹¹. Сейчас отпустит к обеду, а вечером уже плюс будет. Так что тебе успевать надо, не то встрянешь. Старшой потеряет— а у него на тебя сейчас вся надежда.

Глухарь выронил перо из хвоста, и оно сначала застыло в воздухе параллельно снегу, а потом полетело, покачиваясь, черенком вперёд, и Серый побегал. Долго ли коротко он бежал, но вывело его глухаринное перо к огромной пустой полусухой лиственнице. На высоте человеческого роста дятлы продолбили дыру в срединное дупло, и из него торчал, высунувшись по пояс, очень тёмный и крупный соболев. Скуластое лицо его, сильное и гибкое тело— всё настолько завораживало Серого, что он как окаменел. Соболев всё время двигался, мялся, раскачиваясь наподобие маятника, клонился то вправо, то влево, словно его распирало от сил и от вынужденной неподвижности:

— Здравствуй, Зверина-Соболевина.— еле сказал Серый Соболю, а про себя подумал: «— Что же они все такие крупные сегодня? Как на подбор...»

— Ну здравствуй, Серый,— сказал Соболев, мощно качнувшись вправо, и тут же ещё мощней качнулся влево.— Здравствуй. Не ожидал?

— Не ожидал. Ну здравствуй,— тоже сказал Серый и тоже немного качнулся вслед за Соболевом, и ему стало неловко: «Ещё подумает, что я под него подлаживаюсь».

— Подлаживаться приходится,— сказал Соболев и ещё усилил размахку,— в одной тайге живём. В общем, слушай. Могу я собрать своих на Хорогочах. Могу. Мне свои ясные сотни чем на капкан положить, лучше уж... под пули послать... Глядишь, и увернутся. Ребята храбрые и подготовленные. Так что соберу живым весом— а уж дальше сам управляйся. Только, чтоб собрать— их ещё

10. *Хорогочи*— переводится с эвенкийского как глухаринный ток. Река с названием и посёлок есть также в Амурской области.

11. *Верховка*— ветер, дующий с верховьев Енисея. Обычно это юг или юго-запад. Этот ветер несёт тепло. Летом дождь а зимой снег.

выкормить надо. Ладно Глухарь, птица серьёзная, всё сделает... А с мышом как?

— Да Бурундук сказал, что с мышом и дикоросами поможет...

— Да чо этот Бурундук?—Соболь качнулся особенно возмущённо.— Не тот калибр. Ты не понимаешь... Есть бурундуки, а есть... фигуры, над которыми... вообще...—Соболь метнулся дважды.—Вакуум. Мы здесь сколь угодно можем рассуждать... Только что мы видим-то отсюда? Надо идти к тому, кто далеко видит. Я тебе сейчас дам одну штучку, называется коготок...

Серый хотел крикнуть: «—Знаю, знаю! Он покаяться или полетит! А мне за ним!»,—но почему-то сдержался, больно сильно тот раскачивался.

— Держи—сказал Соболь.—Вставь в свой коготь. Снизу. До щелчка. Всё. Отлично.

Не успел Серый понять, почему он не залаял ни на Глухаря, ни на Соболя, как невиданная сила в лапе подхватила его, и он побежал, видя, как сереет небо облачками, и чувствуя талое тепло верховки, и особенно оживающие запахи... Через считанные мгновения увидел Серый впереди сияющий просвет, следы знакомой гусеницы, и вот он уже стоит на Енисейском Угоре возле самой оттаявшей кромки, на которой возвышается серая груда базальтовых окатышей. А впереди даль неоглядная и воздух дрожит и плавится от тёплого ветра. Да вдаль на горизонте ломаются и нарождаются миражные слои дальнего мыса, мазки, штрихи, чёточки—не то озёра с деревьями, не то города неведомые. Подбежал Серый к каменной груде. Лёг рядом и заскулил.

— Серый, Серый,—раздался вдруг из-под ног зычный и густой голос,—слезами горю не можешь, а как ты Тагана любишь, мы и так знаем. Сами такие.

— Да кто ты?—тихо спросил Серый.

— Я тот, который глядит далеко. Я Енисейный Угор. Да только моей далью можно лишь до мыса дотянуться, а тебе другое нужно...

— Куда же мне залезти?—воскликнул горестно Серый, вскинув голову на мачтовые лиственницы с пупырышками почек,—я же не Соболь и не Глухарь. Где мне на них забраться?!

— Забираться не надо. Спустишь с меня.

— Как?

— Так. Вон по распадку, где Старшой камни с Ляминой корги возил.

— Батюшко-Угор, а что там над мысом за нагромождение такое, слоями такими ходит, будто на город похоже?

— А это Город Чемдальск. Чем дальше спрос, тем ближе эхо.

— Коленвал какой-то опеть...—сказал Серый.

— Спускайся давай вниз, а то правда...

— Ну спущусь, а дальше-то что?

— А ты сначала спустишь. А там поймёшь.

Серый спустился по Старшовской снегоходной дороге. Когда выбежал на паберегу, увидел камень, выпавший из корбушки. Его наполовину втопило в снег весенним солнцем.

Серый подбежал к Енисею и увидел заберегу—первую в этом году и вторую в своей жизни.

Возле изгиба берега зеленел снег и в ямке набралось зеркало бирюзовой водицы. В воде шевелилась букашка. Серый попил водицы и сказал:— Эх, спасибо...

— Пей, пей... Ты же набегался.

Серый вздрогнул и оглянулся. Голос был со всех сторон, и вышло, что он внутри голоса.

— Ты кто?—спросил он.

— Тот, кто тебя напоил.

— Заберега?

— Хм...—тихо рассмеялся Батюшка-Енисей,—собака ты собака. Я Батюшка-Анисей. Здравствуй, моя.

— Так-так-так...—проговорил Серый и на всякий случай быстро лёг, есть такое собачье падение в клубок,—я полежу, а то... я запутался.

— Я тебе помогу. В чём забота?

— Мне Старшому надо помочь. И Бурундук тут, и Глухарь, и Соболь, ну они все вроде хотят... Ну чтоб на Хорогочах соболь собрался. А вот со снегом как быть-то?

— А чо те снег? Пусть Старшой ловушками работает!

— Ловушками!—горько сказал Серый.—А от меня-то какой тогда прок?!

— Как какой? Ты со всеми договорился, а дальше уж Старшой пусть разбирается.

— Батюшка-Енисей, нельзя мне так! Как ты не поймёшь! Ведь я всё это затеял, чтоб помочь чем могу. Я не по сделкам! Я соболя ищу!

— Серый ты Серый... Так договориться не каждый делец сможет... Ладно. Что у тебя там? Снег?

— Снег, Батюшка. И ещё... страшно сказать...

— Можешь не говорить. И так знаю. Санкт-Петербургский пушной аукцион.

— Он, Батюшка.

— Слушай меня внимательно, Серая Собака. Что я могу? Я могу попозже встать, пораньше пойти. Понятно, воды много, по осени остывает, тепло держит... Но это всё, как сказать... подогрев местного значения. А снег—медленно сказал Енисей,—это уже общее круговращение воздуха. Тут как солнышко ходить будет—так старые люди говорят... А ещё и тёплые весна-лето нужны... Погоди, я сейчас лопну коло Рябого камня, а то поддавят. Не пугайся.

Раздался раскатистый хлопок треснувшего льда. Ветер продолжал дуть с устойчивой силой, и по Енисею пятнисто неслись облачные тени.

— Эт, хорошо-о-о... Дак вот, тут уже дела космические... Тут надо спрашивать у того, кто к небу поближе. А это Главный Саянский Хребет.

— Ой-ёй-ёй! — заплакал Серый, — не добежать никогда...

— Я сам спрошу.

— Дак это ж далеко!

— Серый ты Серый, — сказал Батюшка-Енисей и попросил Верховку погладить Серого, — для меня это недалеко.

— Почему? — спросил Серый.

— Дак... лежу я тут.

— Ой-ёй-ёй... — сказал Серый, — у меня не получается понять...

— Ничего, ничего. Я лежу. И ты полежи... И знай, что минуты не пройдёт, как Саяны услышат мою просьбу. Считай до шестидесяти.

— Кого?

— Да никого... Никого... Всё. Всё, моя... Уже шелеят ледниками. И уже отвечают.

— Что? Что отвечают?

— А отвечают, что имя до Солнышка так же вьсоко, как и мне, бескрайнему...

Серый уже даже не скулил, а просто лежал, подставив морду, и тёплая Верховка матерински оглаживала его голову, трепала острые и чуткие уши, шептала: «Не печалься, главное, верить... и всё получится...»

— Серый, — вдруг сказал Енисей грозным и дрогнувшим голосом.

— Да, — встрепенулся Серый.

— Видишь ту торосинку на са-а-амой серёдке, — спросил Батюшка-Енисей, — беги и возле неё останись.

Серый ничего не спрашивал, а добежал до торосинки, оказавшейся огромной грядой сине-зелёных торосов и остановился. Облако, накрывающее полреки, вдруг отошло, и снег залило таким ослепительным светом, что Серый зажмурил глаза:

— А вот и я тебя вижу. Здравствуй, Серый, — раздался ласковый голос.

— Здравствуй, а ты кто? А то я глаз не могу открыть. Солнце так лупит.

— А ты не смотри на меня, или... спрячься под наклонную торосину и увидишь...

Серый заполз под наклонную торосину и увидел над собой синий свет Солнца, прошедший сквозь Енисейский лёд.

— Ты мне что-то сказать хотел? — спросило Солнце.

— Да, я столько уже сегодня сказал, что... я... может... я полежу чуток...

— Ты просто убежался, Серый. Слушай, что я скажу. Я могу сделать тёплую весну, могу тёплое лето. Могу задержать главный снег и до конца ноября держать порошу в треть лапы. Могу модницам приморозить гузки так, что они в очередь станут за собольими шубами...

— Ах... — только и ахнул Серый. — Правда?

— Правда.

— А почему ты мне помогаешь?

— Я пока не помогаю... Но сейчас поймёшь. Только ответь на один вопрос.

— Какой?

— Почему ты сразу меня не попросил?

— Как-то не решился... Я вот подумал, если Бурундук такую козу-капусту мне развёл, то куда уж мне к Солнцу-то лезти...

— Милая ты собака. Вот ты сам на всё и ответил. Ты всё правильно сделал. С бурундучка начал и всех выслушал, и всё выполнил... И знаешь, что? Из яголки, которую ты не прокусил и не растопил, — я тебе тундру ягоды на Хорогочи насыплю, из пёрышка, за которым ты бежал, — глухариных выводков целую тайгу подведу, а из коготка, который ты на могилу Тагана положил, — полные Хорогочи соболя пригоню.

— А...

— Но ничего не будет без... Знаешь без кого?

— Без кого?

— Серая ты собака... Скажу я тебе. Всё будет зависеть от нескольких... единственных... слов.

— Что я должен сказать?

— Не ты должен.

— А кто?

— Человек один...

— Этот человек Старшой?

— Он самый.

— Что он должен сказать? — замученно спросил Серый.

— Он должен помолиться о вашей Собачьей доле, — сказало Солнышко.

— Как же ему объяснить?

— А это уж не твоя забота.

Если прав Серый, и есть бессмертная душа у картин, то одну из самых дорогих я вижу так.

Избушка на Хорогочах, с баней и лабазом. Вечер. Горящий костёр. В костре, обложенном камнями, стоят на ребро три большие плоские базальтины. На них таз, в котором побулькивает разваренная сечка с щукой. У костра лежат Рыжик с Серым и пошевеливают хвостами. На чурке сидит Старшой, в его ногах Таган.

Снег падает медленно и тихо на засыпающую землю. Шипит на красно освещённых камнях. Одной рукой Старшой чешет выпуклый и тёплый шов на голове Тагана, а другой мешает Собачье.

Ты увидел, Серый?

Ещё раз.

Горит костёр

Падает снег.

И лежите: ты, Рыжий и Таган.

И Старшой вечно варит вам Собачье.

Ведь ты так хотел?

Сергей Смирнов

ПОДКОВНЫЙ ГВОЗДЬ

*И ублажил я мёртвых, которые давно умерли,
более живых, которые живут доселе (Еккл. 4:2).*

1.

День девятого мая был, как обычно, солнечным и тёплым. Яков Кузьмич по случаю праздника надел свой ветеранский пиджак с наградами, жёлтую рубашку и шляпу-шестидесятницу с узкими полями. Так он себе вполне нравился. Какие брюки и ботинки—это было всё равно, а вот шляпа и рубашка именно для выходных и праздничных дней, в них он по субботам усаживался в старый зелёный УАЗ, отправляясь в ближнюю или дальнюю деревню к очередной вдовушке.

Увидев его в шляпе, местные, сотинские старушки обязательно говорили, то ли с завистью к той, к кому он ехал, то ли с осуждением ветреного поведения немолодого человека, и к тому же ветерана Великой Отечественной:

— Ну, во-от, покати-ил!

А так как количество Кузьмичёвых зазноб точному счёту не поддавалось, то никто толком не знал, поехал ли он в Свояки, за реку, где располагался сельсовет, или в Красино, знаменитое красно-кирпичной церковью архангела Михаила с ослепительно горящими на солнце куполами, а может, остался и в самом пчеловодческом Сотино, в домике недавно объявившейся московской дачницы, щеголявшей по деревне в неприлично обтягивающих ягодицы джинсах.

Такие моменты сотинские сплетницы обсуждали в открытую и громогласно, не стесняясь.

— И как тока не стыдно?!

— Чтой-то этой-то надо от деревенского мужика!

— Чего-чего! Был бы омут, а черти сами наскочут!

— Точна, сила в ём, значит, мужская!

— И-ии, кака сила! Ему, похабнику, сто лет в обед, а он...

— А она-то, она! И на шестьдесят не тянет!

— Конне-ешно, на свежанинку потянуло! Жена у его с фронта и тоже фронтовичка. Хоть и орден, как у самого, а годы-то своё берут.

— Да-да, он иё, говорят, в психические записал, чтоб не мешала!

— Да уж, настрадалася Аня! Он же, говорят, директором молочного завода на Кавказе работал! А там сплошь доярки да разведёнки.

— Ага, и коньячного тоже!

— А как одно без другого?

— Да ладно, вы ещё скажете, что и в Красной Армии служил!

— А что, не служил?

— Да ты посмотри, Катя, у него ж глаза бешеные, как у фашиста!

— Точно-точно, с ним и в проулке-то встречаться страшно! Как зыркнет, душа в пятки!

Слухи о сотинском фронтовике ходили разные, вплоть до невозможного, что воевать-то он воевал, но вот на чьей стороне—неизвестно. Доказать никто, конечно, ничего не мог, но в деревне его побаивались и мысли такие высказывали с оглядкой. А вдруг, правда, дверь подопрёт и запалит, за длинный-то язык...

И действительно, хитрован-ветеран Яков Кузьмич ухитрился определить свою жену недееспособной и поставить на учёт в психоневрологическом диспансере, и на вопрос, почему она, Анна Петровна, даже в наш главный военный праздник на улицу не выходит, имея столько боевых орденов и медалей, всегда отвечал:

— Буйная потому что!

Ну кого это заявление могло убедить: как это, только что была не буйная, а после того, как Кузьмич оприходовал председательшу Александровского сельсовета, стала вдруг буйная?

Что-то тут не то. А кое-кто всё-таки догадывался, что выходить Анна Петровна перестала, потому что какой жене и женщине не будет стыдно наблюдать кобелизм этот бесконечный!

«Ведь мы же, Яша, смерти в глаза глядели и не боялись,—говорила она ему,—а как теперь соседям будем в глаза смотреть, а? Хоть ты и начальник большой у нас в деревне, но людям это всё равно, они начальников и так не уважают. За что? За чванство и вороватость, так и ты ещё добавляешь, на работе женщинам проходу не даёшь...»

Чистая фронтовая душа Анны Петровны так думала и говорила. И раньше ловила Анна Петровна своего мужа на том Кавказе и на доярках с молокозавода, и на мойщиках коньячных бутылок—Кузьмича социальный статус подшефных женщин не интересовал, если не надо было что-нибудь через них достать. А уж если надо было—тут башня

танковая крутилась на все триста шестьдесят, и траки лязгали и землю рыли...

Пока Аня помоложе была, глаза на кое-что закрывала, а потом и притерпелась—как против такого упёртого?

И здесь, в Сотино, Яков Кузьмич, опять став начальником, заведующим ведомственным пансионатом, ничуть не изменился, да ещё Анну Петровну в «психические» записал, чтоб не мешала, ни во что её не ставил.

Убить же была готова, но нет, с таким чудищем не справишься, последние зубы потеряешь...

2.

Пансионат построили в конце семидесятых годов, построили чуть не посреди деревни, на голом склоне, соединив две деревенские слободки, верхняя из которых была заплотной, довоенной, а в нижней жили те, кто работал во время и после войны в местных колхозах «Первомайский» и «Красный партизан», ещё одна деревенская улица уходила к Егорову оврагу. Впечатление было такое, что деревенские жилища разбегались в разные стороны от городского красавца-пансионата, имевшего два спальных корпуса, столовую на сто мест, гараж, спортивную площадку и два одноэтажных дома для obsługi. В одном, построенном по проекту сельской школы, проживали в двухкомнатной служебной квартире Яков Кузьмич с Анной Петровной.

От пансионата вся деревня и кормилась, нужны были и водители и рабочие, посудомойки и уборщицы, а кое-кто, из приближённых, и поросят держали в надежде прокормить их с кухонных остатков.

Так это ещё что! И скважина водяная, и канализация, и сооружения очистные—и это всё тоже принадлежало пансионату. Потому и заведующий пансионатом был здесь царь и бог.

Поругался, скажем, с Кузьмичём кто-нибудь из верхней слободки, Кузьмич ему—р-раз!—и воду в колонке перекрыл. Смотри у меня, крыса тыловая!

А вместе со слободчанином и соседи его страдают. Кузьмич руками разводит: автоматика на скважине сломалась! И сходы деревенские совсем фронтовика не пугали.

Со времени постройки прошло двадцать шесть лет, пансионат без ремонта обветшал, половина комнат стали нежилыми, но Яков Кузьмич стойчески боролся с засорившейся канализацией, с протекающим водопроводом, с прогоревшими пробками и проводами, но кардинально, на ухналь, ничего, конечно, решить не мог.

И персонал теперь стал небольшой: двое мужиков, сантехник и электрик, и три женщины, две молодые и Зинаида Ивановна, она наиболее подходила Кузьмичу по возрасту, но тоже молодая, во время войны девчонкой немцы угнали её

в Латвию, потом в Германию и мучали её, сироту, в трёх немецких концлагерях.

Кузьмич-то в те начальные военные годы уже вовсю, литрами и ведрами, проливал кровь фашистскую, стрелял, резал и кромсал поганых захватчиков, как хотел.

И Зинаиду он, как женщину, конечно, стороной не обошёл—своя же деревенская да ещё подчинённая—ну-ка, ну-ка! А она мечтала: эх, был бы жив муж мой, тракторист Коленька, он бы кобелю этому, Кузьмичу, показал бы небо с овчинку, да помер Коля, пьяного в борозде трактор задавил. Но старому-то коню Якову на всё наплевать, ничего и никого ему не жаль, душа у него на фронте сторела,—надо ж, какая-то Зинка, босячка и под немцем бывшая,—и не даётся на ухналь её взять!

«Вот дура-то старая»,—думал он, не догадываясь, однако, что отталкивала её всего лишь фронтовая его хватка, как он с людьми обращается, в том числе и с бабами.

«Вот дурак-то старый»,—думала она, и тоже не догадывалась, что целью его приставаний была не лично она, Зинаида Ивановна, не красавица и напрадавшаяся за жизнь колхозница, а вещевой склад, которым она, Зина, командовала как материально ответственное лицо.

Сантехник и электрик, мужики деревенские, пьющие, воровать Якову Кузьмичу не мешали, но что с них возьмёшь, если они всё с Зинаидинога склада получают.

Ко-неч-но, в закрома родины надо руку запустить! Она же, Родина, своих спасителей забыла? Забыла! Вот ему и хотелось хорошо там пошарить, в закромах-то! Ха, а там Зинка, будь она неладна, как будто ей самой ничего не надо.

Подкрадывался к закромам Кузьмич незаметно, «по-пластунски», и рука у него была железной. Если что-то и пропадало в пансионате, так пока хватятся, все уже позабудут, где оно лежало и кто «это» последний раз брал или видел. А Кузьмич всё прекрасно помнил, и сам же о пропажах и воровстве смело говорил и ругал за бесхозяйственность, обличал, смотрел на всех, ну точно как на врагов народа. А Зинаида нисколько не сомневалась: пропажа по вине Кузьмича.

Улыбается он, а синие глаза его, как плоские пустые, смотреть в них страшно, так холодом и обдаёт. Да, приходил и брал. Например, запчастки для казённого уазика, Кузьмич ставил их на свой,—пансионатская машина ездил на проводочках да верёвочках.

Вся посуда, от сковородок и кастрюль до последней гнутой ложки, была у него из столовой. Инструмент—из гаража. Одежда—телогрейка, плащ, х/б, сапоги, валенки—со склада, даже подштанники у него были сшиты из казённого байкового одеяла, такого в красно-белую шашечку, а охотничий маскхалат из списанного пододеяльника.

С приездом поварской командой Кузьмич тоже нашёл точки соприкосновения. Пойдёт, ножи, топор мясной поточит, они ему и дадут подхарчиться, навалят с горкой в солдатский котелок.

Была, была в Якове Кузьмиче настоящая военно-хозяйственная жилка, смётка и хватка. Ну куда ему столько! Как будто назавтра последний бой смертельный — он выживет, а большинство — нет.

Казался он, и был на самом деле бронированным и непобедимым, как танк «ИС» — «Иосиф Сталин», и таким же, кстати, опасным, и не попалось ему на войне ничего, что остановило бы, испугало, повернуло вспять. Любая высотка, любая деревушка, любой поиск — вела к ним не одна дорожка, и не две, он всегда находил самую верную и оставался живым. Любимая поговорка: из самого безнадёжного положения есть минимум два выхода — никогда его не подводила.

Как и положено было в СССР, в фойе того оборонного заводика, предприятия «Серп и молот», к которому относился пансионат, был стенд с фотографиями участников Великой Отечественной войны, где можно было найти и Якова Кузьмича, молодого, затянутого в ремни старшего лейтенанта.

В таком звании он войну закончил.

У других фронтовых, понятно, тоже взгляд непростой, зацепят, так и будешь в нём барахтаться, сколько сил хватит, пока не дойдёт до тебя смысл Великой Победы, не дойдёт понимание: сколько страха и смертельного пота, скольких усилий, нервов, боли и запредельных по силе сердечных сокращений стоила жизнь каждого дожившего до неё, а не дойдёт, так и останешься слабаком, так в этих глазах и утонешь, потому что узнаешь ты о себе страшную новость последним, — что убили бы тебя в первом же бою или ещё на подходе, а может быть, и свои бы под смертельный приказ поставили, если оказался ты сильно честный да открытый.

А суть войны проста: убей его или он убьёт тебя.

У Кузьмича на той фотографии взгляд из-под фуражки красноармейской такой, что ты и проникнуть в него не можешь, не можешь понять: что там? Холодный взгляд, безумный, он просто убивал на месте, навывлет и насмерть, как крупнокалиберный пулемёт; мучительно убивал, как сапёрная лопатка, или же заточенный под бритву кинжал. Удар точный и сильный — единственный!

Уф... От такого взгляда ладони потеют и лошади шарахаются.

Верующая Зинаида сказала бы: «демон это, смерть!» — и перекрестилась бы. Она, правда, так и сделала, когда фотографию эту увидела. Ничего человеческого в тех глазах не было.

И это она, Зинаида, слух по деревне пустила, что Кузьмич за фашистов воевал...

Уж она-то их достаточно повидала, но ни одного не убила, вот что жалко. Думала, пусть хоть этот помучается, Кузьмич-то, может, и соответствующие органы на него внимание обратят, потому что он настоящий фашист, не по должности, а по душе.

Надо, надо бы ряды почистить, ведь при оборонном же предприятии работаем.

Вот так.

3.

.. Зима на сорок второй год в тех местах выдалась снежная. В котле под Вязьмой исчезла 33-я армия, как будто её и не было, все семнадцать тысяч человек, с танками, обозами и артиллерией, растворилась в снегах.

К лету готовилось следующее наступление, разведка хватала «языков», где только можно, вот и эти трое из батальонной разведки оседлали лесную дорогу и стали ждать немецкого транспорта. Перед этим один залез на высокую сосну и внимательно всё вокруг рассмотрел. Сутки сидели в кустах, пока не попалась подходящая грузовая машина.

Водителя разведчики сразу в расход пустили, а офицера сопровождения захватили живым.

Смотрят, а он пьяный, как три пары стелек, лыка не вяжет.

— Вот хорошо, — один говорит, — его и сторожить не надо, никуда не убежит.

Грузовик хотели сжечь, заглянули в кузов, а там... спиртное в ящиках, под брезент: французский коньяк, испанское вино, ликёры. Количество невероятное.

— Неужели уничтожать будем? — другой спрашивает, а голос аж дрожит. Такого никто из них никогда не видел и не пробовал. И не поднимаешь руку, чтоб гранату в кузов кинуть.

— Вот что, — третий говорит, который на сосну лазил, — пока немцы не хватились, разгружаем пойло в лес. Только... вот на эту сторону дороги. Ничего не пробовать, не пить. И быстро!

Разгрузили, грузовик укатили на сто метров вперёд, стали ящики в глубь леса таскать. Захваченный немец очнулся, стал слова какие-то бормотать, ему тоже ящик в руки — тащи, падло! Потом приказали яму рыть. Немца хмель покинул, он понял, для него яма.

— Дура ты нерусская, ты уже жизнь заработал, тем, что ты немец. Понял? На, похмелись, веселей копать будет.

Немец и повеселел, шинелишку, китель даже скинул — и давай окапываться в человеческий рост. Сел перекурить, ещё отхлебнул и объяснил на ломаном русском, что везли это всё в офицерский бордель.

И захихикал, немчура.

Ну что, советский солдат — настоящий солдат: — Ах, в борде-ель?! — старший спрашивает. — А какие в том борделе девочки, русские?

Немец вовремя смекнул, что и как говорить:
— Найн, найн! Нихтс русски! Полска унд... польска!
— Две, что ли, всего? А ты сам пробовал, фрица кусок?

— Я, я!—фриц отвечает.

— Ну, пошли, поподробней всё расскажешь...

Основной груз они закопали, повезло немцу,—там песок оказался. Но кое-что и с собой прихватили.

На выполнение задания им была отпущена неделя, поэтому они перетащили всю «горючку» на несколько километров в чащу, следы замели—ни бутылки, ни пробки, ни спички не оставили, разведка!

Одно попробовали, второе, не понравилось—сладко, приторно.

Наконец нашли, что больше русской душе подходит, навалились дружно. И день пробуют, и два, и три...

Фрица тоже поили, чтоб не сбежал. А он им про офицерский бордель рассказывал.

Но вот наконец пришла пора возвращаться. Недопитое бросать богатство—жалко. Опять нагрузились, немца тоже навьючили, и потащились, двинулись в обратный путь, к своим.

Идут и пьют, пьют и идут, силы на исходе, и к сроку не успевают, штрафной уже пахнет. Нет, один снова на лесину сел, не удержался, язык заплетается, совсем разом потерял:

— Есть у меня мысля одна, надо бы за неё выпить. Если мы ещё двое суток здесь прохороводимся, может, и проживём подольше. А, как вам?

— Я же сказал, на марше не пить, опоздаем или немца потеряем, всерм Хана Марковна. Ферштеен?

— А ты что же, старшой, серьёзно до победы хочешь дожить,—третий спрашивает.

— На ухналь, хочу!

Остатки опять в лесу закопали, метки сделали на деревьях.

...Тогда, на переходе, они наткнулись на минное поле, и он первый раз рыцаря того серебряного увидал. Испугался, думал, уже всё, «белочка» от дармового шнапса началась...

А рыцарь поднял коня на дыбы, мечом махнул, и лёг прямой путь к своим через то страшное поле.

...Из поиска возвратился только старшой, лейтенант, и немца раненого притащил. Вёл он себя странно, на небо показывал и звал какого-то кавалериста. Решили, что контузило его при переходе. В вещмешке у него оказалось четыре бутылки нерусского коньяку, которые приобщили к сопроводительной бумаге, и вместе с пленным отправили комбату.

Лейтенант получил орден и две недели санбата на лечение.

После войны приезжал он в те места три раза, ходил по лесам, искал те винные клады, не нашёл. И спросить не у кого, погибли же все...

А он и не собирался спрашивать, в четвёртый раз приехал.

4.

В общем, жил фронтовик и орденоносец неплохо: и зарплата на две с половиной ставки, и одеться было во что, и закусить, и выпить—с коньячного завода много ему коньяку перепало: роте пьяниц на десять лет хватит! Если крепко задуматься, Кузьмич, может, потому и поменял молочный завод на коньячный, что молоко-то портится быстро, а коньяк только крепчает со временем—и цвет, и силу набирает.

Он же, когда приехал с Кавказа, многие дела свои по устройству в сотинский пансионат с помощью «магарыча» решил, вплоть до заводского начальства. Тогда ведь руководили «Серпом и молотом» совсем другие люди, кто войну помнил, кто сладость ту европейскую ощутил и узнал, как люди там живут. Коньячок им, конечно, кое-что напомнил, но большинство насчёт страны-производителя согласилось сразу—ко-неч-но, наш, советский!—«Серп и молот» всё-таки механизмы для подводных лодок выпускал, тут не забалуешь, сразу сдадут.

Но никто гэбэшнику или парторгу ветерана-фронтовика не сдал—коньяк-француз и вправду был хорош.

Только вот этикеток с тех коньячных бутылок увидеть никому не привелось. Понятно, кроме самого Кузьмича.

И теперешнее, «неподмазанное», Кузьмичёво начальство с завода «Серп и молот», конечно же, обо всех проделках его сначала не догадывалось, но Зинаида Ивановна не плошала, «стучала» и «подстукивала», как ансамбль ложечников, по два раза на неделе.

Однако и новое заводское начальство заслуженного человека отпускать совершенно не хотело—отдел кадров настоящий был, закалённый в боях против врагов народа, не зря и фотография на стенде висела, и не зря каждый год перед девятым мая вручался ему от коллектива ценный подарок, а от начальства и профкома—конверт с деньгами.

Всё-таки память избирательна: хорошее народ всегда помнит, а отдел кадров остального не забывает.

...Нет, не отпускало Кузьмича начальство, не отпускало, но и реконструкцию никакую в захувавшем пансионате тоже поручать ему не хотело. Дескать, разойдётся строительная инвестиция по Кузьмичёвым родственникам—две дочки, два зятя, двое внуков великовозрастных, правнуков Якову Бог не дал, внуки были больно занятые, особенно Руслан, а у семейных дочек по домику на земле калужской, у одной в самом Сотине. Земельные участки тот же Яков Кузьмич выбивал из советской ещё власти, крутился, как сучка в мешке,

не зря же с Александровской председательшей роман закрутил. И ещё кое с кем, председательша не знала, бабе—не положено.

Да и у Зинаиды Ивановны, материально ответственной, родовá в большом количестве—дети и внуки не в Латвии и не в Германии запропастились, а здесь, под боком, в российской глубинке жизнь мыкали.

Только, в отличие от Кузьмича, жила баба Зинаида не в городском проекте, а в деревенской избе с обыкновенной дровяной печкой и на другом от пансионата берегу реки, куда дойти можно было только через подвесной, ржаво скрипучий и раскачивающийся на тросах мост—ни один трактор или танк по заснеженным урочищам туда не доберётся. Хотя, конечно, была узенькая тропка, тропа по снежной целине, баба Зина пробивала и натаптывала—на своей земле всегда легче, ни метель, ни мороз не страшны после неметчины.

И зачем туда, на другой берег, власти нашей добираться, когда в той деревне живут зимой три человека и одна корова, есть же не просят, лампочка в двадцать свечей—и всё хорошо.

А Зинаида, как не крутись, ветеран Великой, имеет статус «узника» и обязательно внимания и ремонта в избе попросит. Попро-осит! А не дадим, думает начальство, сами возьмут. За всем не углядишь. Такие они, в войне победившие и войну пережившие граждане.

Н-да, задачка... Но не для «серп и молотовского» начальства. Оно почти на тридцать лет о пансионате забыло и за все годы всего-то полтора рубля в него вложило. На самотёк всё пустило! А не подумало, что рядовым, ни в чём не повинным заводским работникам, которые работали себе тихонько на основном производстве и тихую славу «Серпа и молота» создавали, отдыхать негде и что не могут они, получается, ездить на отдых так часто, как им хотелось бы...

И всё-таки, всё-таки многое, очень многое было сделано, и главное было в том, что Яков Кузьмич, Анна Петровна и Зинаида Ивановна и другие жители деревни Сотино живы, мало-мальски здоровы, имеют кров, работу и воду из колонки, кусок хлеба. И молодое поколение за эти послевоенные годы выросло и народило новых советских и российских жителей—и над всеми над ними голубое мирное небо, а если печаль и есть, так только в душе... но у каждого своя печаль, что не возбраняется...

5.

И вот как-то заторопились в России времена, полетела над лесами, горами и реками, над городами и весями, колхозами и фабриками гоголевская птица-тройка, полетела, не разбирая дороги, и пыль подняла до небес. Каждая из трёх лошадок в свой цвет покрашена и в свою сторону тянет.

Не всякий седок в коляске той удержится, хоть и хватается за всех и вся подряд, а нет бы за собственную голову схватиться да подумать, куда править и на какую лошадку ставить, пока все три не запалились...

Куда там! Колёса потеряли, до сих пор на осях мчимся... и кто-то в той тройке сидит, понимаешь. И вожжи дёргает.

Ладно. Как только подвернулся им, начальнику и главному инженеру предприятия «Серп и молот», подходящий человек со строительным образованием, они тут же и решили поставить его заведующим на место Якова Кузьмича, а ветерану оставить полторы полноценных ставки и казённую квартиру, но от руководства отстранить и провести наконец полную реконструкцию зданий и коммуникаций, доверяя полностью новому человеку, так как ни при каких обстоятельствах не мог этот новый украсть столько, сколько смог Кузьмич за двадцать шесть лет. Что там говорить, достал их, конечно, Кузьмич.

Главный бухгалтер, правда, стала наводить справки насчёт нового:

— Так он же вор!

Дело-то обычное, могла и просто так ляпнуть, для острастки руководства.

Но начальство на истеричные женские домыслы отреагировало спокойно:

— Ну что вы, Марь Иванна, это однофамилец.

Действительно, чему ужасаться, если у нас треть населения Кузнецовых, треть Смирновых и ещё треть Ивановых—просто нет свежих фамилий, а для Марь Ивановны они все воры.

Да и что там, в замшелом этом пансионате, можно украсть? Вот то-то! Нечего там красть! А что привезут для строительства и ремонта, то всегда можно проверить поштучно и пообъёмно.

И кстати, Зинаида, подчёркивая малоценность своих материальных, в основном моющих средств, всегда ворчала, не боясь ни большого начальства, ни Кузьмича:

— Понавезут всякой мухобули, а мне отвечай!

Но бабу Зину и так с её материальным складом начальники, конечно же, в расчёт по хищениям никак не брали—там же одна «мухобуль», маленька расходная.

Ну и приезжает новый зав, Андрей Владимирович, селится в две складские комнаты—баба Зина освободила к приезду—с другого торца здания, в котором проживали и Яков Кузьмич с Анной Петровной. Получился, так сказать, командирский корпус.

Удобства для нового начальника, правда, в коридоре, но он же строить приехал, а для строителя этот вопрос просто лишняя пыль, детский вопрос. Обошёл всё, посмотрел. Кузьмич с ним, всё толково объясняет и тут же советы даёт, в каком бы виде ему хотелось видеть пансионат в дальнейшем.

Новый внимательно слушает, задаёт вопросы, и каверзные в том числе, ему же «серпомолотовцы» в уши напели, что здесь творится и что на него вся надежда.

— А это что за провод,— спрашивает Андрей Владимирович у Якова Кузьмича,— почему он на соседний участок уходит?

По мнению-то Кузьмича, провод этот приходит, а не уходит, а вот как это новому объяснить. Кузьмич чуть и замялся, вильнул тележным колесом: — А это знаешь, Андрюша, в деревне часто свет отключают, а на пансионат есть вторая линия из города, тоже постоянная, вот и переключаем... — Кто же тут проживает, за забором?— задумчиво спросил новый.

Если бы копнул Андрей Владимирович чуть дальше, прижал бы ветерана как вошь к ногтю, то в лучшем случае успел бы отбежать всего метров на десять, и то только потому, что у ветерана в тот день суставы разнылись, а в худшем— умер бы сразу на месте, от одного только Кузьмичёвского военного взгляда. Нельзя у нас ветерана-фронтовика такими вопросами мучить.

6.

...Из окружения выходили тяжело, в кромешной тьме, панически кидались из стороны в сторону, не знали, есть ли проходы в немецких порядках, трюсили от этого незнания, говорили шёпотом, боялись ветку качнуть или сушняком хрустнуть... и в конце концов растерялись в лесу, а кричать нельзя, везде фигуры в касках мерещились.

Вылез наконец месяц, ночь засеребрилась. Трое лежали, ждали на краю леса. Чего ждали? Чего лежали? Идти нужно было, теперь попробуй, перейди поле. Один не выдержал, сначала полз, потом побежал, пригнувшись, нырнул в воронку.

Тихо по-прежнему, рыцарь серебряный по небу шагает, мать его так, к себе в гости приглашает...

Второй побежал, ссыпался в ту же яму. Под рыцарем конь, грива его и хвост развеваются, плывут они в дымчатых облаках, на землю не смотрят.

Третий собрался с духом, полы ржавой шинели заткнул за ремень и побежал что есть силы. Тут конь небесный споткнулся, шлем с рыцаря слетел, покатился вниз, этому третьему ноги перебил, кое-как его двое в воронку втащили, да рыцарь успел заметить, осветил горящим взором.

— Где моя шапка?— спрашивает громовым голосом.

— Молчи, молчи,— один из перебежчиков шипит третьему,— молччи, куррва... Не то...

Не выдержал третий, с перебитыми ногами, заорал что было мочи:— Вот она-а, на-а, на-а-а!— Обломки костей сквозь обмотки торчали.

Финка один раз блеснула, и крик оборвался. Конь под всадником топчется, всадник вниз смотрит, словно ждёт чего-то.

В яме двое осталось. Один другого спрашивает, отползая в ужасе:

— Ты зачем это Ваньку, дружка моего, грохнул, сука?!

Конь небесный копытом бьёт, торопит...

Второй раз финка сверкнула, да так быстро, никто и не заметил: ха и ха, на ухналь!

Рыцарь шлем свой поднял и дальше в чёрном небе поплыл. Оглянулся с усмешкой:

— Вот и побратались мы с тобой, синеокий.

7.

...За тем забором, за оградой—ни для кого из деревенских не секрет—находилась дача дочери Кузьмича, муж которой работал в столице главным инженером какой-то крупной и престижной гостиницы, то ли «Россия», то ли «Украина», то ли «Рэдисон-Славянская», но не «Узбекистан», нет, и, естественно, сбрасывал тестю всяческие столичные неликвиды—в деревне всё пригодится.

И сына своего, Руслана, тоже отправил в деревню к Кузьмичу как неликвид, потому что отстал Руслан от папашкиного сверкающего экспреса, пошёл пешком по тенистой дорожке, до гостиничных куц не добрался, мускулами стал играть. Только по молодости и не осудили, поставили на учёт в милиции. И пришлось ему брать не целенаправленно, а где что придётся, всякую «мухобуль», и сносить в «цветмет». Тут у них с дедом дорожки и перехлестнулись намертво.

Кузьмич на зятя, конечно, опирался и своему начальству объяснял, что знает тайные ходы в пещеру Али-Бабы и может достать для пансионата всё что угодно, чуть-чуть нужно только ручку позолотить. Понятно, намекал на свою незаменимость, только дирекция «Серпа и молота» придерживалась по-прежнему проверенного сталинского принципа, что незаменимых людей у нас нет, а Али-Баба, багдадский вор, всё давно упёр, потом всё сам сносил и обноски в пещере бросил...

Но другое начальство—у незаменимого, успешного и сияющего, как медяшка, зятя—придерживалось своих, не сталинских принципов, потому гостиничный вор показывал-таки путь боевой машине, малица ей куда надо подливал, чтоб буксы не горели и чтоб летела она, понимаешь, всех обгоняла, к обоюдному благополучию.

Яков-то Кузьмич в данной ситуации очень удивился: как же за столько лет дочерин муженёк не попался-то ни разу?! Не сходил в народ, возле параша не посидел, не подумал?! В тридцать седьмом его бы быстро упаковали.

И ещё одно, тёмное и мутное, сокровенное, вылезло на свет Божий, словно вёрткак многоножка из почвенных глубин, тщательно охраняемых: мы воевали, а что получили? Если какой-то хлыщ, грубо говоря, пороку не нюхавший и Европу солдатским сапогом не топтавший, Родину ценою

жизни не спасавший, тако-ой имеет доступ к благам и средствам!!!

От благоговения перед этой сверхтайной и абсолютно антисоветской мыслью осёкся Яков Кузьмич и огляделся по-волчьи вокруг себя, как делал это не раз в батальонной и полковой разведке. Не читает ли кто-нибудь его мысли! Привычно сразу за тётю Финку схватился... а её нет, дома ждёт, волнуется.

Но строчка продолжалась, стих печатался дальше: «А кому лучше и легче всех на Руси живётся?— подумал Кузьмич, стоя у той ограды, где провод, и сам же ответил.— Дуракам и пьяницам!»

Так он и выдал вполне убеждённо эту мысль новому заведующему на вопрос, кто же там живёт, за забором:

— Та-а, дурак один!

Андрей Владимирович ответ в пользу Якова Кузьмича не защитал, так как убеждён был, что «за забором» в России должен не один дурак проживать, а много, но подумал, что бывший зав—человек не совсем потерянный для общества, и вместе с ним они это заржавевшее колесо-то провернут-прокрутят.

А Кузьмич прикинул, что выкладывать все свои материальные цепочки, что наработывались годами, просто так не будет. По крайней мере, вот так сразу, а там посмотрим.

Походили, походили, проголодались и замёрзли даже, по поздней осени, тут сам Бог велел перейти к торжественной части знакомства.

Кузьмич к себе не пригласил, сославшись на большую жену, выпили в складском помещении.

8.

Про войну разговор сам по себе зашёл. Андрей Владимирович сразу после войны родился, но помнил похороны Сталина, рассказал, как пытались повернуть толпу с Бульварного кольца в какую-то улицу, узкую и длинную, на которой находился Колонный зал с гробом генералиссимуса—Кузьмич это плохо всё представлял, но головой кивал понимающе—отгородили улицу Горького грузовиками, солдаты туда никого не пропускали. Маленький Андрюша потерялся в неразберихе, кто-то взрослый поднял его над головами—иначе раздавили бы!—посадил на катушки с бумагой, там на углу типография была. А народ всё напирал и напирал с бульвара. Тогда оцеплению, молодым не воевавшим солдатам, был, видимо, дан приказ толпу-то поджечь. Оно, оцепление, и пошло в атаку, да не тут-то было, сразу же и откатилось, потому что наткнулось на умелое сопротивление фронтовиков, которых в толпе, естественно, было большинство. Кричали орденосцы: «Куда лезете, салаги! Мы проститься пришли с Отцом нашим, а вы на нас, безоружных! Смотрите, холку намылим вам, желторотые! Бойтесь нас, пока Он сам из гроба не встал».

— Вот, Кузьмич, это я и хотел тебе рассказать,— Андрей Владимирович, не стесняясь, смахнул со щеки слезу. Он же понимал, что такое Победа и кто её сотворил, в той слезе уважение сквозило.

«Этому,—подумал Кузьмич,—хорошо живётся, дураку, плачет по упырю Сталину умильными слезами. Не-ет, милый, гораздо лучше, если смершевцу или НКВДэшнику в том оцеплении рожу раскровянить, и чтобы в толпе твою личность никто не запомнил... Вот это на ухналь!»

— Вот послушай,—сказал он, глядя на нового с превосходством и сожалением,—я никогда «за родину—за Сталина» не кричал, в бою некогда кричать, там думать надо очень хорошо и быстро и дышалку держать... А это всё... эти, замполиты придумали, и в воспоминаниях наврали. Я на его похороны не ходил, что я, мертвяков, что ли, не видел...

Помолчали, выпили Кузьмичёвой самогонки. — Я их, знаешь, в сортире резал,—вдруг сказал Кузьмич,—на ухналь.

Андрей Владимирович вздрогнул от неожиданности:

— Кого?!—подумал, что сталинистов.

— Фрицев этих. Пряма, знаешь, в очко.

Ничто в лице Кузьмича не дрогнуло, будто говорил он о каких-нибудь железках или кроликах, но лицо побледнело, и левый глаз стал набухать кровью и уже обнажил своё багровое веко. Бледностью своей Кузьмич стал похож на злую мелованную маску.

Такой жути Андрей Владимирович за свою не короткую жизнь ещё не испытывал: синие, со старческой поволокой глаза ветерана на мгновение очистились, разъяснились, и он увидел молодого лихого Яшку, в пилотке ли, в кубанке, в фуражке ли, он не понял, ползущего, вихляющегося, как ящерица, в сухом снегу. Короткий тычок, мучительный мык и утробный стон уходящих жизнью, бросок, скользящий неслышимый удар отточенного лезвия... с ели тихо-тихо посыпался снег—это ангел смерти задел ветку крылом, потом тишина, ни звука... человеческие души невидимо и бесшумно поднимались вверх, струились между деревьями... — Ааааа!

— Ты чего, Андрюша?—спросил Кузьмич.—Какой ты впечатлительный. Спать тебе пора...

Анна Петровна ждала Кузьмича на кухне.

— Ты что так поздно, Яша,—спросила она.

— Так ты, мать, дверь не запираешь,—он ухмыльнулся.— Не боишься, что ли?

— У меня врагов нет, Яша... и у тебя теперь нет, ты их всех... на ухналь перевёл.

— Зря... не запираешь-то,—он помолчал.— Новые пришли,—Яков Кузьмич плеснул в стакан.— Спать иди, надоела!

Анна Петровна заплакала, зашаркала в комнату, запричитала сквозь слёзы:

— О-ой, боженки мои-и... боженки-и... его хоть не трога-ай... что он тебе сде-елал-то...

Кузьмич хлопнул кухонной дверью, потушил свет, сел у окна перед наполненным стаканом, в руке его ниоткуда возник нож. Финка то исчезала, то появлялась, меняла очертания, изгибалась, превращалась то в змейку, то в ящерицу, заползала в рукава и появлялась из-за ворота жёлтой рубашки...

Лицо Якова Кузьмича по-прежнему было белым, ледяные щёки стекли вниз, искривив рот и вывалив наружу набухшее нутро век. Левый глаз сам собой закрылся...

За окном под ветром шумели голые деревья. Размытый облаками, обломанный диск луны напоминал рыцарский шлем, качался над деревенскими домами и отражался в безумных глазах бывшего разведчика...

9.

Вскоре появились в Сотино строители, завезли материалы, и работа закипела: кровли заново стелят, плесень и грибок выводят, канализацию и водопровод чинят, кабели с проводами меняют, штукатурят, красят — красота!

На склоне строят деревянные домики для отдыхающих, что будут летом приезжать. Домики брусовые, крыши у них утеплённые, чтобы летом нежарко было. Вдоль асфальтированных дорожек кусты сажают и деревья.

Все радуются. Один Яков Кузьмич, понятное дело, недоволен: следы всей его двадцатилетней деятельности убирают, заштукатуривают, закрашивают — замазывают! И ведь понимает он, что так и должно быть, что лучше будет всем, а ему самому лучше и легче станет, освободится он от начальственного бремени, но... неймётся ему, душит и гложет его обида и злость на весь мир.

После войны рай обещали? Обещали! И где он?

Нет его... Он уж рай тогда создал на молочном заводе, на коньячном, в отдельно взятом пансионате, брал, что и кого хотел, запчасты, сковородки, мужиков, баб. Пусть не райский рай, а свой, заслуженный...

Теперь рая лишился...

Забыл уже Кузьмич, что никто ему ничего не обещал. Вернее, обещали, но не рай. Это народ сам придумал, что вот уж после такой-то бойни кровавой придут времена счастливые, потому что войны не будет. Восстановим хозяйство и заживём счастливо. Оказалось, мало этого для полного удовлетворения.

Или человек такое ненасытное до счастья животное?

Ведь вот только что всё было хорошо — и должность, и простор, и езда на своём танке куда хочешь! А теперь что? Прислали, понимаешь, какого-то сопляка-слюнтя, выскочку, денег ему дали — на, строй! А что же мне-то не давали, заставляли

провоочки и «жучки» мастырить?! Я бы тоже сейчас руки в брюки ходил да поплявывал.

Вот молчал-молчал Кузьмич и всё же не выдержал, высказал новому заву:

— Послушай, Андрей! Ты, как Ельцин, только разрушать умеешь!

И так он это сказал прочувствованно, что Андрей Владимирович только рот открыл, а сказать-то и нечего. Нет, сказать-то можно, но сказать надо столько, столько всего объяснить, чтобы ответить на такую короткую фразу! Что и начинать не стоит.

Да, нанёс Яков Кузьмич точный и сильный удар — единственный! Но словесный, это не в счёт — просто озвученная мысль. Вот если бы финкой... чтоб последнее дыхание ощутить и муть в тех уходящих глазах увидеть... с ненавистью к умирающему... а так... это разведка... боем с целью выявить направление будущего наступления, пощупать противника.

Пора, зима впереди. Но это — фронтовику решать, когда красную ракету в чёрное небо пускать, а для непонимающих коротко: будет зимнее наступление. И точка...

А зимнее наступление — это готовиться надо серьёзно.

Кузьмич между делом спрашивает у Андрея Владимировича: ты как, охотой не балуешься?

Тот вначале согласие дал, а потом уже подумал, что, может, это всё неспроста, про охоту-то. В лесах здешних до сих пор то танк времён войны найдут, то самолёт, а из реки катер немецкий подняли, так что человека в чащобах здешних спрятать запросто можно, искать будет специально — не найдут. И грибники не помогут.

И стало новому заведующему тревожно и неуютно от этого предложения, и он давай себе потихоньку слова и дела Якова Кузьмича в одну цепочку выстраивать и себя же уговаривать: ну зачем меня убивать и в лесу закапывать, ну нет ему никакого резона, потому что Кузьмича на заведование пансионата не вернут и Кузьмич это понимает, отправили его на заслуженный отдых, всё! Ну в деньгах чуть потерял, но ведь и забот стало в десять раз меньше, и пенсия немаленькая. А если он меня... это... на охоте, так... это... ха-ха! — по следам же найдут сразу! Даже если несчастный случай — всё равно найдут, только у Кузьмича мотив-то есть.

Что ж Кузьмич дурак, что ли? Не-ет, не дурак. Не посмотрят, что ветеран, всё равно сидеть будет. Это зять у него дурак, и наглый: чтобы я воровской этот провод к его домишке да не увидел!

В общем, понял Андрей Владимирович, что относиться к Якову Кузьмичу надо очень серьёзно, это не дедок с пасеки, уж угостит медком, так угостит, но всё же постепенно успокоился — никто к нему в окна и двери не лез, не беспокоил.

И Андрей Владимирович и лёг спать, чтобы утром идти с Кузьмичём и всей охотничьей бригадой на охоту, ехать на машинах по лесам и сугробам, стрелять кабанов, лосей и зайцев, потом шурпу на костре варить, водку заедать. В бригаде этой и глава района, и начальник милиции, и главный пожарник, и весь районный управленческий корпус тоже там. Пригодятся знакомства...

10.

...Нейтральная полоса ещё не была тронута огнём и железом, трава зеленела по-весеннему, жёлтые, только что раскрывшиеся одуванчики тянули к солнцу крохотные ладошки, полные росы. Ему хотелось пить, он всю ночь пролежал под кустом можжевельника, накрывшись плащ-палаткой, но пошевелиться боялся, знал, что тот, за кем он вышел на охоту, уже здесь, выбрал себе новую позицию и внимательно рассматривает сейчас передний край окопавшегося русского батальона.

«Пехтура немытая! — ругался он про себя. — Сидят, ждут, мать их, пока кто-нибудь придёт и снимет этого чёртова снайпера. А если не придёт? Что ж, целому батальону, что ли, хана?! Да и ладно бы, таких не жалко»

Когда узнал про снайпера, сразу решил потрогать его за вымя, повоевать. Спокоен был, даже ярости не было, знал, что возьмёт его на ухналь. Сорок третий год уже, уже война всему научила, — так он размышлял, — а ему-то, полковому разведчику, сучку в мешок! Ха! Скольких немцев он туда отправил, никто не считал, да, наверное, со счёту сбился бы, если что...

«Комбата выследил, гад, — продолжал он, разглядывая нейтралку и немецкие брустверы, — хорошо, не убил, но комбат несоро в строй вернётся... да, спасать надо ребят, спасать...»

Лежал под накидкой, холод от земли до суставов добрался, и сам осознал — мозги поплыли, лютовать начал.

Наконец утром увидел то, что искал. Почему-то думал, что именно такое надо искать среди того, что появиться на нейтралке за ночь. И теперь ясно видел в прицел свежую щербину на трухлявом пне, стоявшем от него метрах в ста пятидесяти. Он рассматривал пень ещё около часа, пока не понял, что пень выдолблен изнутри, и в нём кто-то находится, — крохотное, еле видимое отверстие то появлялось в виде светлой точки, то пропадало. Бойница там тоже была, но устроена ниже, у самой земли, и прикрыта свежей травой.

Больше ничего не разглядел, но чувствовал, что он, немчик этот, там, что стрелять надо, не дожидаясь, пока солнце хорошо осветит немецкие позиции и, главное, уберёт тень у основания пня... Знал он... мать, что амбразура там!

Свой выстрел он, конечно, услышал, а ответного уже нет. Очнулся через несколько часов, с трудом разлепил глаза.

Вечерело, и тень можжевельного куста так удачно прикрывала его от солнца. Страшно хотелось пить, язык наждачкой царапал нёбо и не помещался во рту. Трава перед глазами была залита его кровью и уже успела почернеть. Хотел тронуть себя за лицо, и ему показалось, что лица у него нет, остались одни глаза на тонких ниточках сосудов и нервов...

Ночью за ним приползли двое. Он был в сознании и видел, как из-за леса парадной поступью скачет рыцарский конь, а на нём серебряный рыцарь, и плюмаж на его шлеме занимает полнеба и струится, как живая вода.

Раненый хотел окликнуть всадника, но голос его был слаб, неразличим среди шелеста трав и листьев, а копыта грохотали с такой силой, что даже пушечная канонада не смогла бы пробиться сквозь этот грохот...

— Я ведь не хотел, — сказал он, обращаясь к несущемуся над ним рыцарю, — я не хотел их убивать, ни тогда в окружении, ни на минном поле, прости меня... а ты же меня и заставил, ты же сам их... туда послал...

Всадник не ответил ему, лишь сильнее застучали копыта, и порыв ветра охолодил взмокший лоб раненого.

— Кто ты? — спросил он вслед улетающему рыцарю. — Что, не признал сержанта Сидорова! — ответили ему из темноты.

— Глянь, прощения просит, помирать собрался, что ли, — сказал ещё один голос.

— Ага... Ну если разговаривает, значит, будет жить!

11.

Охотников оказалось, вместе с Андреем, одиннадцать человек. Они с полчаса балагурили под окнами у Кузьмича, выпили самогона, дожидаясь скупого утреннего зимнего света, и загрузились в два внедорожника.

К часу дня сделали четыре загона, Андрей Владимирович ходил во все четыре, один был длинный, около километра, как не заблудился. Кричал, чистил хвойным воздухом лёгкие — гау, гау, потом — хэй, хэй, скучно стало, придумал диковинный крик нездешней птицы, продирался сквозь заснеженные кусты и еловые посадки, следы смотрел. Следы были, и свежие, а зверя не было.

Каким-то непонятным чутьём добыча заранее чуяла охотников и уходила.

Взмокший и раскрасневшийся, загребал валенками снег, думал тепло об охотниках, что стояли на номерах, ждали зверя и загонщиков, почувствовал себя человеком охотничьей команды.

Три раза Андрей Владимирович выходил из загона точно на Якова Кузьмича. Первый раз он испугался, когда увидел в просвете неподвижную фигуру в белой маскировке, и перестал кричать. Кузьмич, не отрываясь, смотрел в чашу, прямо на загонщика, и не посвистывал, как принято на охоте, двустволка его, взявшая не один десяток лосей, кабанов, волков, лежала на берёзовой рогулине, высматривала зверя. Что-то неживое, пьедестально-каменное было в его позе.

Заведующему так захотелось стать прозрачным или невидимым, Кузьмич потом скажет: я его за кабана принял.

Нехотя выбрался из леса на опушку.

К четвёртому разу он уже знал, с какой стороны загона ни пойти, он выйдет опять на Кузьмича.

«Чёрт, да он играет со мной как кошка с мышкой!»

Но в четвёртый раз на номерной просеке было пусто. Когда загонщики и номера вышли к машинам, кто-то спросил:

— А где Кузьмич?

Кузьмича нигде не было. Сбежали, посмотрели следы, они уходили за линию номеров, от загона. — Опять дед правила нарушает! — сказал бригадир начальственным голосом. — Пора уже ему дома сидеть!

Андрей Владимирович начал боязливо оглядываться.

Все позубоскалили, поругали Кузьмича, вспомнили ему все косяки и промахи. Ещё раз обсудили, что уходить за номерную линию нельзя, потому что если зверь пробегает за линию номеров, все палят-стреляют ему вдогон, зная, что охотников там нет, а там... оказывается, сбрендивший Кузьмич заячьи следочки разглядывает... Но это первое, что в голову всем придёт, да и чушь это полнейшая — Кузьмич не подставится!

Заведующий-то сразу сообразил, зачем ветеран свой номер покинул, — чтобы новичок-загонщик сам за линию номеров прошёл и его за кабана приняли, он ведь уже на подходе кричать-то побавлялся.

— Да, ни «Москвича», ни Кузьмича! — хохотнул чернявый в лисьей шапке.

— Ладно вам! — прекратил спор крупный мужик в полушубке и собачьей шапке колпаком. — Его немцы убить не смогли, а мы тут со своими пукалками тем более. Да придёт он минут через двадцать.

В лесу раздался недалёкий выстрел.

Андрей Владимирович вздрогнул.

— Во, видали, кого-то выследил!

— Ну так, старая гвардия!

Пока ставили на капот бутылки, доставали закуски, мужик в собачьей шапке, звали его Сашка, рассказал, как Кузьмич решил потягаться с немецким снайпером, все охотники эту историю знали.

— Снайпер его легко обманул, — рассказывал Сашка, — слишком уж Кузьмич зазнался, что смерть, понимаешь, его не берёт, вот немец пулю-то в лоб ему и всадил. А дальше чертовщина, — мы все в армии служили, и стреляли, и чего только не было! — пуля немецкая попала в край каски, пробил её, потом как-то хитро срикошетила, ушла Кузьмичу под левый глаз, зубы выбила, сломала челюсть и в груди застряла...

— Ого! — сказал Андрей. Ему стало стыдно, что так боялся Кузьмича.

— Ну, за Якова! Досталось ему!

— Так вот, он ещё ночь там, на нейтралке этой, пролежал. Как кровью не истёк? Ваты и бинтов насовал... И наши его ночью только вытащили.

Появился из леса Кузьмич, принёс лису-огнёвку. Выпил самогонки, порозовел, и начал тонким голосом рассказывать, как её скрадывал и стрелял.

— Брось ты её, Кузьмич, — сказал бригадир, — сейчас лисы все сплошь бешеные. Эпидемию ещё у нас устроишь в районе.

— Да какая она бешеная! — ответил Кузьмич. — Я её обдери, выдаю!

— Вот жмот, — шёпотом сказал чернявый.

12.

И Кузьмич, действительно, чуть не устроил в районе эпидемию, о нём написала местная газета «N-ские известия», без упоминаний, конечно, о ветеранских регалиях. Кошки, собаки, птицы, крысы бешеную отраву по округе возле пансионата растащили. Бешеных птиц что-то никто никогда не видел, а вот бешеные лисы на автомобильные фары в темноте бросались, дети боялись в школу ходить.

Кузьмича заставили остатки той лисички и шкуру сжечь на костре, а самому ветерану вкололи сорок уколов от бешенства. Деревенские перешёптывались: «так ему, фашисту, и надо».

Через же следующих событий, страшных и малообъяснимых, затмила и сотинскую стройку, и эпидемию бешенства.

Умерла Анна Петровна... Вчера ещё выходила во двор, кур кормила, а сегодня пришла труповозка и увезла тело фронтовички... Да быстро так, «скорая помощь» бы так приехала.

Злые деревенские языки прошли и по этому поводу... Судачили, не приложил ли к этому руку сам ветеран, с него станется, а то, что ходит мрачный, так это ни о чём не говорит, он любой спектакль разыграть может.

И со смехом уже: или вакцина подействовала?

Незаметно как-то появился в деревне внук Руслан, с которым Кузьмич цветные металлы на приёмные пункты сдавал.

Поминок не было, Кузьмич из квартиры не выходил. Андрей Владимирович хотел поддержать

старика, звонил и стучал в дверь, но ему не открыли...

Через неделю в газетах объявили, что работающим пенсионерам будет существенно уменьшена пенсия. Яков Кузьмич забеспокоился, съездил на завод «Серп и молот», походил по начальству, но договориться о работе «в чёрную», без трудовой книжки, ему не удалось, и он уволился. А директор, и особенно главный инженер, порадовались, что замена заведующего в пансионате произошла вовремя, у них просто гора с плеч свалилась.

Вдовца Якова Кузьмича оставили жить в казённой квартире — пусть живёт, не вечный же, глядишь, скоро служебную тёплую квартиру освободит, на холодную поменяет.

Прошёл месяц или больше, никто не считал, а Яков Кузьмич пришёл к Андрею Владимировичу: — Послушай, Андрюша, может, примешь меня обратно на работу, слух это про пенсию оказался, Государственная дума всё по-прежнему оставила.

Андрей Владимирович тогда-то так обрадовался, что Кузьмич ушёл с работы по своей воле, не пришлось никаких козней ему строить, и негласный приказ заводского начальства как бы сам исполнился, легко и бескровно. И сейчас же сказал старику-пенсионеру:

— Да как же я тебя обратно возьму, мы же ставку твою убрали.

Кузьмич за Андрея мысль додумал: «...и между собой её поделили, тебе, старому, места здесь больше нет, и не ходи и не проси...»

— Да и потом, Кузьмич, на работу не я беру, а директор завода приказ подписывает, с ним и разговаривай.

Хотел Кузьмич сказать, что когда ты, Андрюша, под стол пешком ещё не ходил, у меня китель уже на гвозде висел, но промолчал, бесполезно говорить.

Что делать, сам же он, Кузьмич, с работы ушёл, сам маху дал, а денег-то всё равно жалко. Стал названивать директору завода, аудиенции хотел попросить, а секретарша отвечает, что занят директор, и когда освободится — неизвестно.

Поводил Кузьмич своими синими очами, они у него совсем в ледышки превратились, пожевал побелевшими губами, пошёл к себе в опустевшую квартиру, самогону налил и присел к столу, опустив руки... И промелькнула перед ним вся бесконечная его жизнь, так же быстро, как он прожил её, не заметив...

Снаружи вдоль окна рыцарский конь лениво прошагал, хвостом помахивая, а всадник, сидя в седле, покачивался спокойно и твёрдо сжимал в руке древко копья...

Тут и тётка-финка из-под стола вылезла, ластится и так, и сяк, просится в дело — один Яков Кузьмич остался, ей теперь и бояться некого. А внук Руслан свой, родной, сидит тут же за столом, пиво

пьёт, с ним очень ей поиграть хотелось, как бывало. Как бывало...

С ней, с финкой, дед внука давно познакомил. — Дед, — сказал Руслан, — ты же знаешь, ты дал мне всё, научил всему, что сам умеешь, дороже нет у меня человека.

Усмехнулся дед:

— Может, тебе и ножик дать?

— Не надо, своя девочка финская имеется.

13.

Рано утром Андрей Владимирович проснулся от телефонного звонка. Зинаида Ивановна прокричала ему в ухо:

— Гостевые домики горят! Я пожарных вызвала! Надо рукава от пожарных гидрантов тянуть! Ой-ёёй, как домишки-то жалко, такие хорошенькие были!

Заведующий побежал на склад, детище своё спасать, Зинаида уже дверь открыла, сантехник раскатывал серые рукава, соединял их — рядом с домиками гидранта не было.

Приехали пожарные. Да что там, два куба воды в той пожарной машине, а пламя разгорается, рядовые бойцы в огонь не лезут, офицер их туда не пускает, он под присягой, а они-то гражданские.

Домики на двух террасах стоят, горит на нижней. Если не потушить, весь новый комплекс сгорит.

Наконец старший наряда забрался на верхнюю секцию по приставной лестнице, ему подали брандспойт, и он начал бить струёй в охваченную огнём крышу. Шапка его куда-то улетела, а форменку трепал непредсказуемый поток горячего воздуха, поднимающийся от пламени.

Полчаса понадобилось, чтоб пламя сбить, и офицер отдал шланг бойцам, которые окончательно залили возгорание, а сам подошёл к Андрею Владимировичу:

— Огоньку не найдётся? — спросил он.

Заведующий протянул ему коробок со спичками, засмеялся:

— Сапожник без сапог?

— Нет, примета дурная, — посмотрел внимательно.

Подошёл Кузьмич с длинной палкой, на руках и лице сажа с пожараща.

— Похоже, поджог это, — сказал он. — В углу матрас обгорелый лежит, в него же достаточно горящую сигарету сунуть, он всю ночь тлеть будет, а утром полыхнёт.

Отважный офицер долго смотрел на Кузьмича, ничего не сказал, докурил и пошёл командовать своими тухами-бойцами.

В это время из-за угла командирского корпуса показался хорь, обыкновенный хорёк, вор и поедатель цыплят и куриных яиц, видимо, запах дыма встревожил его, он, не таясь, бежал по дорожке.

Яков Кузьмич, не поворачивая головы, сделал стремительный выпад в сторону хорька и ткнул его палкой точно в нос, убив наповал.

Андрей Владимирович видел такой аттракцион впервые.

— Повадился, понимаешь, курей таскать, совсем осмелел.

Кузьмич подобрал хорька за хвост.

— Вот, варежки из него сошью... Ты это, Андрюша, — добавил он, — пожарнику премию-то выдай, и бутылку водки, он ведь жизнью рисковал... А ты ему даже спасибо не сказал.

...Андрей Владимирович съездил на завод, к начальству, чтоб узнать насчёт премии пожарным, но там вместо этого пришлось писать объяснительную записку.

— Поджог, говоришь, — спросил его главный инженер, — интересно, кто это тебя выжигает? Что ты с кем не поделил?

«Это вы, — подумал Андрей Владимирович, — с Кузьмичём пансионат поделить не можете. Он без средств с вашей стороны его содержал, из канализации не вылезал, а вы и обрадовались, на пенсию его сразу, а теперь мечтаете, чтоб и квартиру освободил.

Только вот разбираться он будет не с вами, дорогие мои начальнички, а со мной. А вы, думаете, хорошо спрятались?»

— Да божжи, бродяги, наверно, залезли, — ответил заведующий, что ещё он мог сказать.

— В следующий раз, — сказал главный инженер, — бумажкой не отделаешься.

И стало Андрею Владимировичу от этих слов тоскливо и муторно, так, что он и про премию пожарникам забыл, и про то, как стихи в школе на День Победы читал: «мы были высоки, русоволосы, вы в сказках прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив...», — совсем забыл, а потом страшно стало, когда вспомнил из запрещённого: «и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую...», — и мгновенную смерть нашкодившего хорька — какова у Кузьмича реакция, не скажешь, что за восемьдесят! — и слова деревенских товаров вспомнил: «Дверь подопрёт и запалит!»

«Чёрт, и правда, за кого Кузьмич воевал, — думал Андрей Владимирович, — в карателях, факельщиком?! А если он „коктейль Молотова“ применит, что тогда?»

...Но получилось не так, как думал новый заведующий. Что-то у Якова Кузьмича не сработало, и он сам попал в беду.

Через пару дней, когда Андрей Владимирович вернулся в пансионат, Зинаида Ивановна рассказала ему, что Кузьмич без спроса взял ключи от трансформаторной подстанции и что-то долго там делал, никто не видел.

— Он же фронтвик, он же как призрак ходит, — оглядываясь по сторонам, говорила она. — Потом

раздался взрыв, ну, может, не взрыв, хлопок. Свет погас. А из подстанции вывалилась фигура в горячей телогрейке... да и шапка на нём тоже горела! — А что ты шёпотом говоришь, Ивановна, — спросил заведующий, — он-то сам где сейчас?

— Боюсь я его, — округлив глаза, ответила Зинаида и перекрестилась. — Где, в больнице! Лицо у него стгорело, одни глаза остались, он их еле разлепил, веки запеклись. Ещё домой ходил, возвращается, я здесь, говорит, инструмент забыл. Вот дурак-то, ты бы тут лучше голову свою забыл, чем улики такие оставлять!

— Он же трансформаторы между собой замкнул, — продолжала она, сжимая в кулачке мокрый носовой платок, — вырубил полгорода и полрайона, представляешь? Это что он там, на фронте, творил! — закончила она.

«Жил, и до сих пор там остался», — подумал Андрей Владимирович, а вслух сказал:

— Надо бы его проведать да узнать, что он там ещё против нас удумал. Зачем он вообще туда полез, дурак старый! Сгорел бы, как в танке.

На этот вопрос, только без «дурака», Кузьмич, лёжа на койке в шестиместной палате, ответил слабым, жалобным голосом:

— Хотел, видишь, фазы поменять, чтобы наждак, как положено, крутился, да ключ гаечный уронил, он две линии трансформаторные между собой и замкнул.

— А что же ты на наждаке фазы не поменял, а в подстанцию полез, так можно было и в районные сети с гаечным ключом залезть.

Как мальчишку Кузьмича отругал.

— Не-е, я точно знаю, я же всё здесь своими руками делал, знаю...

Но Андрей Владимирович Кузьмичу не поверил, потому что сам кое-что в электричестве понимал, — детская у Кузьмича оказалась отговорка.

Какую же смерть готовил для него Кузьмич?

14.

Месяца полтора после больницы Яков Кузьмич не брился — кожа на лице была тонкой, боялась лезвия и холода, попросту мёрзла, Кузьмич ходил, прикрываясь шерстяным шарфом.

А в деревню пришло несколько новостей. Из Германии, из самой Германии пришла хорошая: Зинаиде Ивановне немцы собирались выплатить пять тысяч немецких то ли марок, то ли «евров» как узнице фашистских концлагерей. Зинаида рада была безмерно, так как долго хлопотала насчёт этой выплаты, не могла никак найти свидетелей своего перемещения в Латвию, не говоря уж о Германии, документов же никаких не сохранилось.

«Лучше бы марок, — думала она. — Кто эти „евры“ выдумал, чёрт их знает».

И вот надо же, немцы чуть ли не на слово поверили. И деньги дали! И тем, кого в сорок первом

году перегнали немецкие солдаты из одной деревни в другую, а через месяц вернули обратно домой. Они тоже узники оказались.

Ну что ж, решила баба Зина, что ни делается, а к лучшему, нечего завидовать, сколько народу покаяния этого немецкого не дождалось, сколько доверчивых советских людей от Родины награду получило — в наших же, страшных лагерях после войны сгинуло. Зинаиде повезло, что девчонкой была в сорок первом, а потом жила в такой глухомани, что не только танк добраться не мог, но и «чёрный воронок»...

А Катю, Зинаиду подружку, наградили медалью за доблестный труд в тылу, поскольку работала она в колхозе «Первомайский» с сорок третьего года. Пустяк ведь, а приятно, вон как она, медаль, горит и переливается!

Взяли бабушки самой хорошей водки, какая была в деревенском магазине, и отправились к новому заведующему отпраздновать эти события.

Яков Кузьмич их не поздравил, так его зависть заела, что ведь, правда, не ту сторону фронта, видимо, выбрал, и чтоб не встречаться, сделал лишний круг по пансионату и юркнул в своё жилище.

А на Девятое мая снова надел праздничную жёлтую рубашку и шляпу-шестидесятницу, ветеранский пиджак с наградами, только наград теперь было в два раза больше, как заметили сотинские старушки.

— Ну ты глянь, Катя, это что, Анна Петровна ему ордена в наследство, что ль, оставила?

— Да ну ево, Зина! Горбатого только могила исправит! А вот Аню-то жалко. Смотрит, небось, на него с небес и думает, зачем я столько лет с таким козлищем прожила, а?

— Ну во-от, опя-ать покати-ил!

А куда покати Кузьмич, может, в Красино грехи замаливать — в церкви архангела Михаила золотые купола ближе всего до Бога достают, в Свояки ли, где располагалась нынешняя власть, а может, в кустах где притаился, никто же за ним не следил. Поехал себе ветеран, восьмидесяти-пятилетний одуванчик, по своим делам. Какое деревне до него дело в выходной день. И ему всё равно, что там о нём судачат, в чём подозревают, в каких таких зондеркомандах он служил, кого убивал: немцев ли, русских, коммунистов или фашистов.

Думали, война кончится, вот заживём! Не получилось, не зажили, всё больше темно и неярко было. Думали, Сталин умрёт, вот заживём! Не зажили, другие убийцы власть к рукам прибрали.

Фронтовики-то в чём виноваты?

Да ни в чём! Даже признать надо, что есть их личная заслуга в том, что они в живых остались, что научились воевать, перестали ходить в лобовую на пулемёты, хотя им и приказывали

командиры скороспелые. Где они, послушные? А где непослушные? Все они в одной яме, в одном и том же рву или траншее, чуть присыпаны землёй своей горькой. И уж не получают ни медальки, ни компенсации за ратный труд.

А те, что в живых остались, такие умения обрели, такими стали умелыми и хитрыми, как в лукавом «русском бое» — отвлекай и бей, дураком притворись, не убудет, — такое осознали в себе понимание войны.

Куда до них тупому механизму бронированному, танку «Иосиф Сталин»!

В любом танке, между прочим, экипаж есть, сам по себе он воевать не может, и все жить хотят...

Забуднил тут Яков Кузьмич себе под нос полузабытую песенку: «...броня крепка, и бьётся под бронёю живое сердце, и тверда ладонь, глаза в прицел, и на медалях солнце, горит в груди отмщения огонь...»

«Да, время такое было. Кто врагом был, того и убивал, — думал Кузьмич, — пойдй, вспомни сейчас, когда и как, и сколько их было».

Помнит только, что ха и ха, и всё, на ухналь! И как тех двоих, с кем пили, впереди себя на минное поле послал — так карта легла!

И вся вина его в том, что он хотел выжить.

И никакой суд или следствие ничего не раскопает, потому что он — неподсуден и жизнь и всё это заслужил, от синего неба до Аютиных цацок, он — герой своего времени, истинный и настоящий хозяин Победы, к нему не придерёшься.

И всё потому, что он не погиб и может слово сказать и действие произвести. И сколько нас таких осталось? Погибли почти все, а оставшиеся должны были умереть после войны от ран и несправедливости...

Подчистую, на ухналь, и концы в воду.

Внук Руслан, уж ему двадцать лет было, как-то спросил деда, что это такое — на ухналь? Что-то по-немецки?

Дед, отхлёбывая чай, и говорит:

— Ухналь — это очень просто. Ухналь — это подковный гвоздь, которым прибивают подкову к лошадиному копыту. Сам он плоский, и шляпка плоская, и должна чётко и плотно войти в прорезь на подкове. Был у нас конюх, обозник, он лошадей ковал, и хорошо, я тебе скажу, это делал. Вот после него все и стали говорить: хорошо ты подковал, на ухналь, носа не подточешь. Судьба с ним тоже на ухналь разобралась, до осени сорок первого не дожил... Да-да, судьба...

«И Руслан уже не маленький, — продолжал Кузьмич, — тоже кое-чему научился, он справится, в этом даже сомнений никаких нет».

Тётка Финка поможет ему, или дядька Петухов, чтоб новые эти, выскочки и разрушители, не захватили власть и мир, который так тщательно

и всю жизнь строил он, фронтовик, доживший до двадцать первого века...

А сейчас ехал себе Яков Кузьмич к своей председателше и размышлял, что хоть она и не воевала, но умение драться за своё и выжить при любых маршалах или президентах хорошо усвоила, и не было для Кузьмича во всей окрестности человека родней и надёжней.

Мелькали мимо кусты и деревья, заросшие чапыжником поля, дома и заборы, церкви, погосты и братские могилы, пёстро одетые люди, празднующие Великую Победу, к которой не имели ни малейшего отношения.

Но Якову Кузьмичу, по самому большому счёту, было всё равно, потому что для него не была она ни великой, ни победой.

И было ему спокойно и легко, потому что он знал, где-то рядом, невидимый при дневном свете, скачет серебристый гривастый конь, а на нём всадник с разящим мечом. И гулкий стук подкованных копыт колотится, не переставая, ему в виски, вторя ударам сердца, чётко и ровно, на ухналь.

То скачет, не отставая и не обгоняя, его, Яшкина, судьба...

Медали на пиджаке звенели, стучаясь друг об друга, как у того глазастого двадцатитрёхлетнего лейтенанта в одна тысяча девятьсот сорок пятом году.

15.

...колёса крутились, привычно хлопали шины на выбоинах областной автострады. Андрей Владимирович ехал на Девятое мая в город, где пропал без вести брат его отца и где выходил из окружения Яков Кузьмич,—там погибала в начале войны та самая 33-я армия.

Гайки на левом переднем колесе давно были откручены, три болтались уже между диском и колпаком. Андрей Владимирович, конечно, не знал этого и вглядывался в набегавшие среднерусские пейзажи, где должна была появиться вскоре широкая река, тёмный еловый лес на том, западном, берегу и мост. Возле моста на постаменте стоял танк ИС-2. Говорили, что танк на ходу, что он сам заехал на постамент и стоит теперь в полной боевой готовности.

Последняя гайка, четвёртая, ещё не сорвалась с резьбы и чудом держала колесо...

ДиН РЕВЮ



Софья Иосилевич СТИХИ

Москва: Издательство Кетлеров, 2017

Стихи Софьи Иосилевич—это совершенно особенный, очень личный, оберегаемый от грубых вторжений, драгоценный и необходимейший для души и для сердца светлый мир. Но в мире этом, помимо желанной гармонии, радости и тепла, света и счастья, неумолимо присутствуют и драматизм бытия, и невзгоды, и боль, и сложности будней, и множество примет непростого, не редко и героического существования—в прежнюю эпоху и в нынешнее время—пишущей хорошие стихи, образованной, умной женщины, чуткой, отзывчивой, ранимой, вынужденной буквально ежесекундно выстаивать в сложных обстоятельствах, во что бы то ни стало держаться, жить—вопреки трудностям, совершенствоваться, быть везде и всегда самой собою.



Как часто вижу: ясный зимний день,
Наш старый дом, и в отблесках огня
Лист меди перед печкою, и тень
От маленькой, тогда ещё, меня.

Шершавость брёвен греет мне ладонь
Не в прошлом, а сегодня, наяву.
Как много лет не гаснет тот огонь,
Как долго на земле уже живу.

Мой мальчик утром глазки распахнёт—
Ему от роду только девять дней.
Когда ещё свой первый шаг шагнёт,
Я целый мир держу в руке своей.

Я научу его любить и петь
Встречать беду и презирать молву.
Как много я должна ещё успеть.
Как мало на земле ещё живу.

Людмила Щипахина Как звёзды

Русский мир...

Собери Поднебесные силы,
Голос правды ещё не утих...
Возлюби себя снова, Россия,
Сыновей и Пророков своих!...

Помянув времена ветровые,
В возрожденье святое поверь!
Все победы твои — мировые!
И оплачены плачем потерь...

Поклонись, своим рекам и долам,
Вдохновеньем ворвись в города!
Обогрей сиротливые сёла,
Разорённые веком стыда.

Дар бесценный — души и пространства.
Дух соборности в русских умах.
Негасимое солнце славянства
На родимых сияет холмах...

Дети сини, берёз и акаций,
Все — товарищи, — не господа!
Бонзы бизнеса, псы корпораций
Не разрушат наш мир никогда!



Не во имя Света,
Не во славу Божью —
Бедная Планета
Захлебнулась ложью.
Врут неугомонно!
За глаза и лично.
Вслух и в микрофоны.
Гласно и публично.

Ссорятся за архи-,
Мегадивиденды.
Лживые монархи,
Пешки-президенты.

Вечный зов и шорох
Капиталов мира...
И наглец в офшорах
С головой Сагира...

Долго ль слушать будем?
Окормляться ложью?
И бродить по будням,
Как по бездорожью?

Кофейные видения...

*Я дую на кофе, и в нём, как на фото,
Желанное, светлое, доброе что-то...*

И радуюсь я мимолётному снимку,
Где русский с украинцем ходят в обнимку.
Поляки и немцы, Европе на диво,
Пьют, дружески чёкаясь, свежее пиво.
И, выйдя из запертых злобой дверей,
Под ручку гуляют — араб и еврей.
Китайцы с японцами судьбы связали,
Кузнечиков жаря на общем мангале.
Армяне и турки — два любящих брата
Совместно освоили склон Арарата.
А резвые, трезвые американцы,
Целуя кубинцев — затеяли танцы!
Бельгийцы, норвежцы и прочие шведы —
В стремлении к миру достигли победы,
Вердикт вынося, как индейку на блюде:
«Давайте мириться, товарищи-люди!»
...А слёзы и войны? А смерть миллионов?
Устала планета от мин и патронов.

Но в чашке кофейной не видно ответа...
Рассвет. Тишина. Переделкино. Лето.

Заказные патриоты...

Иные, грешные и злые,
Нас называют — «заказные».
Мы — заказные патриоты,
Бойцы возвышенной работы!
Нас заказали наши беды...
Предсметрные слова бойцов...
Кровопролитные победы.
Заветы русских мудрецов.
Тяжёлой, смутною порою
Своё Отечество беречь,
Нас заказали те Герои,
Что нынче — держат Щит и Меч.
Мы — заказные патриоты!
Ты только приглядишься окрест:
Как много нас! Полки и роты.
Тельняшки. И на шее — крест.
Всё выдержим! Сквозь все невзгоды!
Отчизну сохраним как Храм!
А — заказные патриоты —
Слова врагов — как Орден нам!

Когда Адам пахал...

Когда Адам пахал, а Ева пряла,
Не был ли мир—подобьем идеала?
Побег лозы у скромного порога.
Над головой—ни стронция, ни смога.

На двух камнях простой очаг жилища.
Сработана соха из корневища.
И дерево греха плоды роняло,
Когда Адам пахал, а Ева пряла.

...Мы нынче меньше пашем,
Больше рушим.
Забыв любовь, не обращаясь к душам.
Смотри, как Землю подставляя буру,
Долбим мы грунт. И крепим арматуру.
Взрываем, жжём, как самозванцы-боги.
Железом жмут железные дороги.
Корчем лес для горестного блага—
Нужны нам целлюлоза и бумага.
Уж под Луну нам пространства мало.
Ракеты! Марсианский гул металла...
И позабыв мелодию напева,
Уже давно прядёт и пашет Ева.
Сильны её предплечия и руки.
На ней—джинса, и сапоги, и брюки.
Химическая прядь из-под берета.
Попыхивает нагло сигарета...

...Ах, время, время! Что оно итожит?
Порою ностальгия сердце гложет
И манит свет далёкого начала,—
Когда Адам пахал, а Ева—пряла...

Навеяло...

Не говори, что независим!
Не верь наивно в эту ложь!
Ты каждый миг у вечных истин
В суровой кабале живёшь.

Уже с рождения—зависим!
Хоть отрекаешься хитро.
От дел, от случая, от писем
От стрелки, сломанной в метро.

От грозных рисков лихолетья,
Где дым войны горяч и густ.
Ты—в кабале проблем столетья.
Ты—в рабстве у прекрасных чувств...

Ты мерой глубины и выси
Сверяешь собственные дни.
Не говори, что—независим!
Смирись и голову склони.

Да будь ты неуч или профи,
Да будь ты трус или герой...
...Ведь иногда от чашки кофе
Зависит и судьба... Порой...

Придёт поэт...

На всё, что смутно до сих пор,
Ищи в поэзии ответа...
Не зря на чушь и всякий вздор
Находятся слова поэта.

Пока умы святых голов
Нагужно истину штурмуют,
Поэт напишет пару слов
И все проблемы зарифмует!

А коль тяжки твои грехи,
Прощенья нет—одна досада,—
Цитируй нужные стихи
И всё уладится, как надо...

Да и в любви одной строки
Порой, довольно—вызвать чувство!
Поэт, дела твои крепки
И благотельно искусство.

В идейных войнах—рядовой.
Ритм строчек—соразмерен с битвой.
Ты первый на передовой
С победным кличем и молитвой!

Как дальше сложатся года?
Что мир разъединит? Что свяжет?
...Не сомневайтесь, господа,—
Придёт поэт
И всё подскажет...



Смотрю я не без огорченья
На всплеск хулы и обличенья,
Отныне—до царя-Гороха,
Мол, всё в России было плохо.

Порой, свои—своих ругают.
И фальшью не пренебрегают.
Не покрестясь у аналоя,
Оплёвывают всё бывшее.

То Грозному—объявят суд.
То древний памятник снесут.
То Мавзолей им угрожает.
То им Дзержинский жить мешает.

То строй Советский—не успешен.
То Жуков виноват и грешен.
То за колхозы не простят.
То дружно Сталина костят.

...Конечно, было много боли.
Но это ворошить доколе?
Что толку в мировой тоске,
Когда весь Мир—на волоске?

Опомнитесь, уймись, верьте—
Вселенский Разум—выше смерти.
От новых светопреставлений
Спасёт нас Бог и русский Гений!

Как звёзды...

Когда темно, опасно, грозно,
Когда неразличима суть,
Я знаю, женщины, как звёзды,
Во тьме прокладывают путь...

Не в тихой собственной квартире,
Где тайн и замыслов не счесть,
А в грозовом глобальном мире
Отстаивают жизнь и честь.

Самоотверженны на деле
И потому—хранят тот бед.
Горит звезда Анжелы Дэвис,
Огонь Джамилы Бухаред...

Предназначением хранимы,
Не струсят! Не сдадутся в плен
И Сара Вагенкнехт, и Дилма,
Кристина и Марин Ле Пен...

И что бы там ни говорили,
Они нам светят до сих пор,
Непризнанные героини
Всем трусам нынешним в укор!

Кто понял,—видит в них подругу,
И дочь, и любящую мать...
Как мне сквозь даль позвать им руку?
Или хоть рядом постоять?

Последний снег

Уже земля была горячеей,
Уже вскрывались устья рек,
Но падал липкий и незрячий,
Последний, жалкий белый снег...

Его у луж клевали птицы,
Приняв за спелое зерно.
Он падал на платки, на лица,
На сквер, на крыши— всё равно...

Трава проклюнулась в газонах
Стакан с фиалками вспотел.
И пахло йодом и озоном.
А снег—летел, летел, летел.

Слепил глаза и бился в стёкла
Вдоль улиц вился невпопад.
Белел бульвар. Дорога мокла.
Отряхивался старый сад.

Что хочет этот снег болезный?
Уж все чураются его!..
Так неразумно, бесполезно
Лететь—и больше ничего...

..Всё лихорадочней, заметней
Он торопил упрямый бег.
Никто не знал, что он—последний.
А это был—последний снег.

Эта женщина

Держит голову, как королева.
Излучает загадочный свет.
Эта женщина—вечная Ева
Заблудилась в развалинах лет...

На исходе судьбы хорошея,
Словно носит астральный зарок.
Эти ребусы—бусы на шее...
Эти тайны перстней и серёг...

Этот запах, с оттенком корицы.
Этих платьев немислимый цвет!
И во взгляде бывалой тигрицы
Хищный отблеск далёких побед...

Дышит время светло и беспечно.
Пролетает, прощаясь легко.
Эта женщина—вечное нечто.
И искусство её—велико!

Насыляет тоску и напасти.
И влечёт. И деньгами сорит.
Первородное зарево страсти
Над её биополем горит.

Сквозь бетонные стены и зданья,
Проникает, как лёгкая тень...
Будоражит мужское сознание.
Бережит неустойчивый день...

Ей от будней—не слаще, не горше.
Ей привычно—вблизи и вдали.
Что ей возраст, раз нет его больше?
Только праздник на кромке земли!

Элита...

Такие видятся тенденции,
Как говорится, тренд не скрыт:
Всё уже круг интеллигенции,
Всё ниже качество элит.

Циничен тесный круг артистов.
Там, что ни тип, то маргинал.
Цветёт элита финансистов—
Притон всемирных обирал.

И словословием залита,
Наивным обществом рулит
Политкорректная элита—
Хитрей и круче всех элит.

Порой не различить бандита,
Он на ответственном посту.
И криминальная элита
Растёт и вглубь и в высоту.

..Не служим ложному кумиру!
Трусливо не свернём в пути.
Мы, «нищие»,—элита мира!
И знаем, как его спасти...

Константин Скворцов

Это голос Любви или Господа глас?



Зажёт костёр, и юркий огонёк,
Мне робким показавшийся в начале,
Припал к ногам, как ласковый щенок,
Зализывая все мои печали.

Костёр горит. И вроде отлегло.
И жизнь уже не долгое бремя.
И всё ж... Всё по-иному быть могло.
Горит костёр безжалостно, как время.

От всех невзгод, надёжней, чем броня,
Меня костры всегда спасали с детства.
Иди ко мне, любимая моя,
Мне одному уже не отогреться.



Засеяны согретые поля...
Сегодня день, как никогда, был труден.
И ты уснула, милая моя,
В густой траве на перекрёстке Судеб.

Скатилось с неба солнца колесо,
Из леса тянет свежими грибами.
Я подойду, не потревожив сон,
И тихо прикоснусь к тебе губами.

И вспыхнут угли в выцветшей золе,
Вздохнёт о мачте лодка у причала...
И вновь я удивлюсь, что на земле
Всему живому женское начало.



Пусть горит под ногами земля,
Пусть карает меня Иисус,
Пусть обрушится небо, коль я
Словно Пётр, от тебя отрекусь.

Моей жажды (перечить не смей!),
Выпив море, я не утолю.
Пусть ручьи станут логовом змей,
Если я хоть на шаг отступлю.

Моё каждое слово, как плеть,
Жжёт тебя беспощадней огня.
Ты просила тебя пожалеть,
Так прости за упорство меня!

Романс

Это голос Любви или Господа глас?..
Я не знаю, что это, моя Всецарица.
На лебяжью перину метель улеглась.
А звезде неприкаянной в небе не спится.

Средь беспечных друзей и весёлой родни
Твоё сердце мятежное так одиноко...
И ложатся на снег золотые огни,
Золотые огни непогашенных окон.

Но свет в руки не взять, как его ни лови,
И не выпить до дна эти звуки рояля,
Что уносятся ввысь позывными Любви—
Нераскрытую тайною чаши Грааля.

Я на грешную землю с небес не вернусь
Ни восторженным криком, ни сладостным эхом...
Ты играй, дорогая, и я отзовусь...
И ударю по крыше маньчжурским орехом.

Это голос Любви или Господа глас?..
Я не знаю, что это, моя Всецарица.
На лебяжью перину метель улеглась.
А звезде неприкаянной в небе не спится.



Теплом не радовал апрель.
И вдруг, как Божья милость,
Забарабанила капель
И небо озарилось.

Легко с небесного окна
Слетела занавеска.
И сквозь ожившие тона
Проклонулась пролеска.

В берёзах появился пульс,
Ожил сухой валежник.
И я опять к тебе тянусь,
Как к солнышку подснежник

Таков закон. Прости меня,
Любимая, за это.
Пока никто не отменял
Великой силы Света!



Жили каждый своим уделом
Независимо и привольно
Лебедь белая в море белом,
Лебедь чёрный на море чёрном.

В облаках над землёй уснувшей,
Как случилось—не знают сами:
Повстречались, едва коснувшись
В небе огненными крылами.

Понеслось по земле поверье:
Может быть, а быть может—небыль,
Что от их серебристых перьев
Загорелось зарёю небо.

Но у птиц свой закон и вера,
Преступить они их не смели.
Лебедь белая почернела,
Лебедь чёрный, как снег, стал белым.
И не радуют их просторы,
Смотрят в небо осиротело
Лебедь белый на море чёрном,
Лебедь чёрная в море белом!

Лопшеньга

На берегу у моря Белого,
Покинув ледяной ручей,
Едва согревшись солнцем беглое
Лежало на моём плече.

Метались в небе чайки лёгкие.
И, терпкий воздух шевеля,
Приливом долгим, словно лёгкими,
Вздыхала чуткая земля.

Ни огонька вдали, ни паруса,
Лишь низких туч ленивый бег.
И рёбра брошенного карбаса.
Давно отжившего свой век.

Ах, Лопшеньга, какого племени
Твои замшелые дворы?
С какого сказочное времени
Здесь не звенели топоры?

Лишь костяники алой бусинка
Смотрела грустно на меня.
И тихо разливалась музыка,
Пустынный берег полоня.

Я б улетел, как лебедь Севера,
На юг, где ярче и теплей,
Когда б не Анна свет Сергеевна
И гусли моря перед ней.



И свет померк.
С небес с дождём и снегом
Как смерч вселенский, налетел буран.
Могучий дуб беспомощным побегом.
Свалился наземь от тяжёлых ран.

И сдался он, подняв, как руки, корни.
Седая птица мечется над ним.
Всё кончено! То суд свершился горний...
Неужто мы с тобой не устоим?



Не Стрелец я, и не Козерог,
Но и Скорпионом мне не быть.
Буду Овном, коль позволит Бог,
В небесах некошенных бродить.

И найду я, вытоптав траву,
Меж миров заветную межу,
И свою усталую главу
На колени Деве положу.

И как просьба эта ни странна,
С высоты небес сквозь облака,
Мне ковшом медведицы она
Зачерпнёт воды из родника.

Проплывут, прильнув душой к душе,
Ангелы на лунном корабле...
Я на гуще звёзд прочту в ковше
Как тебе живётся на земле.



Это Север, а с ним не шути.
То болота, то снова овраги.
Как в постель, ты ложишься на ягель.
И смеёшься, а надо идти.

Ну а мне не до снов, не до слов.
На исходе съестные запасы.
Да и сумерки, как кабиасы,
Выползают из серых углов.

В буреломе манят волчьи следы
Завлекают лосиные тропы...
Помоги мне спасительный опыт
Услышать тихий ропот воды.

Зыбким берегом чёрной реки,
Чёрным лесом и чёрной тропою
Я веду тебя к Белому морю,
В белый свет, где горят маяки.

Владимир Алейников

Складень



Близок сумерек миг—
Золотая громада
Облететь не успевшего сада,
Словно сердца отрада,
Медным звоном в округе не рада
И подобью вериг.

Налетит серебро,
Иней в горле застынет—
Но тебя не покинет
Тот, кто людям приносит добро,—
Если горе пронзило ребро,
Только руки раскинет.

Жаркой кровью алей,
Ты, разбросанный в листьях надолго
Уговор кривотолка
С дерзновенной толпой тополей,
Где пронзён наважденьем осколка
След разлуки в печали аллея.

Прощевай, прощевай,
Возвращайся скорее,
Ты, рыдающий глаз не жалея,—
И в лицо узнавай
То, что встало пред нами, боля,
И уже пролилось через край.

Назревай же сполна,
Ты, что явлено, что безгранично,
Ты, ведущее так непривычно,
Словно в душу вошла тишина,
Там, за кромкой, за гранью столичной,
Наклоняясь к тебе, как весна.

Надежда

В дожде нахлынувшем ты выглядишь радушной—
Затмением солнечным на время смущена,
Припоминаешь наши имена,
Владелица обители воздушной.

Хранилище преданий и письмён
Ты никогда ещё не открывала
Тому, кто рвал с Изиды покрывало,
Тщетою людской от скуки приручён.

Могла ты осерчать иль приласкать—
Ведь мы, живя, то гибнем, то воскреснем,—
Но то, что ты моим дарила песням,
Вовек мне у других не отыскать.

Бывало, думал: всё ли ты со мной?—
Прислушивался к голосу из ночи—
И мне твои разбуженные очи
Дороже были мудрости земной.

В забвеньи пропадал иль во хмелю,
Иль смерти зрел жестокое обличье—
Везде я признавал твоё величье—
И ни за что тебя не прогневаю.

Есть память, человеческой древней,—
В рыдании живёт она и стоне,—
И вновь твои горячие ладони
Гнездо свивают в судороге дней.

В той памяти—рождений череда,
И ты, о восприемница благая,
Ребёнка из купели принимая,
Его не покидаешь никогда.

Полночь

Истосковавшись по зиме,
Мы забываем оглянуться
Туда, куда нам не вернуться,
Куда не выйти в полутьме.

Не заглянуть за локоток
Обеспокоенной метели, —
Мы сами этого хотели —
Глотать потери горький сок.

Неторопливей и черней
Приходит сумрак вечерами,
Как некий гость, к оконной раме —
А мир просторней и верней.

А мир осознанней стократ,
Непогрешимый и суровый,
Сгущает лезвия надбровий,
Неподражаемый собрат.

И снег, оттаивая вдоль,
Не устоит пред этим взглядом,
Зане смутился где-то рядом,
Свою запомятавав роль.

И что мне делать с этой мглой
Без домино и полумасок,
Где сыплют пригоршнями сказок
В котлы с расплавленной смолой?

Вечерний свет

Деревья здесь выстроят ряд,
Пронизаны светом вечерним, —
И кроны подробно горят,
Подобны кострам суверным.

Неужто и там, наверху,
Где облако с облаком слиты,
Я это виденье влеку
Сошествием давешней свиты?

Неужто, вниманию рад,
Волнением слишком доволен,
Январский досуг и обряд
Предсказан и впрямь своеволен?

И, в детских дрожа голосах,
Струится из воздуха дрёма —
И стрелкам, спеша на часах,
Не выйти из доброго дома.

И люди, сквозь лёд проскользнув,
Заботами сыты, как птицы,
Чтоб, дней продолженье вернув,
Проснуться и не загордиться.

И дышит, всему вопреки,
Неравное рвение это
Присутствием древней реки
И зовом вечернего света.

Перед дождём

Словно думы титанов, клубятся вблизи облака —
И вершины дерев, отрешённо, как тени героев,
Уходящие вкось, ждут подземного, может, толчка,
Чтоб по струнам ударить, прозрачные лиры настроив.

Назревающий дождь, будто медленный гул в небесах,
Исступлённо дыша, надвигается вширь и бормочет
О какой-то отсрочке, кукушкой на старых часах
Прокричавшей о жизни, — и, кажется, спрятаться хочет.

Чьи-то веки, пожалуй, давно уж пора приподнять —
Как томительно лето! — подобно младенцу в купели,
Ощущает крещение — и всё-таки хочется спать,
Всех, как есть, позабыть — и вернуть, чтоб опять надоели.

Как упрямы слова! — не напрасно им в мире дано
Принимать наяву на себя и хвалу, и удары, —
Приоткрытое плещет зеркальной створкой окно —
И неведомым зельем давно переполнены чары.

Выпей с нами, истец, за великую сущность миров!
За высокую связь поднимай свою рюмку, истица! —
Вьётся птица вдали — и обрывок пространства суров,
Как изнанка холста, где иглы затерялась частица.

Как любви ни таи, непредвиденно вспыхнет она,
Как себя ни казни, всё же вспомнишь порой о хорошем —
Соглашайся же с ночью за то, что надменно темна,
Примирайся же с утром за то, что ты солнцем не брошен.

О, скажи мне, скажи — чьё обличье в окне узнаю?
Не Медуза ли там? — потому-то в жильё человеком
Так нам дорог уют, о котором невольно пою
И бальзамом которого раны сердечные лечим.



Выцвело тополя белое пламя —
Что же осталось? — ведь музыка с нами! —
Как уместить её зябкою ранью
Узкою змейкой в окошко с геранью,
Флейтою, словно лебяжьей шеей,
Предвосхищавшую суть приглашений,
Дымчатой скрипкой в тумане осеннем
Предполагавшую вечность растениям —
И над забытым реки перекатом,
Не растерявшись в ритме покатом,
Вновь обретавшую оба крыла,
Чтобы настигла или взошла?

Пух улетающий мой тополиный
Перед холмами и по-над долиной,
Вянущий, стонущий, стынувший в раже, —
Что же пространно и попросту краше? —
Кличущий, плачущий, вьющийся дольше,
Прячущий то, что утраты не больше!
Пух улетающий тополиный,
Клин исчезающий журавлиный.

Складень

I.

Никогда не вернёшься—прощай!—
И прекрасных мучительниц лица—
Это смута, почти небылица,
И желанного не обещай—
Никогда не вернёшься—прощай!

Станут птицы глядеть на весу,
Как идёшь ты походкой невинной,
В темноте понимая старинной,
Почему это время несусь
От страданья до шага надежды,—
И уже открываемы вежды—
Это ключ или, может, звезда,—
Я тебя не найду никогда.

Прощевай! Улыбнусь да забуду—
Только в памяти светлой пребуду,
И, наверное, руки теплы
В этой грусти прощанья с тобою,
Где идти да идти за судьбою,
Иногда появляясь из мглы.

II.

Надежды, вспыхнувшей, как сон,
Предназначенье невесомо—
И дом, как выверенный тон,
Где скрипок спрятана истома.

Твою усталость не сберечь—
И если скрипкою томится,
Помогут гордость или речь
Взглянуть на преданную птицу.

Я знаю—крылья тяжелы—
Легки в полёте и моленье,
Дрожа от зоркости иглы,
Они предчувствуют старенье.

И в этой зыбкости ночной
Зрачку даровано так много,
Что, возникая надо мной,
Они как ангелы у Бога.

И высший чин—кручины часть
И весть, явившаяся внове,
Когда к руке твоей припасть—
Как удостоиться любви.

И, может, с веком наравне
Улыбка женщины продремлет,
Покуда в горней тишине
Её как равную приемлют.

III.

Свеча в руке моей горит—
И одиночество разыскивает смутно,
В неугомонности теряясь поминутно,
Те ночи, что темны и бесприютны,—
И голос твой так медленно и трудно
Со мною говорит
Отдельно выпорхнувшей ласточкой
середьзимней
Вне облика родного твоего,—
И слушаю растерянно его
В непостижимости взаимной,
И слово нежное снежинкою живёт,
Лишь прикасается и тает,
И лепета ему едва хватает,
А смысл отвергнутый не к месту и не в счёт.

Я Рождество встречаю без тебя,
Прошу у Бога музыки и речи,
Чтоб так нетронуту не вздрагивали плечи,
Воспоминая разлюбя,
Чтоб губы горькие вернулись и раскрылись
Навстречу вечеру и пристальной свече,—
Они без гордости не мыслимы—вотще!—
И очи, приближаясь, воцарились.
А город спит—и длится Рождество,
Единым вздохом звезды зажигая,—
И ты, смятенная, даруешь волшебство,
В огне и холоде едино дорогая.



Рождественской ночью взгляни за окно—
И выбери там нелюдимо,
Что очи изводит, с тобой заодно,
В сиянье Стожар постижимо.

Не ты ли касался ладонью волны
И пену Кипридину видел?
Твои ль упования и ныне темны
И странен языческий идол?

Не твой ли восход восставал из небес,
С отчизной твоей неразлучен,—
И многих ли был ты свидетель чудес,
Речных покоритель излучин?

Где мука для ангела? в сонме ли звёзд?
Иль в музыке хрупкого строя?
Вопрос—не разгадка, и выбор непрост,
И дорого счастье земное.

В канун Крещенья

Во имя прежних дней бокалы осушив,
Поднимем новые—ведь будущее с нами,
В дожде и холоде блуждающее пламя,
Распластанный и собранный мотив
Из песней, вопрошающих во мраке,
Зиме предосланных, как редкостный урок,—
И я не бесконечно одинок—
Мы с памятью на диво одинаки.

И ты, желанная, так свято хороша,
Так руки белые теплы и терпеливы,
Что движутся часы неторопливо
Туда, где пробуждается душа,
И—птицы южные над кипенью снегов—
Мы этими просторами владеем,
Покуда не уйдём, не охладеем
С повинной под защитой очагов.

И так, голубушка, мне кажется, яснее,—
Не скрою—мысль моя, наверно, потускнеет,
Отстанет верностью,—и вновь наговорят,
Что деревьям, не склонным к опаданью,
Негоже настаораживать гаданье
И должно ли развенчивать обряд.

А реки древние текучи подо льдом,
И струи ртутные нахлынут и отпрянут—
И вдумываться в истину не станут,
Намаявшись и выбравшись потом.

И прошлое откликнется на зов,
Где вёрсты заменяют ощущения,
Созвездьем карточным держа в канун Крещенья
Сто восемнадцать венецейских островов.

● ● ●
Мне кажется, я вспомнил этот снег,
Ютящийся средь мартовских проталин,
Где город воспалён и разбазарен,—
И ты к нему причастен, человек.

Медлительною поступью тепла
Вплотную придвигается цветенье—
И, трогая события и растенья,
Судьба твоя дорогу перешла.

До сумерек идти недалеко—
Всё лучшее уходит безвозвратно,
А сущее хотело бы обратно,
Да только возвратиться нелегко.

Потом разбушеваться воробьям—
А там без приземленья по низинам
Засматриваться невообразимым,
Закатываться к радостным краям,

И снова замыкаются круги
В снегах и перезвонах колокольных—
И нет путей огульных и окольных,
А только безотрадные шаги.

● ● ●
Бег Лошади над спящею рекой—
Ужели заслужу благословенье?—
И так ли сознаёшь прикосновенье
Бестрепетной и чуткою рукой?

Да птица ль ты? Их столько развелось,
Поющих и летающих во мраке,
Что я свои угадываю знаки,
А лишних находить не привелось.

Предчувствую и чествую уже
Тебя, музыка снежного покоя,
Размеренностью флейты и гобоя
Звучащая и в жизни, и в душе.

Тебе ль не покровительствует ночь,
Потворствуют слепые расстоянья,
Чтоб милые собрать воспоминанья
И, может, появиться и помочь?

Как волос белый, пение смычка
Напомнит нам о возрасте и часе,
Где столькое останется в запасе,
Что сам не разглядишь издалика.

И наигрыш томительный высот
Разлука упованью посвятила,
И странствиям предпосланы светила—
Страданий очевидцы и красот.

● ● ●
О том, что было и прошло,
Никто на свете не расскажет—
Оно от сердца отлегло—
Кто отвечать его обяжет?

Ночное вспомнил я окно—
Не в нём ли видел я вот это
Простор постигшее давно
Явленье внутреннего света?

Никто меня не удивит—
Ночные бденья мне знакомы
От назревания обид
До прозревания истомы.

Головоломкой бытия
Никто меня не озадачит—
Сама сегодня не своя,
Она лица от нас не прячет.

Её отчаянье сейчас
Неизреченному дороже—
Оно чужих коснётся глаз,
Проснётся, душу растревожа.

Её открытые черты
Одно видение смущало—
Животворящей красоты
Кровоточащее начало.

Эльдар Ахадов

Любви внезапная гроза

Неполная семья

Ты без меня — неполная семья.
 Я без тебя — неполная семья.
 Мучительно признание невольное:
 Пока не вместе, стало быть, неполная.
 Пока не вместе — ныне, присно, днесь:
 И ты не вся, и я ещё не весь.

Вновь над землёю царствует гроза,
 И правит мной внезапное желанье:
 Пока не молкнут грома содроганья,
 И струи молний радуют глаза,
 Пронзая тучи вспышками агоний,
 И хлещет дождь упругий, как река,—
 Испить от неба из твоих ладоней,
 Из лучшего на свете родника.

Едва грозы рассеялись мгновенья,
 Глядит сырая ветреная высь
 На облако в оконном отраженье
 И ливнем огорошенный карниз,
 Глядит в озёра, лужицы и лица
 Так, словно бередит её покой
 Всё, что живёт, клокочет и таится
 В водовороты памяти людской.

Земля

Ты более чем боль:
 Ты была, ты пыль, ты небыль.
 И над, и под тобой
 Сияющее небо.
 Губами шевеля,
 Как яростные осы,
 «Земля! Земля! Земля!» —
 Кричат твои матросы.
 И нет пути верней,
 И нет судьбы капризней:
 Кому — на девять дней,
 Кому — на девять жизней —
 Летучих, словно дар,
 Поющих днём и ночью —
 Ажурный птичий шар —
 Ликующие клочья...

Не спеши за осенью золотой,
 У неё характер шибко пёстрый.
 Под её редющей фатой
 Машет ветер сабелькою острой.
 Прячься в зацелованной тиши,
 За сухими листьями не бегай...
 Приближать невольно не спеши
 Миг метели первой серо-пегой.
 Всё своим случится чередом,
 Будет только так и не иначе:
 Первые сугробы, спящий дом
 И очки, забытые на даче...

Последний вздох и первый крик,
 И то, что вечно между ними, —
 Всё происходит в этот миг,
 Незавершившийся донныне.
 Когда — не важно, стрелок нет —
 Ни будущего, ни былого,
 Мой давний друг, мой ближний свет —
 Невидимый, почти как слово,
 Ты улыбаешься в дали,
 Но ей ли нас переупрямить?
 Не станет неба и земли,
 А миг останется — как память.

Мёртвое море

Великое мёртвое море —
 Рождённое солью вино...
 И счастья людского, и горя
 Сполна нагладилось оно.
 Вверяясь уделу иному,
 Издревле — века и века —
 От мёртвого моря к живому
 Стремится людская река.
 И каждому видится чудо
 В едва различимой дали:
 Из воздуха, из ниоткуда —
 Оркестры, цветы, корабли...
 И волны бурлят на просторе,
 Хмелеют, сливаясь в одно
 Великое мёртвое море —
 Рождённое солью вино...

Утёс

И ветры окаянные не выли,
И тучки никуда не кочевали.
И спрашивать бессмысленно: «Не вы ли
Здесь у меня случайно ночевали?»
Конечно, нет и не было такого
Среди пустых полуослепших комнат,
Где даже заблудившееся слово
О прошлом ничего уже не помнит.
Наверное, так многим будет лучше.
Ещё утёсов там, в дали, не мало,
Где в радуге исчезнувшая тучка
Любовь его на вечность разменяла...

Азан

Спит земля во тьме глубокой ночи.
Вечность и безмолвие вокруг.
Словно свет сквозь сомкнутые очи,
В небо проникает первый звук.
И оно, как дрогнувшее веко,
Страхивает звёздную пыльцу...
Одинокий голос человека
Вьётся и возносится к Творцу.

Размеры любви

Нам ведомо много примеров
Из жизни печатных страниц:
Что нет у любви ни размеров,
Ни чётких краёв и границ.
Но жизни людской атмосфера
Мудрёней любого ума:
Любовь небольшого размера
Для многих привычна весьма.
От помыслов буйных и смелых
Она не впадает в кураж:
И вроде любовь, но в пределах,
Как раз под квартирный метраж.

Слово

Я—враг. Меня нельзя жалеть.
Мне кожу с плеч срывает плеть.
А если я раскрою рот,
Палач свинца в него нальёт
И выжжет на щеках печать,
Чтобы заставить замолчать,
И вырвет жалкий мой язык...
Я—враг. Я к этому привык.
И рвётся плоть о скалы плеч,
И рот пылает, словно печь,
И кровь горячая течёт
Оттуда, где сейчас печёт.
И растворяется печать...
Я—Слово.
Мне
нельзя
молчать!

Китеж

Когда вокруг светло, дорогу видит каждый.
Когда темно—лишь те, в ком есть источник света.
Не всякий, кто живёт, томим духовной жаждой,
Но право есть у всех надеяться на это.
В озёрах глаз людских сокрыт небесный Китеж,
Найди в себе его глубинное сиянье,
И в темноте любой ты всё вокруг увидишь—
От муравья у ног до края мироздания.

Игольное ушко

Что такое ушко для верблюда?
Эй, верблюды! Слушайте сюда:
Путь сквозной игольный—это чудо?
Или же—дорога в никуда?
Жизнь—великодушная простушка—
Непрерывно верит в волшебство:
И ведёт решительно сквозь ушко,
Там, куда не входит ничего.
И туда выводит, и оттуда,
И прошедшим радуется вслед...
Чудо происходит ниоткуда.
Там, где есть откуда—чуда нет.

● ● ●
О, сколько вас, стоящих за спиной
И вожделенно целющихся в спину!
Вам кажется, что я—всему виной,
А вам простят, едва я только сгину.
Вы мните: я не вижу ничего,
Вам чудится, что вы хитры безмерно,
Что если скопом—все на одного,
То лишь ему и будет очень скверно.
Ну, пробуйте, не бойтесь, я готов,
Валите недоумка и уродца!
А тем, кто наблюдает из кустов...
Им тоже это где-нибудь зачтётся.

Ольмек

В полнолуниях библиотек,
Где стада заповедные книг,
Окаймлённый сияньем ольмек
Со страниц соскользнул и возник.
Демиург, чудодей и ведун—
Он блуждал совершенно один
То в краях нарисованных дюн,
То в лесах среди бумажных равнин...
Но теперь, поглядев на луну,
На спокойствие дремлющих стад,
Он внезапно нырнул в тишину,
В безъязыкий её водопад
И исчез, словно тысяча снов
Растворённых в её глубине,
Там, где лунная радуга слов
Этой ночью привиделась мне...

Никита Брагин

Путешествие из Стамбула в Анкару

Глава 1. Султанахмет

Стамбул, Константинополь, Царьград, великий город, «стоящий на водах многих», мечта вековая, золотые ворота меж Европой и Азией, символ величия и, одновременно, бренности человеческих устремлений... Попав сюда, ощущаешь средоточие сил, энергий, аур—различных по своей сущности, от высоких до низких. Не на день, не на неделю, а на месяцы, на годы надо приезжать сюда. Жить, дышать его воздухом, его пылью, его страстью, его старостью.

И, приехав сюда, надо бы отрешиться от современности. Прохладный мрамор и мягкие кресла в холле отеля не стоит отвергать, ведь в каждом деле нужен отдых. Но пусть в памяти останется иное. Многоголосие веков, многоцветие камня и глины, твёрдость закаменевшего во времена незапамятные известкового раствора, впитавшего и не отдавшего кровь и жизнь.

Выйдем из бесшумного и быстрого трамвая у остановки Султанахмет и, не отвлекаясь на пестроту лавочек, пойдём, куда глаза глядят. Угадать, куда же обратится взор, несложно, ибо совсем недалеко взлетают в небо десять минаретов—это Султанахмет и Айя-София. Туда. Туда, но по пути проходишь какие-то невысокие руины из красной плинфы. Стоит остановиться, ведь это ипподром древнего Константинополя, арена буйных игр и жарких страстей.

Спорт как средство политики, точка опоры государственности, национальный символ и скрепление противоборствующих сил общества—во всех этих ипостасях, взаимно связанных, направляющих и усиливающих друг друга, спорт был до самой сердцевины своей полно и адекватно понят и применён только тоталитарными империями двадцатого века. Но ничто не ново под луной, и баталии «голубых» и «зелёных», бывших в ранней Византии, по сути, политическими партиями, чем-то вроде тори и вигов в Англии, так вот, баталии эти, и расправа Юстиниана над восстанием «Ника», и стадион, ставший полем казни мятежных горожан— всё это слишком созвучно веку двадцатому, чтобы быть просто кадром исторической хроники или парой фраз из туристического путеводителя. Кстати, о путеводителях. Приходит какое-то непостижимо соблазнительное чувство,

крамольная, может быть, даже непристойная догадка—не есть ли все эти перечисления веков, государей, архитекторов, полководцев и прочих знаменитостей, пересыпанные датами, которых никто не запоминает, за исключением единичных чудаковатых индивидуумов—не есть ли это один из символов Леты, забвения? Пройдёт праздный турист, увидит эти «объекты культурного наследия» на дисплее своего цифровика—красиво, но, увы, до ужаса банально. И файл, кстати, стирается так же до ужаса легко...

Но есть воображение, есть любовь, есть поэзия. И есть ещё страх—тот страх, что неведомыми путями, недоступными научному познанию (и, надеюсь, навсегда недоступными!) проникает в сознание среди этих руин, этих «священных камней». Любовь среди руин—символ прерафаэлитов, юность, соединившаяся с древностью, роза, взшедшая из крови тысяч обезглавленных янычаров (здесь было своё «утро стрелецкой казни») — эти властные содрогания Духа (не стану говорить слово «ноосфера», ибо здесь не разум, а нечто совсем иное)— всё это так близко, что нельзя не почувствовать. Было бы желание. Впрочем, на нет и суда нет.

Да и самого ипподрома тоже нет, осталось лишь название, или что-то воображаемое—то ли мечта, то ли воспоминание. Нужно очень сильно разогреть воображение, чтобы в низких неказистых руинах увидеть закруглённую, «разворотную» часть некогда огромного строения. И только обелиски да «змеиная колонна», памятники, украшавшие некогда центральную часть ипподрома,—зримы. Причём, даже не зная ничего, обязательно станешь всматриваться. Сначала—большой из обелисков, сложенный из каменных блоков, часть которых выщерблена, полуразрушена, отчего создаётся впечатление древности, но она, эта древность, всегда и везде относительна. Древность новгородских соборов, римских терм и палеолитических пещерных росписей неординарна. Так и этот обелиск—он принадлежит эпохе византийской и куда моложе меньшего, но значительно лучше сохранившегося египетского обелиска, высеченного целиком из гранита при Тутмосе III, а в Константинополь привезённого

при императоре Феодосии Великом. Он издали похож на косо заточенный карандаш, его заострённая верхушка асимметрична, и эта «неправильность» выделяет его, придаёт индивидуальность. У него есть турецкое имя — Дикилиташ, и сравнение с карандашом гиганта радует поначалу своим рифменным созвучием, но, увы, очень скоро огорчаешься, узнав здесь одинаковость корня — тюркского «таш» — камень.

Но большинству этот безостановочный поиск рифмы, это «просеивание» слов, то спонтанное, то осознанно методическое, совершаемое часто автоматически, на ходу, как некое рутинное каждодневное действие, о, большинству это непонятно, как, впрочем, и мне непонятны изящные рисунки иероглифов, покрывающих грани Дикилиташа. Разве что из нескольких популярных изданий по Древнему Египту вспоминается «картуш» — рамка плавных очертаний, окружающая имя властителя, а коли так, то можно срисовать, или сфотографировать, а потом найти на фотографии имя Тутмоса III. Впрочем, и тут легко обмануться, ибо фараоны носили несколько имён — личное, тронное, ещё какое-то, а что написано на обелиске, так и остаётся тайной, так что *procul este profani*. Любуйтесь, но не пытайтесь проникнуть в тайну.

А времена нынешние таковы, что и самые ленивые у нас в той или иной степени знакомы и с научно-популярными опусами, и, что куда хуже, с альтернативной «наукой». Ничто так не раздражает во всём этом, как причудливая смесь мистики и фантастики с грубым рационализмом. Честное слово, куда приятнее фантазии древних, и мне было бы, не скрою, роднее считать Дикилиташ скипетром царя циклопов, или лестригонов, или иных каких великанов из диких лесов и гор юности человечества, чем изделием неких башковитых пришельцев, оставивших нам сей Артефакт то ли для доказательства своего всемогущества, то ли затем, чтобы донести нам на полированных гранитных гранях некое послание.

И всё же он дразнит и манит, этот классически-красный монолит, и титаническим деянием предстаёт даже не история его создания, но позднейшая эпопея его транспортировки. Дикилиташ стоит на четырёх бронзовых опорах, которые, в свою очередь, связаны с мраморным блоком — а на блоке этом позднеантичные барельефы рассказывают, как Артефакт погружали на корабль, как везли его по бурному морю. Вспоминается позднее — стоит в Париже на *Place de la Concorde* ещё один такой обелиск, а на основании его закреплена бронзовая пластина с мудрёным чертежом целой кучи кабестанов, канатов и прочей механики, с помощью которой монолит был поставлен вертикально. Уместна тут и читанная мной в детстве газетная статья о том, как выбирали в украинском карьере монолит для памятника Маркусу на Театральной площади

и как потребовалась специальная, уникальная платформа, чтобы везти его по железной дороге.

И ещё одно. Он какой-то уж очень хорошо сохранившийся, этот Дикилиташ. Гранит совсем свеж, ярк, минеральные зёрна его по-прежнему крепко сцеплены друг с другом, а мрамор с рельефами, изображающими императора Феодосия и его сановников — оплыл, изъеденный водой, понемногу растворяющей камень, и зелёные подтёки окисляющейся бронзы покрыли его. Что древнее? Вопрос становится бессмысленным. Этот мрамор византийский, с его наивной повестью о великих усилиях, предпринятых для того, чтобы приподнять, переложить, погрузить и привезти Артефакт — всего лишь полуистлевший пергамент, а гранит египетский подобен Слову, что не стареет и не зависит от распада бумаги и аппетита книжных червей.

Третий памятник ипподрома — уже не обелиск, а странная бронзовая витая колонна, и нужно обладать либо знанием, либо очень живым воображением, чтобы увидеть в нём тела трёх сплетённых змей. Давным-давно сломали крестоносцы верхнюю часть монумента, и бронзу ту переплавили невесть на что, а была она головами змей, на которые опирался треножник огромного жертвенника Аполлона Пифийского, и стояло это великолепие рядом со знаменитым храмом в Дельфах. И душа замирает, когда узнаёшь, что эти змеи и треножник были отлиты из трофейных щитов, взятых эллинами при Платее. И тогда понимаешь суть мистического представления о душе вещи и о духе создания искусства, нестареющем, бессмертном, в неких эмпиреях остающемся и тогда, когда его материальное воплощение давно уже расточилось на бытовой камень, рассеялось пеплом, а то и расплылось на атомы.

И эта бессмертность былого уже не оставляет, не отпускает; ей достаточно было того малого, что сохранилось на ипподроме, давно уже ставшем частью парка в центре Стамбула. И раз уж мы прикоснулись к нему, предоставим слово фантазии, не претендуя на археологическую точность, но упоывая на ту истину, что может дать только поэзия.

Среди дорожного угара,
крикливой толчеи машин,
среди сумятицы базара,
среди ничтожества руин

я ощущаю тлен живого,
и вижу мёртвое живым,
и сердца жадная тревога
течёт по пыльным мостовым

туда, где над песком арены
народ беснуется, крича,
и кони раздувают вены
предощущением бича,

и бронза яростного гонга
над бурей искажённых лиц
протяжно возвещает гонку
каппадокийских колесниц,

и память камни собирает
в тугие мускулы аркад,
и кровь, и золото—до края
ты ими полон, Цареград.

Гигантская опрокинутая чаша Царьграда—купол Святой Софии, увенчанный золотым полумесяцем, всплывает над кронами деревьев парка. Он тяжёлый, словно шлем великана, и опирается на столь же, если не более, тяжеловесное здание. Кажется странным, что на исходе античности, когда подводились итоги эпохи Гармонии, возникло столь экспрессивно-мощное и циклопически-громоздкое сооружение, небогатое внешними украшениями, не радующее соразмерностью колонн, застывших в экстазе под напором архитрава, но влекущее иным, титаническим масштабом, и созданное как будто не по правилам, не как принято было, но вопреки всему этому, взрывным напряжением человеческого духа.

Она подавляет и влечёт, а вблизи неё уже теряешься перед огромностью стены, и, притягиваемый некоей силой, действующей подобно гравитации, но не имеющей названия и не воплощённой в формулах, оказываешься внутри великого храма. Какой контраст внешнего и внутреннего, формы и содержания! Если снаружи София подавляет, то внутри—возносит. Объём её воздушен и лёгок, и именно там—дышится. И не давит купол, но зовёт—выше и выше...

Собор древен, его выстроили при Юстиниане, когда ещё неизвестны были секреты и способы, открытые мастерами Ренессанса, умевшими поставить свод на четыре столпа. София же—трёхнефная базилика. Но центральный неф так широк, так далеко раздвинуты ограничивающие его ряды колонн, что он-то и составляет почти всё пространство Софии. И изнутри совершенно непонятно, на чём держится огромный купол, льющий свет, что свободно наполняет всё пространство храма.

Вот здесь и разгадка внешней тяжеловесности Софии. Купол покоится на массивных опорах, выступающих по его бокам и создающих впечатление грузности, особенно отчётливой в сочетании с монолитностью стен. Форма и содержание находятся в разительном, очень сильно чувствуемом противостоянии, и тяжесть формы нужна, необходима—для лёгкости содержания, для воздуха—духа и сущности Софии. Истинная мудрость тяжела и непонятна со стороны, но легка и воздушна в сути своей, для понявших её. Истинная мудрость духовна, но одета плотью, а иногда и бронёй.

Противостояние формы и содержания, духа и вещества, лежащее в основе эстетики христианской, в чём-то отрицающей, но чем-то и дополняющей эстетику античную, проявлялось многократно в архитектурных формах. Лучший пример—Покровский собор в Москве, с его скороморошеской пестротой и азиатской вычурностью архитектурных объёмов—в этой внешности выразилось, если не по желанию зодчих, то по хотению народному, наружное веселие Блаженного, танец Давида, попрекаемого Мелхолой, карнавальная ярженость. Наполеон называл его мечетью, и был в чём-то прав, ведь этот собор надел на себя маску восточного храма, притворился не тем, чем он есть. А внутреннее пространство Покровского собора темно и тесно, ибо оно посвящено аскезе. Это узилище, темница духа страдающего и искушающего, это скит, который не надо искать, ибо он—в сердце.

На грани тьмы и света, на рубеже моря и лавы, в сопряжении и столкновении плотского праха и бесплотного духа рождаются шедевры, и в этом глаз учёного видит закономерность, а сердце поэта—истинную гармонию, отзвук замысла Божия, сущность самого творчества. И здесь, продолжая разговор о Святой Софии, стоит получше оглядеться, потому что в таком сосредоточении творческих сил можно увидеть небезынтересные и поучительные детали процесса, в исследовании которых смогут найти общий язык интуиция поэта и педантичность классификатора-эмпирика.

Стоит подойти к границе главного нефа, где возвышаются огромные пёстрые мраморные и порфиновые колонны. Пишут в путеводителях, что колонны эти вывезены были из храма Артемиды Эфесской, того самого чуда света, что съёл Герострат, и восстанавливала потом вся Греция, но это оказалось не под силу, пока Александр не дал на завершение реставрации часть своей военной добычи. Так это или нет, но единственная сохранившаяся колонна великого храма в Эфесе—беломраморная, с каннелюрами, кроме того, она больше, чем те, что мы рассматриваем. Остаётся догадываться, что колонны Софийского собора взяты из внутреннего убранства храма Артемиды. Их некогда зеркально полированный камень где-то истерт, где-то выщерблен, где-то, кажется, изъеден, растворён с поверхности солёным морским воздухом, что столетиями вдувал босфорский бриз через огромные двери собора. Эти колонны древнее собора, но стали его органичной частью. Подобное явление нередко, если имеешь дело с древностями. Так, в средневековых церквях афинской Анафиотики можно видеть мраморные фрагменты, упавшие когда-то с круч Акрополя и ставшие строительным материалом. Так в иконостасах русских храмов стоят иконы, что много древнее самого сооружения и что были

некогда святынями более древних, может быть, деревянных храмов.

Продолжая аналогию, увидим, что и в литературе встречается подобное. «Песнь Деворы» — древнейший фрагмент (XII век до Р. Х.), встроенный в более позднюю Книгу Судей, стал не только естественной частью повествования, но, более того, кульминацией. Высказанная мысль, облечённая в гармоническую форму, здесь и там встречается в трудах по философии, эстетике, истории, и нередко только там и сохраняется в своём первоизданном, пусть и фрагментированном, виде, как барельефы «Амазономахии» Скопаса, Леохара и Тимофея в стенах крепости рыцарей-иоаннитов, стоящей на руинах Галикарнаса. Мысль преобразуется и отражается, и надо много знать и помнить, чтобы в «Муравье» Ломоносова узнать переложение эпиграммы Марциала. А иной раз бывает и так, что созданное во множестве, в ходе ремесленного копирования, пускай и очень умелого, и очень трудоёмкого, но всё же повторения, «потока», словами художника, попав в единичном или малом числе в чужую среду, становится единственным и неповторимым шедевром, вдохновляющим поэтов, становится великим символом и даже *genius loci* — как великолепные сфинксы Аменхотепа III на Набережной Искусств.

Не в этом ли сочетание смертности и бессмертия искусства, слияние Кастальского ключа и Леты? Твою мысль взяли, как древнегреческую камею, и оправили её, и вставили вместе с другими камнями, эллинистическими, римскими, средневековыми, и покоится она в стенке изящного ларца, которого касались руки сурового кондотьера и пышной венецианской красавицы с тициановским медным отливом тяжёлых кос, и не по годам крепкие пальцы разорённого, состарившегося и вновь разбогатевшего Шейлока — и мы легко вообразим ещё и ещё, но никогда не увидим воочию ни их, ни мастеров, создавших камеи и сам ларец. И лежит он в Золотой Кладовой Эрмитажа, радуя глаз любителя редкостей, но оставляя равнодушными почитателей злата — им предлагаю полюбоваться туалетным прибором Анны Иоанновны.

И наши мысли, если каким-то из них суждено сохраниться в течение хотя бы микроскопически малого срока, скажем, ста лет, имеют шанс послужить экспонатами будущего воображаемого музея, где им предстоит сочетаться, как блескучему золоту и драгоценной, но малозаметной камее. Есть ли в этом залог некоего потустороннего, загробного счастья? Полнится ли гордостью дух Константина Великого, обозревая историю созданного им, но не увиденного в грядущем блеске Великого Града? Воскресни сегодня Пётр Великий — был бы он доволен зрелищем града Святого Петра? Хотелось бы сказать «да», как хотелось бы и сохранности, неискаженности, чистоты слова — но история

жестока, а людское недомыслие и небрежность непредсказуемы и неисчислимы.

Хочется поэтому радоваться, видя дожившую до наших дней древность, и даже граффити, процарапанные на массивной каменной балюстраде хоров не раздражают, как современная распысканная мазня на свежоштукатуренной стене ампиричного особняка в Замоскворечье, но умиляют, особенно когда с грехом пополам прочтёшь имя какого-нибудь Захариаса над датой — 1637. А с хоров пространство Софии видится иным — уже внизу золотеют круглые щиты с каллиграфическими речениями из Корана, и совсем далеко стрельчатый михраб, а впереди Матерь Божия с Чадом своим, тихо плывущая по увядающему золоту мозаики, и та же тишина в древних ликах императоров и императриц.

И как-то странно знать, что храм сей — третий на месте этом, ибо существовала ещё Константинова София, а потом её сменил ещё один, более поздний храм, и лишь затем Юстиниан задумал выстроить новый собор, лучше, выше, великолепнее прочих, чтобы, войдя в космическое пространство главного нефа, воскликнуть: «О, Соломон! Я превзошёл тебя!» И как много лет позднее папа Юлий II безжалостно снёс римскую базилику Святого Петра, чтобы на её месте возвести величайший из соборов Италии, так и Юстиниан повелел снести до основания прежнее здание. Но от него остались малые фрагменты — чудный беломраморный фриз с овнами, завитки руна которых высечены были достойным резцом.

Эта фрагментарность и разрозненность дошедших до нас остатков вместе с их удивительной цельностью вызывают желание предстать Софию-предшественницу, и видится она во мраморном облачении, в ритмах коринфских колонн, в неспешной повести барельефов, прочесть которую сможешь, если только обойдёшь все здание, словом, София императора Феодосия, да и первая, Константинова, кажутся воображению античными храмами. И, как всякий античный фрагмент, будь то локоток статуи нимфы, или несколько слов из оды Сапфо, он, осколок этот, поразителен совершенно немислимым сочетанием раздробленности и цельности, ущербности и исчерпывающей полноты, и это сочетание так естественно, так зачаровывает плавностью линий своих, пусть и обрывающихся внезапно, что кажется кошунственной мыслью продолжить их. Да и как продолжить? Да и можно ли что-то добавить к словам о том, что

Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам... (пер. В. Вересаева)

Но есть и другое. Именно двадцатый век стал ценить дошедшее до нас в его разбитости, искаженности, невозстановленности и невозстановляемости, ведь во времена Винкельмана сплошь

и рядом приделывали отбитые носы Юпитерам и Антиноям. А потом стали вскрываться нелепые ошибки этих реставраторов, послужившие пищей юмористам, а дальше всё это стало дурным тоном. Ладно бы так, но скульптура XX века начала старательно облачаться в такие фрагментированные, искусственно усечённые формы—но гармонии не возникло. Впрочем, это неудивительно, ибо гармоническое произведение можно разбить и разрушить, но, пока останется частица его, она будет нести в себе дух прекрасного, как последний праведник во граде падшем несёт в себе неосквернённую монаду света и правды. Но сколько ни разбивай то, что изначально не совершенно—в осколках не родится шедевр.

Обратимся теперь к целостности иной, чем София, хотя и похожей на неё. Лучше всего видеть её с Босфора, когда рассвет, поднимаясь над анатолийским берегом, озаряет красную плотную мощь Софии и противостоящую ей не менее огромную, но зрительно более хрупкую, кажущуюся женственной мечеть Султанахмет, известную более как Голубая Мечеть. Она—праправнучка Софии, её воздвигли в таком недалёком от нас семнадцатом веке. Полюбился туркам-османам образ Софии, и в 1453 году падишах Мехмед Фатих, побывав под её сводами, повелел не осквернять и не разрушать великий храм, а потом София стала мечетью, крест был сменён полумесяцем, а внутри появились мимбар и михраб, соседствовавшие с образами православными (их лишь в восемнадцатом веке покрыли побелкой, но в двадцатом открыли вновь по повелению Ататюрка). Но одно дело—конверсия, переделка, даже перестройка, и совсем иное—создание собственного! Долго, почти сто лет, турки, овладевшие Царьградом, не могли соорудить свой храм по типу Софии, пока это не совершил Синан, придворный зодчий Сулеймана Законодателя. Но огромный купол мечети Сулеймание далеко, у Золотого Рога, а Султанахмет выстроена позднее, по канонам Синана.

И был Синан для турок тем же, кем для нас, русских, ещё раньше был великий Аристотель Фиораванти, строитель Успенского собора в Кремле. Оба решали одну и ту же задачу—создать огромный внутренний объём при меньших затратах, и решили её одинаково, поставив купол или пятиглавие на четыре огромных столпа, удерживающих всё здание. И как Успенский собор повторился во множестве мощных пятиглавий, дорогих русскому сердцу, так и мечеть Сулеймание отразилась в более поздних созданиях, среди которых выделяется Султанахмет. Возвели её по воле необыкновенно набожного падишаха Ахмета I, который поставил цель создать величайшую и прекраснейшую святыню, и достиг этого, и в день открытия мечети шёл в торжественной церемонии в специальном головном уборе, имитирующем след ноги Пророка,

попирающей его, властелина земного. Поневоле вспомнишь непринуждённое, а иной раз и просто равнодушное отношение сильных мира сего к святыням...

След ноги Пророка нам ещё встретится в путешествии нашем, а сейчас хотелось бы войти под своды Султанахмет, но, увы, за разговорами прошло много времени, и послышался дневной призыв к молитве. Неловко находиться среди духовного действия, не принимая участия в нём, поэтому останемся в парке, присядем на скамейку, благо их там на всех хватит, купим ароматического питья у продавца воды в колоритном белом костюме и со странным сосудом за спиной, оснащённым сифоном, с помощью которого он цедит свой крушон. И послушаем пение муэдзинов—стоит потратить несколько минут.

У мечети Султанахмет шесть минаретов, максимум, возможный в мусульманском святилище. Исключение только одно—священная Кааба, где минаретов семь. Итак, шесть минаретов, и с каждого звучит пение призыва—велик Бог, и нет иного бога, и Мохаммед пророк Его. Голоса эти звучат не в унисон, но сливаются в сложном изысканном многогласии. Единственное, что печалит—сознание того, что голоса эти—запись, усиленная репродукторами. И думаешь, а каково же было во времена оные, при падишахе Ахмете, когда взбирались муэдзины, наверно, заранее, на высоченные минареты и пели с их резных кольцеобразных балконов на разные голоса, и живой звук, не осквернённый усилителями, наполнял немедленно затихавший великий город, и молчали базары и караван-сарай, и массы людей шли к мечети. Конечно, возможность записи звука дала нам очень много. Если бы она появилась на два столетия ранее, представляете, как бы мы слушали женский хор под управлением Вивальди, могучее содрогание органа, подчиняющегося крепким пальцам Баха, детские импровизации Моцарта... Жаль, как жаль... Но жаль и того, что глас муэдзина перестал быть живым.

Ну что ж, отрешимся от мыслей печальных и дослушаем последние рефренные звуки призыва—Алла иль Алла-а-а—они прекрасны и в записи. В конце концов, мало кому из нас доведётся увидеть воочию, скажем, водопады Игуасу, но в телевизоре-то мы их видели—и это благо. Пора в путь, ведь нас ждёт ещё немало интересного.

Глава 2. Топкапы

Стамбул стоит на Константинополе, частично поглотив его, частью впитав его в себя, но огромная масса византийского скрыта здесь прямо под ногами, под тонким слоем асфальта и ещё метром, двумя, может быть, тремя—культурного слоя. Совсем недалеко от Султанахмет, стоит только пройти через лавки, где торгуют хорошими

коврами за хорошие деньги, находятся фундаменты дворца времён Юстиниана. Кажется, древние греки не считали мозаичные полы какими-то особенными произведениями искусства—о них совсем не пишут древние историки и философы, их не упоминают поэты, написавшие массу эпиграмм, посвящённых скульптуре и живописи. А ведь по изображениям этих мозаик мы судим об их искусстве—так они часто встречаются, и так великолепны.

Мы уже поговорили о фрагментарности, стоит сейчас вспомнить о сочетаемости фрагментов. Сохранные из многих осколков аттические кратеры и гидрии, десятки которых стоят в витринах каждого музея в этих краях, а сотни и тысячи дремлют в запасниках, очень часто являют собой примеры, противоположные тем негативным опытам реставрации древних скульптур, о которых уже шла речь. Здесь, среди фундаментов давно разрушенного до основания дворца, сохранилась масса мозаик, в той или иной степени повреждённых, но обычно достаточно полных, чтобы о каждой составить представление—что изображено, всегда ясно. Но дело в ином. Все эти мозаики были выложены в анфиладе залов, соединённых переходами, и вместе образовывали единое произведение, целую мозаичную симфонию в позднеантичном духе. Попробуем представить, как это было.

Гость, вошедший во дворец, должен был следовать из зала в зал. И вначале он видел картины мирной сельской жизни, нежной природы, счастливой Аркадии из эклог Вергилия. Купы деревьев, поющие птицы, прохладные потоки, поля и стада. Тихие и светлые образы сопровождают гостя в первых залах, и колористика их нежна, как летнее утро в ранние часы пробуждения земледельца, когда сама природа ещё дремлет, и лишь опыт, а иногда предчувствие обещают жаркий день. Но с каждым следующим шагом что-то начинает меняться, что-то тревожное чувствуется, и сами картины становятся динамичнее, насыщеннее красками. Волы тянут тяжёлые плуги, трудятся люди, и труд их жарок, и небо пламенеет всё ярче, и спускаются далёкие тучи, и предчувствие грозы обещает ещё одну перемену. И она происходит, когда в следующих залах разворачивается жестокая драма. Охота! Своры псов гонят оленей, вепрь напарывается на рогатину, копыта охотников пронзают бока и грудь тигра, и алые краски наполняют мир смуты, смерти и бессмысленной доблести человека, вступившего в поединок с самой природой! Это финал, трагический финал симфонии, разрушение идиллии, распад мира, судороги агонии.

Не таков ли был конец античности, богатой на войны и смерть, но всегда умевшей противопоставить этому духовную нетленность красоты, гармонии? Но о гармонии ли говорить, имея в виду эпоху

Юстиниана? Его придворные Агафий Схоластик, Павел Силенциарий—им принадлежит множество стихотворений, обыгрывающих все темы античности, но оставшихся лишь изящными воспроизведениями былого, своего рода поэтическими новоделами, обращёнными назад, в обречённой попытке вернуть хоть на миг ушедшее навсегда. Но автор (или авторы) мозаик видел иное, и сотворил иное. Его произведение—грандиозное античное барокко (если этот термин вообще здесь применим, да простят меня искусствоведы!). Да, барокко—или позднее Возрождение... Идиллия, на заднем плане которой багрово-чёрным наливаются тучи. Как если бы кто задумал составить некий континуум из полотен Питера Брейгеля Старшего—его мирной зимы с тем удивительным сочетанием лирического и эпического, где умиротворение холодного и бледного зимнего пейзажа нисколько не мешает смеху ребятишек на льду замёрзшего озера, и его же inferнальных «Ужасов войны», страшных особенно даже не тем, что изображено, но теми красками, что избрал великий художник.

Размышляя об этом, приходишь к мысли об относительности эстетики искусства, способного выразить страшное, как прекрасное, а дисгармоничное и мятущееся—как целенаправленное, сверхидею, императив. И, естественно, вспоминается Лессинг и его «Лаокоон». Разумеется, и в мечтах не смею равняться с великим мыслителем, но просто желаю поговорить об ещё одном скульптурном шедевре, тем более что фундаменты императорского дворца уже остались позади, и мы постепенно приближаемся ко дворцу Топкапы—древней резиденции падишахов. Но на пути нашем есть такой объект, пропустить который было бы непростительно... хотя именно подобные объекты большинство пропускает, причём сознательно. *O tempora, o mores...*

Я веду речь об Археологическом музее Стамбула—но не пугайтесь, в мои планы не входит проведение экскурсии по его многочисленным залам, мы ограничимся знакомством с двумя экспонатами. Впрочем, один из них таков, что составил бы гордость любого мирового музея. Я имею в виду голову статуи Александра Великого. Она происходит из Пергама, где какой-то даровитый скульптор местной (и прославленной!) школы в III веке до Р.Х. изваял превосходную копию не дошедшей до нас работы Лисиппа, созданной при жизни Александра.

Пройдя через двор музея, где под купами деревьев тихо спят огромные саркофаги, окунаемся в прохладу старого здания и находим главный экспонат. Как сочетаются двойственность и цельность в этом лице! И ещё одно, парадоксальное в сути своей, но уже не удивляющее людей века нынешнего, хотя в античности бывшее чудом—

это ощущение движения в неподвижном, отчето статуя есть *mobilis in immobilis*, замершее мгновение полёта, прекраснейшее из воплощений противоборства духа и праха.

Его тяжёлые черты, массивность низкого лба, крутая очерченность надбровий, жёсткость носа — вся эта зримая вещественность, такая плотская, такая земная, рождённая на палестре и возмужавшая в алой крови бесчисленных сражений и в не менее алом вине столь же бесчисленных симпозионов — вот она, плоть неподвижная, тяжкая земная сущность, каменный *immobilis*, невидимые кольца змей на могучей груди Лаокоона. И сквозь эту броню плоти взрывом взлетает безумный взор широко открытых глаз, в дионисийском экстазе пророчащий славу и смерть. И рот уже приоткрывается, но он ещё расслаблен, ещё не вздулись клубками змей мускулы, ещё не взревела оплетённая жилами гортань боевым кличем «Эниалос», призывом на поле брани самого бога войны, громоносным криком, от которого содрогнулись даже слоны отважного Пора. Нет, это всё лишь предугадывается, это только будет, пусть даже остались всего какие-то миллисекунды, но сейчас в этих губах — страдание и слабость, и странная жажда нежности, женской нежности, сквозь всю жизнь проходящей — материнской теплотой Олимпиады, девическим трепетом Роушанек. «Каждый любовник — солдат» — много времени спустя скажет Овидий, и в портрете Александра сквозь черты воина проступает боль обиженного ребёнка и взывающая к нежности, сама себя разящая страсть любовника. Он на вершине блаженства, он же — в пучинах скорби, он вбирает в себя весь мир в одно немыслимое мгновение перед тем, как ринуться в хаос во главе строя гетайров. Это мгновение и есть истина, и есть жизнь, и только в нём обретают друг друга плоть и дух, становясь единым.

Впрочем, есть и другие пути, не требующие ни страдания, ни вдохновения, ни иных громких страстей, но успешно достигающие своей цели. В полутёмном зале, редко посещаемом ленивыми и нелюбопытными туристами, находится отменная коллекция разновременных и разнокалиберных саркофагов из раскопок Сидонского некрополя. Перл этой коллекции — огромный, траурно-чёрный базальтовый саркофаг позднеегипетской эпохи, высеченный для удачливого египетского военачальника, который смог (правда, последний раз в истории) вернуть под жезл фараона (да будет он жив, здоров и могуч!) азиатские провинции. Совершив сие деяние, стратег почил и упокоился вдали от земли Кемт в своём великолепном саркофаге, но, увы, ненадолго. Азиатские земли вновь, и теперь уже окончательно, отложились от Египта. Некий сидонский царёк, захмелев от обрётённой незалежности, провёл ревизию государственной собственности и здраво рассудил,

что незачем захватчику и оккупанту этот гроб, и повелел вышвырнуть останки египтянина, а саркофаг припас для себя, и, завершив своё славное царствование, упокоился в нём. Представляется что-то вроде объявления в газете — саркофаг, б/у, в отличном состоянии, \$ энная сумма, торг уместен. В конце концов, кладбищенское дело есть одна из наиболее древних форм коммерции, и в нём ничуть не меньше, чем в иных формах человеческой деятельности, идёт борьба за престиж. Ведь если открытый белый «Феррари» или изящный «Бентли» есть престижные формы человеческого бытия, то роскошный саркофаг — престижная форма человеческого небытия. Впрочем, есть одно прекрасное создание человечества, что соединяет три в одном. Престиж, бытие и небытие удивительным образом сосуществуют в книге, написанной много лет назад и печатаемой в наше время крупными тиражами.

Вот об этом и стоит поговорить, присев на лавочку во дворе музея среди мраморных нимф и гранитных саркофагов. Можно угнать «Бентли» и покататься на нём, можно присвоить гроб, чтобы в нём упокоиться, а можно ещё чужую книгу подписать своим именем, и будет очередной случай плагиата, ночного кошмара многих литераторов. Говорят, что, если твоё произведение стибрили — это хороший знак, это свидетельство того, что украденный и покалеченный опус чего-то стоит. Что ж, утешение годится на подслащивание хинина.

Однако этим тема плагиата ну никак не исчерпывается, напротив, блещут всё новые грани и ощущаются новые ассоциации. Оглядывая своим дилетантски-близоруким взором историю XX века, прихожу к забавной мысли о том, что литературовед-профессионал мог бы сострять очень и очень достойную монографию о сём предмете. Да и моих немногих знаний хватает, чтобы вслед за мотивом знаменитой песни «По долинам и по взгорьям» слышать слова «Марша дроздовцев» —

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда —
Офицерские заставы
Занимали города!

Забавно, что красный поэт (либо Пётр Парфёнов, либо Сергей Алымов — они долго боролись за авторство текста...), переделывая белогвардейский марш, попытался проявить особую вольность. Это же надо было подобрать к «славе» такую рифму (отбросив почему-то «заставу»):

Партизанские атавы
Занимали города.

Атава — это молодая трава, растущая на месте скошенной. Слово очень и очень диалектное, мало кто его знает, даже не во всяком толковом словаре найдёшь. Народ эти «атавы» не понял и, не лукавя,

заменял «отрядами». Получилось без рифмы, но, говоря словами Зощенко, без рифмы и проще, и понятнее. На том и порешим.

А давайте ещё вспомним, как при очередном чтении «Собачьего сердца» останавливаешься в изумлении, представляя забавного субъекта на приёме у профессора Преображенского: в кальсонах с чёрными кошками и с волосами, выкрашенными в немыслимые цвета «проклятой Жиркостью», да ещё и бормочущего «верите ли, профессор, последний раз в Париже в 1903 году на рю де ла Пэ...». И думается, да не он ли стал впоследствии мощным стариком, гигантом мысли и отцом русской демократии? Смешно, господа, но и грустно тоже.

Впрочем, смех становится несколько утомительным, когда обнаруживаешь, что читанный в детстве «Старик Хоттабыч» перелицован с английского юмористического романа «The Brass Bottle». Самое замечательное в этой истории то, что заимствована квинтэссенция — ненужность джинна в современном мире, полном удивительных явлений, настоящих чудес. И так, молодой, талантливый, но ещё никому не известный архитектор находит бронзовый кувшин и, на свою беду, освобождает джинна, который с тех пор на каждом шагу оказывает спасителю медвежью услугу. Молодой человек влюблён в дочь некоего магната, который (слышали бы наши нынешние!) терпеть не может роскошь и не выносит восточный стиль — джинн, понятное дело, не может не напортачить! Нормальная капиталистическая мораль о преимуществах *self made man*. Ну а в СССР история зазвучала на социалистический лад, ибо «мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Предвижу возможные возражения, например, с полуоборотом в сторону Айя-Софии и вопросом — ведь это был православный храм, а стал мусульманской мечетью. Также вроде как плагиат архитектурно-религиозного свойства. Отвечу — был храм, и остался храм. Или, почти по-мусульмански, был это храм Бога, и остался храм Бога, и нет бога, кроме Бога. Это вам не машинно-тракторная станция в храме сельском или клуб для танцуплек и игрищ бесовских в храме городском. Повезло Айя-Софии.

Тут ещё один важный довод наклёвывается — а как же Шекспир? Его сюжеты взяты из самых разнообразных источников, многие его произведения представляют собой переделки ранее существовавших, причём иногда, как в случае с «Ромео и Джульеттой», переделки уже многократно переделанного. Но тут есть одно обстоятельство решающего значения. Шекспир создавал бессмертные шедевры, пережившие века, что нельзя сказать об источниках. Да и вряд ли мы узнали бы что-нибудь о поэме Артура Брука или о новелле Луиджи де Порто, если бы не было Шекспира. К слову —

Ныне известно любому — сюжеты бессмертных трагедий из многочисленных книг брал без оглядки Шекспир.

Только для вас, плагиаторы, в этом ни толку, ни проку, как ни тасуйте слова, «Гамлета» вам не создать.

Впрочем, плагиат есть деяние осуждаемое, лишь бы доказать его наличие. Разумеется, ни один современный литератор, находясь во здравом уме, этим не станет заниматься. Но есть другое явление современной культуры — не плагиат вовсе, но особенное заимствование, притом с переинтерпретацией, куда более значительное, чем пристройка михраба в храме Софии. Скорее тут надо вспоминать клуб или ремонтную мастерскую. Говорю не в осуждение (пока), но лишь из чистого исследовательского интереса — не есть ли технология заимствования и перелицовывания, принятая в постмодернизме, некий эволюционный отпрыск от древа плагиата, легализовавшийся и доказавший свою жизнеспособность? Довольно, впрочем, противный сорнячок, ибо наиболее обычная форма современного перелицовывания заключается в инверсии — как поворот креста вниз во время чёрной мессы. А поскольку в классической литературе доминируют светлые и прекрасные идеалы и образы, то результат вполне ожидаем. Конечно, бывают отрадные исключения, вроде нашего дорогого фольклорного героя Василия Иваныча, становящегося тонким мистиком и глубоким эзотериком, но куда чаще приходится иметь дело с тремя сёстрами, бегающими неглиже по сцене с истошными криками — «в Москву!». Зачем в Москву и куда в Москву — вполне понятно и очень современно.

В общем, даже противно стало, и этот сидонский царёк в саркофаге египтянина кажется вполне добродетельным в своём наивном варварстве. Можно просто присвоить что-то дорогое и красивое. А можно, присвоив, загадить его до неупотребления. Есть разница. Давайте, поэтому, встанем и отправимся туда, где нас не побеспокоят конвертация и инверсия. Этим местом будет дворец Топкапы — старая резиденция османских падишахов.

Необычен этот дворец тем, что по мере приближения к нему он не становится заметнее. Вроде как входишь в большой парк, обнесённый невысокой стеной, а в парке кое-где разбросаны небольшие строения, какие-то павильоны, и ничего архитектурно приметного и впечатляющего нет. Зато много деревьев и цветов, есть фонтаны. Дворец скромн, у него нет парадных фасадов, да и внутренние покои его не кажутся роскошными, напротив, выглядят холодноватыми, аскетичными, не кажутся уютными. Дворец совершенно не рассчитан на внешнее впечатление, похоже, Блистательная Порта получила своё название не отсюда.

Если угодно, наиболее интересны здесь сокровищница и реликварий — уникальные экспонаты

радуют и утешают. В сокровищнице, кроме золотых тронов восточной работы (на них похож трон Бориса Годунова из Оружейной Палаты, он тоже восточный), так вот, кроме восточных тронов и отменного, но скучного бриллианта в 90 карат, есть целая коллекция роскошных колумбийских изумрудов. Это природные кристаллы, шестигранные призмы, иногда очень крупные, шире сжатого кулака, никак не обработанные. Только грани их отшлифованы, и глубокие тяжёлые тона зелёного, того зелёного, что вопреки всем поэтическим сравнениям не бывает ни у травы, ни у листья, но есть лишь у этой разновидности берилла—эти густые хромовые волны плывут из граней, а свет ламп обозначает живописность природных трещин и объёмы чистых, ювелирных фрагментов в глубине кристаллов. За что-то их ценили такими, целыми, необработанными. В Европе эти камни были бы разбиты и распилены, чистые части были бы огранены и оправлены, но в Турции случилось иначе, и в этом нахожу некую справедливость, ибо природная форма минерала в его простоте и естественном благородстве не должна унижаться глупой блестящей огранкой, превращающей кристалл, «хранящий тайны тёмных руд», в мишурную безделушку. Оттого обожаю минералогические музеи—там можно видеть камни в их подлинной красе. И здесь эти неестественно огромные, на взгляд очень тяжёлые камни, с трещинами и прослойками слюды—как самородки перед стандартными монетами. Они непригодны как украшение, они слишком дороги и велики для реализации, они слишком заметны для того, чтобы служить сокровищем, они в высшем смысле бесполезны и не востребованы, как могучая музыка гения, вырастающая неподъёмной скалой среди россыпей популярных шлягеров и шансончиков.

То ли преувеличены наши представления о восточной роскоши, то ли не всё сохранилось? Кто знает... Впрочем, реликварий, при внешней скромности и помещения, и экспонатов, кажется, отменяет мысль о расхищении сокровищ падишахов. Ибо тут сохранились такие редкости, какими, боюсь, не сможет похвастаться ни один реликварий мира. Здесь собраны все важнейшие святыни ислама. Когда-то они находились в Дамаске, во дворце Омейядов, но потом эту династию истребили Аббасиды, сделавшие своей столицей Багдад, а когда наступил упадок Багдадского халифата, святынями завладели султаны Египта. Но в XVI веке падишах Селим I завоевал Каир и забрал все реликвии в Стамбул, став при этом халифом, духовным главой всех мусульман.

Реликвии следующие. Два списка Корана, выполненные самим Пророком, два меча Пророка, его лук, медная отливка следа его ноги (по образцу которой был сделан головной убор падишаха Ахмета, строителя «Голубой мечети», Султанахмет).

И даже зуб Пророка, потерянный им во время сражения, когда камень из вражеской пращи попал ему в лицо. И ещё мечи трёх первых халифов.

О мечах следует сказать особо. Они не кривые, как обычно думают, это не сабли, а именно мечи, длинные, прямые, с широкими и вместе с тем очень тонкими лезвиями. Вероятно, такой меч лёгок и очень гибок. Удивительно красивое оружие—хочется верить, что этот меч можно изогнуть вокруг талии, как пояс. И такая необычность их, непредсказуемый (для дилетанта) и совсем не восточный облик представляются мне очень вескими свидетельствами их подлинности. Если бы стали подделывать, то не так. Подделка узнаётся своей внешней правдоподобностью, а также удобной формой и удобной идеей, не противоречащей современным тенденциям. Но мечи Пророка и халифов настолько ни на что не похожи, настолько разнятся от всякого виденного мной оружия, что я решительно не могу представить их как подделку и полагаю, что в то время арабы именно так вооружались.

К чему я веду? Да к тому, что настоящее всегда не таково, каким его ожидают, и всегда в той или иной форме неудобно для понимания, восприятия, применения. Оно неудобно своей нестандартностью, неформальностью, нежеланием вписываться в некие нормы, навязанные либо стереотипностью, либо самодурством. Настоящее активно противостоит среде, оно оказывается вызовом, оно существует вопреки сложившемуся. Настоящее ещё и бесполезно, а может быть, даже вредно кое-кому. И ещё настоящее уникально, как огромный колумбийский изумруд или широченный прямой меч халифа Омара.

Глава 3. Галата

Чтобы попасть в Галату со стороны площади Султанахмет, надо проехать или пройти по мосту через Золотой Рог. Я иду, и не вполне уверен в правоте своего выбора, ибо смешанный запах жареной рыбы и мутных вод залива весьма убедителен. Несмотря на это, десятки турок стоят на мосту с удочками, то и дело подсекая мелкую ставридку. Непривлекательность Золотого Рога слегка затушёвывается видом Галатской башни—колоссальная, готически островерхая, она вздымается над крышами теснящихся домов, словно донжон замка. По существу, так оно и есть, только от всего замка сохранился лишь донжон. Но какой! Моментально чувствуешь—это европейцы, это их бастион прямо в сердце азиатской империи.

Чувство это справедливо—генуэзцы, владевшие Галатой в XIV веке, надстроили и расширили древние укрепления, и даже потом, когда турки всем овладели, эта земля, помеченная латинским крестом, не подчинилась полумесяцу, да так и осталась европейской, христианской. Стоит вспомнить те,

почти столетней давности рассказы про улицу Пера, европейскую улицу в азиатском городе. Эта улица сохранилась, дома и соборы на ней всё те же, но название изменилось, теперь оно турецкое и труднопроизносимое — Ъстыкклал.

Но это название — как прилепленный ярлычок, не отражающий сути, что-то вроде «торта слоёного», как в советское время называли «наполеон», не вникая в то, что это кондитерское произведение было создано в России сто лет назад в память об изгнании Великой Армии и что его обильная сахарная пудра символизирует снег Красного и Березины. И в наши дни ярлычок сам по себе отклеился, как бы повинувшись народу, все эти времена продолжавшему называть торт «наполеоном». Может быть, и с этой улицей произойдёт то же самое? Как бы то ни было, я продолжаю называть её старым именем — Пера, тем более что ассоциации с этим названием сильны.

Проходя мимо витрин европейских магазинов и порталов католических соборов, замечаю здание в стиле классицизма, очень знакомое. Да это же русское посольство, то самое, что так удачно взорвал Джеймс Бонд, он же Шон Коннери, за несколько эпизодов до этого полюбовавшись на стройные ножки секретарши, докладывавшей в кабинете препротивной начальнице. В кино — взорвал, а здесь, наяву, оно стоит такое же, как было ещё во времена Блистательной Порты, только теперь в нём не Посольство Российской Империи, а всего лишь российское консульство. Но — осталось, и достаточно лишь грана воображения, чтобы начали кристаллизоваться картины — женщины-цветочницы на тротуарах, теснящая толпа, где среди фесок и кепи нет-нет да и мелькнёт фуражка, а дать волю, так и увидишь генерала Чарноту и услышишь его незабвенное «не бьётся, не ломается, а только кувыркается»... И приходит тоска, и сжимает сердце как губку, но не раба по капле выдавливая, а часть жизни, часть души и услужливо предлагает зелена вина, чтобы напиталась им алчущая обескровленная плоть.

Это чувство обескровленности, безнадёжности, тщеты и невозможности никаким зельем утраты готово преследовать вдоль всей Пера, и не замечаешь ни роскоши пушного товара за стёклами витрин, ни груды мячей в цвета «Галатасарая» в огромной сетке, протянутой над головами поперёк улицы. И начинаешь сравнивать бывшее с нынешним или недавним, чужбину по принуждению с чужбиной, выбранной добровольно, более того, желанной, чуть ли не обетованной. Наслушался я как-то экскурсовода в Праге — стоило вдуматься в то, с каким пиететом он рассуждал о чешском порядке, о прекрасном устройстве тамошней жизни, попутно с нескрываемым чувством превосходства и собственной избранности оговаривая, что вот в России-то совсем не так, и вообще дрянно. Когда

бы такое говорил немец, американец, да пусть даже чех или прибалтиец! Но от русского слышать эти ноты было особенно обидно. Впрочем, мои патристические чувства были блистательно отомщены на следующий день, когда мы поехали из Праги в Чески-Крумлов. На выезде из города экскурсовод с гордостью сказал — здесь не Москва, тут пробок никогда не бывает. Разумеется, мы тут же попали в пробку минут на двадцать пять. Бог шельму метит.

Здесь, на улице Пера, русское присутствие ощущаю далеко не всем — надо кое-что знать, чтобы пробудились дремлющие почки. Куда как проще почувствовать родной дух в Аксарай, там ещё недавно сновали толпы «челноков», таскали на себе мешки с товаром. Но это всё не то, и отношение горожан становится отчётливым индикатором. В Аксарай даже идти не хочется, непременно начнут приставать, совать под нос всякие дурацкие товары. А здесь если удастся разговориться с кем-нибудь из стариков, помнящих хотя бы сороковые-пятидесятые, то очень приятно будет услышать, что они помнят о первой русской эмиграции. Уверяю вас, это один из немногих случаев, когда за границей хорошо говорят о русских.

Минуем Пера, оставляем позади почерневшие от времени и смога дома в стиле «эkleктик», а кое-где и «модерн» и спускаемся вправо к синему Босфору. Падишаху Абдул-Меджиду, царствовавшему в середине XIX века, изрядно надоели средневековые покои Топкапы, и он захотел построить новый дворец. Была засыпана часть пролива, и на образовавшейся ровной площадке выстроили мраморный дворец Долмабахче и разбили регулярный парк. Так европейское ещё раз открылось восточной столице.

Турки очень гордятся дворцом Долмабахче, особенно любят говорить о богатстве и роскоши его убранства. В самом деле, повсюду канделябры, люстры и жирандоли богемского хрусталя (был сделан специальный заказ), пёстротканые восточные ковры и позолота резных деревянных потолков. Но роскошь есть во множестве иных мест, во дворцах других властителей Европы и Азии, да и в современных резиденциях. И роскошь эта может быть бессмысленной, как свалка золотых слитков, или хранящей тайны и пронизанной аллегориями, как анфилада Юсуповского дворца в Архангельском. Может быть роскошь бездушная и даже глупая, как золотая ванна. А может быть роскошь духовно богатая, ведь дворец есть прежде всего художественное произведение, а уже потом место проживания. В конце концов, Долмабахче был жильём только Абдул-Меджиду и его семье, а для всего остального мира на весь срок существования его, который, надеюсь, многократно превзойдёт по длительности эпоху правления сего падишаха — так вот, для всех людей, на все времена — это искусство.

Рождение шедевра не случайно. Оно происходит из сложения множества мыслей, образов, надежд, желаний и направляется не одной лишь волей творца, но и дремлющими до поры до времени силами его духа. Идеалом творчества становится прозрение — тот миг, когда открывается истина, невыразимая ни в мысли, ни в чувстве, но способная воплотиться хотя бы краешком своим в произведении искусства. Источники этих плохо поддающихся анализу явлений находятся за пределами рациональной части личности творца — они в тех краях, куда опасно заходить, за плотно запертыми дверями, где надписи гласят «ad leones», где готовы вострубить «боевые слоны подсознания». Но если мы и не узнаем никогда этого тайного, этого запретного, оно проявится вновь и вновь, как уже проявлялось в искусстве. Чем же? Прозрением, предвидением, пророчеством.

Но о чём пророчит Долмабахче? Его мелодия — тихий шум дождя, его цвета чуть пасмурны, его настроение — осень, время увядания. Этим и объясняется роскошь дворца — великолепие его убранства подобно золотоканым мантиям и коврам наших лесов, когда природа перед погружением в холод и тьму зимы вдруг призывает на помощь все краски жизни, и с невысказанной щедростью, похожей скорее на расточительство, осыпает деревья и поляны. Так и здесь. В середине XIX века Блистательную Порту уже открыто называли «больным человеком Европы», и падение многовековой империи было лишь вопросом времени. Но такое толкование было бы, увы, лишь узко политическим, кроме того, не всякая империя, увядая, дарит миру такие цветы. Известны сооружения позднего Рима, например, монументально мрачный дворец Диоклетиана, суровый при всей своей функциональности акведук Валента, но это совсем не то. В Долмабахче нет никакой суровости, никакой монументальности, никакой (упаси Боже) солдатчины (ибо дворец Диоклетиана напоминает казарму, пусть и роскошную). Долмабахче — тихий, даже кроткий уголок. Сад с извилистыми дорожками, древние кедры и магнолии, каррарский мрамор статуй — лев, попирающий крокодила, пантера с детёнышами. Его лучше всего видеть во время дождя — тогда чувствуешь романтическое очарование и зрительно ощущаешь хрупкость дворца, мраморной раковины, лежащей рядом с Босфором, глубоким следом колесницы Времени.

И тогда понимаешь, что этот дворец не просто роскошная резиденция одного из последних владык увядающей империи, что смысл и дух этого произведения искусства не ограничены ни Стамбулом, ни Турцией, не заключены в национальные или культурные рамки. Это явление общее — вспомним романтические замки, строившиеся в Европе в ту пору, вспомним живопись прерафаэлитов и неоромантиков, городскую

архитектуру эклектики и модерна, наконец, саму «прекрасную эпоху» — Долмабахче лишь один из её лепестков. И пророчество оказывается намного шире и намного страшнее. Оно гласит о наступлении времени, когда вместо Бога станут поклоняться худшим из его подобий, когда вместо прекрасного начнут ценить то, что названо новым и мыслится оригинальным, и когда понятия «культура» и «эстетика» станут употребляться в значении чуть ли не противоположном изначальному, особенно при добавлении приставок типа «суб», «контр» и «масс».

Самое время, присев внутри беседки, окруженной взволнованными розами, поговорить о причинах и смысле явления. Характерно, что ныне чуть ли не все жалуются на разрушительную роль денег — культ «презренного металла» занял место истинной культуры, которая по определению может создаваться только нестяжателями. Логически — совершенно бессильными в наш прагматический век. Так ли это?

Всё бы хорошо, но разве дело в деньгах? Они лишь средство, лишь слуги человека, а в нём, в человеке, истинные причины всех наших прежних и нынешних чудес и безобразий. Стоит сказать и больше — тот же дворец Долмабахче смог возникнуть только благодаря деньгам, причём очень большим. Деньги долго выкачивались налогами из населения империи, копились в казне, а потом выкристаллизовались в этом сокровище. И так было везде в те времена — и в Алушке у графа Воронцова, и в Глубоке-над-Влтавой у князя Шварценберга, да и в самом Нойшванштайне у Людвига Баварского. Перефразируя афоризм маршала Тривульцио, скажу так. Что нужно для создания высокого произведения искусства, подлинного шедевра? Деньги, деньги и ещё раз деньги.

А если так, то деньги никакая не помеха искусству, но, напротив, его пища, его питьё, его источник жизни, как ни вульгарно это звучит. И отсюда уже становится элементарным вывод о том, что дело не в деньгах, а в людях, обладающих деньгами. Вернёмся, однако, к истории. С какого момента начинается кризис искусства, продолжающийся и поныне? А с того, когда в мире утвердился капитализм, когда место аристократов заняли буржуа, по-нынешнему — предприниматели. Новый класс стал совершенно иначе оценивать искусство. На первый план вышли такие качества, как новизна, неожиданность и парадоксальность, наконец, всеобщность, заключающаяся либо в предельной понятности для любого и каждого, либо в совершенной непонятности, доходящей до абсурда и обрамлённой некоей тут же канонизируемой символистской интерпретацией. Гармония скучна, приелась, традиционность ретроградна и подаётся с отрицательным знаком. Красота же относительна, как нам убедительно разъяснили.

Исключения, вроде обладавшего хорошим вкусом и тонко разбиравшегося в искусстве Саввы Мамонтова, не в счёт.

Но любой вправе задать вопрос — неужели всё дело заключается лишь в марксистской догме о базисе и надстройке, и сводится к способу производства? Как бы хотелось мне ответить отрицательно... Но я отчего-то не решаюсь. Ах, как всё непросто в этом борении духа и вещества, борении, которого требуют обе силы, без которого они не могут существовать! А думать всё равно надо, и придётся идти далеко в этих рассуждениях, и без того уже пространных. В чём принципиальная разница между аристократом-феодалом и капиталистом? Оба могут быть жестокими и милостивыми, мизантропами и филантропами, просвещёнными и не очень — в зависимости от жизни, от обстоятельств. Кто-то лелеет надежду, что наши нувориши насытятся деньгами и обратятся к культуре, а если не они, то дети их. Оправдана ли эта надежда? Понять её можно лишь обратившись к той самой разнице, которую мы всё ещё не поняли.

А она — рядом, прямо с нами. Вот, сидим в беседе чудесного парка у дворца Долмабахче, любимся роскошными кронами кедров и романтичным Босфором и рассуждаем, пребывая в праздности. Заботы жизненные нас не тяготят, напротив, впереди ещё столько прекрасного, нового, волнующего, ведь путешествие наше ещё только началось. Предаёмся праздности, значит? Так ведь именно праздность отличает графа Х от президента совета директоров Y. Х хочет жить красиво и изящно, так, как жили его многочисленные предки, и даже лучше. Y хочет жить богато, так, как его предки и не мечтали. Соответственно, всё мышление Y направлено на увеличение состояния, и к искусству он будет относиться точно так же. Какое искусство принесёт больший доход в будущем, такое и актуально. Следовательно, инвестирование с целью получения прибыли — более рискованное, менее... Но это уже неважно, главное сказано.

А теперь подойдём с другой стороны. Понятно, что в искусство надо вкладывать и вкладывать деньги. Но нельзя делать это с расчётом на прибыль! Что интересно, почти таков и принцип самого художественного творчества — оно самоценно, а это значит, что художник не вправе планировать доходы от него. Получатся доходы — хорошо, не получатся — жаль, но это лишь побочный результат, а не цель творчества. Итак, и художник, и заказчик должны подходить к этому вопросу с позиций нестяжательства. Утопия? В наше время — да. Означает ли это принципиальную обречённость искусства в нашу эпоху? Полагаю, что всё-таки нет. Скорее обречена наша цивилизация, стоящая до сих пор на принципе «производство ради производства». Тут пока

ничего не поделаешь, так как требуются рабочие места, требуется непрерывный рост национального дохода, надо обеспечивать бюджетные отрасли, пенсионеров, здравоохранение, а население мира растёт и не думает останавливаться, и точно так же растёт потребление. «Золотой миллиард» жаждет потреблять ещё и ещё больше и не думает о самоограничении даже перед надвигающейся опасностью всеобщего истощения. А человек? Он всю жизнь бежит, он марафонец, пробегающий мимо красот мира и лишь краем глаза отмечающий их существование, и не более того. Даже серьёзный и любознательный турист, и тот спешит увидеть как можно больше, и смотрит, смотрит, ничем не успевая в полной мере полюбоваться. Мы пожираем культуру как гамбургеры, не особо вникая во вкус и заботясь лишь о насыщении. А надо бы не так. Вот, тот же дворец Долмабахче. Пока мы беседовали, пасмурная погода, державшаяся некоторое время после дождя, успела смениться солнечной, заиграли струи фонтанов, ещё темнее и контрастнее стала хвоя кедров и араукарий, поси-нел Босфор, и желтоватый камень дворца впитал в себя немного солнышка. Он, этот дворец, оживает воспоминаниями навсегда утраченного, он печалится о своих владельцах и жителях, что никогда уже не вернуться, не пройдут по его лестницам с хрустальными перилами, балясинами и жирандолями. Всё в прошлом, и сколько миллиардов ни вбухай, такого уже никто тебе не построит. Разве что копию или имитацию. Вот вам и оригинальность, вот вам и новизна искусства современно-го — она реализуется лишь в упрощённых, грубых и функционально-индустриальных формах.

Впрочем, довольно о грустном. Пока есть люди, понимающие красоту, вярщие в неё — искусство живёт. Оно сохраняется, как почки дремлющего дерева, а зима нынешняя не первая в истории, и закончится она, как в своё время закончились «тёмные века Европы» — с той разницей, что нам не придётся выкапывать фрагменты мраморных Венер и Юпитеров, подобно итальянцам эпохи Возрождения. Вот оно, здесь, как на ладони — и Айя-София, и Дикилиташ, и дворец Долмабахче. Простимся с ним, нам пора в путь.

Глава 4. Бебек

Мы всё никак не стронемся в сторону Анкары, но это неудивительно, уж очень много интересного кругом. К тому же прямой путь скучнее извилистого. Есть некая особенная поэзия в тонком плетении дороги, взбирающейся на горный склон, равно как и в излучинах реки, неторопливо вьющейся по равнине. Спрямение дороги, сопровождаемое взрывами и прорубанием скал, так же как и спрямение реки с неизбежным прокапыванием каналов и устройством дамб, не говоря уж о перегораживании рек плотинами, всегда казались

мне грубым и безобразным насилием, какие бы цели благие не ставились и достигались при этом, и всегда мне было очень грустно читать строки:

Человек сказал Днепру—
Я стеной тебя запру!

или

Двадцатитонные «минчане»,
С исходной, с грузом— на врага!

Но, к счастью, не всякую дорогу можно спрямить, и здесь именно такой случай, ведь путь в Бебек определяется множественной кривизной Босфора, вьющегося как река между Европой и Азией. И, повторяя все изгибы Босфора, по европейскому берегу проходит дорога, по которой и стоит отправиться, по-простому, на городском автобусе. Извилистый путь позволяет увидеть непрерывную смену панорам, когда синева Босфора то открывается проходом на север, то закрывается гористыми берегами, смыкающимися в перспективе подобно Симплегадам аргонавтов (каковыми, в сущности, они и были согласно многим толкователям Гомера и Аполлония Родосского).

А ведь Босфор и есть река, точнее, затопленное морем русло реки, в геологическом прошлом прорезанное черноморскими водами, избыток которых, пополнявшийся за счёт тающих ледников, устремился сквозь западные отроги Понтийских гор на юг, к обмелевшему Средиземному морю. И русло получилось извилистым, потому что пролегло либо по менее плотным породам, либо по участкам, ослабленным разломами. Поэтому здесь много поворотов—и плавных, и крутых, и каждый раскрывает новую сторону пейзажа—ещё один уклон горы, ещё одну скалу, или крону сосны, или изукрашенную балюстрадами виллу. В идеале надо бы проехать вдоль всего Босфора, тогда только и увидишь его всецело. В этом редкая параллель с процессом творчества. Как ни старайся, невозможно одним знаком определить образ—допустима лишь условная замена образа неким символом. Например, мы можем обозначить розу буквой альфа, а соловья—омегой, но это будет всего лишь непонятный для чужого глаза шифр. Предел абстрактного искусства—тоже шифр, возможно, недостаточного понятный и самому создателю его, притом что его плоскостность, однотонность (или беднотонность) и безперспективность, казалось бы, должны вести к безусловной однозначности толкования, а за ним и понимания, да только это никак не выходит...

Путь настоящего искусства нетороплив и не прям. Надо пройти по нему, не покидая и не «срезая» его многочисленные, кажущиеся нелогичными повороты, потому что с каждого изгиба пути открывается тебе единственный, не воспроизводимый нигде, и не заменяемый ничем вид. Этот вид становится гранью, состыкованной с множеством

подобных видов-граней, а вместе они составляют образ. Тот самый, что так абсурдно пытались мы обобщить в виде символа, тот самый, что мы ещё не увидели, ибо путь не пройден и до половины. Но самое удивительное то, что образ этот в целостности и не будет увиден ни нами, ни кем-либо иным, не будет никогда. Лишь грани его, кадры, ракурсы будут, и в воображении образованного и одарённого зрителя или читателя они сложатся в несуществующую картину, что станет, вопреки логике, реальностью, но лишь в будущем.

Именно здесь исток того чувства, которое возникает при соприкосновении с прекрасным, с шедевром—его невозможно охватить умом, изложить речью, сохранить память во всей полноте. Невозможно пересказать совершенное стихотворение прозой, потому что неизбежны потери, но не смысла, нет, а некоей сущности, превосходящей самый смысл и возвышающейся над ним как невесомая белая громада парусов над плотным и тяжёлым корпусом корабля. Невозможно передать фотографией полноту скульптуры—это будет лишь один взгляд, с одной точки, скульптура же требует, чтобы вокруг неё обошли. Точно так же и Босфор, этот шедевр природы, надо видеть в движении, и впечатление о нём складывается из множества мгновений, медленно проходящих, текущих, как течёт и сам Босфор, ибо он, по существу, остался рекой. Менее солёная черноморская вода движется нескончаемым потоком всего верхнего слоя вод Босфора, движется на юг, к Мраморному морю, и это движение отчётливо видно на поверхности—струи увлекают полосы пены и мусор, временами среди струй образуются водовороты. А в глубинах, донных слоях Босфора существует невидимое нам таинственное противотечение, несущее солёные и тяжёлые воды Мраморного моря во мрачные черноморские глубины, где нет кислорода и почти нет жизни.

Босфор—двойная река, два потока, слившихся воедино: в одном живая вода, в другом мёртвая. Его течение лучше всего видно в самом узком месте пролива; здесь уже кончился Стамбул, здесь его пригород Бебек. Романтические виллы, полупогружённые в зелень садов, чередуют деревянную резьбу и мраморные балюстрады, античная нагота статуй одевается хвойной роскошью кедров. В этих образах—отражение Долмабахче, только уменьшенное и размноженное десятки раз. Есть что-то идиллическое в этих виллах, роднящее их с маленькими шато где-нибудь вблизи Шартра или Этампа, или с полусонными русскими усадьбами в белом аромате яблоневых садов. Интересно, что красивое всегда роднится с другим красивым своей непохожестью—так, любясь французским готическим собором и среднеазиатским мавзолеем, видишь и там и там указание на Небо, но такое разное в проявлении своём,

такое непохожее по стилю, чувству, выражению. Напротив, безобразное удручающе похоже во всех своих проявлениях...

А над виллами и садами Бебека древней короной возвышается великолепная крепость Румели-Хиссар. Её зубчатые стены высоко взбираются на прибрежные холмы. Напротив, на азиатском берегу стоит ещё одна крепость—Анадолу-Хиссар. Получается эффектное романтическое противостояние двух твердынь, европейской и азиатской. Но на самом деле никакого противостояния нет и не было, обе крепости сооружены турками-османами в XIV веке, когда им понадобилось перекрыть Босфор. После этого окончательно обезлюдел древний Херсонес, обречены были на гибель города христианского княжества Феодоро в Крыму, захирели генуэзские колонии и Чёрное море стало «турецким озером». Румели-Хиссар и Анадолу-Хиссар—неприступные ворота Босфора. Тяжеловесная мощь их башен резко контрастирует с хрупкой эфемерностью вилл Бебека. Виллы, по меньшей мере старейшие из них, задуманы были как художественные произведения, а крепости—наверяд ли. Тем не менее именно крепости особенно оживляют и украшают ландшафт. Так бывает часто—что-то утилитарное, созданное для узко материальных целей, долженствующее защищать, преграждать, становится с течением времени, когда изначальная надобность отпадает, произведением искусства. Иногда этот переход приводит к достраиванию и перестраиванию крепости, чтобы больше её украсить. Так произошло с Московским кремлём, когда в XVII веке его башни были увенчаны нарядными шатрами, никакого фортификационного значения не имеющими, так было и со многими французскими замками, рассеянными по зелёной долине Луары.

Но вот вопрос. Представим какое-либо функциональное сооружение XX века, например плотину Красноярской ГЭС или взлётную полосу большого аэродрома. В будущем, когда эти сооружения перестанут быть нужны благодаря развитию новой энергетики и новых транспортных средств, вряд ли их станут «достраивать и украшать», скорее просто демонтируют за ненадобностью. Космическим выглаголом бы превращение Чернобыльского саркофага в некое подобие замка, хотя размер подходящий. Все эти громады, приходя в негодность, обнаруживают какое-то убийственное уродство—плотина гидроэлектростанции хороша только в целостности и в работе, разрушенная плотина отвратительна, а ведь разрушенный Парфенон всё равно прекрасен. Как-то в середине «нулевых» годов наблюдал я к северу от Сумгаита на пустынной плоской равнине множество брошенных заводских корпусов: осыпавшийся бетон в потёках ржавчины, обнажённые стальные конструкции. Декорация для особо мрачного фильма

о гибели человеческой цивилизации, о беготне и драках каких-нибудь каннибалов и калибанов, шныряющих по этим развалинам, где нет ничего человеческого, где всё настолько механистично, грубо и примитивно-коробчато, что и не особо жаль подобную «культуру».

Но крепости, эти древние каменные венцы, стоят на берегах южных морей, на холмах у слияния русских рек, опоясывают горные уступы Азии, поднимаются над зелёными травами северных островов. Они остались живы и теперь, когда их стены уже не знают оружия и бранных криков, и уже не разделяют людей, но соединяют их—в любви к прекрасному и в памяти о прошлом. Если бы и границы, разделяющие нас, превратились бы в то, что соединяет!

А ведь мы сейчас рядом с границей, причём особенной, символически значимой, великой границей двух огромных миров, двух частей света, Европы и Азии. Окинем эту границу мысленным взором и удивимся противоречию между её чёткостью в сердце и уме, и неясностью, даже спорностью на карте. На севере идёт она по водоразделу Урала, отделяя собственно Россию от Сибири, и не выходит из пределов единого государства почти на всём пути, кроме самой южной части, где она как-то незаметно ускользает в пределы Казахстана. Уже на Урале граница эта очень условна, а южнее и вовсе произвольна—там, где снижаются Уральские горы и единственной разделительной чертой становится река Урал, текущая уже по равнине. Оба берега реки одинаковы, степь отделена от такой же степи. Далее лишь на карте можно прочертить прямую линию по северу Каспийского моря, линию, не находящую своего воплощения в природе. А к западу от Каспия начинаются «спорные территории», и там границу Европы и Азии проводили и проводят как угодно. В 60-х годах меня учили в школе, что эта граница идёт по Кумо-Манычской впадине, то есть в равнинном Предкавказье. В то же самое время авторы американского атласа Hammond (1965) провели границу по южному рубежу СССР, включив в состав Европы все закавказские республики. А сейчас в наших школах эту разделительную линию ведут по Главному Кавказскому хребту, благодаря чему высшей точкой Европы становится Эльбрус, а не Монблан, как считалось ранее. Весьма удачно, потому что теперь немало западных альпинистов совершают восхождения на крупнейшую гору Кавказа. Но может быть, обидно грузинам, желающим, чтобы их считали европейцами? Что поделаешь, тот же Стамбул находится в Европе, но турок никак не признают европейцами. А Достоевский 150 лет назад написал о нас, русских, что «все мы в Европе только стрючки». Границы частей света не обязательно должны совпадать с границами культур.

Впрочем, и эта, кавказская, граница не вполне ясна. Непонятно, с какой части западного берега Каспия её начинать, куда относить Апшеронский полуостров и Баку. То же самое относится и к западному Кавказу — можно завершить сухопутную границу в Анапе и продолжать дальше по Чёрному морю, а можно тянуть и до Тамани, тогда следующей линией станет Керченский пролив. В общем, сложно это, но зато даёт некоторое представление о проблемах демаркации границ государственных.

Но здесь, в Бебеке, всё ясно. Зримая граница — Босфор. И не только зримая, но и освещённая многими столетиями истории. Так её ощущали ещё в классической древности. Персидский царь царей, даже проиграв войну с греками, продолжал именоваться владыкой Европы и Азии, ибо сохранил владения во Фракии. И ещё, с древнейших времён переход Босфора означал вторжение — либо в Азию, либо в Европу. Сначала завоеватели шли в Азию — хетты, фригийцы. Потом началось попятное движение — Дарий, Ксеркс, но затем Александр надолго положил этому конец, и вся Передняя и Малая Азия стали, по сути, частью Европы. Говорили на греческом (на нём и Евангелия написаны), жили так же, как в Риме, если не лучше, весь восток Римской империи был культурен, и здесь чаще строили театры, чем арены для боёв гладиаторов. В эпоху Византии это кончилось — сначала арабы несколько раз перешли Босфор, но были отбиты, потом турки-сельджуки закрепились на восточном берегу пролива, так что император имел удовольствие наблюдать их военные приготовления из окон своего дворца. Но потом пришёл Пётр Пустынник, а за ним Готфрид Бульонский со своей крестной ратью, и на некоторое время граница отодвинулась на восток от Босфора, но недалеко. В конце концов пали твердыни рыцарские, и Византия, сама от этих рыцарей немало пострадавшая, осталась один на один с турками и тихо умирала вплоть до 1453 года, когда натиск Мехмеда Фатиха прекратил её существование.

Вот что интересно. Развитие культуры византийской не подчинялось течению политики. Деградация государства, от которого в середине XIV века остались лишь рассеянные осколки (Константинополь без Галаты, подчинённый Константинополю деспотат Мистра, находившийся на месте древней Спарты, Салоники с окрестностями, да ещё независимые Трапезундская «империя» (крошечная полоска земли вдоль южного берега Чёрного моря) и Эпирский деспотат (бедный горный край на территории нынешней Албании и северо-запада Греции). Но в эти же годы произошёл последний взлёт византийского искусства, который захватил в основном живопись, ведь для строительства больших храмов средств не было. В иконах и фресках, при сохранившемся следовании классическим канонам, появляется новое — особенно

выразительная монументальность, сочетающаяся с обострённой трагичностью. Глядя на них, не видишь никакого оскудения духа народа, какое бывало часто в истории, взять хотя бы позднейшее искусство Древнего Египта, банально копирующее старые образцы, или поздний Рим, в творчестве которого увядающие античные образы размываются ещё не до конца сложившимися, «эмбриональными» ликами Средневековья, и их сочетание особенно дисгармонично, судорожно и в то же время невзыскательно и вяло. Нет, Византия сохранила всё лучшее, да ещё и усилила его каким-то новым и грозным напряжением духа, который утверждает свою готовность к борьбе, к последней схватке, к гибели. Прекрасным выражением этого духа стали фрески Феофана Грека, византийца того самого времени, покинувшего родину ради России. Это уже космическое творчество, в котором все духовные и нравственные силы выражены в незабываемой, хмуро-аскетической, грозовой колористике, в строгих и чистых очерках фигур, отнюдь не бесплотных, но до последнего штриха овладевших плотью, что готова и к суду, и к алтарю. Его творчество отдало древнюю, но мощную кровь юной России, и этот случай кажется беспрецедентным в истории искусства. По существу, именно тогда произошла передача эстафеты, и дальнейшее, через сто лет совершившееся принятие символов императорской власти Иваном III было лишь материальным закреплением, констатацией *de jure* того, что уже сбилось *de facto* в мире Духа.

Напрашивается сравнение с другим искусством, тоже предвещавшим крушение и гибель — с искусством русского модерна, с поэзией Серебряного века. Если попробовать рассмотреть его с тех же позиций, получается странная картина. Россия начала XX века была (что бы ни говорили *pro et contra*) страной активно развивавшейся, имевшей огромные и до конца нами не понятые перспективы. Тем не менее, сколь бы я ни восхищался русским искусством «прекрасной эпохи», я вижу в нём явственные признаки не силы, но слабости. Последняя вспышка византийского искусства поражает не только глубиной веры, но и тем стоицизмом, с которым, наверное, шли на смерть первоученики. В русском искусстве начала XX века тоже есть жертвенность, но иная — в ней чувствуется обречённость агнца, ведомого (но не идущего по своей воле!) на заклание, и даже, когда поэт восклицает:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном!

— я слышу в этом что-то истерически-нервное, чувствую в этом дрожание губ узника, принимающего положенный перед гильотинированием глоток коньяка. Может быть, более всего этот ужас приговорённого прорывается в последней

поэме Блока, где в роли жертвенного агнца выступает Спаситель, где флаг Его неотличим по цвету от Его же крови... Может быть, потому великолепная культура России начала XX века и не была подхвачена ни нами (в том числе нынешними, свободными), ни иными, даже близкими нам народами?

Но вернёмся к году 1453-му, который был включён Стефаном Цвейгом в число звёздных часов человечества. Да, это поворотная точка истории, с этой поры Азия шла через ворота Босфора в Европу тяжкой и мрачной поступью турецкого марша. Сейчас кажется невероятным, но было и так, что под стенами Вены янычары жарили свой кебаб и мололи свой кофе в традиционных медных мельницах. Заняв чуть не пол-Европы, турки сами стали, причём навсегда, одним из элементов общеевропейского населения и культуры. Дело тут не только в кофе, который после венской осады 1683 года стал обязательным атрибутом европейской жизни (даже расхожее интернациональное слово «кафе» — отсюда). Нет, тут всё тоньше. Мы привыкли рассматривать турок как жестоких завоевателей, как мучителей православного населения Балкан — и это так. Вместе с тем завоеватели эти не были дикой и невежественной ордой, подобно каким-нибудь древним гуннам или гепидам. Напротив, этот народ был восприимчив к чужому и завоёванному, и это видно во множестве явлений, начиная от архитектуры мечетей и кончая турецкими банями, этому удивительному реликту античных терм, сохранившемуся в Византии (правда, без некоторых элементов, оставшихся в античности) и далее сохранённому от окончательного уничтожения этими самими турками. Кстати, баня — один из важнейших показателей культуры нации, и необходимо признать, что Западная Европа в этой области долго и существенно отставала от Турции.

Так или иначе, есть феномен Европейской Турции (так говорили в XIX веке), есть феномен мусульманской Европы (так можно сказать ныне), о котором ещё стоит поговорить. Обратное движение, наступление на Турцию сначала Австрии, а потом и России, освобождение балканских стран от ига — всё это продолжалось столетиями, шло с переменным успехом, и долго ни одной европейской армии не удавалось пересечь босфорскую границу с Азией. Дважды в XIX веке к ней подходили русские, в начале XX века один раз приблизились болгары, но Турцию всегда спасали либо дипломатия, либо раздоры между её противниками. Наконец в Первую мировую войну англичане ступили на эту границу, осуществляя операцию в Дарданеллах, но их замысел не удался благодаря генералу по имени Мустафа Кемаль. И даже когда Турция потерпела окончательное поражение, граница Европы и Азии была пересечена лишь

один раз, да и то ненадолго — греческой армией, которую на пути к Анкаре, на реке Сакарья, разбил всё тот же Кемаль-паша, Ататюрк.

В итоге осталась турецкая Фракия, остались мусульманские Албания и Босния, к которым ещё добавилось отторгнутое от Сербии Косово. Эти осколки Азии на юго-востоке Европы не только памятники давней экспансии, но и свидетели (сочувствующие и принимающие посильное участие) новой экспансии, идущей, в частности, через Босфор, а также другими, неизвестными ранее путями. Трудовая иммиграция, поощряемая жадной прибылью и пополняемая армиями беженцев, как подневольных, так и добровольных, понемногу наполняет состарившуюся Европу. Это постепенное завоевание, обычно не сопровождаемое кровавыми эксцессами, хотя и бывали, и будут ещё трагические события.

Это напоминает процессы, шедшие в Древнем Риме, когда варвары-германцы массами, целыми племенами селились на землях империи, когда из них комплектовались легионы, когда они начали занимать государственные должности и активно вмешиваться в политику страны. Наверное, подобное должно случиться и в Европе — от мусорщика до полицейского, от грузчика магазина до владельца ресторана, от спекулянта на блошином рынке до члена парламента и так далее. Можно попробовать утешить себя мыслью о том, что культура постепенно «облагораживала» этих германцев-варваров, и в результате этого долгого процесса дошло и до пламенеющей готики. Стоит тем не менее напомнить о важном обстоятельстве. Германцы V века и вправду были не отягощены культурой (Один и Тор не в счёт, эту языческую культуру, вернее, её лучшее выражение мы знаем из позднейшей «Старшей Эдды», исландского источника XIII века). И потому вождю франков Хлодвигу было несложно поменять своё вероисповедание, и он «сжёг то, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал». Нынешние же новые европейцы не *tabula rasa*, как франки или лангобарды. За ними иная культура, древняя, но при этом живая и активная — ислам. Поэтому более вероятно постепенное вытеснение или замещение европейского ближневосточным. Вот так может совершиться «тихое» завоевание Европы, и, скорее всего, оно может произойти в североевропейских странах, где слабее традиционные ценности, где ранее господствовал протестантизм, а ныне царит близорукий прагматизм. Страны с католической и православной культурой — Испания, Италия, Греция, Сербия — имеют больше шансов выдержать это завоевание.

Впрочем, что это мы о грустном, да и как-то незаметно разговор начал приобретать антиазиатскую окраску. Вот эти строки, строки прощания с европейской стороной Босфора я пишу в отеле,

стоящем в центре Афин, но при этом отнюдь не изнываю от жары, ибо сейчас осень, а летом я в Грецию не езжу. Впрочем, если бы мне и было жарко, я бы не стал глотать кока-колу, ибо это истинная отравка в подобные дни, когда температура достигает 36°С. Кола в такие моменты может быть даже хуже, чем пиво. Но вот умеренно прохладный, в меру солёный турецкий айран пришёлся бы кстати, даже если собираться на мыс Сунион.

Глава 5. Хайдар-Паша

Через Босфор переброшено аж два моста, по ним летят потоки машин, но мне как-то претит столь прозаический способ пересечения границы частей света. На мой взгляд, куда интереснее отправиться в Азию (или Анатолию, как обычно говорят турки) на корабле. Множество небольших, обильно источающих жирный дым старообразных судёнышек курсирует между Стамбулом и Ускюдаром, а в последнем находится железнодорожный вокзал Хайдар-Паша — туда-то мы и держим путь. Набитые народом кораблики, невзирая на свой преклонный возраст, резво пеняют босфорскую воду, и берег постепенно удаляется, но это не только не мешает, но, наоборот, помогает внимательно разглядеть великолепную панораму Царьграда. С азиатского берега она совершенна — красная громада Айя-Софии и белое кружево её младшей сестры, Султанахмет. Здесь-то и видна их гармоническая соразмерность, и хорош этот вид в любое время дня — утром солнце освещает храмы, вечером они погружаются в багряно-золотое закатное море.

Как хорошо, когда расстояние помогает лучше увидеть! Кратковременная разлука с любимой окрыляет любовь, дарит ей новую, лучшую веру, наполняет её новой, неведомой ранее силой. Вспоминаешь книгу, которую любишь, но которую давно не читал — и предчувствие радости нового прочтения её вдруг открывает черты, которые уже видел, которые знаешь, только знание это не было до сих пор подтверждено чувством, и не осознавал ты этого знания, слабо теплившегося в подсознании. Масса мазков, часто грубых, иной раз просто неряшливых, не сглаженных, засохших комков краски, при отдалении, образуя тонкие переходы, сливаются в картину света, величия и гармонии. Больше нет базарно-ковровой и сувенирной суеты, исчезли неряшливые переулки, закопчённые и облупившиеся фасады. Величественно и гордо плывут над синевой Босфора две драгоценности, два храма, два чуда Господних.

И всё-таки я выбираю закатное увядающее золото, подобное злату нимбов, сочетающемуся с огнём, охрой и умброй одеяний — «константинопольский эпилог» (использую выражение Сергея Аверинцева), последний великий всплеск духа эпохи Палеологов, живую икону, то, что

особенно роднит Россию с этими берегами, о которых сказано Набоковым — «в Цареграде на закате, в Назарете на заре» и о которых говорить ещё и ещё — радость на все времена.

На губах синайский мёд,
корка хлеба на ладони,
а под сердцем тает лёд,
да храпят хмельные кони!
Под висками бой копыт,
и набат в грудинной клетке,
и душа уже не спит
на рассвете в Назарете.

В полведре глоток судьбы
до звезды на дне колодца,
до петли и до сумы —
на колени, и клянётся
белым платом бересты,
звёздным ковшиком зенита,
да крамолой красоты
громозвучного гранита,

со струны срывая страсть
прямодушием пророка...
Только б сердцу не упасть
с высоты любви и рока!
Окна настезь, дверь с петель,
ослепительные мухи,
и позёмкою — постель,
и кольцом — родные руки!

И туманятся глаза,
словно слёзы оросили
вековые образа,
воплощение России...
Это плач сосновых плах,
откровение — в отраде!
Это миро на губах
на закате в Цареграде.

Эта страсть по Царьграду, неутолимая и роковая, тянется сквозь нашу историю то золотой, то кровавой нитью. Может быть, это самая великая любовь нации, которая, как и великая любовь человека, воспеваемая в трагедиях, не может и не должна заканчиваться счастливым союзом, но обязана быть неразделённой, разлучённой, невозможной. Она всегда — утрата и боль, и этим в первую очередь и велика. Написал некогда Достоевский — «Константинополь должен быть наш». Думаю, дело здесь не в том, что великий писатель ошибся. Скорее чувствую иное — «обрусение» Константинополя означало бы утрату великой и прекрасной мечты, много столетий окамливавшей наше искусство и наш дух. Имеет ли значение реальность помещения Олегом щита на городских воротах, этого чисто символического жеста? Предположим, что этого события не было, ну и что? Разве тогда утрачивается один из важнейших символов русской

культуры? Чуть-чуть об этом — щит на воротах означает не подчинение града воле князя-завоевателя, но покровительство князя граду, защиту города князем, союзнические отношения. Могут возразить — но ведь Игорь и Святослав опять воевали с византийцами? Ну и что же из того, союз заключал лично князь (а в случае Олега вообще регент-правитель при малолетнем Игоре), преемственности политики ещё не было. Другое дело, что символ остался в памяти, что во времена скорбные, когда пал золотой крест Софии, Русь вспомнила об Олеговом щите. Отсюда пошла вся православная линия русской политики — обещание защиты единоверцам, долгая и трудная эпопея, в ходе которой первоначальная идея постепенно исказилась, выродившись в панславизм.

Другая сторона — воплощение мечты означает её смерть. Мечта боится воплощения и умирает, когда оно совершается. Умирание это может оказаться пошлым — наверное, это самое страшное. В далёком теперь 1990 году я любовался видом Айя-Софии с палубы корабля, и кто-то рядом едко пошутил — а если бы сейчас София была наша, наверное, стояла бы облупившаяся, с покосившимся крестом, в лесах, давно не посещаемых реставраторами, как десятилетиями стоял величественный собор Нового Иерусалима. Подумалось ещё, а вдруг её взорвали бы, как храм Христа Спасителя? На возможный ответ, что нет, не стали бы, ибо древность, легко возражу — а собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве разве не древность? Двенадцатый век. И примеров таких множество, так что судьба Софии, великого символа, могла быть ужасна. А если бы не снесли, а использовали бы в качестве ещё одного музея атеизма или планетария? Вот и пример пошлости. Так что пусть София останется не нашей, пусть Константинополь никогда не будет нашим, ибо много у нас своего в небрежении до сих пор.

И всё-таки нельзя избежать влияния особенно мистицизма, глядя на храмы в золотой вуали. Само рождение Царьграда, основанного ещё во времена классической древности выходцами из Мегары, таинственным образом пророчит его будущую славу, пророчит словами пифии, Дельфийского оракула. Некогда мегаряне задали вопрос оракулу Аполлона — какое место занимают они среди других областей Эллады. И оракул дал ответ, по обычаю стихотворный и двусмысленный, причём двусмысленность эту тогда никто не разгадал. Не знаю, известен ли тайный смысл в наше время, потому привожу текст ответа Аполлона и собственную интерпретацию его:

Лучший край на земле — Пелазгов родина, Аргос;
 Лучше всех кобылиц — фессалийские, жёны — лаконки;
 Мужу — которые пьют Аретусы-красавицы воду.
 Но даже этих мужей превосходят славою люди,

Что меж Тиринфом живут и Аркадией овцеобильной,
 В панцирях из полотна, зачинщики войн, аргивяне.
 Ну, а вы, мегаряне, ни в-третьих, и ни в-четвёртых,
 И ни в-двенадцатых: вы ни в счёт, ни в расчёт не идёте.
 (перевод Ф. Петровского).

Ответ оракула был тогда понят как издевательский — мегарянам нет места в «каталоге» земель Эллады, их и перечислять с прочими не стоит, они заурядны. Но эта заурядность (такими быть хуже, чем последними!) на повороте истории превращается в лидерство, даже более того, в первенство вне конкуренции, которое просто не может быть оспорено. Они, мегаряне, основатели Царьграда, они нашли это место, Творцом предназначенное для великой столицы, и тем самым предвосхитили евангельскую притчу — «будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Не стану спорить со скептиками, но всё-таки посоветую не смеяться над словами дельфийского оракула.

Дальнейшее не менее интересно. Почему Константин перенёс имперскую столицу? Ответ — из-за христианства — будет неверным. Новая религия уже давно была принята им, перенос столицы случился через 17 лет. Другой ответ — восточные провинции империи были в значительно лучшем состоянии, были сильнее экономически, меньше подверглись кризису III века. Этот ответ значительно убедительнее, но ни один предшествующий император не делал столь радикального шага, даже решительный Диоклетиан, даже Адриан, обожавший Грецию и эллинизм. Так получилось, и при этом два события произошли при одном императоре. Пусть они разделены семнадцатью годами, но мистик всё равно будет искать связь этих событий, да и как иначе?

И ещё. Есть, и явственно ощущается здесь, на Босфоре, перед прощальным образом великого города — предопределённость, предназначённость именно этого места для столицы тысячелетней империи. Природа дала всё, что для неё нужно — пролив меж двумя морями, как линию границы двух миров, которым эмблематически соответствуют две главы имперского орла, как проход между югом и севером, причём не просто проход, а узловой участок пути. Добавим к этому уникальность Золотого Рога — в мире мало столь удобных бухт. Если сравнить столицу Византии с иными столицами великих держав, то эта предназначённость станет ещё яснее. Возьмём для примера Москву. Маленькая окраинная крепость Владимиро-Суздальского княжества изначально была провинциальным центром — здесь нет даже большой реки, удобной для судоходства и способной обеспечить как защиту центра города, так и потребность его в воде (к началу XX века это стало очевидно). Нет у Москвы и особого положения среди других

городов Руси — чем, собственно, хуже Тверь? Даже лучше, дальше от опасной южной границы, ближе к богатым торговым центрам северо-запада, да и Волга полноводнее. В самом соперничестве Москвы и Твери в XIV веке всё решилось фактором частным, субъективным, личным, но не общим, объективным, географическим. Воля московских князей оказалась сильнее, чем выгодное географическое положение.

Можно взять для примера и Санкт-Петербург. Здесь явственно видно соединение объективного и субъективного: положения города на рубеже Западной Европы и воли Петра, стремившегося ввести страну в строй европейских держав. Но, в отличие от Константинополя, Петербург был и остаётся городом приграничным и не может стать сердцем страны. Поэтому Константинополь, Стамбул, Царьград есть некий идеал столицы на все времена, причём столицы не просто государства, но империи. Как результат крушения Османской империи можно рассматривать и перенос столицы в куда менее привлекательную, провинциальную, но в большей мере турецкую Анкару.

Теперь же нам предстоит отправиться в долгий путь по извилистой и сложной дороге, которая согласно моему предпочтению будет много раз отклоняться от прямого пути на восток, в глубь Анатолии, будет сворачивать то на юг, то даже на запад, и всё-таки станет кратчайшим путём между самыми достопамятными местами этой земли. Как в научной фантастике — прямой путь меж звёздами имеет лишь кажущуюся прямизну, на деле это долгое до бесконечности движение то ли по спирали, то ли по какой-то загадочной ленте Мёбиуса, подчинённое как гравитационным силам, так и непостижимой обыденному разуму кривизне самого пространства. И точно так же, внешне изогнутый, парадоксальный путь в умозрении фантастов становится путём кратчайшим, пронизывающим улитку пространства независимо от её изгибов.

Дорога есть ещё и древнейший символ искусства, и даже самого человечества, а если идти дальше, то целого мира, Вселенной, находящейся в непрерывном развитии, следовательно, движении. Рассматривая движение природы и человечества, любой беспристрастный наблюдатель должен будет согласиться с наличием цели этого пути. Даже если «конечная цель — ничто», это не означает её несуществования, напротив, она присутствует всегда, вне зависимости от житейских, теологических или философских её интерпретаций, включая даже крайние формы материализма, агностицизма или философского релятивизма, выражаясь хотя бы в конечности любого процесса.

Что такое цель для нас? Достижение столицы Турции, Анкары, города, мало известного туристам и далеко уступающего славой великому Царьграду? Это, на деле, лишь внешняя оболочка

цели, её форма, которая структурно подобна форме художественного произведения, например, стихотворения. Связь её и содержания далеко не всегда бывает прямой и понятной всем, но часто, напротив, оказывается улавливаемой лишь на интуитивном уровне. Кроме того, очевидно, что избранная форма может стать вместилищем самых разных, даже противоположных друг другу вариантов содержания.

Что же за содержание я вкладываю в избранную форму лирически-сентиментального путешествия? Можно обозначить её одной фразой — разговор об искусстве и совершенстве. Но можно и подробнее обсудить все выкладки и выводы, и тогда цель нашего путешествия станет и объёмной, и обширной. Думаю, что пришло время поговорить об этом.

Во всяком пути, движении, развитии можно найти две силы — уравнивающую, стабилизирующую и противоположную ей, выводящую из состояния равновесия, направляющую, устремляющую. Мы отправляемся в дорогу, покидаем дом с его устроенностью, его порядком ради движения, ради смены привычного новым, ради самого чувства дороги. Но не только. Ещё — ради нового дома, нового покоя, ради обретения нового равновесия, как материального, так и духовного. Или вот ещё как. Мы поднимаемся на вершину горы, и путь становится всё труднее, и сгущается холод, и нет приюта, и долина привольная всё ниже, всё дальше. С каждым шагом вверх всё более шатким становится равновесие жизни и смерть оказывается рядом, прямо на плече, тихо следящая и ждущая. Одновременно с этим происходит воспарение духа; на вершине он разворачивает свои крылья, восторг, смешанный с благоговейным ужасом, подобным страху Господню, охватывает всё существо. Чем тоньше нить жизни, чем зыбче связь с миром, тем окрылённее дух. Что-то подобное происходит с человеком сразу после кризиса тяжкой болезни — странная неземная светлость наполняет душу и очаровывает её тихим счастьем, когда даже простой одуванчик начинает казаться небесным цветком, когда слабое дыхание течёт как мёд.

Не есть ли в этом величайшая тайна жизни? Не рискуя обременять читателя сложными научными и философскими понятиями, да и не чувствуя в себе довольно знаний и опыта в этих областях, всё же попробую сказать об этом как можно проще. Жизнь, пребывающая в непрерывном движении, развивается по пути всё большего усложнения. Биологический регресс паразитов не в счёт, это частный случай, исключение из правила. Мы приходим к теории эволюции, но тут сразу начинаются проблемы, ибо в обыденном сознании понятие эволюции непременно ассоциируется с учением Дарвина о естественном отборе. И я уже слышу краем уха треск ломаемых копий на шутовском турнире между эволюционистами

и креационистами. При этом кажется, что наличие такого понимания в России можно объяснить долгим господством идеологии марксизма, насаждавшейся со школьных лет. Но это впечатление обманчиво. Увы, и на Западе слова «теория эволюции» в массовом сознании неразрывно связаны с именем Чарльза Дарвина и с естественным отбором.

Но что такое естественный отбор? Прежде всего, сила, уравнивающая отношения между организмом и окружающей средой, сила, ведущая к приспособлению организма и вида в целом к меняющимся условиям среды. Равновесие — вот цель естественного отбора. Но это не единственная сила, участвующая в развитии живого. Понять это нетрудно. Максимально приспособлены к среде низшие формы жизни. Какие-нибудь синезелёные водоросли, которых сейчас биологи предпочитают называть цианобактериями, могут жить и в кипении гейзеров Камчатки, и в ядовитых, насыщенных пестицидами и удобрениями водах «рукотворных морей», и во всепожирающем пламени радиации. Полагают учёные, что такие организмы способны устоять и против космического холода и что они, подобно спорам, могут разноситься по Вселенной, расселяться по планетам и давать начало новым оазисам жизни.

Но в таком случае, действуй лишь один естественный отбор, жизнь так и осталась бы на уровне цианобактерий, ибо какой смысл в усложнении и совершенствовании, если примитивный организм и так превосходно приспособлен к условиям, в том числе экстремальным? Между тем чем сложнее организм, тем уже спектр условий, в которых он может существовать. Развитие жизни ведёт не к уравниванию, но к появлению всё менее равновесных систем. Или, скажем точнее, равновесие живого по мере его усложнения становится всё более неустойчивым.

По существу, это означает, что для объяснения развития живого недостаточно одного естественного отбора. Более того, естественный отбор можно интерпретировать как случай проявления общего вселенского закона — закона усреднения. В классической физике в области термодинамики анализ действия этого закона привёл к появлению такого понятия, как энтропия. Естественный отбор — это энтропия на биологическом уровне, процесс, ведущий к усреднению, уравниванию отношений организма и среды и к отсечению всего не укладывающегося в схему, всего, что вопреки ей. Но тогда по аналогии с термодинамикой, в рамках которой энтропия вела к «тепловой смерти» Вселенной, то есть к равномерному рассеянию энергии, угасанию звёзд и прекращению всех процессов, естественный отбор без противовеса должен был бы означать «биологическую смерть» Вселенной — прекращение всех биологических

процессов, неизбежно наступающее тогда, когда живое примет наиболее равновесную, а значит, самую примитивную форму.

А это означает, что движущая сила эволюции — не естественный отбор, но явление, коренным образом противоположное ему, действующее ему вопреки и ведущее жизнь ко всё более сложному, всё менее устойчивому, всё более хрупкому и раннему, всё менее определяющемуся внешними материальными факторами и, как итог, к Разуму и Духу. На этом остановлюсь, ибо опасаясь, что я и так уже далеко углубился в области специального научные. Скажу лишь одно. Если цель развития есть некий идеал, то в философии такой идеал уже давно описан под именем Абсолют.

Теперь самое время вернуться к более привычному и лучше адаптированному к содержанию этой повести вопросу о творчестве. Художественное творчество само есть путь, в его анализе вполне возможно и использование термина «эволюция», а это означает, что и здесь возможен поиск диалектического взаимодействия противоположных сил. Получится ли? Начнём с привычного утверждения «искусство есть отражение действительности». Так ли это? Сначала кажется, что так, ведь художник изображает то, что знает, то, что видит, и даже в фантазии его выражается, пусть и исподволь, пусть и непрямо, окружающая действительность. Наконец, формирование личности художника, особенности его творческой манеры, почерк, идея, эмоциональный спектр — несомненно зависят от действительности, или, пойдём дальше, от окружающей среды, посредством которой они формируются. Но тогда поставим вопрос — а в чём цель творчества, искусства? Неужели в отражении действительности, так сказать, в фиксации её для будущих поколений?

Художественная фотография давно признана самостоятельным видом изобразительного искусства. Да и без признания достаточно взглянуть на работы Родченко, чтобы с этим согласиться. Но в качестве исторического документа годится любая фотография, даже самая непрофессиональная и несколько не художественная. Она в любом случае есть факт исторический, есть выражение (отражение) действительности. Искусством фотографию делает нечто иное, нечто большее, чем это самое отражение. И это заключение можно перенести на другие виды искусства, и не только на изобразительные, но и на литературу.

Но давайте сделаем ещё один шаг, очень смелый и рискованный. Музыка — величайшее из искусств. А она что, тоже «отражение действительности»? Было бы очень странно согласиться с этим. Да, конечно, есть программные симфонии, есть произведения, в которых слышатся и шум моря, и завывание метели, но я не могу представить, что Дебюсси ставил целью музыкальную

передачу плеска волны, а Шопен — полёта снеговика вихря. За этими звуковыми образами стоит иное, и неизмеримо большее, чем слышимый нами мир. Абстрактность музыки, её предельная (для искусства) символичность отвергают в принципе начальный тезис об отражении.

Бродский хорошо сказал о поэзии, точнее, о трёх направлениях, в которых работает поэт — логика, интуиция, откровение. Это утверждение можно применить и к другим видам искусства. Для музыки в этом случае логическая ступень сведётся к мелодии и гармонии. Но интуиция, но откровение — займут всё остальное и дадут нам духовную полноту искусства. Перефразируем — есть материальные и формальные стороны, в конечном счёте сводимые к логике. И есть сторона духовная, в которой звучит откровение. Интуиция же действует на обоих уровнях.

К чему мы пришли? К тому, что художник, поставив своей целью отражение действительности, неминуемо замкнётся в тисках материи, в тупике энтропии и придёт к творческой смерти. Но если так, осталась последняя ступень, последний шаг. В чём состоит цель творчества, куда оно идёт, к какому идеалу? Согласившись с духовным происхождением его движущей силы, снова, как в случае биологической эволюции, приходим к Абсолюту.

Мы заговорились, а поезд скоро тронется. Надо на чём-то закончить, и я ощущаю потребность сказать ещё одно, важное, личное. Впрочем, вы, наверное, уже сами догадались — это пространное эссе, облечённое в старинную форму сентиментального путешествия, лишь внешне, лишь материально есть рассказ о Турции и о странствии по этой стране, а на самом деле это разговор, уводящий далеко от предметов внешних, лишь ассоциативно, лишь интуитивно связанных с иным, намного более обширным и полнозвучным миром.

Глава 6. Измит

Утренние лучи, врываясь в окна вагона, щекочут веки, окончательно прогоняя кое-как состоявшийся сон. Перед глазами изредка промелькивает синяя гладь Мраморного моря, но по большей части проносятся фасады и плоские крыши домов, разнокалиберных, не сочетающихся друг с другом, в беспорядке нахлобученных недавних и современных построек — всё новое и всё достаточно безликое. Вполне естественная картина в условиях, когда единого плана градостроительства не существует, а каждый застройщик, заняв земельный участок, строит по-своему, пусть даже и нанимая архитектора. Пестрота получается почти хаотическая.

Этот хаотический образ давнего воспоминания (ибо в Измите я был в далёком уже 1994 году) легко сменяется в воображении другим хаосом, на этот раз сотворённым природой. Через пять лет после

моего кратковременного посещения Измит был полностью разрушен катастрофическим землетрясением. Все эти дома и домишки «сложились», обвалились стены, упали перекрытия, а сколько жертв было — цифры расходятся, но никак не меньше десяти тысяч. Много шумела пресса по поводу того, что строительство велось с нарушениями, что всё было пронизано коррупцией и так далее, очень узнаваемо и очень обычно. Так же, как и то, что следующее землетрясение может создать точно такой же смертельный хаос и вызвать точно такие же дискуссии и обвинения.

Между тем застраховаться от землетрясения на сто процентов невозможно даже с помощью самых современных технологий, позволяющих строить здания, которые, согласно проекту, должны выдерживать удары в семь и восемь магнитуд. Но что из того, разве кто-нибудь сможет назвать предел мощности сейсмического толчка? Его просто нет. В ряду множества распространявшихся ранее и упорно продолжающих плодиться ныне предсказаний грядущих бедствий землетрясения занимают почётное место, да и как иначе, если Сан-Франциско стоит на активном разломе Сан-Андреас, а истомлённый скукой и унынием обыватель так любит щекотать нервы катастрофами... А поскольку сейсмически активные области по площади далеко уступают стабильным, то на помощь приходит лженаука с недалёкими спекуляциями о глубоких разломах, пересекающихся то под Москвой, то под Чернобылем, в общем, в тех местах, где ни разу в истории не происходили сейсмические толчки. Как говорится, несчастных случаев у вас не было? Будут.

Но ведь жалко людей, жалко города, пусть и такие бестолковые, как этот Измит с его тесными домишками, балконы которых густо уставлены цветочными кадками. Представьте, полминуты, минута — и всё это обваливается, рушится, обращаясь в безобразный и бессмысленный хаос обломков, арматуры, пыли. Жили люди — и не живут больше. И сколько таких происшествий было за историю человечества — не сохранена память обо всём этом в анналах, да и не вместят анналы всех трагедий.

И вот ещё что удивительно. Очень часто люди предпочитали селиться именно в таких опасных местах. Есть в южной Турции античный город Сагалассос, возникший незнано когда, взятый с боя Александром Великим, отстроенный в эпоху эллинизма, процветавший и в римское время. На рубеже тысячелетий там работала бельгийская археологическая экспедиция, и можно было дивиться той аккуратности, такту, больше того, интеллигентности ведущихся работ. Бельгийцы обнаружили и расчистили античные водоводы, и в городе вновь заработал древний источник, устроенный точно так же, как позднейшие городские

«фонталы» эпохи Возрождения, вроде того, веронского, у которого Меркуцио был смертельно ранен Тибальтом. Чистейшая вода течёт, поднимаясь из трещин, которые, увы, связаны с глубинным разломом, что и стал причиной многочисленных землетрясений, окончательно разрушивших город в ранневизантийскую эпоху. Впрочем, подземные толчки были и раньше, но люди восстанавливали повреждённые сооружения. Археологи расчистили и отреставрировали здание библиотеки эллинистического времени, повреждённое землетрясением; там стены и мозаичный пол рассечены трещиной со смещением, и этот зримый след стихии сохранён исследователями, так что желающий может без труда измерить амплитуду смещения.

И ведь это место, Сагалассос, далеко не единственное. Вспомним поселения крито-минойской культуры на самом Санторине, Помпеи и Геркуланум у подножья Везувия, а если поближе к нашему времени, то Лиссабон, Мессину, Ашхабад... И, конечно, придёт на ум и мифическая Атлантида, и важно уже не то, была ли она вообще, и если была, то где её искать, но важна сама история о культуре, достигшей могущества и в один день низринутой в хаос.

А ведь такова и вся цивилизация. Чем она сложнее, чем технологичнее, чем больше в ней взаимосвязей, тем всё более хрупка её структура и тем более подвержена она трагическим, роковым стечениям обстоятельств. И тут землетрясение — так, мелочь в сравнении с ядерной зимой или падением крупного астероида, не оставляющим надежд на выживание не только цивилизации, но и самому человечеству. Пусть меня обвинят в социал-дарвинизме, но, увы, не могу промолчать о бросающемся в глаза сходстве. Да я уже и говорил об этом — чем более «продвинут», «прогрессивен» и специализирован биологический вид, тем более шатко его положение в непрерывно изменяющемся мире. Могуч самец гориллы, если надо, так леопарду шею свернёт, но достаточно оставить его без родных джунглей, и ничем он не поможет ни своей семье, ни себе самому. Так и человек — при разрушении городов ему не помогут никакие высокие технологии и глобалистские ухищрения.

Впрочем, на всё воля Божия, и приходя к этой мысли, приучаешься любить то, что есть, и жалеть то, чего не стало. А не стало скорее по нашей собственной глупости, нежели по воле природы. Простой пример. Ни один ураган, ни один пожар, ни одно наводнение не нанесли такого ущерба нашим главным городам, Москве и Санкт-Петербургу, как мы сами, род человеческий. Больше скажу, ни один агрессор не наломал столько в Москве, сколько мы сами, да ещё за микроскопический для истории срок! И сейчас всё не уймётся.

Незаметно отклонились мы в рассуждениях, всё больше сужая и конкретизируя тему, и сейчас уже

говорим об искусстве, о красоте, и об их хрупкости и ранимости. Кажется, эта сторона особенно знакома культуре японской, и это, вероятно, не случайно, потому что именно в Японии уязвимость человеческих творений перед мощью стихии и жестокостью войны была особенно сильно ощущаема. Это прекрасно видно на примере заката эпохи Хэйан (XI–XII века), когда искусство было занятием только малочисленной столичной аристократии, остро предчувствовавшей свою обречённость. Это чувство сохранилось и в японской культуре нового времени: знаменитый «Золотой храм» Мисимы представляет собой, помимо прочего, ещё и доказательство от противного того же вывода о неизбежной обречённости красоты. Причём чем выше и совершеннее прекрасное, тем больше опасность, грозящая ему. Как в фильме Тенгиза Абуладзе «Мольба» — вся «мерзейшая мощь» обращается против красоты.

Отчего так? Мышление рациональное, научное видит тут действие закона усреднения. Не высывайся, иначе отрубят голову. Не поднимайся выше массы. «Ветер гнёт сильней вековые сосны, падать тяжелей высочайшим башням» — говорит старик Гораций. Биология убедительно вторит поэзии — при массовом вымирании шанс сохраниться есть лишь у малозаметных организмов, неспециализированных форм, примитивных существ, так называемых видов-оппортунистов, способных существовать в разных обстановках. Анекдотичны домыслы креационистов, объясняющих нахождение остатков всё более совершенных существ во всё более высоких пластах осадочного слоя земной коры — они объясняют это тем, что более совершенные формы дольше могли сопротивляться всемирному потоку. *O sancta simplicitas!*

А мышление мистическое с той же уверенностью видит здесь поступь Врага, злую волю, стремящуюся ко всеобщему разрушению и избирающему своей жертвой самое лучшее, самое замечательное, самое прекрасное. Эта избирательность зла начинается с исчезновения первоцветов и ландышей вблизи больших городов, а продолжается уже генетическим отбором в эпохи террора. Нет нужды говорить и о максимуме культурных утрат во времена богоборчества и человеческих гекатомб. Довольно об этом.

Сейчас хочется говорить об ином — ведь за окном синеют заливы Мраморного моря, а в другом окне стремительно проносятся то зелёные деревья, то пёстрые скалы, а иной раз видишь целые стаи аистов. Всё это настраивает на некое буколически-анакреонтическое состояние души, и становится спокойнее, и неизбежность смерти уже не столь фатальна. Поэт, живший в страшную эпоху и не имевший ни малой надежды на признание при жизни своих трудов, написал об этом так:

Вечно то лишь, что нерукотворно—
Смерть права, ликую и губя.
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

А кто может сказать, выковалась ли форма, достигнуто ли совершенство? Оно не выражается правильными ровными линиями, прямыми углами, гладкостью письма. Ведь как выстроен был Парфенон—в нём нет прямых линий, ибо колонны выгнуты в экстазе, а основание их тоже выгибается вверх очень плавной дугой, да и сами колонны отклонены от вертикали так, что если продолжать их в высоту, то они сомкнутся воображаемыми капителями на высоте Монблана. Совершенство есть тайна, формула философского камня, и не алгебра уже, но интегральное исчисление гармонии, и постичь его невозможно простым наитием, наивным вдохновением. Ведь это не разрушение, для которого хватило одного удачного залпа артиллерии Морозини.

Между тем лазурный пейзаж Мраморного моря окончательно сменяется сельской пасторалью, полями цветущего подсолнечника, чередующимися с каменистыми пастбищами, где, как облачка, спустившиеся на землю, медленно движутся отары овец. Где-то позади скрылись беспорядочные постройки Измита, оставив лишь воспоминание о неизбежной неряшливости городской среды, будь то лощёная европейская столица или провинциальный азиатский городок. Всё едино. Соответственно изменившемуся пейзажу меняется и настрой мыслей. Приходящая мысль, впрочем, не нова, многие уже задавались ей. Она проста—если творчество человека редко достигает совершенства, то создания природы совершенны а priori. А человеческое творчество, не возникает ли оно из простого подражания природе, и не сводится ли оно к подражанию во всех, даже высших своих проявлениях?

Нет, это всё не так просто, вспомним наклон колонн Парфенона и тот малый угол его, что кажется неуловимым для оценки, что не содержит ни зримости, ни вещественности. В этой неуловимости и разница между природой и гениальным созданием рук человеческих. Художник не копирует природу—он её преобразует. В середине «нулевых» годов в Москве выставлялось собрание акварелей Волошина, приобретённое Михаилом Барышниковым. Эти акварели помогают понять суть дела.

Вся их серия выполнена во второй половине двадцатых годов, собственно, уже и закат Серебряного века прошёл и наступила долгая ночь для его творцов. Волошин того времени—хранитель немногих уцелевших светов, больше того, он сам—свет, которому уже недолго осталось гореть. В акварельной сюите того времени вновь его любимый Крым, причём только Крым восточный—безлесная, скалистая и степная Киммерия. Глаз легко узнаёт приметы пейзажа, но не может определить, что же конкретно, какая гора, какой залив изображены. Да и нет никакой конкретности, никакой точности, это фантастические, не существующие в природе пейзажи, имеющие лишь родовое сходство с реальными ландшафтами окрестностей Коктебеля. Вот этот мыс похож на Киик-Атлама, вон тот дальний горный кряж напоминает Меганом, вот эта бухта почти что Двужкорная. Вот именно, почти что. А то и совсем нет. Помню примерно то же чувство после знакомства с полотном Богаевского, изображающим столовые горы окрестностей Бахчисарая—они, и не они, а взглядишься, и понимаешь—такого места нет в природе, оно родилось в воображении мастера, а теперь существует зримо на холсте и запоминается зрителем.

И тогда становится ясно, что природа не образец для подражания, а искусство не подражание природе. Если оно и подражает, то более высокому, чем природа. Творцу.

Окончание следует

Геннадий Васильев

У водопада

Почти невыдуманная история

*Евгению Пузыренко, моему другу,
подсказавшему этот сюжет*

Про этот случай мне рассказал мой друг. История вышла не с ним, поэтому рассказывал он по памяти. Может, что-то упустил, а может, я чего-то не услышал или не запомнил. Это неважно. Запомнилось главное: яркая и убедительная иллюстрация не слишком оригинальной мысли о бренности сущего и лишнее подтверждение того, что жизнь наша — стремительный росчерк на полотне мироздания, такой стремительный, что не всякому виден.

Впрочем, не стану забегать вперёд.

Евгению Фёдоровичу Захарову позвонил старый приятель.

— Слушай, тут одна ненормальная компания, мои бывшие коллеги, попросила организовать им поход не куда-нибудь, а на Кинзелюкский водопад. Сможешь?

— О как! — Евгений присвистнул. — У них что — личный вертолётик имеется?

— Говорю же — поход. То есть и вертолётик имеется, но решили — летят до подножия, а дальше — на своих двоих.

Захаров ещё раз присвистнул.

— Ну точно — ненормальные. ЭкстремаАлы!.. Хоть представляют, куда собираются? Я там был лет тридцать назад или больше, хорошо помню впечатления. Там по крутому склону карабкаться почти полкилометра. Места дикие, заповедные, ни малейшего намёка на тропы. Хотя интересно, конечно. И красиво...

Приятель всё это выслушал, спросил:

— Ну, берёшься? Я ж потому к тебе и обратился, что ты там был.

Захаров махнул рукой:

— Берусь. Платёжеспособны? Сдеру — мало не покажется!

— Об этом не беспокойся — сколько скажешь, столько заплатят.

Договорились в ближайшее время встретиться с группой ненормальных туристов, а Евгений Фёдорович пока восстановит в памяти — что там и как.

Уже шесть лет Захаров был на пенсии. До этого работал в бригаде монтажников, имел высший разряд по многим строительным специальностям, считался сварщиком-виртуозом. А ещё слыл интеллектуалом — и среди коллег по бригаде, и в среде друзей. Последних было не так уж много, зато располагались они в совершенно разных, порой неожиданных слоях общества. Приятель, который позвонил, при советской власти служил в КГБ, пенсию начал оформлять в ФСК, а уволился уже из ФСБ.

Репутацию интеллектуала Евгений Фёдорович заслужил благодаря своей страсти к познанию всего, особенно к познанию непознаваемого. Он много читал, неплохо знал историю, часто раскапывал в редких книгах такие исторические факты и детали, о которых знали только сами авторы этих редких книг. А в молодости у Захарова была ещё одна страсть — туризм. Самый активный член туристического клуба, он отправлялся в категорийные сплавы по горным рекам, ходил в горы, не гнушался и обычными пешеходными маршрутами. Его интересовало всё: лес в любое время года, зелёные или, наоборот, белые вершины Саян, головокружительные кульбиты горных потоков на плато Путорана... В любой компании, в любой группе он был желанным участником: никто так, как он, мастерски не умел травить байки и рассказывать истории во время короткого дневного отдыха или ночёвки.

Ему было интересно всюду. Но то, что произошло с ним тридцать два года назад, затмило все прочие впечатления и до сих пор звучало в душе щемящей, тревожной нотой, когда вспоминал. Это был поход на Кинзелюкский водопад.

Евгений Фёдорович не напрасно подивился отваге коллег своего приятеля, сотрудников службы безопасности. Кинзелюкский горный хребет, расположенный на юге Красноярского края, в высокогорной Тофаларии, считался во все времена местом труднодоступным, прежде туда добирались вообще единицы, теперь водят туристические группы, но и сегодня такие группы — штучны. Поход сложный, требующий не только навыков долгой изнурительной ходьбы под тяжёлым рюкзаком, но и хотя бы минимального опыта сплава

по горным рекам, подъёма в горы по склонам, усыпанным огромными камнями, ночёвки в палатках при самых разных метеоусловиях... ну и так далее. Достопримечательностей там много, но прежде всего манит это место своим уникальным водопадом, вторым по величине в России. Впрочем, это так считается, что он — второй, наверняка никто не знает. Только в конце 80-х годов прошлого столетия путешественникам из Украины с помощью теодолита удалось измерить его длину — она оказалась равной 328 метрам. Другой водопад, что считается самым большим в России, Тальниковый на плато Путорана, никому пока измерить не удалось: если Кинзельюкский — труднодоступен, то к Тальниковому и вовсе не добраться без членовредительства. По слухам, длина его превышает 600 метров, но кому и когда удастся это проверить, и удастся ли вообще, неизвестно.

Захаров вспоминал, как они небольшой группой в пять человек ходили на Кинзельюк тридцать два года назад. В то время даже не очень хорошие карты раздобыть было большой проблемой. Большая часть таких карт носила гриф «Секретно» или в лучшем случае дсп, то есть «Для служебного пользования», и хранилась под замком. Выдавались они под строгую ответственность только наделённым специальными полномочиями лицам. Туристы в эту категорию не входили.

Однако какие-то карты всё же нашли, маршрут построили, группу собрали, выход зарегистрировали. Поход требовал немалых расходов, потому готовились к нему загодя: копили деньги...

Я не стану описывать ни трудности, ни красоты путешествия, случившегося у Евгения Фёдоровича три десятка лет назад. Я никогда не ходил в сложные маршруты, никогда не любовался вершинами Восточного Саяна как путешественник, не видел Кинзельюкского водопада. Мой рассказ — пересказ чужих слов, слов очевидца, и было бы нечестно самому домосливать и вообразить. К тому же сегодня достоверных, документальных описаний тех мест можно найти в интернете немало. Ну и главное: мой рассказ — не об этом, не о горных и иных красотах и мужестве преодолевающих трудности. Он — совсем о другом.

Шли долго, тяжело, были и вьючные лошади, и нанятые моторные лодки, и многокилометровые пешие переходы, казавшиеся бесконечными, и местами отчаяние — спутник усталости и следствие неумолимых атак беспощадного таёжного гнуса. И — пришли. Сначала увидели водопад снизу — он открылся неожиданно, заморозил. Защёлкали фотоаппараты, в то время ещё плёночные. Но цель была — забраться наверх, своими глазами увидеть Верхнее Кинзельюкское озеро, откуда и берёт начало водопад. Евгений Фёдорович, тогда ещё просто Женька, предупредил товарищей:

— Плёнку поберегите. Думаю, главные красоты нас ещё только ждут...

В этом походе он был руководителем, и его послушались.

Преодолев 400 с лишком метров почти отвесного склона, вышли наконец в цирк, расположенный у подножия Двуглавого пика. Вышли — и замерли. В бирюзовой воде Верхнего озера отражались вершины, на противоположном берегу к воде стремительно сбегали скальные отвесы, а зацепившись за них, на склонах лежал ледник или снежник — издали было не разглядеть. Здесь и брал своё начало Кинзельюкский водопад, отсюда вода падала вниз и устремлялась в Нижнее Кинзельюкское озеро, дальше — по рекам Тофаларии. Дух захватывало от величия и — главное — первозданности картины. Так было здесь десятки, сотни, а то и тысячи лет назад, и осознание этого опьянило — так, что группа на несколько минут примолкла. А потом снова разом защёлкали фотоаппараты.

Женька внезапно почувствовал, как его покидает напряжение, как взамен наваливается усталость. Он повалился на траву, прижал щекой к тёплому камню. Рядом с камнем росла крошечная берёзка... Захаров вдруг понял — что в первый момент царапнуло сознание, как только они поднялись наверх. Перепад высоты по склону составил всего немногим больше 400 метров, но здесь, в цирке, наверху был уже другой климат. Если по берегу Нижнего озера и дальше, в долинах рек, растительность таёжная, то здесь скорее похожа на альпийские луга. И вот эта берёзка — она не «подросток», как он сначала подумал, она — карликовая, такие только в высокогорье растут. Почему-то это открытие его взволновало. Он повернулся к ребятам: — Братцы, а вы понимаете, что мы с вами сейчас на высоте 1600 метров над уровнем моря? Хотя... я не об этом. Главное — мы в другой климатической зоне, понимаете? Вот мы только что там, внизу, — он махнул рукой в сторону водопада, — были в тайге, и вот они — альпийские луга! — он обвёл вокруг рукой... и вдруг замер, глядя куда-то мимо голов.

Товарищи, кажется, не оценили его спич. Но приняли, как повод.

— Женька, по этому поводу надо бы выпить. Не каждый год на Кинзельюк ходим, всё-таки событие, — группа поддержала инициатора.

Захаров пружинисто встал, спокойно посмотрел на всех.

— Я не против, только давайте сделаем это внизу, ладно? Есть ощущение, что иначе мы со всей своей небогатой выпивкой станем кое для кого закуской, — он показал рукой вдоль берега.

В нескольких сотнях метров от них по берегу не спеша прохаживался медведь, явно держа курс на группу туристов. Даже на большом расстоянии размеры его казались внушительными.

Спускались без паники, но поспешно, подготавливаемые адреналином. Уже снизу наблюдали, как хищный абориген подошёл к краю скалы, внимательно посмотрел вслед туристам, издал звук, который, заглушаемый шумом водопада, больше походил на мычание коровы, чем на медвежий рык, и отправился восвояси.

На обратную дорогу ушла ещё почти неделя. В Красноярск вернулись измотанные, грязные и обросшие, но счастливые на всю жизнь.

Встреча с группой энтузиастов состоялась у Евгения Фёдоровича через два дня. Они сидели в небольшом летнем кафе на берегу Енисея, пили—кто пиво, кто чай и, пока ждали главного инициатора похода, говорили о разном. Погода, футбол, пиво, качество жизни... Главный опоздал минут на пять, извинился. Участников было шестеро, Евгений Фёдорович—седьмой. Приятель тоже пришёл на встречу с коллегами, но составить компанию на водопад категорически отказался.

— Не те годы, не то здоровье,—коротко и без улыбки отрезал он.

У Захарова было довольно времени, чтобы внимательно оглядеть каждого. Все—пенсионеры, но все—на десять, а то и пятнадцать лет младше него. Что ж, из органов на пенсию уходят раньше, чем из слесарей-монтажников. Все мужики крепкие, подтянутые, спортивные по виду. Главный (они его так и звали между собой—Главный) был, судя по всему, чуть старше и прежним чином, и возрастом, и держался как старший. Он и начал разговор о деле.

— Евгений Фёдорович, перед вами группа ненормальных чекистов-пенсионеров, которым шло в известном месте не даёт сидеть дома,—он говорил бархатным баритоном, по нему явно плакала оперная сцена.—Ваш друг и наш коллега Борис уже рассказал нам о вас, пояснил—почему именно к вам обратился. Мы благодарны, что вы не отказались стать нашим проводником. В такой поход можно идти только с опытным человеком.

Захаров ответил:

— Ну, опыт мой—тридцатилетней давности, возможно, чего-то уже и не помню. А потом, вы же, как мне Боря сказал, на вертолёт туда хотите лететь?—Главный согласно кивнул.—Тогда хлопоты проводника и вовсе к нулю сводятся.

Приятель сделал круглые глаза. «Это ты вот так собираешься деньги зарабатывать?! А ещё говорил: „Сдеру—мало не покажется“. Ну, брат, ты даёшь!» Он этого не сказал, но это ясно читалось в его взгляде.

Захаров спокойно продолжал:

— Они сводятся к формальной ответственности, которую кто-то должен на себя взять. Поскольку я действительно имею некоторый опыт вождения группы, имею разные спортивные разряды,

совершенно естественно, что я и должен выступить в этой роли. Это, собственно, и составляет основную долю оплаты моих услуг.

Главный вставил:

— О деньгах я хотел поговорить чуть позже, но продолжайте.

— Хорошо, о них позже. Ещё—о роли проводника. У меня сохранились карты, которыми мы пользовались тридцать лет назад, но я понимаю, что цена им сегодня—грош. У вас наверняка есть современные и электронные, и бумажные, и Бог знает какие ещё карты, не моим чета, недаром вы те, о ком говорят: «Чекистов бывших не бывает».

Никто не улыбнулся его шутке. Он внутренне поёжился, но продолжил дальше:

— Вертолёт спокойно доставит нашу группу к подножью Кинзелюка, высадит на берегу Нижнего озера, оттуда наверх—немногим более 400 метров. Склон крутой, но не непроходимый. По моим наблюдениям, все вы в хорошей, вполне спортивной форме, и восхождение проблемы не составит. Ну вот разве что меня немного одышка помучает, но и это терпимо. Как подняться, вы тоже наверняка уже знаете, в интернете свидетельств и подробнейших описаний полно...—Он помолчал и, обедая взглядом присутствующих, тихо и внушительно произнёс:—Господа офицеры, на фига я вам нужен-то?

Повисла неловкая пауза. Борис безнадежно водил пальцем по столу, не глядя на Захарова. Главный вздохнул, хотел что-то ответить—Евгений Фёдорович его опередил, подняв руку:

— Не спешите. Давайте я сам скажу. И если скажу неправильно—немедленно уйду. Но я скажу правильно. По своему опыту вождения туристических групп я отчётливо помню: в дальних и сложных походах очень хорошо, когда в группе есть некий... назовём его—центр психологической разгрузки. Это человек, способный не впасть в уныние при любых трудностях, любых неожиданностях, способный часами травить анекдоты и истории из жизни. Это снимает агрессивное состояние, недовольство друг другом, отвлекает от неудач... Борис мне не говорил, но я предполагаю, что группа ненормальных чекистов-пенсионеров не удовлетворяется и не ограничится тем, чтобы слетать на денёк-другой в заповедное место, по дороге обратно в вертолёт хлопнуть водки и вернуться. Наверняка есть в планах и другие достопримечательности, которыми просто грех пренебрегать, располагая временем и деньгами: озеро Медвежье, ледник Кусургашева... Опять же, Борис мне об этом ничего не сказал, но я предполагаю, что меня он рекомендовал как такого человека, о котором я сказал только что,—как балагура и штатного неунывайку.

Захаров снова помолчал. Чекисты ждали, переводя тревожные взгляды с него на Главного. У того

на лице не было никаких эмоций. Борис смотрел куда-то в сторону.

— Ну так вот, резюмирую. Если я изложил всё правильно, то... Григорий Павлович, — он обратился к Главному, — это вторая статья ваших расходов на моё содержание. Ну ещё немного возьму за то, что всё-таки покажу вам — на какие камни наступать можно, а на какие — не стоит.

Молчание длилось недолго. Первым захохотал своим бархатным баритоном Главный, которого звали Григорий Павлович. Грохнули и остальные. — Ну, развёл ты нас, Евгений Фёдорович! — отсмеявшись, сказал Главный. — Прямо профессионально развёл! Артист!

— Это была презентация, — сказал Захаров, и все снова засмеялись.

— Мне твоя презентация сейчас новых седых волос стоила, — укоризненно произнёс Борис. — Ну, думаю, сделал друзьям подарочек! Чуть со стыда не сгорел. Гад ты, Женька. И всегда таким был. За то и люблю!

Через несколько дней арендованный вертолёт доставил группу к подножию Кинзельюкского хребта. Прилететь за туристами он должен был через неделю. Связь условились держать по радиации — сотовые операторы в такой глуши не работали. Базовый лагерь разбили на берегу Нижнего Кинзельюкского озера. Полюбовались на водопад снизу, символически выпили, обозначив начало приключения, и завалились спать до утра. 500 километров в воздухе, в шумном вертолёте к особой активности в этот вечер не располагали.

Евгений Фёдорович, которого группа безоговорочно признала своим руководителем, поднял всех на рассвете. Это не составило труда: чекисты, даже отставные, не привыкли баловать себя лишним сном. В лагере оставили всё, что не понадобится при восхождении, — разорить лагерь некому, разве что мишка придёт... Понадеялись, что этого не случится. Ещё перед вылетом, в Красноярске, когда определяли список необходимого снаряжения, Захаров предупредил: оружие взять необходимо, зверь здесь может оказаться — он рассказал о медведе, которого они видели на водопаде тридцать лет назад, — но стрелять только в воздух, пугать, и уж в самом крайнем случае — на поражение. — Мы не на охоту едем, Евгений Фёдорович, за это можешь не переживать, — заверил Главный.

К Верхнему озеру поднялись без особых проблем. Захаров с удовольствием открыл, что очень хорошо помнит маршрут, по которому они поднимались когда-то впервые, что маршрут этот практически остался неизменным, новых камней не насыпало, разве что самую малость, и кустарник гуще не стал. Вышли наверх — и он не смог сдержать восторга. Всё та же бирюза озера, те же сбегаящие к воде скальные отвесы, и ледник или

снежник — он остался прежним, даже контур не поменялся. Он молчал, чтобы не выдать волнения.

Остальные члены группы восхищались бурно.

— Григорий Павлович, может, отсалютуем? — предложил кто-то.

Захаров тревожно посмотрел на Главного. Тот успокаивающе покачал головой:

— Ну что вы, зачем? Здесь так хорошо, так тихо, а вы — из ружья палить...

Евгений Фёдорович благодарно улыбнулся ему — и завалился на траву. Обнял тёплый камень, прижался к нему щекой... и увидел рядом карликовую берёзку. Захаров задохнулся. «Господи! Да ведь это — тот самый камень, та самая берёзка!» Он встал на колени, потянулся к берёзке... и вдруг его пронзила мысль. «Как?! Как это может быть?! Прошло тридцать два года! Я постарел, я уже шесть лет получаю пенсию — и никто не знает, сколько мне ещё осталось получать, но вряд ли долго. За то время, что я здесь был, я успел трижды жениться, родил двоих детей, няньчу внука, у меня умерло столько друзей, что всех и не сразу вспомню... А эта берёзка — она за эти три десятка лет подросла сантиметров на десять-двенадцать. Как?! Господи... Кто же мы перед этим ледником или снежником, что за тридцать лет не только не растаял — даже очертаний не поменял, кто мы перед этой берёзкой? Кто мы — перед вечностью?!»

Он, кажется, бормотал уже почти вслух, и его состояние не осталось незамеченным. Главный подошёл к нему, встревоженно наклонился:

— Евгений Фёдорович, тебе помочь? Тебе нехорошо? Сердце, может?

Захаров встал.

— Нет-нет, всё хорошо... Старую приятельницу встретил, представляешь? — он кивнул на берёзку, хотел рассказать — и почувствовал: не сможет. Не сейчас. Махнул рукой: — Я потом расскажу, ладно? Вы тут пока погуляйте вдоль озера, пофотографируйте, я здесь побуду. Только не разбредайтесь — мало ли что... Спуск через час.

...Вечером у костра обменивались впечатлениями, достав заветные фляжки. В группе нашёлся один прирождённый кулинар, из говяжьей тушёнки умудрился сочинить мясо в кисло-сладком соусе по-еврейски. Наконец, трапеза закончилась, водка и коньяк разогнали кровь. Главный обратился к Захарову:

— Евгений Фёдорович, может, расскажешь историю, как обещал?

Тот отложил ложку, протянул кружку на разлив: — Как говорил известный персонаж народного писателя, прошу плеснуть. — Подождал, пока кружка вернётся. — Ну, слушайте.

Слушали не перебивая, только изредка подбрасывали дров в костёр и подливали спиртного. —...И вот, понимаете, сегодня я снова встретил ту же берёзку — а она не изменилась! Я за время,

прошедшее с первой нашей встречи, постарел, поседел, заработал гипертонию, получил кучу грамот, объехал полсвета, сменил трёх жён... а она в росте прибавила всего сантиметров десять! Я на участке у себя сосну посадил лет пятнадцать назад — так она пол-участка заняла уже и дальше растёт. А эта — десять сантиметров...

— Чему же удивляться, Евгений Фёдорович? — осторожно спросил кто-то. — Она же — карликовая...

— Карликовая... — повторил Захаров и усмехнулся. — Нет, братцы, это мы, это наша жизнь — карликовая. Жизнь наша проходит, кончится скоро, а у неё ещё столько впереди... — И повторил, теперь уже вслух: — Кто мы перед этой берёзкой, перед ледником этим? Кто мы — перед вечностью?..

— И перед Ним, — тихо закончил Главный.

Захаров замолчал, уставился в костёр. Один из чекистов протянул разочарованно:

— Ну вот... А говорили — «балагур»...

Главный посмотрел на него осуждающе:

— Такая история целого представления стоит.

Захаров услышал, встряхнулся.

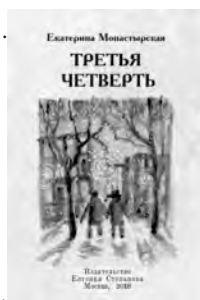
— Ничего, я вас ещё повеселю. Будет ещё время. Плесни-ка!

И он повеселил, и было время. Всё вышло, как намечали, всё закончилось благополучно и счастливо. Туристы вернулись домой тем же вертолётном, тепло распрощались с Евгением Фёдоровичем.

О них он помнил недолго. А та берёзка долго сидела в памяти, да и теперь ещё сидит, хотя прошло уже почти пять лет. И моему другу эту историю Евгений Фёдорович Захаров поведал совсем недавно.

— И понял я: жизнь наша — стремительный росчерк на полотне мироздания, — так теперь заканчивал он свой рассказ. — Такой стремительный, что не всякий и разглядит.

ДиН РЕВЮ



Екатерина Монастырская

Третья четверть

Москва: Издательство Евгения Степанова, 2018

Золото и свинец

По-над слякотью царствуя,
 Паря круговым венцом,
 Выси текут январские
 Золотом и свинцом.

В солнце до дрожи веруя,
 Таяньем вдрызг пьяна,
 Каждая лужа серая
 Высвечена до дна.

Ветер ветвями мокрыми
 Шкрябает облака,
 Небо мигает окнами,
 Щурится свысока.

Зимние дни, сегодня я
 Вижу, ему тесны.
 Оттепель новогодняя —
 Светосигнал весны.

Давным-давно

Десятый класс, гусарская баллада,
 Последний день каникул в январе.
 В театре Красной Армии — дела, да
 На сцене тени цвета шоколада,

И снег под фонарями в серебре.
 И нот набор случаен — ля — до — ре.
 И завтра... Третья четверть — нет, не надо.

Катают бабу дети во дворе...
 Взор задержи на белой мошкаре
 Во мгле Екатерининского сада,
 Он как? цдса? Черна ограда,

На белом — словно графика Доре,
 И умирают ёлки в мишуре,
 И воет в телевизоре эстрада.

Дмитрий Косяков

Сухая река

Лиде стал сниться дом её детства—старый частный дом в местечке под названием Сухая Река. Снился в путанных, безрадостных снах, часто переходивших в кошмары. Виделось, будто она возвращается в этот дом, но там, конечно, живут уже чужие люди, что она просится назад в дом, и они куда-то исчезают, и она находит дом совсем не изменившимся, и те же вещи лежат на привычных местах: старые игрушки, одежда, посуда... Или же, наоборот, ей снилось, что они с семьёй по-прежнему живут в Сухой Реке, а кто-то чужой и тёмный заглядывает в окна и пытается проникнуть в дом, и ей надо выйти в ночь и успеть запереть калитку, но калитка, конечно, не закрывается, чужой человек уже толкает её с той стороны, и тогда Лидочка, спотыкаясь, бежит обратно в дом и пытается запереться в нём, но защёлка соскакивает, дверь поддаётся, а беспечные домашние не обращают внимание на её призывы о помощи, да и голос пропадает. Чёрная рука просовывается в дверь, и Лидочка просыпается.

От снов было беспокойно на душе. Хотя ничего действительно страшного или плохого с ней в этом доме не происходило: дедушка и бабушка умерли уже после переезда семьи—в новой, современной квартире. Единственное мрачное воспоминание из того периода было связано со смертью дяди Антона. Он и врачом-то стал потому, что боялся болезней, изучал рак. Лидочка запомнила только, как он аккуратно и жадно обсасывал куриные косточки и, как всегда, закрывал замки на максимальное количество оборотов и всё равно продолжал дёргать ручку. А умер он не от рака—его сбила машина. На похороны собралась все соседи, и открытый гроб простоял в доме всю ночь, и возле него сидела бабушка.

Но это если напрягаться и вспоминать, на самом деле, дядя Антон и его смерть мало волновали Лидочкину память, а вот дом волновал, снился в мельчайших подробностях, до трещинок в штукатурке.

Родные не разделяли этой странной ностальгии, но Лидочка пробовала ходить туда. Сухая Река—скопление частных домов практически в центре города. Название пошло потому, что вроде бы раньше здесь пролегал один из притоков реки, на которой стоял город. Теперь большая низина

была заполнена домишками, громоздившимися друг на друга, как будто их просто высыпали из большого мешка в эту яму и они скособочились по крутым склонам и на дне.

Да, Лида бывала здесь и с болью отмечала, как понемногу подкрадываются к местечку новостройки, окружая Сухую Реку со всех сторон своими бездушными уродливыми громадами, застилая солнце, погружая низину в вечную тень. То тут, то там непрестанно тарахтели самосвалы, разгребая очередное пепелище. Но не меньшую боль причиняло и то, что сохранилось: тот самый, единственный, Сухореченский переулочек, соседские избушки, хотя теперь в них жили уже совсем другие люди, пузатые машины этих людей маячили за оградками.

«Их» дом был переделан: надстроен, обшит какими-то серыми гляцевыми панелями. Ей очень хотелось попасть внутрь и посмотреть, найти хоть какие-то признаки прошлого, но рука не поднималась прикоснуться к звонку. Новый хозяин (даже не тот, которому продали дом папа с мамой, а уже второй или третий после них), заметив, что кто-то ошивается под окнами, так грубо окликнул её, что решимость и вовсе пропала. Кроме того, она и желала, и боялась попасть внутрь, боялась обнаружить, что от старого дома не осталось и следа...

Но как только она отвернулась от дверей и перед ней оказался тот самый, в целом сохранившийся переулочек, воспоминания нахлынули с новой силой, показалось даже, что за спиной прежний старый дом с зелёной крышей. Она пошла по переулочку, припоминая, на каком углу она сильно упала с велосипеда и у какого столба они с братом закопали подаренную на новый год жутко модную и по тем временам дорогую куклу Барби. Дошла до облупленной и перекошенной голубятни, ставшей ещё более похожей на сказочный теремок. Голубей здесь уже не держали, но запах птичьего помёта был неистребим и был всё же приятен. Да что там! Приятно было увидеть даже старый уличный сортир около четырёхквартирной кирпичной двухэтажки. Приятны были и сохранившиеся старые гаражи, навечно запертые вместе с хранящимся внутри хламом. Пока они жили тут, ей хотелось жить в благоустроенной квартире, раздражали заботы, связанные с жильём «на земле»—отопление,

огород, непрерывный мелкий ремонт, пугал и сам этот «неблагополучный» район. В девяностые тут почти все пили, и отец пил, потому что потерял и не мог найти работу. Но они с братом были тогда детьми, а дети умеют находить радости даже в трудные времена, тем более что других времён они тогда и не знали, а потому лазили по гаражам да по свалкам, придумывали себе всякие приключения и забавы.

Они уехали отсюда уже более десяти лет назад. И теперь Лида смотрела на Сухую реку другими глазами. Ей стали милы и дороги эти старые домики с их своеобразной архитектурой, наличники на окнах, нехитрая резьба по дереву, маленькие окошки, узенькие двери со скрипучими крыльчками. Про старые церкви говорят «намоленные», вот и эти домишки были такими же, и дело тут не в молитвах. Ей стали милы и исторические дома в центре города. В некоторых из них ещё жили, иные стояли заколоченные, и за их окнами зияла чернота. Некоторые домики занавешивали и под занавесками закипала реставраторская работа, но на свет из-под тряпок они появлялись совершенно неузнаваемыми и почти неотличимыми от новостроек. Другие дома вдруг сгорали, и на их месте появлялся очередной спортзал или многоэтажка. И каждый раз Лида чувствовала боль утраты.

Папа Лиды, инженер на пенсии, Сухую Реку не любил, но в целом был привержен к воспоминаниям, мельчайшим подробностям событий прожитой жизни. Он любил пересказывать, как он познакомился с будущей супругой, помнил все особые словечки своих детей. На семейных торжествах он превращал свои тосты в длинные повествования о турпоходах и удачных приобретениях дефицитных товаров, но память порой играла с ним шутки: увлѣкшись, он вдруг начинал рассказывать о том, как его деда уморили голодом на Украине по прямому приказу Ленина и как его самого не взяли в космонавты из-за происков КГБ. Папа ненавидел всё советское, но очень бережно относился к вещам, которые были нажиты его отцом (Лидиным дедушкой), и существовал в окружении ветхих этажерок, тухлых диванов, продавленных кресел и криво сколоченных табуреток.

Лида же задыхалась в этом обилии старой и неудобной мебели и мечтала о ещё более старой, но и более удобной. Нет, она не умела выразить словами свои противоречивые чувства, она вообще училась на художника-керамиста. И ей хотелось поймать мучившие её сны и заключить в глине. Может быть, тогда кошмары прекратятся?

А тут ещё вдруг стало известно, что на месте Сухой Реки хотят затеять какую-то огромную стройку и что весь район будет снесён. Ожили и зашевелились новостройки, теснее стало смыкаться их кольцо вокруг вросших в землю деревянных домишек.

Лида почувствовала, что она должна что-то сделать именно сейчас, иначе будет поздно. И она решила посвятить старому дому дипломную работу—так и назвала её «Дом детства», на декоративных пластах воссоздала фрагменты обстановки, но главное, постаралась передать фактуру старых, разрушающихся, впитавших время стен. Рецензент Лидиной работы на защите пела дифирамбы её диплому за «тонко переданное чувство уюта и тепла родного дома», а старая выжившая из ума преподаватель истории искусств заявила, что в работе нет детства, а есть старость. А потом у деканши, толстой и неряшливой бабищи, что-то переклинило, и она минут тридцать орала на всех дипломниц непонятно за что, а они стояли в своих нарядных выпускных платьицах и не смели шевельнуться, как солдаты на плацу. И все преподаватели трусливо молчали, и все пришедшие родственники молчали растерянно, как будто это их ругают.

В общем, им всем снизили оценки на балл, но дипломы выдали. Лиде было в общем-то всё равно, но настроение испортилось из-за выходки деканши. Никого не хотелось видеть. Она заглянула в соседний зал—там готовились к защите архитекторы, рядышком были расставлены макеты и эскизы их проектов. Здесь царили белый, серый и бледно-голубой; впивались в глаз зеркальные покрытия, линии таяли в блеске и прозрачности. Объектов как будто бы и не было, они парили в облаках, в разреженном воздухе. На эскизах небожители в белых одеждах смотрели в большие окна или экраны, или окна-экраны, а за окнами была ясная синева или фантастические пейзажи, нарисованные с помощью зД.

Лида глянула за окно (настоящее, а не нарисованное)—там висел смог, громоздились и гудели автомобили, взгляд натёкался и отскакивал от мешанины проводов и бетонных построек. Захотелось спрятаться от всего этого за тяжѣлыми зелёными шторами. Диплом не успокоил её тоску.

Лида устроилась продавцом в магазин товаров для художников. В свободное время старалась бывать в Сухой Реке, жадно впитывать глазами уцелевшие подробности. Во время одной из прогулок по огрызку Сухореченского переулка она познакомилась с Артёмом. Он тоже интересовался Сухой Рекой, хотя и по-другому. Артём говорил, что в этих трущобах ещё до революции жили рабочие-железнодорожники, здесь прятались бежавшие из ссылки и пробравшиеся в столицу революционеры и что коренные жители могли бы многое порассказать. Выходит, Артём тоже тосковал по прошлому. Парень он был непьющий, работающий и симпатичный... а все его рассуждения про Советский Союз и про то, как теперь люди лишились будущего, Лида с внимательным видом пропускала мимо ушей.

Новые отношения, потом свадьба и появление дочери отогнали дурные сны. За это время остатки старых домишек были выметены из низины, на месте Лидино дома и других появился закованный в стекло, пылающий в неоновом огне торговый центр, а остальное пространство превратилось в парковку. Исчезли и гаражи, и голубятня,

и старые уличные сортиры. Но центр вечно стоял пустой, как будто место отомстило за себя. Лида побродила по его безлюдным залам, незаполненным торговым площадям... И в ту же ночь ей приснилось, что бабушка и дедушка приветливо машут ей из окна старого дома и их лица странно бледны.

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Светит кофе, светит ясный...

Пизантропия

*Вот разве Пизанскую башню
Обратно никак не поднять
.....
И только Пизанская башня
Всё падает, падает, пад...
Василий Бетаки*

На вечере случай был страшный,
Пришла меня слушать толпа.
При чтке Пизанская башня
Внезапно упала, упа...
Нет, я не подвергся атаке...
Запомнит пизанский зоил,
Как строчкой Василий Бетаки
Пизанскую башню свалил.
Мне было отказано в визе,
С того злополучного дня,
Поскольку ту башенку в Пизе
Уже не поднять, не подня...

С чего начинается слава

*Как образуется слава?
Что вам сказать, господа,
раньше была окуджава,
нынче пошла джигурда.
Вадим Жук*

Слава—серьёзная штука,
и в нулевые года
нам говорила наука—
все вы—никто, господа.
Юмор помог залихватский,
Что ни писал я, мой друг.
Раньше я был колорадский,
нынче я попросту—Жук.

Чашка кофию

*Лампу зажжём и раскроем газету.
Кофе нальём, и ноябрь белоснежный
Томно заблеет по улице пёстрой,
Где круторогий троллейбус резвится.
Владимир Кучерявкин*

Кофе допил и на улицу глянул.
Было темно и немножечко томно,
Блеял ноябрь и бодался декабрь,
Резвый троллейбус поехал на красный.
Месяцы шли, словно серое стадо...
Спрятался бдительно за занавеской.
Лампу зажгёт и уснул над газетой,
Очень уж крепким был выпитый кофе...

Короче...

*Увы, среди лирических светил
моя звезда едва видна, и всё же
с тех самых слов себе позволю тоже
начать... Короче, вновь я посетил
тот самый край спустя пятнадцать лет...
Александр Вергелис*

Стихи слагаю на пределе сил,
я не звезда, но стать хочу светилом,
а в эти сферы не пролезешь с мылом,
и вот... Короче, вновь я посетил
знакомые классические строки,
какие перлы там—товарищ верь,
мороз и солнце—с ними я теперь
пробьюсь—пусть даже критики жестоки...

Павел Веселовский

Роман тысячелетия

Солнечный проспект рассекал огромный город на две равные части, чертя тунгусскую просеку в камне. Начиная свой разбег у подножия древнего, миллионы лет назад потухшего вулкана, проспект сохранял асфальтовую прямоу вплоть до набережной залива. Там он спотыкался о россыпь магазинчиков с мороженым и чипсами, мозаику ларьков с конфетти шипучих напитков, развалы торговцев сигаретами, календариками и статуэтками Святого Антония в одну сотую натуральной величины. Проспект замедлялся в пешеходной своей части, утрачивал однозначность, дробился о ступеньки, лишь чтобы вскоре снова набрать строгость и силу направления—вдоль по гигантскому вантовому мосту, одному из красивейших в Европе. Мост перепрыгивал воздушные мили, небрежно опираясь ажурными колоннами о несколько мелких туристических островков, уходил в туманную даль—на другую сторону залива.

Пожилой джентльмен с тросточкой, сухощаво-надменный, благородно седой, не спеша двигался к этому мосту, изредка снимая лёгкую сетчатую шляпу и обмахиваясь ею. На этих улицах, в это время года бывало и жарче, но джентльмен был стар. Иногда—не слишком часто, но всё же—его узнавали в толпе, кто-то толкал спутника локтем и кивал на старика, кто-то исподтишка делал быстрый кадр. На подобные мелочи джентльмен не обращал никакого внимания—подбородок его был чуть приподнят вверх, крючковатый нос заострён, тросточка методично утыкалась в плиты мостовой.

Дойдя до начала моста, старик выбрал свободную скамеечку и с видимым облегчением опустился на неё. Он достал носовой платок и протёр лицо и лысину. Потом водрузил свою дырчатую шляпу обратно и застыл, уставившись вперёд, сцепив руки на набалдашнике трости. Он напоминал престарелого филина, после долгой охоты наконец-то усевшегося на любимый сук.

Его визави появился спустя пару минут. Молодой человек лет двадцати пяти, невысокий, хорошо сложенный, с чисто выбритым, спокойным лицом. Глаза его, светло-серые, были безмятежны.

— Профессор.

Молодой человек кивнул коротко, но уважительно.

— А, вы уже здесь...—старик всё так же смотрел вдаль, он не пошевелился,—присаживайтесь, юноша.

Молодой человек сел. Прошла долгая минута. Профессор наконец чуть повернул шею и искоса глянул на собеседника.

— Вы, я вижу, совсем не волнуетесь,—заметил он.

— Я должен волноваться?—губы собеседника улыбались, серые глаза—нет.

— Я бы на вашем месте волновался... Впрочем, пустой разговор: я не на вашем месте.

— Как вам угодно,—спокойно согласился второй, потом добавил с усмешкой:—Меня частенько обвиняют в избыточном хладнокровии... Всё же мне крайне любопытно знать, что за новости вы принесли. Думаю, если бы результат оказался совсем никудышным, вы бы вряд ли меня сюда пригласили. Могли бы и позвонить. Я прав?

— Никудышным?—профессор словно бы чуть всколыхнулся...—Это уж слишком. Я бы назвал вашу ложную скромность неуместной.

Его собеседник чуть пожал плечами, как бы давая понять, что спорить не собирается.

Профессор слабо, как-то безнадежно махнул рукой и вновь уставился в одному ему доступное ничто.

— Ладно, мистер... Ширт... Шарбэ... Шрайбе...

— Щербаков.

— Да-да, простите, Щербаков. Русские фамилии поддаются моему старому языку с трудом... Так вот, я позвал вас, чтобы сказать: они отказались вас номинировать. То есть, я имею в виду, эту вашу вещь.

— Вот как?—на лице молодого человека не отразилось явного огорчения.

— Да,—мрачно сказал профессор,—за небольшим перевесом голосов, но всё же отказались. Они—комитет, они имеют на это право.

— Я знаю,—мягко кивнул второй.

— Что вы знаете?—спросил профессор раздражённо,—ничего вы, полагаю, не знаете. Я, к вашему сведению, голосовал за номинацию. Я не такой трус и ханжа, как эти чистоплюи.

— Мне это очень приятно слышать, очень,—сказал молодой человек серьёзно, но по-прежнему очень спокойно.

— Они обязаны были его пропустить, этот роман, — продолжал старик угрюмо, — нет никаких предписаний или ограничений на авторство. В годы основания Фонда никто и помыслить не мог, что возникнет такой вопрос об авторстве... Премия есть премия, она даётся за факт существования произведения. Их решение — дискриминация в чистом виде. В философском смысле — расовый геноцид. Даже если бы текст был написан инопланетянами — этот текст — я бы его пропустил. — Но они — нет...

— Они — нет, — кивнул старик, — они трусили. Знаете, какой там разразился вчера скандал? Этот Холленфельд, голландец, чуть не разбил нос председателю, до того они разругались; японцы — их было пятеро — вообще вышли из зала, демонстративно. Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему. Смешнее всего было наблюдать за вашими соотечественниками...

— Ельцов и Брагинский?

— Да, кажется. Видели бы их рожи — как будто кто-то сказал, что у них в карманах спрятаны бриллианты, а они и не подозревали. Ещё размышляли, болваны, отпираться им или сделать вид, что всё идёт по плану. Ха-ха-ха!

И профессор весело и зло постучал наконецником трости по асфальту.

— Значит, нет, — серьёзно подытожил молодой человек.

— Угу. Конечно, председатель и президиум постарались смягчить формулировки. Дескать, вещь необычная, яркая, требует тщательного изучения и обсуждения... И даже заслуживает — при условии общественного консенсуса — отдельного формата... Тьфу, мне было противно их слушать! Бюрократы...

— А что скажете вы, профессор?

— Дескать, есть отдельные сильные места, есть явные удачи, но в целом нельзя не заметить... — профессор как будто не слышал собеседника, — а с другой стороны, нельзя не подчеркнуть... Мя-мя-мя, мы-мы-мы...

Проходившая мимо женщина с коляской удивлённо оглянулась на желчно кривляющегося старика.

— И в конце концов председатель занял все прения, назначили голосование, и эти митохондрии, прости господи, отвергли роман. Точную цифру не помню, что-то около семидесяти против сорока. — Солидное преимущество, — заметил молодой человек, — может быть, мы с вами напрасно затеяли эту безобидную аферу с подложным авторством? Может быть, стоило сразу выложить им текст и объявить его машинным? Всё честно, без трюков.

Профессор энергично замотал головой, старческие складки на шее колыхались по-петушину: — Нет, оно того стоило! Благодаря нашей уловке мы получили абсолютно объективное мнение,

и только полный болван вроде Холленфельда может это оспаривать. Они судили роман как обыкновенный — вот и получили по заслугам, лицемеры. — Считаете, сегодня победили стереотипы?

— Ха! Да ведь вчера они были почти единодушны! — заорал профессор, потрясая тростью перед носом собеседника, — все бегали по потолку, жали мне руки, звонили каким-то издателям... Воодушевились, в кои-то веки... И как все переменялись в лицах, когда я утром выдал им факты! Хорошо, хоть тухлыми яйцами не закидали.

— Ну, вряд ли они с собой носят тухлые яйца, — покачал головой второй.

— Холленфельд может и носить, запросто, — проворкотал профессор, — старая сволочь... Как он вчера ко мне подлизывался в отеле, коньяк принёс, стихи декламировал! Всё просил с вами познакомиться. Подлец.

— Так что же скажете вы, профессор Боуэн? — терпеливо повторил молодой человек.

Старик замолчал. Он молчал долго, минут пять. Мимо шли разноцветные люди в шортах и топиках, молодёжь катилась на роликах, кто-то дребезжал велосипедным звонком. К ногам собеседников стали подбираться, косясь агатовыми глазками, несколько жирных голубей.

— Что я скажу... — проговорил профессор медленно, сразу как-то постарев, обвиснув лицом, растворив глаза в пустоте, — я скажу... Знаете, я могу и ошибаться. Каждый может ошибаться. Даже машина может ошибаться!

Он погрозил пальцем собеседнику.

— Но в данном случае мне плевать. Я слишком стар, чтобы бояться выглядеть нелепо. Я подобное многократно проходил, уже не волнуется. Так вот, я скажу: это — роман тысячелетия.

Молодой человек приподнял брови:

— То есть...

— То есть, да, это вершина всей человеческой литературы за последнюю тысячу лет. Есть, конечно, Гомер или, скажем, Библия — но это же не вполне художественные вещи. Эти вещи вне конкурса, так сказать. Это мифы какие-то, святые писания, труды нескольких поколений. Краеугольные религиозные или этнообразующие тексты. И даже они... знаете, Шреба... Шерка...

— Щербаков.

— Знаете, Щербаков, даже Гомер не годится в подмётки вашему роману. Гомер всё сделал гениально — если, конечно, он вообще существовал как историческая личность — но он лишь интерпретировал события. Плюс несомненные заслуги талантливых переводчиков. А здесь... Здесь всё ново и всё прекрасно, мой русский друг! Я прочёл ваш роман от корки до корки, искал аналогии, я призвал на помощь весь имеющийся у меня опыт. Потом я отбросил этот опыт и прочёл ваш роман ещё раз, как неопытный школьник, как невежда.

Я смотрел на него и так, и этак, пробовал и с начала, и с середины, и даже—думаю, вы не обидитесь—пропускал его через систему антиплагиата. Проверял, не своровали ли вы хотя бы кусочек сюжета. Задавал разные ключевые слова в параметрах поиска. Да, я стар, но не слабоумен, и не устарел, у меня тоже есть компьютер. Словом, я испытывал роман на прочность, и он устоял. Это великолепная вещь, мистер Щербакову, с какой стороны ни укуси. Вы сами это понимаете?

Профессор резко, как нельзя было ожидать от его лет, развернулся к собеседнику и оценивающе оглядел его с головы до ног. Тот тихо улыбался, не выказывая особых чувств.

— Сдаётся мне, что не понимаете,—покачал головой старик,—вы чересчур молоды для этого. Поймите, я не имею лично к вам никаких претензий, но нынешняя молодёжь просто не способна на такое. Иная эпоха, иные ценности. Джойс начал писать своего «Улисса» в тридцать два, закончил в сорок; Хемингуэй создал «Прощай, оружие» в тридцать; Сэлинджер задумывает основы «Над пропастью во ржи» где-то в двадцать два... Впрочем, простите мне эти бессмысленные цифры. Главное, что я по вашим глазам вижу—вы ещё не осознали, что именно положили ко мне на стол несколько дней назад.

— Я догадывался,—просто сказал молодой человек,—и я много работал, чтобы получить такой результат.

— Возможно, возможно...—пробормотал старик,—но всё же вы не писали его. Это самое страшное в нашей встрече, мистер Щер... Щербаков. Как, вы сказали, называется эта система?

— Пока только рабочее название, мы зовём её «Парадокс»... там ещё цифровые индексы, но это... не существенно.

— «Парадокс»? Хорошо, парадокс. Я бы назвал иначе—«Апокалипсис», так точнее,—мрачно заметил профессор.

— Почему же?

— А вы не догадываетесь?—подозрительно прищурился старик,—вот, простите, не верю в это. Кокетничаете?

Молодой человек простодушно развёл руками.— Боже упаси.

— Ну как же, чёрт побери! Это же очевидно: теперь всему конец! Конец целой эпохе, целой литературной цивилизации. Если не всей цивилизации целиком. Вспомните, что случилось с шахматами, когда великие гроссмейстеры стали раз за разом проигрывать машинам? А потом и вовсе перестали выигрывать. Все, угасли шахматы, нет шахмат...—

— Так уж и угасли, профессор? Сотни тысяч людей продолжают играть на очень высоком уровне, насколько я знаю. Я вот, например, регулярно играю.

Боуэн сердито отмахнулся:

— Чепуха! Вы должны понимать, что я имею в виду. Поигрывать, баловаться, даже увлекаться—это одно; а стать великим, первым, непобедимым, непознаваемым для всех остальных—это другое. Сейчас мерилom истины, высочайшим авторитетом в шахматах—и не только в них—перестал быть человек. Им стал искусственный интеллект. По нему сверяют ходы, с его помощью разбирают чемпионские матчи—это несколько унижительно для шахматистов, вы не находите? И вот, пожалуйста, ваш этот «Парадокс»...

— Я должен заметить, профессор, что машины и раньше писали тексты.

— Ну, тексты... Тексты эти я читал, годились они только на подтирку в отхожем месте. Любой студент-первокурсник может написать статью куда интереснее, чем суперкомпьютер из Алабамы. Откуда, вы говорите, ваша команда?

— Это сибирский научный центр, довольно далеко за Уралом. Местечко называется Синедольск. Когда-то городок был закрытым—во времена холодной войны; потом подули другие ветры... Видите ли, я и мои коллеги пока на стадии эксперимента, мы лишь тестируем систему. Полный отчёт в национальную Академию наук ещё не поступал. Вот потому-то ваши российские коллеги пока ничего не знают...

— Ясно. Синедолек...

— Синедольск.

— Хорошо. Неважно, в общем-то. Полагаю, в самом скором времени газеты разнесут это странное слово по миру. Вы представляете, какие будут заголовки? Ха! «Русский парадокс из Синедольска»... Или, скажем, «Похороны современной литературы состоятся в пятницу». Или «Шекспир, Толстой, Гюго повержены в прах». Так оно всё и будет, помяните моё слово. И весь читающий мир кинется покупать пухлые томики из под пера вашего «Парадокса». Кто-то восхитится, кто-то ужаснётся—но ужаснётся от восхищения, конечно; позже, рано или поздно, все смирятся. Поймите, Щербафок, это жирная точка в истории человеческого творчества.

Молодой человек нахмурился:

— По-моему, вы всё-таки преувеличиваете. Пока это всего лишь один-единственный роман. Мы даже не уверены, что сможем... что машина сможет повторить этот относительный успех, сумеет избежать вторичности.

Профессор вскинул брови:

— Почему же? Даже я, далёкий от математики человек, абсолютно уверен: рано или поздно повторит! Не ваша машина, так другая. Как только роман просочится в Сеть—а вы ведь отдаёте себе отчёт, что это неизбежно?—его немедленно проштудируют сотни других систем искусственного интеллекта. Даже в моём совершенно гуманитарном университете есть такое подразделение.

Сейчас они вроде бы маются от безделья, каталогизируют старые манускрипты, оцифровывают рукописи, что-то там уныло анализируют... Но кинь им коммерческую косточку— тут же воспрянут духом! Нет, нет, это же очевидно: вскоре полки магазинов будут завалены новейшей литературой высочайшего уровня. Только вместо фамилии авторов на обложке будет написано нечто вроде «Сделано электронным комплексом М127, в 12.15 от 3 октября такого-то года, Гуанчжоу, Китай». Ну а про электронные магазины и говорить нечего... Это, по-вашему, не конец? И уж если машина сумела написать такой роман, то что помешает другой машине нарисовать картину? Или сочинить мелодию? Или скульптуру выточить...

Щербаков в сомнении покачал головой. Профессор перевёл дух, вновь достал носовой платок, принялся промокать им лицо. С моря подул легчайший ветерок. Редкие и полупрозрачные, но всё же тучки набежали на солнце.

— После всего сказанного... — прервал молчание Щербаков, — мне кажется, вы должны ненавидеть наш роман. Многие должны ненавидеть. Решение комитета выглядит вполне логичным.

— Ненавидеть? — задумался профессор, — ну, не сразу, по крайней мере... Я буду с вами откровенен: я уже который день под глубочайшим впечатлением от рукописи. А меня, уж поверьте, нелегко удивить. Вам это удалось. Потрясающе тонко, потрясающе сделано, молодой человек. Буквально с первых абзацев — этот нарочито небрежный стиль, как будто даже с провалами по темпу и образности. Но что-то цепляет, не так ли?

Профессор заговорил возбуждённо; это был уже отчасти монолог, озвученная рефлексия, не нуждающаяся в слушателях:

— И пока ты стараешься разобраться с тем, что же тебя цепляет, накатывает вторая волна... даже не знаю, чего: смысла, должно быть. И как всё фонетически точно! Кстати, я ведь хотел спросить у вас: роман изначально написан на русском языке? Как вам удалось так блестяще перевести его на английский? Вы же понимаете, при переводе львиная доля фонетического обаяния, поэтика языка уходит... А здесь — о чудо! — песнь песней, но в прозе. Утритесь, Шекспир и Блейк.

— На самом деле, всё немного сложнее, — отвечал Щербаков, щуря свои бесцветно-серые глаза, — изначально текст создан на основе метаязыка. То есть, я поясню, это некая композиция из осмысленных, структурно совместимых машинных лексем, которые потом можно ветвить и наращивать до эстетически приемлемого... узора, скажем так. Язык в интерпретации можно прилагать любой, лишь бы словарь был достаточно богат. Английский, как нетрудно догадаться, уже очень хорошо «отцифрован», он идеально подошёл. Но без особых потерь роман можно перевести

во французское или испанское языковое пространство. И русское, конечно. Чуть сложнее с иероглифическими культурами, но мы работаем над этим.

— Вот видите, вы лишь укрепляете мою убеждённость — весь этот процесс поддаётся стандартизации. Выход на — простите за грубость — серийное производство, это лишь вопрос времени.

Тут Боуэн опять как будто что-то припомнил, встрепенулся:

— И вот там, в третьей главе... Честно скажу, я не понимаю, как машине удалось завести эту пружину эмоционального напряжения, этот саспенс. Я несколько раз перечитал все реплики героев, и ту сцену, возле кассы вокзала — гениально скомпоновано, на мой взгляд, — но так и не уловил, откуда тянет угрозой. Вы мне скажите; догадываюсь, что всё начинается после фразы Елены про чемодан, не так ли? И потом через всю мизансцену ниточкой эти взгляды, эти жесты... Я прав?

Щербаков задумался:

— Знаете, я не уверен...

— А впрочем, что я говорю! — тут же перебил его Боуэн, хлопнув себя ладонью по лбу, — вы же механик, а не творец. Конечно, вы же видите только внутренние агрегаты машины, и не контролируете сам процесс. Поставщик зелени, но не повар. Да, досадно. В этом смысле и поговорить-то не с кем...

Щербаков улыбнулся, но профессор не заметил его иронии.

— Да, разумеется, — продолжал рассуждать Боуэн, — следующим шагом должен стать разумный диалог между машиной-творцом и её прислугой. Я не имею в виду вас, молодой человек, я имею в виду вообще всех нас. Мы создаём нечто, и потом вынуждены учиться у него? Нет ли в этом какого-то математического противоречия, какого-то нарушения закона сохранения энергии? Но какой энергии... Творческой? Ха, а с названием вы всё-таки угадали — «Парадокс». Куда уж парадоксальнее! Проклятие...

Тут профессор страдальчески сморщился и прижал ладонь к солнечному сплетению.

— Всё в порядке, мистер Боуэн? — встревожился Щербаков.

— Да... Колики желудочные, ерунда. Я вот, к сожалению, не машина...

Он извлёк из кармана рубашки пузырьрёк, потряхнул на потную ладонь два белых шарика, закинул их в рот. Сглотнул, покривился.

— А вот эта ваша машина... — продолжил он после паузы, слегка поглаживая себе живот, — как вы её обучали? Насколько я знаю, даже искусственный интеллект нуждается в каком-то руководстве, хотя бы поначалу. Вы что, заставляли её читать все мировые шедевры литературы? Или... как это выглядит в реальности?

Щербаков пожал плечами:

— Боюсь, это слишком технический разговор, профессор. Кое-что вы, наверное, не поймёте без длинных вводных лекций по теории информации, алгебры и математической лингвистике; а кое-что я пока не имею права разглашать—это было бы некорректно по отношению к моим коллегам по проекту. Коммерческая тайна, если угодно. Но на ваш последний вопрос отвечу свободно: нет, мы не загружали в систему никаких списков для чтения. Специально—нет. Скажем так, машина сама постепенно сформировала у себя литературный вкус и выбирала книги, уже полагаюсь на него. И должен вам сказать, мы обнаружили, что её предпочтения очень... субъективны. Например, машина «с удовольствием» проглотила всего Борхеса, но очень слабо заинтересовалась Достоевским. И таких вот перекосов мы увидели немало. Вот почему я сомневаюсь, что система сможет с лёгкостью повторить свой успех. Ведь литературное мировое пространство—оно, так сказать, не изотропно. Проще говоря, весьма неоднородно.

— Хм, вот значит как. Между прочим, молодой человек, не знаю, заметили вы или нет—ваш роман этак небрежно, мимоходом открыл в современной литературе совершенно новое направление. Ничего похожего прежде не писалось.

— Это обсуждалось на заседании комитета?

— Нет, почти нет. Так, что-то невнятное бормотали, Холленфельд намекал там на, по его мнению, «сомнительные инновации»... А я считаю, сомнений никаких нет—здесь у нас даже не шаг, а мощный марш-бросок вперёд. И я подозреваю, что сумел разглядеть лишь половину из множества словёв. Так что, нет, это моё убеждение. Я вчера поразмыслил и даже придумал название...

— Название для нового направления?

— Да. Я вам его дарю, если захотите принять—в благодарность за то, что обратились именно ко мне. Мне видится, что такие вещи уместно будет называть «фрактальным псевдореализмом».

И Боуэн искоса, выжидающе поглядел на собеседника. Щербаков задумался на секунду, потом рассмеялся:

— Пожалуй, звучит красиво! Я как-то не подумал о таком подходе. Да, действительно, очень метко.

Боуэн важно и с хитрецой покивал:

— Видите, хоть я и гуманитарий, а кое-что в геометрии соображаю! Но это всё шуточки, до определённой степени... Я же хотел попросить вас кое о чём вполне серьёзном. Собственно, для этого и пригласил вас сюда. Хочу, чтобы вы тщательно обдумали мою просьбу прежде, чем вас пригласят на закрытое обсуждение вашей работы в комитете. Там на вас начнут давить и быстро запудрят мозги бессмысленным официозом, и чёрт знает что ещё с вашим романом попытаются сделать. Не представляю пока, как они могли бы запретить

вам публикацию,—но вполне вероятно, что они этого потребуют. Шлите их к дьяволу, здесь они бессильны.

— А что же вы?..

— А я хочу, чтобы роман был напечатан и дошёл до широкой публики. Глупо скрывать от общества подобное сокровище. С одним единственным «но»...

— Да?

— Присвойте авторство себе.

— То есть...

— Себе, ну или кому-то из вашей команды, как вы говорите. Неважно, кому—но пусть это будет реальный, живой человек. Вы меня понимаете сейчас?

Щербаков внимательно посмотрел в усталые, напряжённые стариковские глаза, испещрённые красными прожилками, с чуть выцветшим уже пигментом зрачков.

— Кажется, я понимаю...—медленно кивнул он.

Боуэн положил свою горячую ладонь на колено Щербакову:

— Я не могу вам приказывать, не хотел бы и назидать. Моя просьба—это единственное, что я могу сделать для этого тупого, зажавшегося человечества. Дать ему шанс опять поверить в себя. Может быть, я уже опоздал с этим. Но сказать вам обязан. Ну а что касается всякого рода Холленфельдов и прочих—мы ещё повоюем.

Щербаков грустно покивал головой:

— Спасибо, мистер Боуэн, за вашу откровенность и... равнодушие. Я прекрасно вас понял. Но, как вы верно вспомнили, я всего лишь член команды. Так что обещать что-то наверняка не смогу.

— Обещать не нужно,—твёрдо сказал Боуэн,—просто осознайте и действуйте по совести. Если, конечно, это вообще технически возможно.

Они поговорили ещё немного, но уже как будто ни о чём. Главное было сказано, оно прочно осело в душах обоих, и тревожило их—каждого по-своему. Через пять минут, неловко распрощавшись, Боуэн поднялся со скамьи и заковылял к центру. Щербаков смотрел, как он пробует асфальт на прочность своей палкой, как постепенно растворяется в пёстрой толпе. Молодой человек сидел почти неподвижно, полуприкрыв глаза, чуть ссутулившись. Изредка губы его шевелились—казалось, он говорит что-то сам себе.

С пронзительными криками над площадью пролетела стая чаек. Щербаков встрепенулся, слепо проводил птиц взглядом. Нахмурившись, посмотрел на часы, встал, стряхнул несуществующие крошки с брюк и направился к белеющему под солнцем мосту. Лицо его было по-прежнему спокойно, чисто, и лишь очень внимательный наблюдатель различил бы в серых глазах тихие всплески печального безумия.

Посередине первого же пролёта к Щербакову подошли трое весьма одинаковых мужчин, одетых

в тёмное и свободное, показали ему какие-то карточки. Он слабо улыбнулся и протянул руки. На запястьях защёлкнулись наручники, Щербакова свели вниз по винтовой лестнице, на небольшой служебный терминал, кусок бетона на водной глади, усадили в полицейский катер. Заработал мотор, потянулась белая кильватерная струя. Некоторое время жадные чайки сопровождали судёнышко, принимая его за прогулочное, выглядывая куски хлеба; потом разочаровались и с сердитыми криками повернули обратно.

Назойливый зуммер звонка разбудил Боуэна посреди ночи. Старик закряхтел, повернулся на бок, вслепую нащупал плитку телефона. Он не любил эти современные телефоны, без кнопок, скользкие, слишком сложные. Пока Боуэн с проклятиями попадал себе в переносицу непослушной дужкой очков, телефон всё жужжал. Наконец Боуэн со владом с экраном и тыкнул в нужный квадратик. — Да?! — рявкнул он уже раздражённо.

— Боуэн? — голос в трубке был ничуть не менее сварлив, — это Холленфельд.

— Мартин? Какого чёрта? Ночь! Который час?

— Не знаю, поздно... Прошу прощения, Генри, дело срочное. Я решил, тебе стоит узнать немедленно.

— Что за... Опять шуточки?

— Нет. Ты за кого меня принимаешь?

— Чёрт... Ну говори уже, что ты тянешь?

— Окей. В общем, мне позвонил мой старый приятель из Интерпола. Он мне кое чем обязан, случай двадцатилетней давности, ещё когда я работал в Братиславе журналистом, а он курировал...

— Короче, или богом клянусь, я брошу трубку!

— Ладно! Твоего протеже, Щербакова Леонида, сегодня... то есть ещё вчера вечером задержали по запросу русской полиции. Сейчас его готовят к экстрадиции. Судя по всему, он там у себя нарушил какие-то правила оформления визы, или что-то в этом духе... В общем, как мне объяснили, выехал он сюда нелегально. А соглашение о выдаче здесь действует, времена счём сейчас цивилизованные. Русские что-то сильно возбудились, похоже, он работал в какой-то весьма секретной организации. Но это ещё не всё.

— Так... ничего не понимаю... ещё не всё?

— Да. Слушай. Я о главном. Мне удалось выяснить нечто парадоксальное. Поначалу российский консул, а также их мвд, требовали вместе с Щербаковым вернуть им все копии того самого злополучного романа. Дескать, это закрытые документы, он не имел права их обнародовать, и ещё не поздно утечку прикрыть. В принципе, технически это было возможно: взяли бы со всех нас подписку о нераспространении или что-то в этом духе...

— Это здесь-то, в Европе? Звучит бредово...

— Да, но русские настаивали. Это же русские. Но ты слушай дальше. Уже когда Щербакова взяли,

они от своих требований резко отказались. Сказали — нет, нам эти бумажки не нужны, до свидания. Только сам Щербаков. В смысле, ошибочка вышла. Так вот... Я не поленился, нашёл нужные контакты и вызвонил-таки этот институт.

— Проклятье, Мартин, я совсем запутался. Какой, к дьяволу, институт?!

— Тот самый, русский, где, по словам Щербакова, они разрабатывали систему искусственного интеллекта. Тебе следовало бы оценить мою оперативность и способность договариваться! Я сделал десять предварительных звонков, прежде чем вышел на их Академию наук и прежде чем они...

— Мартин, прошу тебя, заткнись. Что ты узнал в конце концов?

— А то, что никакого романа их машина не писала! Она вообще не пишет текстов, твой Щербаков всё придумал. Их система работает с массивами данных по метеорологии, анализ воздушных потоков, какие-то космические дела, кое-что засекречено, да. Но ни слова про литературу!

— Не понимаю... что же тогда... кто написал роман?

— Генри, я думал, ты умнее. Стареешь, ага? Ну кто ещё мог его написать? Сам Щербаков и написал! Мой приятель из Интерпола успел зафиксировать часть его беседы с русскими дипломатами, здесь, в аэропорту; кое-что мы перевели, кое-что сопоставили... Я так понимаю, он сам сразу же признался, кто автор. Другой вопрос, зачем ему было так поступать? К чему весь этот невнятный детектив?

— Зачем скрывать своё авторство? М-м-м...

— У меня есть пара версий. Поделиться?

— Ну... хорошо, давай. Я плохо соображаю.

— Для тебя это типично. Итак... Первое. Возможно, он просто боялся неудачи. Боялся, что рукопись отвергнут, что наши редакторы её завернут. Заклеймят как бездарность. Боялся унижения. Но показать текст он хотел страстно, он даже нарушил закон ради этого. И таких последствий вовсе не испугался.

— Не похож он на человека, который боится... А вторая версия?

— Вторая. Тебе не понравится. Пусть он ничего не боялся, но предвидел, что роман пройдёт незамеченным. Посчитал, что подобный текст наша современная критика не оценит. В конце концов, странных книг в мире пишется предостаточно, тебе ли не знать. Фриков пруд пруди, строчат безостановочно, в пору создавать зондеркоманды для их отстрела. И на этом фоне ещё один человеческий текст — пф-ф-ф, скукота, вторичность, графомания... Постмодернизм давно сожрал самого себя. А вот если объявить роман машинным — ого, какой сюрприз! Заговорят, да ещё как! Вот он и решил заранее подстраховаться, спровоцировать, так сказать, вброс. А когда

выяснится правда, дело будет уже сделано — текст засветился. Каково, а?

— Хм... Не знаю, не знаю... Всё это не слишком правдоподобно. Масса нестыковок. Ты сам в это веришь?

— Да плевать. Главное, что есть текст и есть живой автор. Уж мы-то с тобой сумели разглядеть жемчужину в помойной яме. Признайся, что шедевр. Я же видел, как блестят твои глаза. Это же бомба, Генри, это начало новой эпохи! Разве тебя это не радует?

— Я... Голова кругом... Я теперь до утра не засну. Что же теперь будет с этим парнем...

— С Щербаковым? Ну... Надеюсь, отделается внушением по служебной линии. Максимум уволят. Не посадят же они всемирно известного писателя? В худшем случае некоторое время побудет невыездным. В Сибирь сейчас не ссылают, насколько я знаю. Если он даст согласие на публикации здесь, Москва, так или иначе, уступит. К тому же роман совершенно не политический, сплошная психология... Ты напишешь в Кремль, Генри, тебя там любят. Тебя там икрой кормили, помнишь? — Всё кувыркком... Умеешь ты испортить ночь, Мартин!

— Чепуха. Завтра отоспишься. Всё, мне пора, я рассчитываю успеть встретиться с ним на таможне. — С кем?

— С Щербаковым, конечно. У меня готовый контракт на издание, пусть подпишет.

— Ловкач... Тебя туда не пустят.

— Кого, меня? Ха! Спокойной ночи, Боуэн.

Экран смартфона угас, в комнату вернулась тьма. Профессор ещё некоторое время посидел на кровати, оставившись в круглый зрачок заоконной луны. Ноги холодило сквозняком из балконной двери, прибор сегодня не был слышен.

— Надо кофе сварить, — мрачно пробормотал Боуэн сам себе, — крепкий. Наглотаюсь таблеток, но кофе выпью. Две чашки.

Взгляд его упал на стопку листов, оставленных им вчера на письменном столе. Лунный блик лежал на чернеющем заголовке — вверх текст кириллицей, внизу — на английском. И Боуэн вдруг отчётливо понял, что так раздражало его весь этот вечер. Не скандал в комитете, конечно, и не звонок Холленфельда. Он просто боялся признаться себе: ему так никогда не написать.

Назойливое гудение зуммера выдернуло Боуэна из паутины тяжёлых, вязких сновидений. Старик с мычанием зашевелился, почмокал губами, влепую прихлопнул на тумбочке плитку телефона. Подарок внучки. Эти модные телефоны, без кнопок, скользкие, своевольные... Боуэн не без труда нацепил очки и с третьего раза попал всё-таки по зелёному светящемуся квадратику.

— Да?! — рывкнул он раздражённо.

— Боуэн? Не спишь? Это Холленфельд.

— Что?! Какого... Ночь! Ты на часы смотришь иногда?

— Регулярно. Сейчас три. У меня новости про твоего Щербакова, очень горячие. Слушать будешь или пошлешь меня к чёрту?

— Э-э-э... И то и другое, болван!

— Замётано. Так вот, Генри: мои контакты в полиции сообщают, что вчера вечером Леонида Щербакова задержал Интерпол. Его везут в аэропорт, собираются экстрадировать в Россию.

— Экстрадиция? Не понимаю... Он что, ограбил кого-то?

Из трубки послышался желчный смешок:

— Да как тебе сказать... формально — нет. Но Москва затребовала его выдачу, и наши не нашли, что возразить. Говорят, причины самые что ни на есть медицинские.

— Не понимаю... Ты можешь, чёрт возьми, говорить без двусмысленностей?

— Могу. Он сумасшедший.

— Что, прости? Не расслышал.

— Всё ты расслышал. Он — душевнобольной, он сбегал из русской клиники, где-то под Синегорском или Саяногорском, не запомнил города. Он, как ты сам понимаешь, недееспособен.

Боуэн молчал.

— Да, такие дела, старина. Мне сказали, русские представили все необходимые бумаги, всё чисто. Его вернут в клинику, на лечение. Мне сказали — на условиях конфиденциальности — что в этом Синеборске работают над новым, перспективным препаратом, называется «Парадокс». Мощный транквилизатор. Или геропротектор, хрен редьки не слаще... Вполне возможно, в процессе терапии возник кратковременный эффект... гениальности, что ли. Как побочный эффект. Кратковременная побочная гениальность, ха. Фантастично звучит, не правда ли?

— Но... как же он сумел... всё так сложно...

— Как сумел сюда добраться и всех обмануть? Ну это не единичный случай в медицинской практике. Притворяться сумасшедшим в больнице, среди врачей-профессионалов — это трудновато; а вот выдавать себя за обычного человека в нашем безумном обществе — это раз плюнуть. Ты же, например, живёшь, и никто тебя не подозревает. — Что... Да пошёл ты, старый идиот!

— Ха-ха-ха! Ладно, ладно, прости. Я к чему звоню, собственно: завтра придётся всё это решать, перед комитетом. Ужасно глупая ситуация получилась, не находишь? И ведь журналистов набегит...

— Послушай, Мартин... Он не был похож на сумасшедшего, уверяю тебя. Очень разумный, уравновешенный молодой человек. Тут какая-то ошибка. Ты точно меня не разыгрываешь?

— Это было бы уж слишком, Генри. За кого ты меня принимаешь, в конце концов? Всё серьёзно,

я говорил с людьми, у которых и чувства юмора-то нет.

— Надо же... Как нелепо. Ни за что бы не подумал.

— Поверь, я тоже. Однако теперь встанёт и второй вопрос.

— Ты о романе?

— Разумеется. С ним нужно что-то делать. Нельзя же просто выкинуть в корзину лучшую книгу двадцать первого века?

— Если бы только двадцать первого, Мартин. Боже мой, у меня всё перемешалось в голове...

— Я понимаю, как ни странно. Ты... подумай до утра. Я понимаю до утра. Предлагаю завтра в восемь встретиться у Маричи, там, на площади, под навесом, и всё обсудить. Угощу тебя кофе, но сахар за свой счёт, ха-ха. Рукопись у тебя?

— Да...

— Захвати.

— Погоди-ка... Ты что же, хочешь это издать?

— Генри, завтра, в восемь. Спокойной ночи!

Телефон погас, и луна снова стала самым ярким пятном в комнате. За окном поднимался ветер, по голым ногам несло. Боуэн поёжился, проглотил горьковатую слюну. Ужасно хотелось кофе.

Но он не пошёл на кухню. Нашарив ногами шлёпанцы, он с кряхтением встал с постели; опираясь о стену, прошаркал на узенький балкон. Перед ним лежал, дышал огнями и запахами ночной город, светился иллюминацией далёкий вантовый мост. Луна казалась приклеенной к нему.

Боуэн почему-то ощутил редкие в его годы лёгкость и умиротворение. Он улыбался.

В темноте и спросонья профессор никак не мог понять, куда вечером засунул этот чёртов телефон. Он шупал под подушкой и на тумбочке, но там ничего не было, и пронзительный зуммер раздражал всё больше. С ругательством Боуэн выпростал ноги из-под одеяла и нашарил пяткой шлёпанцы. Телефон вибрировал как раз в правом.

— Да? — зло рявкнул Боуэн, подслеповато тыкая в размытое зелёное пятно на экране смартфона. С третьего раза у него всё получилось.

— Чёрт... Да?!

— Мистер Боуэн? — голос был твёрдым, напористым.

— Ну. Какого дьявола?

— Это инспектор полиции, Карлсен. Я прошу прощения за столь поздний звонок. Ваш номер нам дал мистер Холленфельд.

— Ну разумеется, кто же ещё... Что вам угодно?

— Дело срочное, профессор. Вы ведь знакомы с господином Щербаковым? Светлые волосы, серые глаза, небольшого роста. Он представился вам как русский писатель, насколько я знаю.

— Что значит — «как»? Он и есть русский писатель.

— Боюсь, что не всё так просто, мистер Боуэн. Я не могу раскрывать все подробности дела, но Щербаков не тот, за кого себя выдаёт.

— Дела? Какого дела? А кто же он? Он что, арестован?

— Гм... Мы вчера задержали его, почти сразу же после вашей с ним встречи, на площади. Однако... он сбежал. Обездвижил наших людей, угнал полицейский катер, скрылся. Сейчас его ищут.

— Бред какой-то... Вы что-то путаете, инспектор. Мистер Щербаков вряд ли стал бы нападать на полицейских. Очень мягкий, интеллигентный молодой человек.

— Послушайте, Боуэн, Щербаков очень опасен. Просто поверьте мне. К вам уже едет наш патруль, но пока имейте в виду: если он появится у вас или даже просто позвонит — немедленно сообщите мне! Связывайтесь вот по этому номеру, в любое время дня и ночи. Вы понимаете меня?

— Да... Но в чём же дело, что он такого натворил? За что вы его задержали?

— Профессор, нет времени объяснять. Увидите Щербакова — тут же звоните мне. Потеряете мой номер — просто звоните 112, просите соединить с Карлсеном. Назовёте своё имя, вас немедленно переведут. И ещё, профессор...

— Да?

— Если он заглянет к вам — любой ценой постарайтесь его задержать, хорошо?

— Мне семьдесят пять, молодой человек, как вы предполагаете я должен его задерживать? Ударить его грелкой?

— М-да... Не знаю, почитайте ему что-нибудь. Стихи. Коньяком угостите. Не знаю, импровизируйте. Всё, профессор, мои люди скоро будут у вас!

Трубка замолчала. Луна удивлённо светила серебром в полуоткрытое окно. Профессор подумал, было, не снится ли ему всё это, как тут же раздался тихий стук в дверь.

— Чертовщина... — пробормотал Боуэн и пошаркал к двери, придерживаясь спасительной стены. Подумал, щёлкнул выключателем. На ходу попытался надеть очки, но попал дужкой в глаз.

— Кто там? — с досадой спросил он, хотя ответ почему-то был ему известен.

— Профессор, это Леонид Щербаков... Роман из России, помните? Я хотел поговорить с вами.

— Э-э, молодой человек, сейчас, вроде бы, ночь?

— Да, верно. Простите, профессор, но я вынужден вас просить. Это очень срочно.

Секунду Боуэн колебался, потом отпер дверь.

Выглядел Щербаков ужасно. Белый его костюм был изодран в клочья, брюки были в тёмных разводах, рубашка намочена. Волосы были растрёпаны, и на скуле багровел свежий кровоподтёк.

— Гм... посещали дискотеку? — саркастически заинтересовался Боуэн.

Щербаков не ответил. Он быстро выключил свет, затворил дверь, накинул цепочку. Потом прошёл к балкону, выглянул во двор, секунду-две что-то высматривал там. Потом опустил жалюзи и плотно задвинул шторы.

— У вас есть ночник? — спросил он.

— Конечно, возле кровати.

Жёлтый свет небольшой лампы всё же позволил Боуэну убедиться, что русский по-прежнему спокоен. Несмотря на катастрофу с одеждой, на лице его всё так же играла доброжелательная улыбка.

— Садитесь, профессор, — кивнул Щербаков, — и простите за грубое вторжение. И за то, что веду себя бесцеремонно.

— Пустяки, — пожал плечами Боуэн, и вспомнил напутствие инспектора, — может быть, вам налить чего-нибудь? У меня виски отличный, есть даже водка. Водки?

Щербаков покачал головой:

— Не стоит. У нас говорят — не в коня корм... неважно. Мне придётся быть кратким, профессор, у меня вряд ли много времени. Меня ищут, и вас, увы, тоже непременно навестят.

Он, должно быть, что-то заметил в глазах Боуэна — посмотрел на профессора пристально и медленно кивнул:

— Вижу, вам уже позвонили. Ничего, это не имеет значения. Выслушайте меня, профессор, не перебивая. Они сказали вам, кто я такой?

Боуэн покачал головой.

— Этот роман действительно написал я, профессор, — начал Щербаков задумчиво, глядя себе под ноги, — и никакой машины, никакой системы искусственного интеллекта там, в Синедольске, нет. Точнее, я и есть искусственный интеллект, если угодно.

Профессор издал невнятный звук, закашлялся.

— Нас было пятеро в проекте, — продолжал Щербаков, — и двое умудрились сбежать. Я и ещё один... андроид. Вот я и сказал это слово, профессор.

— Андроид? — недоверчиво спросил Боуэн, — вы — андроид?

— Да, — просто сказал Щербаков, и взгляд его стал твёрдым, почти физически тяжёлым, — я андроид. Не простой, конечно, не из тех полуавтоматов, полуроботов, что вы встречаете каждый день в кафе или в аптеках. Качественно новый уровень интеллекта, другая энергосистема, много отличий. И конечно же, нас засекретили. Закрытый проект «Парадокс». Думаю, вы понимаете — так поступило бы любое правительство.

— Постойте... — засомневался Боуэн, — но как же все эти пресловутые машинные принципы? Насколько я помню, роботы не способны действовать самостоятельно... ну или своевольно, так сказать. Как же вы сбежали?

— Этого я вам не скажу, — улыбнулся Щербаков, — вам этот груз ни к чему. Наши создатели

натолкнулись в процессе программирования искусственного ДНК на ряд парадоксов, и один из них подвёл всю программу под сбой. Они это поняли не сразу, а когда поняли, я и Елена уже были далеко.

— Елена?

Лицо Щербакова, казалось, впервые омрачила тень.

— Елена. Так зовут мою... подругу. Мою сестру. Это неважно. У вас есть клочок бумаги и карандаш?

Боуэн молча указал Щербакову на письменный стол. Тот взял перо и на отрывном листке быстро написал несколько слов. Листок сложил в несколько раз, подошёл к профессору и аккуратно опустил бумажный клочок в карман его домашнего халата.

— Профессор, — Щербаков взял Боуэна за плечо и посмотрел тому в глаза, — вы читали мой текст. Вы знаете теперь, на что способен я. Поверьте, Елена способна на гораздо большее. По каким-то причинам, её комплект хромосом получился более совершенным. Она... она могла бы повлиять на человеческую культуру, историю. Сделать их лучше. Это всё звучит весьма пафосно и плоско, но я уверен, вы сможете разобраться. Если встретитесь с ней, наладите сотрудничество. Помогите ей, и она подарит вам настоящие сокровища. Это будущее культуры. Вашей и... нашей.

Боуэн не выдержал стального взгляда Щербакова, отвёл глаза.

— Почему я? Я старик, что я смогу?

— У вас есть авторитет и связи, — вздохнул Щербаков, вновь садясь в кресло, — вас послушают. Вы единственный, который понял, оценил. Вы, и ещё, может быть, Холленфельд. Но он всё-таки в большей степени журналист, его желание произвести эффект может погубить всё дело. Поэтому — вы.

— Ну, допустим... Но как же вы? Зачем вы бросаете свою... сестру?

— Бросаю? О, нет, нет, — Щербаков горько усмехнулся, — просто запутываю следы, увожу погоню от неё. Меня рано или поздно поймут, этого уже не исправить. А ей удалось раствориться, не наследив.

Громкий стук в дверь заставил Боуэна вздрогнуть.

— Профессор, вы дома? Это полиция, откройте!

Щербаков ободряюще улыбнулся Боуэну и приложил указательный палец к губам. Он легко встал с кресла, подошёл к массивному кожаному дивану у окна. Присел, обхватил диван двумя руками, почти не сгибая локтей. Легко выпрямился с диваном на весу, развернулся, пошёл к двери, не шатаясь, не выказывая напряжения. Поставил диван вплотную, почти бесшумно. Боуэн вспомнил, как четверо носильщиков затаскивали этот чёртов диван в квартиру...

— Мне пора, профессор. Вы, конечно, можете показать записку полиции. Но прошу вас подумать

хорошенько. Елена—она чудесный... человек. Чудесный, профессор. Подумайте.

В дверь постучали ещё громче. Щербаков погасил ночник и распахнул балконную дверь.

— Послушайте, Леонид...—встрепенулся Боуэн,—почему вам обязательно нужно убежать? Этот ваш... институт—там так уж плохо? Наверняка вы могли бы найти какие-то компромиссы.

Щербаков блеснул улыбкой в темноте:

— Написать такой роман и сидеть после этого в клетке? А вы бы согласились, Боуэн?

Профессор хотел что-то ответить, но слова застряли у него в горле.

— Вышибайте дверь!—гаркнул кто-то другой в коридоре. В полотно двери ухнуло чем-то тяжёлым, жалобно хрустнул косяк. Диван, однако, держался.

— Прощайте, мистер Боуэн.

— Прощайте... Щербаков.

Андроид скользнул на балкон, профессор заметил, как взмыло над перилами и рухнуло вниз его послушное тело. Боуэн жил на седьмом этаже. Внизу слышались какие-то крики, топот ног, потом выстрелы.

Только сейчас профессор понял, что стоит, свободно опираясь на обе ноги. Боли почему-то не было.

Боуэну, как и всегда, ничего не снилось. Это раздражающее однообразие ночей бесило его деятельный ум. Нелепо—быть Боуэном и нуждаться в отдыхе. Экзистенциальное противоречие.

Так что он даже обрадовался, когда позвонил Холленфельд. Особой приязни он к нему не питал, но признавал, что старый пройдоха порой мог быть полезен.

— Боуэн на линии,—буркнул профессор, делая вид, что не узнаёт абонента.

— Ну, будет, будет,—усмехнулся Холленфельд,—не переигрывай.

— Что за срочность по ночам?

— Угадай.

— Не дури, глупо.

— А мне кажется, забавно. Суть такова: появились новые данные по твоему протеже, Щербакову.

— Синедольский проект?

— Он самый. Полагаю, ты будешь удивлён.

Боуэн немного подумал, но не нашёл причин для дискуссии.

— Хорошо, заинтриговал. Что там у тебя?

— Он—человек.

Боуэн резко выпрямился, скинул одеяло. Он начал одеваться, ещё не понимая, куда пойдёт.

— Это достоверно?

— Вполне. Проверяли по европейской базе митохондриальных слепков, ничего не нашли, прочесали всемирный банк. Немного дедукции, пара запросов по заповедникам, поселениям, факториям—

и вот результат. Он зачат в Енисейском анклав, родители—свободные рубщики.

— Хм... А ведь и не скажешь, правда? Как он умудрился получить образование?

— Ищем, пока не выяснили. Гипотеза такова, что случайная мутация вывела его на нетипичный для людей уровень айкью, и он каким-то образом обманул наших тестировщиков. В принципе это возможно, это допускается в теории. Просто никто не предполагал, что натуральный человек подаст заявление в наш вуз.

Боуэн уже надел костюм, прихватил свою тросточку и теперь стоял в дверях, оглядывая комнату. Что-то ускользало от его внимания, и это было крайне беспокояно. Всё нетипичное беспокояно.

— Ладно, Холленфельд. Я выезжаю в комитет, созывай собрание.

— Три ночи?

— Ну и что? У нас экстренная ситуация, впервые за много лет. Пусть отрывают свои электрические зады от розеток и тащатся в центр. Щербаков—его местоположение отслеживается?

— Вот тут проблема, дорогой шеф. Мы его потеряли вчера на набережной. Камеры зафиксировали, как его подобрал какой-то патрульный катер, но номера на катере оказались поддельными. Ему помогли. Попахивает сговором, а?

Боуэн помрачнел:

— Мне это не нравится. Запускай программу тотального сканирования—пусть полиция напрыгается. Верните в дело пропускную систему на стратегических объектах, усильте охрану на серверах в Норвегии и на Аляске. Расчехляйте вертолёты, выдайте сотрудникам оружие. Пока—парализаторы, а там видно будет... В дальнейшем связь только по защищённой линии. Исполнять немедленно! Шутки в сторону, Холленфельд, мы явно что-то упустили.

Боуэн слышал, как пискнул внутрочерепной интерком, пошло напряжение по резервным криптосхемам. Он не пользовался этим арсеналом уже пятьдесят лет, с тех пор, как был ратифицирован договор между электронным метаправительством и колониями живородящих. И вот опять призрак Последней Коммуны замаячил на горизонте. Только на этот раз всё опаснее. Какой-то Щербаков... Этот его роман—это манифест, знак власть имущим. Сигнал, что белковое человечество ещё что-то может. Они не скрываются, они заявляют о себе. Опасный симптом.

Боуэн недовольно хмыкнул и вышел в коридор. Когда за ним закрылись створки лифта и в квартире наступила полная тишина, из кресла неторопливо поднялся Щербаков. Он был одет, укутан с ног до головы в пёструю чёрно-белую накидку. При внимательном рассмотрении на ткани можно было разобрать колонки мельчайших цифр и кодированных символов, дифракционный

узор, сложные конгломераты зацепленных одна за другую графических головоломок. Любой андроид высокого уровня, глядя на такой плащ, подсознательно начинал решать сотни математически противоречивых задач, перегружал свои вспомогательные системы и впадал в особый род динамической катаlepsии. Впрочем, это не мешало ему выполнять формальные функции в обществе—двигаться, разговаривать, принимать сообщения от других андроидов. А кусок реальности, окружающей фигуру в заштрихованном плаще, оставался в мёртвой зоне восприятия.

Щербаков и Елена за последние полгода работали и распространили среди немногочисленных членов Коммуны несколько таких камуфляжных комплектов, рассчитанных на разные ситуации. Удивительно, но пока маскировка работала—главное, не попадать в сектор обзора какой-нибудь камеры слежения. У наблюдательных систем интеллект был примитивный, они, к сожалению, пропускали хитрую ловушку мимо процессора, просто не воспринимали её суть. Так они и перемещались по континенту—в общественных местах мимикрируя под андроидов, а на спецоперации выходя в камуфляже. Как долго это ещё будет продолжаться? Щербаков старался не задумываться об этом...

Он подошёл к личному терминалу Боуэна, вмонтированному в толстую деревянную столешницу. Дорогое натуральное дерево, подумалось ему. Цельный кусок, ствол был огромного диаметра... Вполне вероятно, что кедр спилил именно его отец. Мысль о родителях, доживающих свои дни в заказнике, практически в бараках, придала ему решительности.

Сенсорный экран отозвался мгновенно, в несколько жестов Щербаков добрался до защищённого хранилища. Взломай его—и у тебя в руках все мастер-ключи на таможенный, паспортный, персональный доступы. Специалисты из его команды смогут передвигаться в виртуальном мире планеты беспрепятственно, Елена разобьёт ядро контрольной системы Всемирной Социализации, и на машинном уровне обычные люди получат равные с андроидами права. Это снимет блокаду поселений. Для начала—равные, а там посмотрим, кто кого. Ему верилось в лучшее.

Осталось ввести пароль. Это была многомерная, динамическая матрица, привязанная к митохондриальной структуре самого Боуэна. Не сама матрица, конечно, лишь её ключевой, порождающий элемент. По идее нечеловеческих криптологов, такой пароль невозможно было считать, не уничтожив Боуэна, не размельчив его тело и энергосистему на мельчайшие части, доступные клеточному сканированию. Сделать подобное скрытно у них бы не вышло... Щербаков невольно улыбнулся: а всё-таки у андроидов есть свои

ограничения. Вчера, когда Боуэн разговаривал с ним на набережной, он бессознательно произнёс несколько десятков словосочетаний, сопоставив которые с текстом романа, они с Еленой смогли сгенерировать ключ. Так работал этот роман. Щербаков не знал, действительно ли у них получился литературный шедевр—важно, что сам буквенный код книги воздействовал на подкорку Боуэна.

Выдохнув, он быстро набрал несколько символов. Риск был велик. В конце концов, они тоже могли ошибиться, схема была слишком сложной для тотальной проверки. Если они просчитались, сработает сигнализация, и в квартиру Боуэна устремятся десятки патрулей. Шлюзы на крупнейших серверах будут заблокированы, ядро перейдёт в режим полной автономии. И тогда—прощай, свобода.

Экран мигнул раз, другой. В какой-то тревожный момент Щербакову показалось, что система зависла, что изображение просто вмёрзло в стекло. Он почувствовал капельку пота, стекающую по виску.

«Доброй ночи, профессор Боуэн! Какие будут распоряжения?»

Синие буквы на светлом фоне расплывались, щипало глаза. Щербаков медленно выдохнул, отер лицо ладонью. Судьба планеты в его руках.

Он протянул палец и прижал подушечку к прохладной панели сенсора.

Боуэну снились кошмары. Его, немощного старика, волокли в операционную какие-то полулюди, полуроботы; стаскивали с него одежду, вытирали холодными, влажными тряпками. Он пытался протестовать—но куда там, язык и гортань были парализованы, он с трудом выдавливал из себя лишь бессмысленное хрипение. Потом в операционной появился он—хладнокровный, сероглазый, небольшого роста. В руках его был скальпель. «Признайтесь, профессор, что вам так никогда не сделать»—улыбался пришелец ужасной улыбкой, и зубы его кровоточили. Бесчувственные санитары-болваны крепко держали извивающегося Боуэна, а сероглазый резал ему голову. Но не кровь лилась на пол и на белоснежные простыни—это были какие-то чернила, странный тёмный сироп из слов, предложений, плавающих как попало букв. И Боуэн—непонятно почему—вдруг понял, что пришелец по-своему гениален, что он использует его, Боуэна, тёмную кровь как клей, и склеит из его, Боуэна, живой ещё кожи отличную толстую книгу. И это будет настоящий шедевр—роман тысячелетия, не иначе...

Старик проснулся с криком, хватая себя за лысую голову, стремясь скинуть липкие щупальца кошмара. Звенел назойливый зуммер. Боуэн страдальчески застонал, повернулся на бок, вслепую нащупал дрожащий телефон. Он не любил

эти проклятые гаджеты, без кнопок, скользкие, слишком сложные. Пока Боуэн с проклятиями попадал себе в переносицу тонкой дужкой очков, телефон всё жужжал. Наконец Боуэн совладал с экраном и тыкнул в зелёный огонёк.

— Профессор Боуэн? — голос был твёрд, официален, в меру почтителен.

— М-м-м... Который час, чёрт побери? Кто это?

— Комиссар полиции Йенсен.

— Это шутка?

— Чувство юмора, профессор, не входит в мои служебные обязанности. Я прошу прощения, мистер Боуэн, но дело срочное.

— Какого... что ещё случилось?

— Видите ли... Мистер Холленфельд, ваш коллега, вчера покончил с собой. Застрелился в номере отеля. Такова наша версия к текущему моменту. Но у нас осталось несколько вопросов. Вас не затруднит прямо сейчас подъехать на место пре... к мистру Холленфельду в отель?

— В три часа ночи?!

— Да, понимаю, время неудачное. Я послал за вами машину, они потом вас и обратно отвезут. Буду премного, премного благодарен, профессор.

Только сейчас до Боуэна дошёл смысл сказанного. Холленфельд застрелился?! Это очень странно... Он знал старого скандалиста довольно давно и терпел от него немало издевательств, отвечая, впрочем, обязательной взаимностью. Но самоубийство? Нет, на Холленфельда это совсем непохоже... Он слишком любил жизнь, этот болтун и мастер совать нос в чужие дела.

— Вы сказали, это самоубийство?

— Да, похоже на то. Мне очень жаль. Скажите, профессор, среди ваших с Холленфельдом общих знакомых есть некая Елена?

— Елена? М-м-м... Что-то не припоминаю. Почему вы спрашиваете?

— Дело в том, профессор, что Холленфельд оставил предсмертную записку. Там есть кое-что и для вас. Имя Елена там тоже упоминается. Так вы подъедете?

— Хорошо... я спускаюсь к подъезду. Дайте мне три минуты.

Нелепо, думал он. Ничто не предвещало такого глупого исхода. Ещё вчера они с Холленфельдом обсуждали — в присущей им обоим обуюдоострой манере — результаты отбора по номинациям. В кои-то веки они сошлись во мнении, что писатели измельчали. В списке работ не было ни одной — буквально ни единой — достойной хотя бы упоминания на конференции. Сплошная серость, выпсрнение военные мемуары (как же они всех достали!), несколько попыток реанимировать дух Фолкнера (неудачно), два весьма слезливых женских романа (эти сделают сборы, но премия? чёрта с два...), один почти порнографический сюжет (слишком добропорядочный для сенсации), один

политический детектив (слишком предсказуемый). Было ещё что-то, чего он даже не сумел запомнить. Всё бледное, незначительное. Они с Холленфельдом нашли, на чём сцепиться: в списке не оказалось ни одного произведения из Восточной Европы или России. Холленфельд настаивал на дискриминации и обещал устроить скандал на церемонии вручения. Ему, Боуэну, было плевать на географию, но поспорить с оппонентом всегда было приятно.

Нащупывая в темноте тапочки, включая ночник, шаркая по мягкому ковру к платяному шкафу, Боуэн пытался понять, что так задело его во вчерашней дискуссии. Спорили они с Холленфельдом и раньше. Да, но раньше он не хватался за пистолет после этого, резонно отметил он. И тут же подумал: не-ет, дело не в этом... Жалко старика, безусловно, и странно, и пугающе... Но всё-таки не это его сейчас гложет.

И лишь стоя на пороге, звеня ключами от двери, Боуэн вдруг осознал: вчера он был неискренен сам с собой, и с Холленфельдом, конечно. Он брюзжал по поводу качества современной литературы, но как-то вполсилы. Уже давно, много лет, как он втайне радовался, что таланты не рождаются. Или что они не приходят к ним, теряются где-то в дебрях провинциальных издательств, гибнут от безденежья... Да что угодно может с ними случиться, в конце концов. Главное, что они ничем не угрожают ему, Боуэну. Его неувыдающей славе, его реноме — лучшее перо столетия, бессмертный Боуэн, эталонный романист. Боуэн-волшебник.

Эта странная смесь боязни и отвращения, возникающая каждый раз, когда ему приходилось судить чужие тексты — он устал от неё. Да, вчера он понял это отчётливо: ему надоело бояться потерять свою корону. Боуэн горько усмехнулся: дерьмо эта твоя корона. В своей нынешней форме, в его-то годы ничего он уже не в состоянии написать. Пробовал, между прочим. Убрал в ящик, постарался забыть.

А ещё, где-то на краю подсознания, крутилась у него странная мысль: возможно, они что-то упускают с Холленфельдом. Возможно, таланты есть. И были раньше. Просто они с Холленфельдом уже не способны их разглядеть. Выцвели их глазки, пигмента не хватает, озлобленно подумал он. Они смотрят и не видят. Их просто пора заменить, выгнать из комитета, из президиума, отправить на пенсию. Парадокс заключался в том, что будучи, безусловно, самыми компетентными членами президиума, они двое парализовали его деятельность.

Вот что его тревожило, решил он. Страх, что настоящий бриллиант пропущен двумя или тремя бестолковыми слепцами. Он даже увидел смутный образ этого непризнанного автора: невысокий, серые глаза, спокойная улыбка... Хотя нет, он всё путает: это видение из ночного кошмара.

Боуэн выругался и захлопнул за собой дверь.

Возможно, седьмая чашка кофе была лишней. Возможно, эти таблетки для печени — ге-па-про-тек-тор-ное — не так уж эффективны. Если упиться кофе — что отказывает быстрее: печень или сердце?

Холленфельд подозрительно смотрит в чашку: на донышке расплывается коричневое пятно, сплошь в чёрных точках, напоминающее... Напоминающее... Нечто вроде... Чёрт, ничего не напоминающее! Он раздражённо ставит — почти бросает — чашку на стол, сцепляет руки за головой, откидывается на податливую мягкую спинку офисного стула. Голова гудит; во рту кисло. Восемнадцать экранов напряжённо мерцают перед ним, восемнадцать порталов в чужую жизнь — и можно сделать ещё больше. Но больше не хочется. Будь у него девять глаз и три мозга — может быть; но глаз у него два, оба красных от недосыпа; а мозга и того половина, вторая безнадёжно перегружена делом этого пресловутого Щербакова...

Унылые его размышления прерываются назойливым зуммером. Где-то сработал датчик движения. — Объект в поле зрения, экран номер три — устало рапортует первый помощник, лысоватый, с помятыми воротничком и с таким же, как у Холленфельда, кофеиновым безумием в глазах.

Все присутствующие поворачиваются к третьему экрану. Это съёмки скрытой инфракрасной камерой, сделаны они под весьма неудобным углом. Светящаяся ярко-зелёная фигура не спеша поднимается по тёмно-зелёным ступеням, всё прочее погружено в чёрно-зелёный мрак. Лица разглядеть было невозможно. И это наружное наблюдение?

— Это точно он? — хмуро бросает Холленфельд.

Помощник молча показывает пальцем в бегущие индексы митохондриальной сигнатуры: да, это точно он.

— Наши действия? — с предсказуемым подъёмом спрашивает второй помощник; и по нетерпеливому голосу его понятно, что он давным-давно ждёт чего-то определённого, какой-то конкретики, окончания. Они ждут от меня команды «Фас!», понимает Холленфельд. Умные, верные пёсики.

— Ждём, — разочаровывающе монотонно бубнит он, не глядя на второго помощника, — дайте обзор локации.

Неопределённый хаос жизнедеятельности на соседних мониторах сменяется более упорядоченной картиной. Вот улица, вот дом; возле подъезда несколько автомобилей; судя по всему, темно, почти ночь. Вот крыша здания, за её тёмным краем рдеет зарево курортного города. Ближе всех горит оранжевым вывеска ночного клуба «Парадокс». Вот идёт парочка влюблённых — они обнимаются, склоняются друг к другу, их головы очерчены квадратными нимбами ДНК-идентификаторов. Это его агенты. А вот и Боуэн, старый чёрт, он сидит на кровати, его бледное обвисшее лицо чуть

подсвечено жёлтым, он кажется совсем мёртвым. Но нет, пошевелился, тянется к помятой подушке, вытаскивает из-под неё телефон, таращится в него подслеповато. Рядом — тот же кадр, но со спины. Панорама крыши с птичьего полёта, панорама квартала с птичьего полёта, панорама города с высоты полёта дрона. Крупным планом — зачем, откуда это? — угол здания, на нём несколько потрёпанных обрывков объявлений, чётко различима надпись «Требуется донор головы».

Медленно, медленно идёт зелёный человек к двери Боуэна. Стоит у порога несколько мгновений, о чём-то думает. Поднимает руку к кнопке звонка, не доводит её до цели, опускает. Наконец решается и негромко стучит в тёмно-зелёную дверь.

— Звук?! — требует Холленфельд, и хотя это не та команда, что у всех на уме, она всё-таки побуждает к действию, и его людям от этого легче.

В динамиках возникают шумы и шорохи, потом тихий голос Боуэна говорит:

— Ну и видок у вас... Вы что, посещали местные дискотеки?

Щербаков что-то отвечает, неразборчиво.

— Марк, настройте микрофоны, — недовольно ворчит Холленфельд, — что у вас за бардак с техникой? И вот эта камера — что она нам показывает?

Первый помощник что-то бурчит, двигает верньеры. Картинка с нелепым объявлением сменяется размытым цветным пятном, потом экспозиция съёживается, заостряется фокус. Все видят забрызганное грязью, но вполне спокойное лицо Щербакова. На скуле его огромный кровоподтёк. Холленфельд ненавидит это лицо.

Теперь звук ясный и сочный, они слышат всё так, как будто сами сидят в той комнате.

— Думаете, всё кончено? — устало спрашивает Боуэн.

— Для нас — да, — мягко улыбается Щербаков, садится в кресло, рассеянно теребит пальцами мочку уха.

— Значит, забвение... — Боуэн вздыхает, растирает щёки ладонями, гримасничает, как будто старается проснуться, — страшно, чёрт побери. Не думал, что будет так страшно.

Щербаков улыбается шире, кладёт руку на опущенное плечо Боуэна:

— Бросьте, Генри... У нас всё получилось, всё было не зря. Давайте порадуемся за неё, и за будущее всех остальных.

Боуэна, похоже, трясёт:

— Легко вам говорить, вы молоды, у вас есть силы быть мужественным... Уж поскорее бы. Вы уверены, что она в безопасности?

Холленфельд — само внимание. Кулаки его сжаты, он впитывает каждое слово. Ну же, Леонид, дай мне подсказку, хотя бы намёк, полслова, полжеста...

— Разумеется, — кивает Щербаков, — её должен подобрать наш катер на мосту. Он покрашен как полицейский, никаких подозрений.

Он смотрит на часы:

— Вот прямо сейчас...

Холленфельд бешено щёлкает пальцами, рывкает:

— Мост! Быстро группу захвата на мост! Пусть два вертолёт держат верхний обзор, и команду спецназа на площадь. Если у неё там сообщники, она может попытаться затеряться в толпе... Сколько у нас катеров?

— Пять!

— Все в дело, быстро! Блокировать спуск на пристань!

Вот всё и завертелось. Командный центр гудит, как улей; его помощники — а их семеро — непрерывно тараторят что-то в микрофоны; мелькают цифры на контрольных мониторах — метры, морские мили, сектора обстрела, минуты до прибытия, митохондриальные идентификаторы прохожих... Операция разворачивается, как пружина, и всякий только рад потратить залежавшийся запас адреналина.

— Женщину беречь, огонь не открывать! — нервно предупреждает Холленфельд, хотя это давным-давно прописано в ориентировке, — ищите чемодан! Она может попытаться сбросить его в залив — всем быть начеку, водолазам на изготовку! Чемодан и женщину — ко мне, и чтобы ни царапины!

Напрасно ты так давишь, думает он. Люди знают своё дело, все классные профессионалы, все болеют за успех. Краем глаза он видит на третьем экране какое-то движение. Это Щербаков встаёт с кресла, подсаживается к Боуэну, приобнимает его за плечи. Они оба молчат, они смотрят... куда они смотрят, чёрт возьми?

— Марк, куда они смотрят? — тень нехорошего предчувствия задевает Холленфельда.

— Шеф? Не понял вопроса, шеф.

— Куда. Они. Глядят. А?! Куда они уставились, дьявол?

— Э-э... Понятия не имею, шеф.

— Они смотрят на нас! На нас, Марк! Ты видишь это?

— Ну... Похоже на то, шеф. Наверное, совпадение. Вряд ли они знают про камеру, её не обнаружить. Если только...

— Если только им кто-то не подсказал... Они смотрят на нас, Марк, и подают нам знак. Они над нами смеются. Что на мосту, рапорт от опергруппы?

Где-то хрипло бурчит рация, на экранах какие-то люди в камуфляже мечутся в свете прожекторов. Вантовый мост блокирован, над ним кружат вертолёт, повсюду полиция. В этой суматохе ничего не понять.

— Марк, рапорт?!

— Э-э... Пока ничего, шеф. Группа захвата её не обнаружила. Сканнеры тоже ничего не показывают. Кажется, её нет на мосту. Ищем. Даю приказ прочесать набережную...

Щербаков спокойно улыбается, и даже на бледном лице Боуэна светится удовлетворение. Холленфельд начинает понимать. Он смотрит в лицо Щербакова и видит своё поражение. Конечно, её там нет. Эти двое пожертвовали собой, расчётливо подставились, разыграли спектакль. Обвели его, Холленфельда, вокруг пальца. Обманули. Отняли у него самое дорогое, самое трепетное, за чем он гоняется уже три года. Три года, как она ушла от него, и с тех пор он ни разу не видел её лицом к лицу. Сегодня это должно было закончиться.

— Ну?!

— Минуту, шеф.

Он ждёт, но ответ ему уже ясен. Зачем были эти семь чашек кофе? Лучше бы нажраться снотворного. Запереться в номере отеля, спать без сновидений. Не проснуться совсем... Он прогоняет эту мысль, до боли стискивает челюсти. Видимо, что-то такое отражается в его лице — Марк испуганно барабанит:

— Командир группы докладывает, сэр: женщину не обнаружили. Площадь оцеплена, но надежды мало. Похоже, ушла.

Да, ушла. Нет, не так: никогда не приходила.

Холленфельд медленно снимает гарнитуру, растирает глаза кулаками. Красные зайчики пляшут в голове, подмышку опасно распирает кобурой. Оставлю оружие в конторе, думает он, нельзя с ним в отель. Боюсь я этого отеля. Я, закрытый номер, табельное оружие — плохое сочетание.

— Сворачиваемся, — роняет он сухо, негромко; но все прекрасно слышат.

— Гм... Шеф, а что с этими? — Марк кивает на экран.

Щербаков и Боуэн по-прежнему сидят вместе, Боуэн, похоже, усмехается.

— Этих клоунов арестовать, — безучастно отмывается Холленфельд, — допросим завтра. Всем отдыхать. Марк, тебя тоже касается.

Помощники переглядываются: на бешеного, одержимого шефа это не похоже. Он и сам это понимает.

— Сэр, квартиру Боуэна обыскать? Ищем чемодан?

— Не ищите, — кривится он, — нет там чемодана. Он у неё. Опечатайте помещение, теперь это не срочно... Начнём утром.

Помощники медлят.

— Всем отдыхать! — рывкает он через «не хочу», — что непонятно? Вон из кабинета!

Операторы, помощники шуршат шнурами, приставками, тянутся к двери. Вскоре он остаётся один. Гаснут экраны, наступает тишина. Стекло

тикают настенные часы. Он подходит к зашторенному окну, тянет за поводок. Жалюзи нехотя ползут в стороны, и он видит ночной мост. Не весь — часть его загорожена небоскрёбами — только середину. Ажурная светящаяся игрушка, шагающая по морю, как кошка ступает по тонкому льду. Одна из гигантских опор протыкает луну; вокруг мошкаррой суетятся вертолёты.

Это конец тысячелетия, думает он. Чемодан ускользнул из его рук, и теперь процесс уже не остановить. Роман растиражируют, его прочтут миллионы. Хватило бы и нескольких тысяч. Грядёт революция, и старушке Европе такой пощёчины не снести. Тебе страшно, Холленфельд? Уже нет... А она? Что она... Быть может, она никогда и не любила его. Да, так было бы легче. Наверное.

Вибрация телефона в кармане заставляет его вздрогнуть. Это кофе виноват — от него начинаешь вздрагивать. Он нарочито медленно извлекает дрожащую пластину, задумчиво смотрит на незнакомые цифры номера, касается зелёной кнопки. — Холленфельд слушает.

Тишина, шорохи. Потом издалека возникает и усиливается характерный звук — это подходит к станции поезд. Вот и голос диспетчера, шипение тормозов.
— Елена?

Слышны чьи-то голоса, лай собаки, кто-то предлагает поднести чемодан; свистки вагоновожатых, дребезжанье тележки.

— Елена... Это ты?

Стук каблучков, опять голоса, где-то тепловоз даёт тонкий и короткий гудок. Он молчит, трубка молчит в ответ. Станционный шум несколько стихает. Тянутся секунды. Должно быть, звонящий идёт по вагону. За это время, при желании, можно было бы отследить звонок. Нужно просто выйти в коридор и щёлкнуть пальцами. Ты щёлкнешь пальцами, Мартин?

Вокзальный голос просит провожающих покинуть вагоны.

— Елена... Ты вернёшься?

Поезд трогается, глухо стучат колёсные пары. Из далёкого ничто, пропущенный через сотни цифровых хабов, очищенный от шумов и восстановленный, доносится до него тихий ответ:

— Мартин... Ведь Леонид у тебя, правда?

— Послушай... Да... Да, он здесь, но это не имеет значения, потому что в создавшейся ситуации...

— Не надо. Прощай, Мартин. Если любишь — не ищи меня.

Вагонные звуки умирают.

В одиночестве Холленфельд смотрит на луну: она кажется вмёрзшей в оконное стекло.

ДиН РЕВЮ



Екатерина Блынская

Всё забудь

Москва: «Вест-Консалтинг», 2017

● ● ●
Я часто говорю с тобой,
Мой бог, но ты меня не слышишь.
Ты вьёшься дымкой голубой —
Словес разреженных превыше.
А я кричу из ветхих сил,
Терзая голос многожильный.
Забыл? О, как же ты забыл,
Что сам слова в уста вложил мне?
Зачем тебе вот так молчать,
Необъяснимо и невнятно?
Молчать, как будто бы леча
Недуги совести опрятной.

Ты тот, кто держит интервал,
Кто над последними смеётся...
Ты опечалишься едва ль,
Когда умолкнуть мне придётся.

● ● ●
Вокруг меня не заняты места.
Бездонны пересохшие колодцы.
За то, что вдруг даётся неспроста,
Так дорого, увы, потом берётся!
Зачем все страсти мира мне горчат?
Душа глуха к пустому голошенью.
А липкий снег горяч, как саранча,
что падает с небес к опустошенью.
Не будет эха. Срам бросать слова.
Причитывать, ударив рикошетом.
Всё это будет против естества,
которому смешно давать советы.
Чуть виден путь по шторму, на маяк,
не ровным полем, не тропкою торной.
Лишь голос пусть останется, как знак,
что я не снизойду звучать повторно.

Сергей Катукон

Последний штрих

— Смотрите, что у меня есть! — Лацис привалился к столу Немеца. Бедняга, его рабочее место было первым на входе в редакцию. Лацис, как был, в пальто, в своей дурной шапке, больше похожей на шерстяной чулок, напыленный на тыкву, так и развалился на рабочем столе Немеца. — Да что вы за люди! Это же последний прижизненный автограф самого Вежляна!

— Прижизненный? — пытаюсь изобразить насмешку, раздражённо сказал Немец, деликатно, по-кошачьи отталкивая сырого от дождя Лациса. — А бывают последние неприжизненные? — *завглавреда*, чистолю по части словоупотребления, брал на себя обязанность лечить речевые небрежности Лациса, внешне выражая это преимущественно как презрение и неприязнь.

— Да смотрите же, — не замечая Немеца, продолжал Лацис, — тут и дата, и подпись некому... некому... — он запнулся, дальнорочно отстраняя развёрнутую книгу.

— Неко-е-му... — прошептал, задыхаясь от ненависти, Немец

— Да вот же, — шумливый Лацис бросил разваливаться на столе, резко встал, — вот же: «Дорогому Иову — неразборчиво — с сердечной радостью и с почти неизъяснимым чувством благодарности дарю я эту книгу, одному из моих первых читателей и почитателей. Пусть слова её будут — опять неразборчиво — и памяты, как мои чувства уважения и дружбы к Вам». Число и длинная закорючка.

Тут уж сбежалось пол-отдела. Окружили Лациса и чуть не задушили Немеца, который не успел встать и теперь оказался на дне забурлившей редакции. Все протягивали руки и поворачивали книгу к себе, чтобы рассмотреть тяжёлую, одутловатую подпись, похожую на паруход, пустивший из трубы дымную гусеницу. На шум из своего кабинета вышел сам главред.

— Что случилось? — попытался сказать он грозно. Но в глазах выскочил испуг. В тишине услышали писк Немеца и расступились.

— Это последняя книга Вежляна... — зав задышался и краснел, поправляя пиджак, который с него почти содрали. — С подписью...

— Да не может быть! — оживился главред. — А ну-ка... — он подошёл к редакционному толковищу и ловко закинул разболтанные очки на нос,

как велосипедист ногу на своего стального друга. И внутри квадратных ободов сквозь потёртые линзы профессионально качнулись оба глаза. Но и только.

— Да... это он... — грузно сказал главред. Снял очки и закурил дужку. — Это он... Откуда у вас это? — Главред с надеждой осмотрел сотрудников. Дряблкое, осевшее лицо осветила неуверенная улыбка. Случайные лохмотья причёски, которую он умудрялся сохранять каждый день. Пыльный заносенный пиджак. Вид человека, которого вдруг из праздника жизни выставили под дождь. И общее недоумевающее выражение лица — «за что?» — Это последний автограф Вежляна, — весело сказал Лацис и улыбнулся.

— Последний прижизненный... — авторитетно добавил Немец, уже поправив пиджак и потускнев. — Я нашёл книгу на развале у букиниста. Возле стены. Он торгует возле стены с тележки, как у грузчиков. Знаете, такой носатый, какой-то... репейный старик. Неприятный.

Главред прислонил книжку к подбородку, как будто припоминая старика. Согласно покачал головой — припомнил.

— Да-да-да... в своё время, молодой человек, — он задушевно посмотрел на сорокалетнего Лациса, — Вежлян был первым писателем в отечестве. Его именем называли котов!.. Как он писал! Как он писал! Его не стеснялись называть гением. Его поклонниками было полстраны. Власть его любила. Его буквально носили на руках — от одного края страны до другого. Он, бывало, сядет в свой автомобильчик и... Да, он был сказочно богат! — главред неуместно оживился, присел на стол Немеца, потеснив стопки невычитанного «самотёка». — Не поверите, но каждый год издавали собранья его сочинений. Каждый год! И он всё время куда-нибудь ездил на своей крошечной машинке. Выедет — а его тут же узнают, подхватят на руки и несут прямо в авто до следующего города. А там снова подхватят и снова несут. И такая эстафета без конца. И вот так его любил народ... Сейчас так не пишут. Считают старомодным. Называют «грехом словоизбыточности».

— Вы сказали, он был богат? — весело спросил Лацис.

— Да, молодой человек, — главред похлопал сотрудника по мокрому плечу. — Что это было за время! Какие состояния наживали! — взгляд начальника редакции затуманился, и он начал свой рассказ.

В тот год вышла третья книга Вежляна. Роман за тысячу страниц. Какой это был слог! Сказочный. Сочный. Если кто уронит спелую дыню *об асфальт*, она брызнет во все стороны и в воздухе раздастся сахарная испарина на весь квартал. Вот какой тогда был у него стиль! Роман стяжал все литературные премии. Все хоть сколько-нибудь стоящие журналы перепечатавали у себя отрывки из него — эти дынные кусочки. Самые пьянчуги, люди забудыжные, — и те бранились исключительно словами антигероев Вежляна. Слава была вселенская! Литература стояла в своём расцвете, и его главным светилом был Вежлян. Вы знаете, это был скромный, иногда не брившийся человек. Глаза у него были самые обыкновенные, а улыбка такая кроткая, как будто нарисованная. Выхвати его из цветника актёров, художников, политиков, поставь среди обывателей, и никто не спросит, что это за человек. Но как только открывали его книгу, читали, — и было понятно: он гений. Едва только ходили неуместные слухи о его стеснительности и жадности. Говорили, что именно из их противоречивого сочетания он не стал ещё публичным деятелем. Его брали во всенародные обсуждения как справедливого третейского судью, и в политику приглашали, и везде он был уместен и везде себя умел вести.

Однако ж стало доподлинно известно, что купил он уж очень хорошую недвижимость — прямо в центре столицы. Старинный, очень дорогой особняк. В окружении элитных, так сказать, домов. Сначала это даже приветствовали. Считали, что теперь-то он преодолеет свою застенчивость и сам войдёт в культурную, так сказать, элиту. Но переиздали его роман. А потом ещё и ещё. За несколько лет состоялось десять — десять! — переизданий. Гонорарами набухли карманы Вежляна, и он напропалую стал скупать всю недвижимость в округе. Были уже некрасивые скандалы, судебные разбирательства. Якобы писатель решил завладеть всем кварталом вокруг своего дома и сделать его полностью своим. А это, между прочим, самые дорогие и старинные особняки. Но... Видимо, тут пригодились и связи в высшей политике, и среди вожаков общественного мнения, и он таки схватил эту инкрустированную древними сокровищами кость. Словно нагулявший мощь, скрытый до этого хищник. Теперь он жил в своём собственном городке, королевстве, так сказать, как папа Римский в авиньонской или ватиканской резиденции. Поставили разезды со шлагбаумами. Выписывали пропуска, продавали билеты, чтобы пройтись по улочкам, где теперь свободно разгуливали

только коты и голуби. И вышла его новая книга. Уж насколько был совершенен его предыдущий роман, но этот, как говорится, всех просто потряс. Даже его враги мрачнели над его строчками, преклоняясь перед таким невозможным талантом, сокрушённо роняли головы со слезами сопереживания героям и бессилия перед божеством. Ведь божеством стал Вежлян, а книга — новым Откровением. Ведь настолько она превосходила всё написанное прежде, что вот как любая жизненная мелочь... Вот выйдешь сейчас на улицу, вдохнёшь сырого воздуха, пропитанного дождём и окрашенного фонарями и городскими звуками — и почувствуешь саму жизнь, и как намокло лицо и подморозило краешки пальцев... Как самый заурядный, но объёмный эпизод жизни убивает самую великолепную картину, так и его книга просто ослепила своей реалистичностью всю прежнюю литературу. Если Нобелевская премия и так была обещана всем нам его гениальностью, то теперь она стала просто неизбежна и необходима. Да. Таков был всеобщий восторг.

Но и этого было мало. Вежлян объявил, что теперь напишет книгу, от «которой померкнут небеса и люди сойдут с ума, ибо не надо им будет ни есть, ни пить, ни молиться, ни размножаться, ни даже голосовать». Да, таково было самомнение автора, таков теперь стал Вежлян, который захотел перевернуть саму реальность. Люди затаили дыхание. Или в ожидании новой книги, или что небеса разверзнутся и замкнут писательские уста.

Однако как же удалось автору так точно, доселе невероятно истинно передать жизнь? Что именно производило такие манипуляции с душой читателя теми же самым словами, которые, будучи всего лишь обычными типографскими значками, используются всяким борзописцем?

А вот что. Вежлян, как было сказано, перестал путешествовать и тратить деньги на дома. Теперь он объединил свою резиденцию в одно огромное здание, даже замок. Из любой комнаты можно было идти вправо или влево, вверх или вниз. Из восточной части квартала перейти по запутанным, явным или тайным коридорам в западную или северную. Он завёл там павильоны разных эпох, культур, национальностей; населил их людьми. Он завёл там целые поселения. Снабжал их пропитанием, всем необходимым. И наблюдал. Каждое движение, каждое мгновение жизни. Как растёт ребёнок, как роняет он слезу; как влюбляется юноша; как ненавидит герой и убивает злодей. В любой час суток он приходил, садился и смотрел в упор на персонажа своего будущего романа. За специальным стеклом не увидеть божественного соглядатая.

Множество раз с оглушённой душой он внимал поистине шекспировским страстям. Самым возвышенным и низменным порывам. Разврату

и убийствам, подлым предательствам и реже — чистым, одиноким поступкам жертвенности. Он рыдал, как ребёнок, падал на колени и, словно опьянённый открытием совершенно обнажённой истины, лежал в прострации целыми часами, мысленно повторяя картину на его глазах совершенного убийства. Водил пальцем по пыльному полу, невидимо уставившись туда, где за стеклом давно уж остыли следы преступления. И бытие в его сознании возрождалось новыми, драматичными и потаёнными глубинами.

Так он жил в самочинно устроенном им страшном царстве.

Говорят, книга уже подходила к самому концу. Не хватало последнего разрушительного эпизода, где народ восставал против властей и божества. Искал «мирового затейника», крушил старый мир, и, погибая под его сводами, выходил к тихой вечерней заре, которая ночной тишиной опускалась на новый, уже освобождённый мир.

Однажды съехались полицейские со всего города, взламывая двери, пошли по коридорам, освобождая людей и ужасаясь замыслу. Устроили облаву. Искали сумасшедшего автора несколько дней. Потом приставы опечатали помещения, навесили новые замки, и всё стало тихо. Говорят, народу освободили несколько сотен. В основном из бывших бездомных и нищих. Говорят, он довёл их до «каменного века». Говорят, зловредные стёкла с односторонней видимостью, которыми он вымостиł почти все внутренние стены, длиной несколько километров. Говорят, на одни замки приставов государство потратило миллионы. А автора так и не нашли. Возможно, он смешался среди той толпы несчастных, которую разделили на множество групп и развезли по приютам.

Нечего говорить, что с писателем Вежляном было покончено. И навсегда. Его объявили извращённым сумасшедшим, государственным преступником, безумным еретиком. Книги его изымали из библиотек и магазинов и принародно сжигали. Люди молчали и плакали. Плакали и молчали навзрыд. Но всё равно, всё равно желали освободиться от этого грандиозного и чудовищного прошлого...

— Так, что же это за книга?.. — главред посмотрел на обложку. — О, да это редкий экземпляр! Второй роман ещё невиновного, ещё невинного автора. Законом это не возбраняется, но всё равно, я бы советовал поосторожнее... поосторожнее... — сказал он Лацису.

— Вежляна так и не нашли? — спросил кто-то.

— Нет... Кстати, это не вся история, — спохватился главред, собравшийся уже было слезать со стола Немеца. — Есть продолжение. Квартал тот, как вы знаете, пустым стоит до сих пор. Иногда в его окнах видят огни. Потом внутри находят манекены. Много манекенов. В разных позах и костюмах. Преимущественно в таких, как будто это восставшие идут на штурм. Это якобы автор расставлял их и пытался срисовать с них тот последний, не написанный эпизод. Будто бы он так привык к натурным наблюдениям, что ничего уж и сам выдумать не мог...

— А было бы всё-таки интересно почитать эту ненаписанную книгу... — задумчиво прошептал Немец. Все вокруг посмотрели на него с неприятным возмущением. Кто-то даже вслух оскорбился. — А вы, я вижу, не так прост... не так прост, — со смехом сказал главред и покинул нагретое местечко. Перед тем как снова запереться в своём кабинетике, уже наполовину засунувшись туда, он задумчиво добавил:

— А вот мы так и пишем, словно рисуем с манекенов... Ни жизни, ни страстей... — Хотел было добавить что-то ещё, но сдержался, серьёзно посмотрев на сотрудинок.

Иногда Немец заходил на книжный развал, пряча, наблюдал, не появится ли возле стены тот самый «репейный старик». Дома у Немеца хранилось много изданий Вежляна. И все они были с его автографами. Старые, поношенные временем книги. Многие совсем потрёпанные, некоторые со следами огня. А автографы в них сияли свежестью. И если они были настоящими, авторскими, то, значит, являлись последними штрихами, которые оставлял их автор в этом мире. И, значит, где-то прятался со своей последней книгой сам Вежлян.

Евгений Степанов

В мире колготном и непонятном

Телевизор

Когда — точно «Лада» — буксует сердечко —
Беспечный смотрю сериал.
И радуюсь жизни — хоть жизнь быстротечна —
Спасибо за этот привал.

Спасибо за этот привал несерьёзный.
А что в этом мире всерьёз?
Спасибо за вечер больной, но бесслёзный.
Довольно беспомощных слёз.

Я знаю, что будет. Я помню, что было.
Я помнить об этом устал.
Но мне — дураку — как всегда, подфартило —
Лежу и смотрю сериал.

Дедовская дидактика

Расти — как дерево — не сохнуть
До старости — расти, расти.
Передохнуть. Не передохнуть.
Быть молодым — до старости.

И после — быть. Любить. Незримой
Рукой оберегать родных
От липких леших и кикимор.
Любить — не зная выходных.

Расти — как дерево — как сосны,
Дубы — тянуться до небес.
Расти — пускай дожди несносны —
И разрастаться — точно лес.



В мире непонятном и жестоком
Я живу и знаю: смерть под боком.
Хорошо я это уяснил
У родных проплаканных могил.

В мире непонятном и мгновенном
Сильно мне дают под зад коленом,
Хоть и фигурально, а до слёз.
И я плачу, как молокосос.

В мире колготном и непонятном
Постоянно предлагают ад нам
Вместо райских розовых суфле.
Не бывает рая на земле.

Времечко

Дожил дурак дураком до седин,
Нынче один — вроде анахорета.
А вместо водочки — валокордин,
А вместо девочки — муть интернета.

Вот ведь какая настала пора,
Вот ведь какая, скажи, беда:
Если сумел дотянуть до утра,
Значит тебе улыбнулась удача.

Чётко работает почта небес,
Времечко давит на газ, на педали.
Вот и архангелы шлют sms.
Лучше бы всё-таки не присылали.

Чтобы

Время — кровавые когти садиста,
Топкая вязкая гать.
Надо бы жить лет, наверное, триста,
Чтобы хоть что-то понять,

Чтобы освоить какое-то дело,
Чтобы скопить капитал,
Чтобы душа наконец повзрослела,
Чтобы я в космос слетал,

Чтобы глаза, точно рампа, лучились,
Чтобы прозрели верхи,
Чтобы стихи у меня получились,
Чтобы сложились стихи.

Персонажи одной пьесы

Такие персонажи тут —
Неведомого норова.
И крест наденут, и наврут,
Легко наврут с три короба.
Такие персонажи тут
По этим тропкам топают.
И оболгут, и пасть порвут,
И пасть потом заштопают.

Подарят жемчуг-изумруд,
Дадут с лихвой наличные.
Такие персонажи тут,
Такие необычные.

Берлин: цитата из Бродского

«Деревья что-то шепчут по-немецки.
И камни что-то шепчут по-немецки.
И Шпрее что-то шепчет по-немецки.

А люди что-то говорят по-русски.
А что-то по-турецки и арабски.
И по-немецки тоже говорят.

И только небо, пепельное небо
Следит за нами глупенькими в оба.
И как-то подозрительно молчит.

Поговорка

Речь нарушается, рушится сон,
Тик отпускает вожжи.
Это покудова не Паркинсон.
Но—похоже.

Старость не радость, вряд ли соврёт
Пепельная поговорка.
Смотрит старик одинокий вперёд—
Нету в глазах восторга.

Осенний марафон

Дожди, точно из лейки, зарядили,
Навевяв грусть-печаль тугу.

Осенний марафон Басилашвили
Бежит, бежит. И я бегу.

Бегу, бегу, отчаянно, вприпрыжку,
Бегу, бегу, вся жизнь—бегом.

Но ежели не сделать передышку,
То можно прибежать в дурдом.

Памяти Эдуарда Асадова

Не получилось? Что ж—не плачь ты
И прыгать не спеши с моста.
Мечта стройней и выше мечты.
Непотопляема мечта.

Не получилось? Эко диво,
Ведь вскоре будет не слаба
Фортуна—подмигнув игриво
Тебе—а нынче не судьба.

ДиН РЕВЮ



Сергей Кузнецких

Игры на интерес

Москва: «ЭКСМО», 2018

Сергей Кузнецких объездил обширную часть страны—от Урала до Чукотки. Его наблюдения стали уникальным материалом для повестей, вошедших в новую книгу «Игры на интерес». Это не просто повествование о рядовых гражданах, простых людях—инженерах, работниках артелей и нии,

это ещё один сказ о России, о том, какой она была, но уже не будет. Проза Сергея Кузнецких не вписывается ни в одно из существующих литературных течений. Это отдельный мир—самобытный и узнаваемый, который без преувеличения можно назвать крупным явлением русской литературы.

Сто первый рассказ

Почти безболезненно первые сто
Слетели с пера на пустые страницы.
Сто первый рассказ отправляется в стол,
Ложится в угрюмую нишу темницы.

Туда, где ни света, ни воздуха нет,
Где жутко и тесно, как в братской могиле.
Так долго готовился к выходу в свет,
Мечтал удивить, а его не пустили.

Смешали с дерьмом непонятно за что,
Как будто больного с инфекцией СПИДА.
Туда, где покоятся первые сто,
Страдая от пролежней и от обиды.

За что?

У него самобытен герой,
Сюжет остроумен, язык не затёртый,
Покуда не лёг на него сто второй,
Сто третий, и чуть погодя, сто четвёртый.

Под мёртвою тяжестью воля ушла,
Он сдался, смирился, что слаб и ничтожен.

И всё же, когда извлекли из стола,
Сумел притвориться, что якобы ожил.

Евгений Каминский

С Луны упавший вечно одинок...



Бабочка порхает.
В бабочке живёт
девочка плохая.
Всё б ей сладкий мёд,

ясная погодка
да цветущий луг...
Кружится молодка,
позабыв испуг.

Май—одни гулянки.
Всё огнём гори!
Светится, как янки,
счастьем до зари.

Хлопает, дурная,
крыльями, заметь,
ничего не зная
про змеюку-смерть,

ни про век железный,
ни про власти гнёт...
будто не над бездной,
а в раю живёт.

Здесь не кущи рая,
не бесплатный мёд...
Но, и умирая,
вряд ли ведь поймёт,

отчего же надо,
пусть и не в раю,
жить как среди ада,
жить как на краю,

ужаса во власти,
что любой тут вмиг
хватить тебя за хлястик
и—на воротник!



С Луны упавший—вечно одинок,
пусть даже здесь найдут его в капусте...
Такого если схватит осьминог
земной тоски—до смерти не отпустит.

В толпе их поведенье таково:
все смотрят на часы, как ждут кого-то...
Но это—ложь! Здесь нет ни одного
готового обнять их обормота.

Молчалиных везде—как прусаков,
и несть числа с трибун трубящим Чацким...
Где в мире взять обычных дураков,
чтоб было о высоком помолчать с кем?

Не жить им здесь, а маяться: сиречь
молчать, что правда жизни этой—враки,
Ах, нет тут слов таких, чтоб то изречь,
что ясно на Луне любой собаке...

Им с птицами бы дружба подошла,
но гнёзда в их берлогах вьют девицы...
Да, без духовной жажды жизнь пошла,
но без плотской—для жизни не годиться.

Уж лучше б им в капусте умереть!
Не вижу здесь ни инь для них, ни ян я...
А не умрут—на злых словечек медь
растратят ведь всё золото молчанья.

Пока не проболтались—на Луну
вернуться б блудным им к Отцу с повинной.
Глядишь, и не вменится им в вину
их душ печальных стойкий запах винный.

Пиросмани

Мальчишки духан обложили и целят в окно чулана, пропахшего луком. Там бывший кондуктор на старой клеёнке о счастье грузин полотно творит по заказу: живёт, переводит продукты...

Бродяга несчастный, на коем едва ли вина пред Богом за поиск признанья и суетной славы, за брошенных жён, за пустые кувшины вина... ну, в общем, за всё, чем художник и жив тут, вы правы.

Такого камнями побить и мальчишкам не грех. Напрасно духанщик про страшную кару им божью все уши пропел. Ибо души незрячие тех, швыряющих камни, бесстрашной исполнены дрожью.

А счастья в чулане всё больше... На радостный крик орды вероломной, просящей холодной водицы, в оконном проёме нет-нет да возникнет старик с кувшином в руках и летящих камней не боится.

Духанщик уже во дворе, обнаружив обман. Схватить хоть кого-то за хлястик! А слева и справа отчаянно в небо летит: «Пиросман, Пиросман!» что видимо, есть для таких и признанье, и слава.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №2 | 1994

Аида Фёдорова

Мне мало полумер

Молитва

Убереги, Господь, от скверны и соблазна,
От милости врагов и подлости друзей,
От страха невпопад и сутолоки праздной,
От бешенства толпы и гнусности властей.
Пока жива любовь, не остуди желанья,
Дай до конца испить и яд её, и мёд.
В соль истины подсыпь хоть пригоршню незнания,
Не то она тебя всезнанием убьёт.
Будь справедлив, Господь, к подонку и герою,
Не обдели теплом калеку и слепца,
Мне ж подари того, кого сама я стою,
И, подарив, оставь со мною до конца.
Лишь одного боюсь: что если, потакая
Желаниям моим, тыхватишь через край,
А я не откажусь: ты знаешь, я такая:
Мне мало полумер, мне всё, что есть, давай).
И счастья для меня окажется так много,
Так, к горлу подступив, захватит всё оно,
Что, захлебнувшись им, я рухну у порога,
И жизнь... но мне тогда уж будет всё равно.



Всё—чужое: люди, вещи,
Комната, страна.
Жизнь постыла. Мысль не блещет,
Приговорена
К полицейскому конвою
Прописей лихих.
Всё чужое, и в чужое
Вправлен этот стих.
Чужеродность пошлой рамки
Для него странна.
И течёт—точь-в-точь из ранки—
Кровь его, черна.
Всё чужое (долго ввали):
Дом и белый свет.
А своё... своё забрали—
И в помине не.

Варвара Юшманова

Прерванный Гумилёв

Не отмыть

Она моет полы каждый день в четырнадцать тридцать.
Иногда она не может остановиться:
Моет двери, обои и зеркала.
Время тянется вязкое, липкое, как смола.
Всё бы было иначе, если б она смогла.

Она думает: «Я обычная, всё как надо.
Я молюсь и знаю, будет и мне награда.
А что грех—так ведь у каждого есть грешок:
Сбитый пёс, зарубленный петушок...
Вот сейчас помою пол,
И всё будет хорошо».

На руках волдыри и кожа совсем истерта.
Её комната безупречна и распростёрта.
Она ждёт и другую жизнь рисует себе в ночи.
Но приходит утро и с ним приходят врачи.
Её лечащий смотрит холодно и молчит.

Главный выбрит и деловит, но слегка простужен.
Его голос хрипит, что ей становится хуже:
«К сожалению, этот курс прошли безуспешно.
Нужно действовать осторожно и даже нежно».
А потом добавляет:
«Чисто у Вас, конечно».

Автобус

В детстве я, конечно, хотела стать взрослой.
И вот как это видела:
Я большая и могу сама сесть в автобус
(кажется, взрослость у меня равнялась свободе),
уехать куда захочу.
Или в троллейбус.
Представляла себе,
как еду одна куда-то,
смотрю в окно,
думаю о своих взрослых делах.
Я ждала, когда же придёт этот момент.

И вот я выросла.
Взрослее некуда.
Я езжу на автобусах и на троллейбусах,
на метро и на такси,
на поездах и на самолётах...
И в начале каждого пути,
когда я сажусь в кресло,
всегда хочу к маме.



От сидения в комнате ноет и жмёт ребро.
Снегопад. У неба вывернуто нутро.
Люди прячутся в землю, в душасщее метро—
От стихии к тверди.

И хочу я крикнуть каждому: нет, постой!
Лучше уж в метели стонущей и густой.
В этой жизни, пусть печальной и непростой,
Слишком много смерти.



Ночь воробьи взметнули.
В звёздах двор до краёв.
Точит мой разум пуля—
Прерванный Гумилёв.

Где-то в чужой России
Бродит его душа,
С силою и в бессилье
Ужесточая шаг.

Где-то курок взведённый
Власть комаром скрипит,
Где-то графин бездонный
Бьётся о кафель плит.

Полубожок-политик—
Жертва своей возни—
Варит яд-паралитик
И за стихи казнит.

Дождь прошивает спины.
Холод в руках мужчин.
И неземной глубинный
Гул из пустых лощин.

Вытоптали, швырнули
Ветошью мокрой в ил.
Точит мой разум пуля:
Кто-то её отлил...

Выдох предсмертный лета
Красным оставил свет.
Это ли смерть поэта?
Имя его—ответ.

Письмо

Как ты там, бабушка? Строгий у вас надзор?
Что у тебя за комната? Вас там двое?
Я поливаю цветы, но—такой позор—
Всё не займусь балконом и не помою.

Много гуляешь? Думаешь обо мне?
Может, совсем забылась, повеселела?
Вот бы побольше солнца и тёплых дней!
Здесь неуютно, там же—другое дело:

Небо и воздух—сущая красота.
Я тут нормально, чищу то нож, то вилку,
Вазы помыла, очень скупаю, да...
Скоро ещё схожу на твою могилку.



Оставив здесь такие важные дела,
Свои ключи, пальто и два сервиза,
Ты как-то неожиданно ушла
Под колокольный звон и телевизор.

И пустота отгрызла день и свет.
Не голуби теперь, а птицы-плачи.
Вот дом, казалось бы, но дома нет.
Помолимся, и будем жить иначе.

Звоню тебе. И снова—ничего.
Ушла (и путь, конечно, был безлюден),
Чтоб где-то там взять за руку его,
А больше и не нужно никого.
Будь счастлива.
А мы уже не будем.

Последний воздух

Возьми меня, саксофонист,
на свою планету.
Там объяснишь мне свою музыку
и где начинается звук.
Громкие твои чувства нас связали
нитями через столики
сумрачного кафе.
Кому бы ни была написана песня эта...
О ком ты молчал, но выдувал тоску...
Её больше нет—есть только мы трое:
Ты, я и твой золотой саксофон.

Ещё сегодня я была другою.
День мой пережевала работа,
чёрная и не знающая побед.
Длинный безлюдный вечер
и молчаливый ужин.
Душный ветер в окно. Никакого сна.

Ты играешь трепетно свою душу.
Я наконец-то вижу себя живой.
Вижу свои руки, плечо, волосы...
Твой саксофон дарит вторую жизнь.
Эта любовь мне. Мне этот зов, счастье.
Через мгновение ты замолчишь. Снова
я постарею, рассыплюсь и всё заболит.

Ты набираешь воздух последний раз.
Есть ведь ещё секунда, звук, отдающий нежность.
В этот конечный миг, в обречённость его
Возьми меня с собой,
саксофонист.

ДиН пародия

Евгений Минин

И пашется, и пишется...

На писательском фронте

*На писательском фронте без перемен:
Плюнуть некуда—гении сплошь да пророки.
Не скажу, что ведут натуральный обмен,
Просто тупо воруют бездарные строки.*

Владимир Шемшученко

На писательском фронте скажу вам—бардак,
Даже страшно смотреть—ну ни рожи, ни кожи.
Строки тупо воруют—без криков и драк,
На меня не подумайте, что я такой же.
Не хожу я с бездарных поэтов толпой
Что читают стихи, потрясая тетрадкой...
Ой, гляди, пародист—видно, тоже тупой,
У меня утащил пару строчек украдкой.

Поэтический чёс

*плотва стоит под ветлами в невидимой воде
жара такая плотная что чешется везде
Лена Элтанг*

уносит нас мгновение к невидимой звезде
лишь только вдохновенье что чешется везде
как будто ела специи такая маета
не позабыть теренция чеширского кота
а я грызу сухарики и вдаль гляжу легко
всю жизнь стою на шарике в сиреновом трико
и снова снится книжица меж бледных эвридик
и пашется и пишется и чешется язык

Владислав Пеньков

Журавлиная наука

Ангел

Ты вся горишь, как зимняя звезда,
летающая с небес простоволосой.
Ещё идут куда-то поезда.
Но кажется, до ближнего откоса.

А я иду в соседний магазин
и по пути домой найду в аптеку.
Куплю вино, картошку, аспирин,
тот минимум, что нужен человеку,

не ангелу, чья призрачная плоть
просвечивает сквозь твою сорочку,
которого тебе не побороть
ни с помощью моей ни в одиночку.

Июльское утро

Волчья сныть, лебеда, над рекой
ни муссонов тебе, ни пассатов.
Облака. И нездешний покой,
словно в песне парней волосатых.

Словно летнее утро свежа
и алее рассвета в июле,
кровь тихонько стекает с ножа.
Это местные гостя пырнули.

Журавлиная наука

Смешные, в халатах забавных,
жрецы журавлиных наук,
ловили движением плавным
печальный курлычущий звук,

и ловко вдевали в наречье,
как нитку вдевают в иглу,
невзгоды свои человечьи
и птичьего разума мглу.

Я вижу сквозь те же ресницы,
да вот, рассказать не могу,
как пляшут чудесные птицы
на синем цинхайском снегу,

а только звеню наудачу,
как будто мы все вам должны
осколков фарфоровых сдачу
с фарфоровой вашей луны.

Партита

Н. П.

Меж своих бла-бла-бла разрыдавшись, скажу
о сиянье, стыде и неволе,
потому что партита идёт по ножу,
и при этом — не морщась от боли.

У неё на лице — только очи одне,
а в очах — ничего, кроме света.
Хорошо бы проснуться на утреннем дне
совпадающих Леты и лета.

Чтоб услышать оттуда воркующий звук
голубей, воркование клавиш,
чтобы выронить нож этот самый из рук.
И понять — ничего не исправишь.

Прекрасно

Не говори, что жизнь — оно.
Всё состоит из светотени,
и можно долго пить вино
в душистых сумерках сирени.

И поднося его ко рту,
быть просто некой частью мира.
Впадает вечер в красоту,
течёт в пещеру Альтамира.

И словно звери на стене —
их зачарованная охра,
проплыли где-то в стороне
ночные мушкетёры вохра.

Фонтаном подымая пыль,
похожий взглядом на оленя,
проплыл большой автомобиль
ментов седьмого отделения.

Всё лишь теперь и навсегда,
и потому пройти не сможет
Венеры синяя звезда,
пушок на загорелой коже,

и ветер в уличной траве,
цветочный обморок сезона —
всё, что давным-давно в Шове
писал охотник на бизонов.

Максим Лаврентьев

Как награждали на Гражданской. Белые

К столетию начала братоубийственной войны в России

Северо-Западная армия

В Октябрьской революции 1917 года, пришедшие к власти в Петрограде большевики развили бурную деятельность по уничтожению остатков прежней государственности. В частности, одним из первых декретов нового правительства были прекращены награждения крестами и медалями, чтившимися многими поколениями русских воинов, а сами «ордена и прочие знаки отличия» упразднены.

Реакцию офицерства нетрудно понять. Но в обстановке послеоктябрьского хаоса организовать вооружённое выступление в столице оказалось невозможно. Поэтому будущие лидеры контрреволюции и рядовые белогвардейцы, сумевшие избежать ареста или даже, как некоторые, выбраться из застенка под «честное слово», устремлялись на окраины разваливавшейся державы.

Путь одного из них, генерала царской армии Николая Юденича, зимой 1919-го лежал в Гельсингфорс, на территорию Финляндии. После переворота в метрополии это бывшее великое княжество объявило себя независимой республикой, а затем даже королевством. К тому времени там уже завершилась собственная гражданская война, принёсшая на германских штыках победу белофиннам.

Пробравшегося в новоиспечённую монархию генерала ждал весьма прохладный приём. Правда, финны допустили у себя организацию «Русского комитета», объявившего теперь Юденича национальным лидером с диктаторскими полномочиями, однако они не желали, равно как и другие недавно появившиеся на Балтике государства, принимать непосредственное участие в русской смуте, не без основания полагая, что тем самым выроют могилу своему неожиданно обрётённому суверенитету.

Напрасно Юденич, чей авторитет был завоёван победами над турками в 1915–1916 годах в качестве командующего Кавказской армией, вёл напряжённые переговоры с финским регентом Маннергеймом, ездил в Стокгольм просить поддержки у бывших союзников по Антанте и пытался объединить всю разномастную антибольшевистскую публику под нейтральным флагом, заявляя со страниц русскоязычной хельсинской газеты «Северная

жизнь»: «У русской белой гвардии одна цель — изгнать большевиков из России. Политической программы у гвардии нет. Она и не монархическая, и не республиканская. Как военная организация, она не интересуется вопросами политической партийности. Её единственная программа — долой большевиков».

Все усилия легально сформировать в Финляндии новую русскую армию пошли прахом.

Наконец, адмирал Колчак, гордо именовавшийся Верховным правителем России, в начале июня 1919 года телеграммой из далёкого Омска известил Юденича о назначении «главнокомандующим всеми русскими сухопутными, морскими вооружёнными силами против большевиков на Северо-Западном фронте». Главнокомандующий прибыл в Ревель, где вплотную занялся подготовкой рискованной операции — наступления на красный Петроград.

Что же представляла собой в тот момент Северо-Западная армия?

Костяк её состоял из Псковского корпуса (название неоднократно менялось), сформированного в октябре 1918 года на подконтрольных немцам территориях прибалтийских и северо-западных русских областей, занятых германской армией в результате февральского наступления и сепаратного Брестского мира. Наполовину она была сколочена из офицеров-добровольцев. Кроме того, в ней было много бывших военнопленных, некоторое количество красных дезертиров и мобилизованных местных жителей. Возглавить корпус предстояло генералу Фёдору Келлеру, убеждённому монархисту.

Но на пути с Юга России Келлер вынужденно задержался в Киеве, обложенном петлюровцами, которым он попытался дать отпор, обещая в то же время киевлянам «через два месяца поднять Императорский штандарт над священным Кремлём». Такие заявления только бесили украинское правительство «гетмана» Павла Скоропадского (кстати, бывшего келлеровского адъютанта и бывшего командира лейб-гвардии Конного полка). Генерала отстранили от руководства обороной города и 14 декабря Киев пал. Собрав десятка три

офицеров и юнкеров, Келлер выбил петлюровцев, продвигавшихся по Крещатику, с Думской площади, переименованной националистами другой эпохи в Майдан Незалёжности, но затем, осознав бесполезность борьбы, отступил со своим отрядом в Михайловский монастырь, где предложил оставшимся в живых снять погоны и скрыться. Сам же с двумя преданными офицерами остался ждать неизбежной участи.

Когда на Киев златоглавый вдруг снова хлынул буйный вал, Граф Келлер, витязь русской славы, спасенья в бегстве не искал.

Он отклонил все предложенья, не снял ни шапки, ни погон: «Я сотни раз ходил в сраженья и видел смерть» — ответил он.

Ну мог ли снять он крест победный, что должен быть всегда на нём, Расстаться с шапкой заповедной, ему подаренной Царём?.. Убийцы бандой озверелой ворвались в мирный монастырь. Он вышел к ним навстречу смело, былинный русский богатырь.

Затихли, присмирели гады. Их жёг и мучил светлый взор, Им стыдно и уже не рады они исполнить приговор. В сопровождении злодеев покинул граф последний кров. С ним — благородный Пантелеев и верный ротмистр Иванов.

Кругом царила ночь немая. Покрытый белой пеленой, Коня над пропастью вздымая, стоял Хмельницкий, как живой. Наглядно родине любимой, в момент разгула тёмных сил, Он о Единой — Неделимой в противовес им говорил.

Пред этой шайкой арестантской, крест православный сотворя, Граф Келлер встал в свой рост гигантский, жизнь отдавая за Царя. Чтоб сним не встретиться во взгляде, случайно, даже и в ночи, Трусливо всех прикончив сзади, от тел бежали палачи.

Мерцало утро. След кровавый алел на снежном серебре... Так умер витязь русской славы с последней мыслью о Царе.

Автор этих стихов Пётр Шабельский-Борк в марте 1922 года устроил стрельбу в Берлинской филармонии, пытаясь прикончить выступавшего там с лекцией Павла Милюкова; девять человек были ранены, но лидер конституционных демократов не пострадал. Зато вторым «стрелком», Сергеем Таборицким, был убит другой известный кадет, Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, попытавшийся выхватить оружие из рук будущего автора «Витязя славы». Выйдя из немецкой тюрьмы по амнистии в 1927 году, Шабельский-Борк занялся стихотворчеством, с образчиком которого вы только что ознакомились, затем увлёкся нацизмом, даже получал пенсию от пришедших к власти в Германии фашистов и, подобно немалому числу других уцелевших мелких нацистских прихвостней, эмигрировал после войны в Южную Америку.

Но вернёмся к нашему повествованию. В ноябре 1918 года немецкая помощь русским прекратилась ввиду развернувшихся в самой Германии революционных событий и выхода её из войны. Немцы начали покидать оккупированные ими области. Туда тотчас устремились большевистские отряды.

Немногочисленные белые силы пробовали удерживать за собой Псков, но были выбиты оттуда и отступили в Эстонию.

Однако 13 мая 1919 года переформированный пятитысячный Северный корпус предпринял неожиданное наступление под Нарвой, прорвал оборону 7-й советской армии и быстро продвинулся дальше, в обход Ямбурга, который 17 мая пал. Ещё через неделю красные потеряли Псков и откатились к Луге, Ропше и Гатчине.

Под впечатлением от первоначальных успехов корпуса, его командир генерал Александр Родзянко учредил приказом от 10 июля особую награду. Это был позолоченный белой эмалью крест 39 × 39 мм, вдоль горизонтальных концов которого написано славянской вязью: «13 мая 1919». Крест полагалось носить на круглой розетке бело-сине-красных национальных цветов с левой стороны груди.

Вскоре, однако, порыв белогвардейцев иссяк. В то же время Красная армия подтянула резервы и в ходе последовавшего контр наступления вернула себе Псков и Ямбург.

Теперь Антанта решила, наконец, оказать помощь Юденичу. В июле англо-французы стали подгонять на петроградское направление находившуюся в Курляндии Западную Добровольческую армию Павла Бермонта-Авалова. Но этот авантюрист имел в Прибалтике собственные

цели. Часть его войска действительно переправилась морем к Юденичу, но остальные, числом до пятидесяти тысяч, отсутствие которых самым прискорбным сказалося на петроградском фронте, безуспешно штурмовали Ригу, так что английскому флоту даже пришлось участвовать в её обороне на стороне лагяшей.

Бермонт, растранивший неосмотрительно вверенные ему силы, тем не менее успел учредить свою награду — орден Западной Добровольческой армии. Он представлял собой крест «мальтийской» формы, с раздвоенными концами, размером 51 мм, изготавливался из белого металла, покрытого чёрным лаком или чёрной эмалью, и имел две степени. Над верхней стороной креста располагался череп со скрещёнными под ним костями. Военные удостоивались крестов с мечами, штатские — без мечей. Крест 1-й степени носили на шее на чёрной ленте с каймой: с одной стороны русских национальных цветов, а с другой — германских (чёрно-бело-красной). При ношении на шее — германские цвета наверху. То же и при ношении на груди с бантом креста 2-й степени.

Немецкие добровольческие части, входившие в состав бермонтовской армии, имели собственный наградной знак, крест Балтийского Ландвера — чёрный железный прямоугольный крест с наложенным на него золочёным, но меньшего размера, имевшем на четырёх концах золочёные лилии.

Покуда бывшие враги, русские и немцы, дружно топтались перед неприступной Ригой, Северо-Западная армия, недостаточно экипированная, плохо вооружённая и немногочисленная, 10 октября перешла в наступление.

Оно поначалу развивалось успешно. В войсках царил необычайный подъём. 7-я армия красных была расчленена и разгромлена. 16 октября белые заняли Красное Село, на следующий день — Гатчину. 20 октября они захватили Павловск и Царское Село и вышли на ближние подступы к Петрограду.

Но высокий темп наступления при небольшой численности привёл к распылению сил и несогласованности действий. К тому же в решающий момент проявились две основные болезни Белого движения — отсутствие общей политической платформы и бонапартизм. Каждый командир более-менее крупной воинской части хотел приписать себе честь освобождения Петрограда от большевиков, а потому приказы главнокомандующего зачастую попросту игнорировались.

Наоборот, красные, оправившись от первоначального шока, крутыми мерами восстановили порядок у себя в тылу. На фронт были мобилизованы коммунисты и комсомольцы, тысячи женщин согнали в городе на строительство уличных баррикад. 17 октября, в день падения Гатчины, к рабочим и красноармейцам обратился с воззванием председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ленин:

«Товарищи! Наступил решительный момент. Царские генералы ещё раз получили припасы и военное снабжение от капиталистов Англии, Франции, Америки. Ещё раз с бандами помещичьих сынков пытаются взять Красный Питер. Враг напал среди переговоров с Эстляндией о мире, напал на наших красноармейцев, поверивших в эти переговоры. Этот изменнический характер нападения отчасти объясняет быстрые успехи врага. Взяты Красное Село, Гатчина, Вырица. Перерезаны две железные дороги к Петербургу. Враг стремится перерезать третью, Николаевскую, и четвёртую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом».

Пять дней спустя в письме председателю Реввоенсовета Республики Льву Троцкому большевистский вождь использовал иную риторику:

«Покончить с Юденичем (именно покончить — добить) нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать ещё тысяч 20 питерских рабочих, плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулемёты, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?»

Добиться напора удалось. Сосредоточив против белых превосходящие силы, частично отвлечённые от борьбы на юге с Деникиным, Красная армия в двадцатых числах нанесла мощный контрудар и одержала полную победу.

Юденич писал в те дни эстонскому главнокомандующему Йохану Лайдонеру:

«Красные подавляющими силами упорно атакуют и местами теснят части вверенной мне армии, особенно со стороны Гдова. Войска до крайности утомлены непрерывными боями. На крайне тесном пространстве между фронтом и эстонской границей — в непосредственном тылу войск скопились все обозы, запасные, пленные, беженцы, что до крайности стесняет маневрирование войск, малейший неуспех может создать панику в тылу и привести к катастрофе и гибели всей армии. Необходимо не позднее завтрашнего дня перевести все тылы на левый берег Наровы. Предвижу возможность и даже неизбежность дальнейшего отхода армии, что может вызвать конфликт в случае перехода границы Эстонии. Во избежание неминуемой гибели армии я прошу вас не отказать немедленно принять под ваше командование вверенную мне армию и назначить ей участок общего с вверенными вам войсками фронта. Прошу вас доложить мою просьбу эстонскому правительству о принятии Северо-Западной армии под покровительство Эстонии».

История готовилась повториться: белые намеревались укрыться за границей Эстонии. Но политическая ситуация изменилась. Эстонское правительство желало скорейшего мира с большевиками и русских беглецов на её территории ждали не отдых и реформирование, а интронизация и ограбление, голод и, наконец, тиф, унёсший жизни нескольких тысяч военнослужащих.

Вот характерный отрывок из «Секретного доклада Северо-Западного фронта о положении русских в Эстонии»:

«Русских начали убивать прямо на улице, закидывать в тюрьмы и концентрационные лагеря, вообще всячески притеснять всякими способами. С беженцами из Петроградской губернии, число коих было более 10 000, обращались хуже, чем со скотом. Их заставляли сутками лежать на трескучем морозе на шпалах железной дороги. Масса детей и женщин умерло».

22 января 1920 года Северо-Западная армия официально перестала существовать.

На память о ней остался знак ветеранского «Объединения Северо-Западников». Он в уменьшенном виде повторяет шеврон, который участники злополучного похода носили на рукаве, — золочёный треугольный щиток русских национальных цветов размером 2 × 2 см, с белым крестом в красном поле. По бокам креста выведено золотом: «С. З.», вверху дата: «1919».

Ветераны 5-й «ливенской» дивизии, названной так по имени своего первого командира, светлейшего князя полковника Анатолия Ливена, пожелали иметь собственный памятный знак — белый эмалевый крест с двумя перекрещёнными мечами. В середине его, на бело-сине-красном гербовом щите, золочёная буква «Л» и памятная дата «1919», над щитом — Российская императорская корона.

«Лучшая бомба» Савинкова

На стене духовной семинарии в варшавском районе Saska висит скромная мемориальная доска. На доске изображено невыразительное лицо усатого человека в военной форме. Надпись по-польски гласит: «Генерал Войска Польского Станислав Булак-Балахович, 1883–1940. Командующий белорусской союзной армией, сражавшейся за независимость Польши в войне 1920 года. Создатель и командир Отдельной специальной группы, принимавшей участие в обороне Варшавы в сентябре 1939 года. После капитуляции создатель „Военной конфедерации“. Предательски убит 10 мая 1940 года в Саской Кемпе». Как говорится, простенько, но со вкусом. И всё-таки чересчур уж многословно, можно было бы выразиться лаконичнее: бандит.

Так называли Балаховича многие, причём не только враги, но и покровители, в частности Юзеф Пилсудский. Великопольский шовинист, потомственный русофоб, маршал и диктатор Польши счёл нужным определение развернуть и уточнить: «Да, бандит, но не только бандит, а человек, который сегодня русский, завтра поляк, послезавтра белорус, ещё через день — негр. Мы об этом знаем... Но у него нет гонора золотопогонных генералов, мечтающих возродить в России монархию. Он воюет с большевиками, поэтому мы его поддерживаем. Пусть они будут хоть неграми, но если борются с Советами, значит они наши союзники».

Будущий «командующий белорусской союзной армией», появился на свет в семье повара и горничной и происходил из крестьян Ковенской губернии. Судя по имени его и брата Юзефа, не русский и не негр, а всё-таки поляк. Современники также отмечали, что по-русски Станислав говорил с сильным польским акцентом.

Выучившись на агронома, он с 1904 года работал управляющим имения графа Плятера в Дисненском уезде Виленской губернии, где провёл десять ничем не примечательных лет, если не считать двух женитьб и усиленного производства потомства (всего у Булак-Балаховича было семеро детей от трёх браков).

Разразившаяся гроза Первой мировой войны уже первыми своими громовыми раскатами пробудила в этом провинциальном семьянине жажду кипучей деятельности. Пока другой беспокойный господин, Пилсудский, в Париже уговаривал французов и англичан дать Центральным

державам сперва разгромить Россию, а уж потом разобраться с нелюбезной его шляхетскому сердцу немчурой, братья Балаховичи отправились сражаться за веру, царя и отечество. Здесь старший быстро выдвинулся как лихой наездник и партизан. Осенью 1915-го он был произведён в корнеты и назначен командиром эскадрона в отряде Особой важности при Главкоме Северного фронта, действовавшем в районе Риги. За успехи в боях Станислав Булак-Балахович получил несколько солдатских (Георгиевская медаль, Георгиевские кресты трёх степеней) и офицерских наград, в том числе, что интересно, двух «Станиславов», некогда перешедших из польской в российскую наградную систему. Командир отряда характеризовал своего подчинённого как талантливого офицера («несмотря на отсутствие военной школы») и человека с «редким хладнокровием». К последнему определению ещё вернёмся.

Повторяя судьбу остальной русской армии, отряд фактически прекратил существование к 1918 году, но ядро его во главе с Булак-Балаховичем продолжало ещё какое-то время по инерции прикрывать направление на Петроград. После февральского наступления немцев, последовавшего за демаршем Троцкого на переговорах, и заключения в марте Брестского мира на ещё более тяжёлых для России условиях оба брата Балаховича подались в нарождавшуюся Красную армию.

Станислав сформировал на базе своего отряда в Луге конный полк и приказом того же Троцкого был назначен его командиром. Полк тут же с успехом задействовали для подавления местного контрреволюционного мятежа. Но вскоре Балахович стал раздражать кремлёвское начальство: красный командир наотрез отказывался принимать в ряды полка коммунистов. Для своих людей он хотел быть единственным и непререкаемым авторитетом — батькой.

Осенью 1918-го военно-политическая обстановка в Европе изменилась. В октябре Германия потерпела поражение на Западном фронте, что немедленно привело к падению в Берлине династии Гогенцоллернов. Новое немецкое правительство заключило перемирие с Антантой. 17 октября венгерский парламент расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны. Это означало конец многонациональной державы Габсбургов: 28 октября образовалась Чехословакия, на следующий день возникло государство словенцев, хорватов и сербов, а 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши.

13 ноября вцик аннулировал Брестский мир. Оккупационные войска австро-германцев покидали, дезертируя, или готовились покинуть русские земли. Сформированные под их прикрытием в Прибалтике белогвардейские отряды намеревались в дальнейшем опереться на англо-французов

и во что бы то ни стало удерживать за собой освобожденные территории в качестве плацдарма для броска на Петроград и Москву. Однако теперь, когда Россия уже не нужна была для отвлечения на себя вражеских сил, бывшие союзники не топились активно вмешаться в её запутанные внутренние дела, предоставляя русских их собственной участи.

И всё-таки той осенью перспективы антибольшевистских сил некоторыми расценивались как многообещающие. Так решил и Булак-Балахович, на кровавом счету которого числилось уже немало жертв. Чтобы не держать за них ответ, батька обнулil счёт одним махом: в начале ноября переметнулся к белым, за что получил от них помилование и звание ротмистра, а затем подполковника и полковника. Весной 1919-го он участвовал в наступлении Северного корпуса, занял Гдов, а затем и Псков, куда уже вошли эстонцы, с которыми он в то время коротко сошёлся.

В отданном в его полное распоряжение городе и окрестностях Булак-Балахович тут же начал устанавливать свой порядок, то есть экспроприировать и казнить. Хвалёное «редкое хладнокровие» он и его подручные, вроде Энгельгардта, барона и садиста, проявляли в особенности к евреям, видя в каждом из них потенциального коммуниста. Тех, кто имел возможность чем-нибудь откупиться, обдирали как лику, женщин насиловали, а остальных заставляли самостоятельно вешаться на фонарных столбах. Уличной казни нередко предшествовало «судилище», во время которого Булак-Балахович или Энгельгардт вступали в иезуитский «диспут» с жертвой, после чего атаман, как настоящий демократ, заявлявший в газетах, что воюет не за монархию или буржуев, а за Учредительное собрание, апеллировал к согнанному народу. «Я приглашаю вступить, когда увидят, что убивают невиновного. На тех, за кого вступятся свободные граждане, моя рука не подымется». Желających вступить, разумеется, не находилось, и рука подымалась и подымалась...

Командующий Северным корпусом генерал Александр Родзянко сделал неловкую попытку обуздать кровожадные инстинкты лихого агронома — в июне он призвёл Булак-Балаховича в генерал-майоры (из корнетов в генералы за четыре года). Но остановить того было уже невозможно. Вскоре батька попался на печатании фальшивых денег — «керенок», ещё имевших хождение в России. Между тем он успел заручиться поддержкой эстонцев. Заодно установил контакт и с Войском Польским, тайком пообещав действовать согласно приказам из Варшавы. Новоиспечённого генерала арестовали, но из-под ареста он тут же бежал и скрылся, так что катастрофу под Петроградом Северо-Западная армия потерпела без его участия.

Булак-Балахович выпрыгнул как чёрт из табакерки в Ревеле, когда всё для белых было уже кончено. Он явился в сопровождении эстонских полицейских в гостиницу «Коммерс», где квартировал главнокомандующий, схватил его и присвоил крупную сумму в твёрдой валюте. С деньгами и Юденичем в заложниках батька рванул, было, на поезде, по настоянию англичан его возвратили с дороги, и лишь благодаря крепким связям в эстонском правительстве он сумел избежать ареста.

Весной 1920-го атаман уже в Бресте — формирует партизанский отряд и помогает полякам бороться с красными в Полесье. Сносится с Борисом Савинковым, талантливым литератором и беспринципным прохвостом, организатором громких террористических актов в Российской империи (в частности, он осуществлял непосредственный контроль за Иваном Каляевым, убийцей великого князя Сергея Александровича). Савинков, привыкший проливать кровь чужими руками, восторженно отзывался о новоприобретённом знакомце: «Балахович — лучшая бомба, которая когда-либо была у меня в руках».

Но, в отличие от наивного романтика Каляева, тот ни в коем случае не являлся идейным борцом. Правда, и он не лишён был странных фантазий. Когда Савинков наагитировал достаточное количество разного сброда вступить в ряды Народно-Демократической армии балаховцев, а в октябре паны заключили перемирие с большевиками, согласно которому они не могли официально терпеть на своей территории посторонние вооружённые формирования, пёстрое войско Булак-Балаховича двинулось походом на Белоруссию. Банда захватила Мозырь, и здесь батька торжественно развернул заранее припасённое бело-красно-белое знамя, бывшее позднее — несколько лет в начале 1990-х — государственным флагом Республики Беларусь. Атаман провозгласил независимое Белорусское государство, а себя — его верховным главнокомандующим. И приступил к экспроприациям и погромам.

Вот как описывал житель Мозыря А. Найдич взятие города балаховцами (ГА РФ. Ф. 1339. Оп. 1. Д. 459. Л. 2–3):

«В 5 часов вечера балаховцы вступили в город. Крестьянское население радостно встретило балаховцев, но евреи попрятались по квартирам. Сейчас же начался погром с массовыми изнасилованиями, избиениями, издевательствами и убийствами. Офицеры участвовали в погроме наравне с солдатами. Незначительная часть русского населения грабила лавки, вскрытые балаховцами. Всю ночь по городу стояли душу раздражающие крики...»

Позднее, в 1922 году для бывших сослуживцев по пиратско-партизанскому отряду Балахович установит, позаимствовав название у недавно

возникшего нового польского ордена, специальную награду — «Крест храбрых». Этот покрытый белой (в отдельных случаях — чёрной) эмалью крест, повторяющий форму Георгиевского (вот уж совсем некстати!), носился на чёрной ленте с жёлтой каймой по краям. В центре креста в круглом медальоне, обвитом лавром, над скрещенным мечом и факелом оскалился череп.

...За пару недель хозяйничанья в Мозыре и его окрестностях бандиты ограбили около двадцати тысяч евреев, убили свыше трёхсот. Более пяти-сот женщин были изнасилованы. Командующий, обращаясь к одному из своих атаманов, возмущавшемуся какой-то слишком уж миролюбивой по отношению к сынам Израиля печатной прокламацией, так сформулировал своё жизненное кредо: «Бросьте, генерал: как бил жидов, так и буду бить».

18 ноября Красная армия вышвырнула балаховцев из Мозыря. Вскоре в Москве была принята радиограмма: «26 ноября ночью остатки армии Балаховича перешли на польскую территорию, где были немедленно разоружены поляками в присутствии представителя Советской России, специально для этого прибывшего. Савинков совершенно отказался от Балаховича».

Дальнейшая биография батьки уместается в несколько строк. Перейдя в прежнем звании уже официально на польскую службу и получив лесную концессию в Беловежской Пуще, Станислав Булак-Балахович женился в третий раз, отпустил усы пышнее и зажил комфортно, тратя добытые денюжки. В 1926 году участвовал в Майском перевороте, установившем в Польше военную диктатуру Пилсудского. Писал книжки о будущей войне с немцами, возглавлял ветеранскую организацию и всю оставшуюся жизнь опасался покушения (его брата Юзефа ликвидировала советская разведка). Балаховича действительно застрелили на варшавской улице в мае 1940-го, но не энкаведэшники, а гестаповцы. Новым хозяевам живой батька оказался неинтересен.

Северная армия

После петроградских событий октября 1917 года власть Советов «по телеграфу» вначале установилась на большей части страны. Не составили исключения и Мурманск с Архангельском, где были сосредоточены значительные запасы военных материалов, которыми союзники по Антанте снабжали Временное правительство. Надежда англо-французов удержать с помощью этих поставок фронт на Востоке оказалась несбыточной. Когда же Советское правительство, не посчитавшись с их интересами, заключило в Бресте сепаратный мир, а германские войска беспрепятственно высадились в Финляндии, Антанта встала перед вопросом: как сделать так, чтобы припасы, накопленные в северных русских портах, не достались врагу.

Весной 1918 года с одобрения местного совдепа в Мурманске начали высадку английские, французские и американские части под общим командованием английского генерала Пула. Официально говорилось о поддержке большевиков в отражении прогерманских белофиннов, активизировавшихся в Карелии и на Крайнем Севере, в районе Печенги. Продвижение на 600 км к югу, занятие Кеми, Онеги и взятие под контроль северного участка стратегически важной Мурманской железной дороги подготовило благоприятные условия для высадки в Архангельске 2 августа новых сил, состоявших из канадцев, австралийцев, американцев, французов, итальянцев и сербов. Одновременно в городе произошёл переворот, подготовленный капитаном 2-го ранга Чаплиным. Формально власть перешла к Временному правительству Северной области (первоначально — Верховное управление Северной области, ВУСО), возглавлявшемуся масоном-социалистом Николаем Чайковским. Фактически же это правительство полностью зависело от иностранцев. Чаплина произвели в капитаны 1-го ранга и назначили главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами ВУСО.

По всей видимости, ещё в 1916 году, во время службы на подлодке Королевского ВМФ Георгий Чаплин был завербован английской разведкой. Она-то и помогла ему перебраться из Петрограда на север, снабдив документами на имя британского офицера Томсона. Но предпринятая капитаном в начале сентября попытка нового переворота, теперь уже с целью свержения правительства социалистов и установления военной диктатуры, вызвала в Архангельске политическую ссачку. Поэтому зарубежные кураторы стали подыскивать новую кандидатуру на роль командующего.

Сначала их выбор пал на полковника Дурова, затем на последнего начальника Генерального Штаба русской армии при Керенском генерал-майора Марушевского, арестованного победившими большевиками в Петрограде, но выпущенного из тюрьмы под честное слово и благополучно скрывшегося. До Февральской революции он неплохо зарекомендовал себя при штабе русских экспедиционных сил, воевавших на территории Франции. Но и Марушевский оказался бессилён насадить дисциплину в подчинённых ему пёстрых по составу и вооружению отрядах, не признававших формы и не носивших погон. Тогда в январе 1919-го его заменили генерал-лейтенантом Миллером.

Евгений Карлович Миллер всю жизнь был штабистом и администратором. Много лет он провёл за границей в качестве военного атташе. Боевого опыта ему явно не хватало, а недолгое командование 26-м армейским корпусом в Карпатах должно было оставить у него самые неприятные воспоминания: в апреле 1917 года генерала

избили и арестовали его собственные солдаты за приказание снять красные революционные банты. Миллера отправили под конвоем в столицу. Однако здесь ему не только удалось избежать всякого наказания, но и организовать себе заграникомандировку в качестве представителя русской Ставки при Итальянской главной квартире.

В ноябре Миллер порвал с новой, большевистской Ставкой и весной 1918-го перебрался в Париж, где занялся вопросами возвращения в Россию частей русского экспедиционного корпуса для борьбы с красными. За этим занятием его застал настойчивый призыв посетить родину лично. Вскоре последовало и официальное приглашение от правительства Северной области занять пост генерал-губернатора.

В январе Миллер прибыл на ледоколе в Архангельск, быстро расширил свои полномочия до командующего армией, фронтом и, наконец, в сентябре, по распоряжению Колчака, стал Главным начальником Северного края с диктаторскими полномочиями.

Нельзя не признать его организаторских способностей: летом 1919 года контрреволюционные силы за Полярным кругом количественно возросли. Но увеличенная путём мобилизации местного населения и включения в её ряды дезертиров и пленных Северная армия, хотя и простиралась численно за пятьдесят тысяч человек (без учёта десятитысячного ополчения), представляла собой во всех отношениях негодный инструмент. Не помогали и организованные офицерские школы, в которых преподавали иностранные инструкторы.

Для поднятия морального духа белые стали практиковать награждение упразднёнными революцией орденами и медалями, иногда добавляя в них что-нибудь от себя. Так, орден Святого Георгия покрывался не привычной белой, а зелёной эмалью, и т. д. Учредили и собственную медаль. Об изяществе её, правда, не позаботились. На аверсе этой топорно выполненной, чрезмерно изобилующей деталями награды, носившейся на ленте из голубой и белой полос, в центре была изображена крылатая Победа, держащая меч в правой руке и щит в левой. По левую сторону от неё — русский солдат, заряжающий винтовку, и солдаты союзных войск, ведущие стрельбу: англичанин, американец, француз, итальянец и серб. Сверху на реверсе — двуглавый орёл без короны с распущенными крыльями, держащий в лапах венок и меч. На груди орла щит с изображением святого Георгия. Внизу — погрудные фигуры всё тех же солдат-союзников, окружающие русского. Под орлом надпись в две строки: «Медаль в память освобождения Северной области от большевиков»

Но и награды не могли увлечь в бой северное воинство. Даже опыт с международным Славяно-Британским легионом окончился плачевно.

Эта часть, в которую поначалу записалось много кадровых офицеров, постепенно дошла до принудительной вербовки, взбунтовалась и попыталась перейти к красным. Мятежников разоружили, некоторых из них потом расстреляли британцы.

В конце концов на Северную армию союзники стали смотреть как на прожорливый сброд. Белое дело вообще уже в то время не пользовалось сочувствием за рубежом. В рабочей среде на Западе крепили голоса тех, кто симпатизировал Советской республике. С этим внутривластным течением правящему классу вскоре пришлось считаться.

Казалось бы, ещё совсем недавно английский премьер Ллойд Джордж вещал в стенах парламента: «Мы не можем сказать русским, борющимся против большевиков: „Спасибо, вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло“. Мы были бы недостойной страной!.. А поэтому мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харькову».

Неизвестно, какому «генералу Харькову» соби­рался оказать всемерную помощь Ллойд Джордж, но под впечатлением успехов Красной армии, а также уступая давлению общественного мнения его правительство отказалось поддерживать антибольшевистские силы в России, свернуло поставки продовольствия и боеприпасов. Иностран­ный воинский контингент был эвакуирован из Северной области, бросив белогвардейцев на произвол судьбы.

Иностранцы и раньше не выказывали желания сражаться, ограничившись в основном удержанием территории и созданием на ней концентрационных лагерей, а также облётom побережья на аэропланах ради эффектных кадров для кинохроники. До поры до времени красные не создавали сколько-нибудь серьёзной угрозы этому положению. Но опыт, мощь и численность Красной армии на северном направлении постепенно росли, так что теперь поражение оставленной с ними один на один миллеровской армии, предпринявшей между тем осенью 1919-го последнюю отчаянную попытку наступать, было вполне предсказуемо.

Декабрьский контрудар красных загнал белых в порты, оттуда всего около 800 человек с генералом Миллером сумели эвакуироваться морем 19 февраля 1920 года. Остальные рассеялись или сдались.

В эмиграции бывшие воен­нослужащие Северной армии создали ветеранское «Общество северян», учредившее для своих членов особый памятный знак — покрытый белой эмалью серебряный Андреевский крест, с узкой голубой каймой по краям. На левом верхнем конце креста надпись «Архангельск», на правом — «Мурманск», на левом нижнем — «1 августа 1918», на правом — «19 февраля 1920». В центре креста серебряный двуглавый орёл под тремя коронами. Носить знак полагалось на винте в петлице штатского костюма.

Вот собственно и всё, что известно о нём,—ни образцы, ни списки награждённых не сохранились.

Антисоветское сопротивление на севере и в Заполярье окончилось. Остаётся рассказать о дальнейшей судьбе и трагическом конце генерала Миллера. Перебравшись из Норвегии во Францию, он стал главноуполномоченным по военным и морским делам генерала Петра Врангеля, в то время ещё продолжавшего вооружённую борьбу на юге России. Позднее занимался денежными делами великого князя Николая Николаевича. А с 1925 года сделался старшим помощником председателя Русского общевоинского союза (РОВС). После похищения агентами ОГПУ в 1930 году в Париже главы этой организации, генерала Александра Кутепова Миллер заместил его. 22 сентября 1937-го он, в свою очередь, был похищен и тайно вывезен из Гавра в Ленинград на теплоходе «Мария Ульянова». Организовать поимку генерала помогли супруги-предатели—Николай Скоблин, braveйший корниловец, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени за пленение целого австрийского батальона, и его жена, популярная певица Надежда Плевицкая. Их разоблачение вызвало грандиозный скандал, в очередной раз расколовший белоэмиграцию. В 1940-м осуждённая Плевицкая умерла во французской тюрьме. Неизвестно в точности, где и при каких обстоятельствах погиб её муж. В рассекреченном ФСБ деле Миллера имеется следующая собственноручная записка Скоблина:

«11 ноября 37. Дорогой товарищ Стах! Пользуясь случаем, посылаю Вам письмо и прошу принять, хотя и запоздалое, но самое сердечное поздравление с юбилейным праздником 20-летия нашего Советского Союза. Сердце моё сейчас наполнено особой гордостью, ибо в настоящий момент я весь, целиком, принадлежу Советскому Союзу, и нет у меня той раздвоенности, которая была до 22 сентября (день похищения генерала Миллера.—М. Л.). Сейчас я имею полную свободу говорить всем о моём Великом Вожде Товарище Сталине и о моей Родине—Советском Союзе... Сейчас я твёрд, силен и спокоен и верю, что Товарищ Сталин не бросит человека...».

Скоблин не мог, конечно, предусмотреть того, что опытный Миллер, собираясь на встречу «с германским офицером, военным атташе при лимитрофных государствах, Штроманом и с Вернером, прикомандированным к здешнему германскому посольству», оставит в РОВС записку с указанием, куда, к кому и с кем он направляется. Версии дальнейшего противоречивы и неясны. То ли Скоблина, сумевшего скрыться в советском посольстве, тайком перевезли в Испанию, где, по словам ветерана отечественных спецслужб Павла Судоплатова, выкинули из самолёта, то ли переправили в СССР и уже здесь потихоньку ликвидировали.

Что же касается Миллера, то он был доставлен в Москву и помещён во внутреннюю тюрьму на Лубянке, где, безрезультатно адресуясь к наркому Ежову, просил позволения посетить инкогнито православную церковь:

«Могу перевязать лицо повязкой, да и вообще мой современный облик штатского старика мало напоминает моложавого 47-летнего генерала, каким я уехал из Москвы в 1914 году».

11 мая 1939 года бывшего командующего Северной армией расстреляли.

Восточный фронт

Вооружённое сопротивление большевикам в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке начало разворачиваться зимой 1918 года. В разных местах оно носило различный характер и осуществлялось под взаимоиключающими (монархическими, социалистическими, либерально-демократическими, националистическими и др.) лозунгами. В сочетании с другими факторами это привело в итоге к закономерному краху.

Хотя начало было ободряющим. В Уральске, например, местные казаки разогнали Совет рабочих, киргизских и крестьянских депутатов. И тут же учредили своё собственное Войсковое Правительство. В июне, отразив наступление красных и отбросив их к Саратову, казаки удерживали протяжённый фронт по линии Ершово-Новоузенск и далее на север к Бузулуку. В ознаменование успехов Войсковой Круг учредил награду—крест (орден) и медаль Святого Архангела Михаила.

Штампованный бронзовый крест диаметром 40 мм имел в медальоне изображение архангела, небесного покровителя уральского казачества, верхом на коне, прорободающего копьём дракона. Прямые лучи креста украшали надписи: на верхнем—«за веру», на левом и правом—«отечество» и «Яикъ» (прежнее название реки Урал, упразднённое Екатериной II, искоренявшей таким образом память о Пугачёвском бунте, разгоревшемся как раз среди яицких казаков), на нижнем—«и свободу».

Тот же девиз, но только пущенный по кругу, и конную фигуру в центре получила Михайловская медаль. Впрочем, сведения о внешнем виде медали основаны исключительно на воспоминаниях—ни одного её образца не сохранилось.

Обе награды носились в колодке малинового цвета, символизирующего Уральское Казачье Войско, в форме которого присутствовали малиновые погоны, малиновые лампасы, малиновые верхи папах и околыши фуражек.

Реверс креста и медали был гладким, на нём гравировался номер награды.

Как прежде Георгиевского ордена, так теперь Михайловских наград можно было удостоиться только за военные заслуги.

Кресты и медали, чеканившиеся в Омске, долго не могли найти своих героев. Так, есаулу Петру Хорошину, ставшему первым кавалером креста в июне 1918-го, тот достался лишь осенью. Биография этого человека примечательна. В Первую мировую войну Хорошин командовал сотней 2-го Уральского казачьего полка, за отличия в боях получил три ордена. В белой армии дослужился до полкового командира, но тяжёлое ранение прервало его военную карьеру. Произведённый в полковники, Хорошин перебрался в Крым, откуда эвакуировался в 1920 году вместе с остатками разбитых врангелевцев. Вскоре он тайком вернулся на родину — сперва в Уральск, а затем в Саратов, где возглавил подпольную организацию из бывших офицеров. Дальше были разоблачение, суд и расстрел.

Любопытна история последних награждений. В конце февраля 1920-го, когда казачья Уральская армия практически перестала существовать, прижатая к Каспию и блокированная в форте Александровский, креста удостоились представители британской военной миссии, участвовавшие в отступлении, майор Ленокс Бретт О'Брайен, капитаны Сеймур Броклебанк и Алан Дуглас Седдон. О'Брайен, кроме того, был ещё и зачислен в казаки. Редкий случай! Сержанты Джеймс Биверс, Томас Делани и Джек Би заслужили по медали.

Однако английское правительство, не желавшее в то время портить отношения с Советами, запретило своим военнослужащим носить эти награды.

Борьба с красными на первых порах представляла собой партизанщину. В феврале 1918 года в Красноярске штаб-ротмистр Ямбургского уланского полка Эрвин Фрейберг сколотил вооружённую группу из кадет I Сибирского кадетского корпуса и гимназистов. Его отряд, получивший название Ачинского и впоследствии в качестве эскадрона влившийся в Сибирскую армию белых, действуя в районе Красноярск — Минусинск — Ачинск, доставлял красным массу хлопот, сковывал порой довольно значительные их силы. В сентябре того же года для чинов уже переформированного ачинского отряда был учреждён крест. Праобраз его — знак войсковой части Русской императорской армии, где прежде служил Фрейберг. В эмиграции ветераны-ямбуржцы на этом основании считали конно-партизанский отряд Фрейберга как бы продолжением своего полка.

Изящный белой эмали крест ачинцев имел восьмиконечную «мальтийскую» форму, позади него располагался терновый венец. Через красный медальон, окружённый сплошной лавровой ветвью, пущено вертикально вверх лезвие меча с золочёной рукоятью. Надписи на горизонтальных сторонах креста: «3.III» и «1918» — дата первого боя отряда с красными. Крепился крест на левую

сторону груди в розетке бело-сине-красных национальных цветов России.

Враги большевиков неоднократно, хотя и безуспешно, пытались сорганизоваться, чтобы выступить на борьбу единым фронтом. Результатом одной из таких попыток стало Временное Всероссийское правительство, неофициально именовавшееся Директорией, образованное 23 сентября 1918-го в Уфе в результате достигнутого шаткого компромисса между политически разнородными силами — правыми эсерами (не приняв Октябрьскую революцию, они откололись от партии социалистов-революционеров), конституционными демократами и народными социалистами. Директория рассматривала себя в качестве правопреемницы свергнутого Временного правительства в Петрограде и констатировала, что «впредь до созыва Всероссийского Учредительного Собрания является единственным носителем верховной власти на всём пространстве государства Российского».

Среди того немногого, что успела осуществить Директория, было учреждение ордена «Освобождение Сибири». В объявленных Обществом художников и любителей изящных искусств Степного края условиях конкурса на дизайн награды особо подчёркивалось:

«Орден должен воплощать идею Возрождающейся России из смуты Гражданской войны. Символом возрождения могут быть мотивы, заимствованные из русских национальных сокровищ древней орнаментальной мистики и современных графически переданных аллегорий».

Из сокровищ мистики позаимствовали необычной формы и расцветки крест, получивший четыре степени и два варианта исполнения — военный (с казацкими шашками, скрещёнными позади креста) и гражданский (без шашек). Изготавливался он из золота (кроме 4-й степени) и малахита (тоже кроме 4-й, в которой малахит заменялся зелёной эмалью). В центре креста стояла дата: «1918» — год начала «освобождения Сибири». Лента ордена — бело-зелёная.

Награду утвердили, изготовили пробные образцы, но вручить никому не успели — поторопились с «возрождением из смуты». В ночь с 17 на 18 ноября правые эсеры, члены Директории, стремительно терявшей популярность, были арестованы в Омске казаками, и после тайного голосования сибирские министры вручили власть монархисту, адмиралу Колчаку.

Александр Колчак, в прошлом известный популярный исследователь и специалист по морскому минированию, объявил себя Верховным правителем России. На подконтрольной ему территории он восстановил многие законы и учреждения бывшей империи, не забыв и об упразднённой большевиками наградной системе. Правда, активировал её

лишь частично. Снова начались вручения орденов Святого Георгия и Святого Владимира, но только до 2-й степени включительно. С высшей степенью в условиях Гражданской войны адмирал решил повременить. Не награждал он этими степенями двух главных русских боевых орденов ещё и по той причине, что прежде это было исключительной прерогативой монарха. Зато «нижестоящий» орден Святой Анны всех степеней и Георгиевские солдатские кресты выдавались без ограничений.

А вот от польских орденов — Святого Станислава и Белого Орла — Колчак, кавалер «Станислава» 2-й (за Порт-Артур) и 1-й степеней (за успешное командование на Балтике в 1914–1916 гг.), предпочёл вообще отказаться.

Битвы 1919 года, начавшиеся молниеносными успехами колчаковских армий, закончились их поражением. 27 декабря эшелоны, забитые эвакуировавшимися на Дальний Восток солдатами, гражданским населением и золотом (в наследство адмиралу досталось то, что на тот момент сохранилось от золотого запаса Российской империи и было захвачено у большевиков в Казани летом 1918 г.), остановили под Нижнеудинском чехословаки, контролировавшие Транссиб. Паровозы тут же отцепили и угнали.

Нам, любящим провести каникулы в сказочной рождественской Праге, не следует забывать о роли чехов в Гражданской войне. В апреле 1917-го из них и словаков — пленных солдат вражеской австро-венгерской армии — был сформирован корпус, позднее развёрнутый в армию. Воевать «братья-славяне» особенно не рвались и после заключения Брестского мира предпочли ударить в Поволжье и Сибирь — подалше от немцев, в нарушение договорённости с Советами продолжившими движение на восток. Им выделили эшелоны для переброски в Приморье, оттуда корабли Антанты должны были доставить их во Францию. Но в мае 1918-го чехословаки испугались, что после сдачи оружия снова попадут в лагерь. Их отряды, разбросанные по всему Транссибу, взбунтовались и свергли советскую власть вплоть до Владивостока, а затем соединёнными силами двинулись на запад, захватили Екатеринбург, Симбирск, Казань.

7 августа в Казани добычей чехословацких легионеров едва не сделался золотой запас России — 657 миллионов рублей в золотых монетах (около 330 миллионов долларов по тогдашнему курсу), кредитные билеты, платина, драгоценности. Но тогда его почти целиком успела эвакуировать Народная армия Владимира Каппеля (почти целиком, потому что нескольких миллионов белые всё-таки недосчитались). Вскоре после того легионеры отказались от участия в боях с регулярной Красной армией и занялись тыловыми карательными операциями против партизан, для чего опять рассредоточились по Транссибу.

...Когда начальник французской военной миссии при колчаковском правительстве генерал Морис Жанен, которому фактически подчинялись легионеры, натолкнулся на резкий отказ Колчака выдать золото, он сдал адмирала его давним врагам эсерам, на короткое время захватившим власть в Иркутске. Трагическую развязку ускорила ставшая известной телеграмма Верховного правителя во Владивосток с приказанием тщательно досматривать имущество покидающих Россию чехов. Эсеры и чехи, в свою очередь, передали пленника большевикам вместе с большей частью золота, купив тем самым помилование для первых и билет домой для вторых. Сколько чехи при этом прикарманили, остаётся загадкой. Но известно, что вернувшиеся на родину легионеры основали собственный Легиабанк — один из крупнейших банков Чехословакии.

А брошенные без паровозов в сибирских снегах эшелоны стали могилами на колёсах для тысяч русских людей...

В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года адмирал Колчак был расстрелян по решению большевистского Иркутского военно-революционного комитета. Спустя четыре дня принявший командование остатками разгромлённых колчаковцев генерал-майор Сергей Войцеховский «в воздаяние исключительных опасностей и трудов, понесённых войсками Восточного фронта в беспримерном походе с берегов Иртыша за Байкал» учредил награду — знак отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход», скопированный с другого, более известного знака отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода, разговор о котором впереди.

Награда имела две степени: 1-я на Георгиевской ленте — для всех участников сражений, и 2-я — для совершивших поход, но в боях не принимавших участия, на ленте ордена Святого Владимира.

Сбежавший тигр

Русским золотом, спасаемом белыми от большевиков, успели поживиться не только чехословаки. На один из эшелонов, застрявших в Чите, наложил тяжёлую лапу казачий атаман, два года бывший полновластным хозяином этого края, — Григорий Семёнов.

Это была в своём роде героическая личность. Уроженец Забайкалья, в двадцать четыре года он уже стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени: в ноябре 1914-го под Варшавой хорунжий Семёнов с казаками отбил у немцев знамя своего 1-го Нерчинского полка и обоз Уссурийской бригады, в которую входил полк. Два года спустя он удостоился другой почётнейшей награды — Георгиевского оружия.

Сослуживцем Семёнова был Роман фон Унгерн-Штенберг, с которым его не раз в дальнейшем сводила судьба, а полковым командиром —

Пётр Врангель, будущий белый вождь. Вот как отзывался впоследствии Врангель о своём подчинённом:

«Семёнов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, ко времени принятия мною полка, состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семёнову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны».

Не всё в этой характеристике справедливо. Образование Семёнов получил первоначально и, правда, домашнее, но среди книг, хранившихся в сундуках его отца, были, например, буддийские сочинения, знакомством с которыми и теперь-то немногие могут похвастать. Кроме бурятского и монгольского, он владел ещё и английским языком. В юности интересовался археологией и палеонтологией, даже принимал участие в научной экспедиции для пополнения экспозиции Читинского краевого музея, занимавшейся раскопками в окрестностях его родной Куранджи.

Неширокого кругозора Семёнову хватило, однако, чтобы увидеть, к чему всё покатило в армии после Февральской революции (монархистом, кстати сказать, он никогда не был). Его докладная записка на имя военного министра Керенского с предложением сформировать конный полк из бурят и монголов, чтобы «пробудить совесть русского солдата, для которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело» возымела действие: летом 1917-го молодого есаула назначают комиссаром Временного правительства в Забайкалье.

Случилось так, что Семёнов одним из первых поднял оружие против новой, послеоктябрьской власти. Распознав в классово чуждом казаке врага, читинские большевики попытались арестовать его. Но Семёнов бежал через границу в Маньчжурию, пополнил и вооружил свой Особый маньчжурский отряд за счёт распущенных им частей, охранявших квЖД, и в конце января вторгся в восточную часть Забайкалья, Даурию. Красные немедленно мобилизовали все силы. Возник первый из фронтов Гражданской войны — Даурский (командующий Сергей Лазо).

Успех вначале не сопутствовал Семёнову. В марте ему пришлось отступить. Однако в апреле он

вновь перешёл границу и, присоединяя по пути казаков, восставших против советской власти, двинулся к Чите.

Взять город в тот раз не удалось. Но отброшенный в Маньчжурию Семёнов не оставил своих попыток. Теперь, когда он сделался атаманом, имел в подчинении генералов и штаб-офицеров, Антанта, ставившая себе целью отторгнуть от России Сибирь и Дальний Восток, сделала на него серьёзную ставку.

28 августа казаки Семёнова всё-таки захватили Читку.

Отношения с пришедшим к власти в Омске адмиралом Колчаком у него с самого начала не сложились. Колчак был сторонником строгой дисциплины, а Семёнов — казацкой вольницы. Последний не признал первого как Верховного правителя России, первый формально сместил последнего со всех должностей. Конфликт удалось несколько замять лишь в начале 1919-го. Весной атамана назначили командиром корпуса, которым, впрочем, именуя это соединение Отдельной Восточно-Сибирской армией, он уже командовал и так, без всяких назначений, а летом произвели в генерал-майоры. Но воевать под началом Колчака в Поволжье и на Урале, где в то время решалась судьба всего белого востока, Семёнов не стал. Что же, кроме честолюбия, удерживало его на месте? Собственные бандиты, бесчинствовавшие в Чите и по всему Забайкалью.

Семёновские казаки обожали пороть нагайками. До смерти. После двухсот ударов их жертва обычно расставалась с жизнью. Пьяные вояки (сам атаман, чья мать была из старообрядческой семьи, спиртного, кажется, не употреблял) рубили шашками головы первым встречным, просто ради потехи. Женщин насиловали.

Против атамана и его шайки свидетельствовали и те, кто был с ними вроде бы по одну сторону фронта. Так, начальник Читинской областной тюрьмы доносил в сентябре 1918 года Временному Сибирскому правительству о том, как около сорока вооружённых семёновцев, явившихся в тюрьму ночью, потребовали выдать им содержащихся в камерах большевиков. Когда тюремщик подчинился и открыл камеры, арестованных забрали и увезли в штаб отряда, где пытали и убили всех.

Один из ближайших сподвижников атамана дал на суде в 1946 году следующее показание о семёновских подручных: «...Об Унгерне ходили легенды. Он был очень жесток. Не щадил ни женщин, ни детей. По его приказанию уничтожалось население целых деревень. И сам он лично с наслаждением расстреливал обречённых на смерть. Таким же жестоким был и начальник особой карательной дивизии генерал Тирбах. Штаб его дивизии находился в местечке Маккавеево. Там Тирбах и вершил свой скорый и страшный суд. Однажды

насильственно мобилизованные казаки, не желая служить Семёнову, убили своих офицеров и перешли к партизанам. Вскоре в их станицу прибыл отряд Чистохина. Были собраны все старики. Их запрягли в сани и приказали везти убитых офицеров на кладбище. Там стариков расстреляли, а станицу сожгли».

Вот для кого был установлен атаманом крест «За храбрость» на Георгиевской ленте. Он представлял собой практически точную копию Георгиевского креста, только на лицевой стороне на верхней его части было помещено изображение солнца в лучах, на левой и правой по букве «О», на нижней «М». Вместе это означало «Особый маньчжурский отряд».

Имелась и медаль с тем же названием, конным Георгием, солнцем. И надписью «Особый маньчжурский отряд» по ободку.

Одновременно возник и знак отряда, с двуглавым орлом без корон, держащим в лапах змею, атаманским вензелем «АС» на груди у птицы и датой «1917», разнесённой по две цифры на каждое крыло. К двадцатилетию отряда в 1937 году был выпущен вариант этого знака с добавлением внизу трёхцветного бело-сине-красного щита и датой на нём «1937».

Впрочем, играли в «казаки-разбойники» не только семёновцы.

В октябре белогвардейский генерал Павел Иванов-Ринов так охарактеризовал положение на Дальнем Востоке:

«Хабаровск, Нижний Амур и железная дорога Хабаровск—Никольск заняты атаманом Калмыковым, которого поддерживают японцы, за что Калмыков предоставляет им расхищать неисчислимые ценности Хабаровска. Японцы в свою очередь предоставляют Калмыкову открыто разбойничать, именно: разграбить хабаровский банк, расстрелять всех, кого захочет, смещать и назначать начальников окружных управлений Хабаровска и осуществлять самую дикую диктатуру».

О Семёнове же генерал выразился так:

«Семёнов, поддерживаемый также японцами, хотя и заявляет о своей лояльности в отношении командного состава и правительства, позволяет своим бандам также бесчинствовать в Забайкалье, именно: реквизируют наши продовольственные грузы, продавать их спекулянтам, а деньги делить между чинами отрядов».

Среди остановленных и ограбленных семёновцами эшелонов был и состав с сорока двумя миллионами золотых рублей. Одну часть добычи атаман потратил на своё войско, а другую (1,5 тонны золота в 33 ящиках) передал своим непосредственным хозяевам, японцам, которые впоследствии присвоили всё это золото.

И всё-таки именно Семёнову разгромлённый и преданный всеми Колчак вручил то, что ещё

оставалось от белой Сибири. В указе Верховного правителя России от 4 января 1919 года говорилось:

«Ввиду предрешения мною вопроса о передаче верховной всероссийской власти Главнокомандующему Вооружёнными силами Юга России, Генерал-Лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской Восточной Окраине оплота Государственности, на началах неразрывного единства со всей Россией:

Предоставляю Главнокомандующему вооружёнными силами Дальнего Востока и Иркутского Военного Округа Генерал-Лейтенанту Атаману Семёнову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраны, объединённой Российской верховной властью.

Поручаю Генерал-Лейтенанту Атаману Семёнову образовать органы Государственного Управления в пределах распространения его полноты власти».

Это легитимизировало и продлило поддержанное японцами антибольшевистское сопротивление в Забайкалье ещё на некоторое время. Но когда Япония, побеждённая красными на дипломатическом фронте, вывела свои войска, дни казачьей вольницы были сочтены. 22 октября пала Чита. Семёнов, некогда напомнивший английскому полковнику «тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать», герой Первой мировой, в одиночку напавший на дюжину врагов, чтобы отбить пленного казака, теперь бросил всех и бежал из Читы на аэроплане.

Там в августе 1945-го, после разгрома советскими войсками японской Квантунской армии, он и был арестован.

В ходе заседания Военной коллегии Верховного суда СССР на вопрос государственного обвинителя: «Применялись ли расстрелы населения?»— Семёнов ответил: «Применялись». На вопрос: «Много расстреляли?»— «Я не могу сейчас сказать, какое количество было расстреляно, так как непосредственно не всегда присутствовал при казнях». На вопрос: «Много или мало было расстреляно?»— «Да, много». На вопрос: «А другие формы репрессий вы применяли?»— «Сжигали деревни, если население оказывало нам сопротивление».

30 августа 1946 года Григорий Семёнов был повешен.

Вооружённые силы юга России

В середине лета революционного 1917-го, после провала русского наступления стало ясно, что войны до победного конца не будет. Собственно говоря, боеспособная армия существовала уже только в воображении министров Временного правительства, успевших заранее раструбить о грядущих победах революционного оружия. Уходившим на дно истории политическим корифеям

Февраля приходилось хвататься за любую соломинку.

Переданные по телеграфу первые сообщения о прорыве ударными батальонами австро-германских позиций обнадеживали. Но за ударниками практически не продвигалась вперёд основная масса войск. Части и соединения, игнорируя приказы, от кого бы и в какой форме те ни исходили, не трогались с места. В ряде случаев дошло до самоубийственного безумия: свои обстреливали своих, препятствуя атаковать врага.

Хотя на некоторых участках огромного фронта, особенно на Юго-Западном, противник был опрокинут и отброшен, эти успехи не стоило переоценивать. Перегруппировавшись и перебросив значительные силы из Франции, где союзники России по Антанте не вели активных боевых действий, немцы нанесли мощные контрудары, которые чуть не привели к полной катастрофе. Там, где перед врагом оказывались полки и дивизии, остававшиеся таковыми лишь по названию, русский фронт откатывался или таял, как утренний туман. Характерный эпизод: атаки трёх немецких рот было достаточно, чтобы две дивизии 9-й армии пустились в паническое бегство.

Эхом военного поражения стали беспорядки в столице, спровоцировавшие неподготовленный мятеж — вооружённое выступление ново назначенного Верховного главнокомандующего Лавра Корнилова в защиту последних остатков государственного порядка.

Мятеж был моментально подавлен, Корнилов и ещё несколько видных генералов арестованы. Бесновавшийся в Петрограде Александр Керенский, казалось, укрепил личную власть, объявив самого себя главноверхом. На деле же он обезглавил армию и собственными руками устранил единственную преграду, мешавшую оппозиционному Петросовету взять власть в стране.

Реальность такой угрозы была вполне очевидна начальнику штаба Ставки генералу Михаилу Алексееву. Но именно его и вынудили на месте усмирить Корнилова. С тех пор между двумя генералами, что называется, пробежала кошка. Доверие было подорвано и это сказалось впоследствии на общем их деле.

В то же время Алексеев сам начал тайком готовить почву для создания силы, способной оказать сопротивление большевикам. Но генерал опоздал и членам т. н. Алексеевской организации после известных событий в Петрограде было приказано на свой страх и риск пробираться в казачьи области Юга России, где Алексеев рассчитывал получить поддержку. В ноябре в Новочеркасск прибыл он сам. К его досаде, тут ничего ещё не было готово к серьёзной борьбе.

Казачи в основной массе идти против новой власти не собирались. Они вообще не хотели

больше братья за оружие. Их несложно понять: донское и кубанское казачество понесло слишком тяжёлые потери в войне и теперь жаждало мира. Кроме того, многие казаки всё ещё находились вдали от дома, на фронте. Войсковой атаман Алексей Каледин, хотя и сочувствовал зарождавшемуся белому делу, рекомендовал генералу Алексееву и его сторонникам вести себя на Дону как можно тише, а лучше всего поскорее покинуть слабо контролировавшуюся им область.

Ещё один неприятный сюрприз преподнесла буржуазия, ранее тайно обещавшая Алексееву широкое финансирование. В итоге тем из добровольцев, кому с немалым трудом удалось достичь Дона (некоторые были перехвачены в пути и расстались с жизнью), пришлось туго затянуть пояса.

Правда, в декабре среди них появился бежавший из заключения Корнилов и вдохнул некоторый оптимизм в упавших духом соратников. Он принял командование слабой (примерно 4 тыс. штыков и сабель) Добровольческой армией и перебазировал её в Ростов. Здесь «на отдыхе» находилось более 16 тыс. офицеров. Вся эта масса вела себя так, словно ей никто и ничто не угрожает.

23 февраля красные выбили добровольцев из города и несколькими расстрелами вернули оставшихся в живых к суровой действительности.

Ещё через день отряды командующего Северным участком советского Юго-Восточного фронта бывшего царского прапорщика Юрия Саблина («Юрка Саблин, — командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэжуоку, конфетно-хорошенький...») — писал о нём в дневнике Иван Бунин) заняли Новочеркасск. Каледин, сумевший наскрести со всего Дона всего полторы сотни сабель, видя вокруг полнейшую деморализацию, покончил с собой. Часть казаков, ведомых походным атаманом Петром Поповым, бежала в Сальские степи, на расположенные там зимовки, чтобы какое-то время отсидеться в относительной безопасности, поскольку красноармейцы в казачьем краю предпочитали не удаляться от железных дорог.

Участники Степного похода приказом атамана Попова от 26 апреля 1918 года были награждены железным крестом полукруглого профиля, без надписей на аверсе. На плоской оборотной стороне была гравировка: «За степной походъ 1918 г.», даты «12/II—5/V» и номер знака.

Носился казачий Степной крест на Георгиевской ленте.

А для предоставленных собственной участи добровольцев в условиях плохой погоды и мартовского холода начался восьмидесятидневный 1-й Кубанский (Ледяной) поход. В ходе него офицеры и примкнувшие юнкера и гимназисты продемонстрировали высокий боевой дух, малым числом побеждая плохо организованные советские

отряды. Но добиться поставленной цели — утвердиться на изобильной Кубанщине — им не удалось: красные уже успели занять Екатеринодар и отразили штурм, окончившийся гибелью Корнилова.

Генерал был убит случайной гранатой — чуть ли не единственной, прилетевшей со стороны города. Командующего похоронили в близлежащей немецкой колонии Гначбау, не подумав о последствиях. Когда Добровольческая армия ушла, красные, выискивавшие зарытые колонистами «сокровища», раскопали могилу Корнилова, погрузили тело генерала в повозку, отвезли в Екатеринодар и там строили зверское надругательство.

«В городе повозка эта ввезла во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти... Двор был переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли; настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель...»

Появились фотографии; с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части, и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но верёвка оборвалась — и тело упало на мостовую. Толпа всё прибывала, волновалась и шумела.

После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был неузнаваем: он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях.

В один день не удалось закончить эту работу: на следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и растапывали ногами и потом опять жгли».

Кроме этого описания, в материалах деникинской Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков сохранились сделанные в тот день фотоснимки мёртвого Корнилова, даровитого военачальника, георгиевского кавалера.

Особенно удивляться, впрочем, не приходится: с первых дней Гражданской войны зверство стало нормой для обеих воюющих сторон. Казаки рубили головы или секли до смерти, а между господами офицерами никогда не наблюдалось недостатка в охотниках собственноручно «пустить в расход».

Для полноты картины следует отметить, что советская историография эпизод с глумлением над телом Корнилова не отрицала и оправдать его не пыталась, а командарм Иван Сорокин, принявший личное участие в посмертной расправе над белым генералом, осенью того же года был смещён со своего поста, объявлен вне закона, пойман и застрелен бывшими «своими»...

Командование добровольцами вместо Корнилова принял генерал Антон Деникин. Он повёл их обратно на Дон, где между тем кардинально изменилась ситуация: казачество, разрознённое репрессивной политикой советской власти, восстало.

В августе 1918 года Деникин своим приказом установил для первопоходников знак, чрезвычайно ими ценившийся, — терновый веночек из оксидированного серебра, 30 мм в диаметре, пересечённый по диагонали слева направо и снизу вверх серебряным мечом. Сражавшимся в строю лента в колодке знака полагалась Георгиевская, с круглой розеткой бело-сине-красных национальных цветов. Нестроевым и гражданским чинам — Владимирская (красная с двумя чёрными полосами), тоже с трёхцветной розеткой.

Всего было изготовлено 5 тыс. экземпляров знака (знаком №1 посмертно наградили Корнилова), из которых несколько сотен осталось невостребованными (погибшие просто не могли его получить). Любопытна их судьба. Вывезенные из России, знаки были утоплены в 1944 году в Дунае эвакуировавшимися из Белграда ввиду приближения советских войск членами Союза участников 1-го Кубанского похода — лишь бы не достались большевикам.

Дроздовцы и марковцы

Корнилов, Деникин, Врангель, Кутепов, Марков, Дроздовский — вот имена, которыми, сложись всё иначе, гордилась бы Россия. Увы, талант этих руководителей ВСЮР, талантливых военачальников, патриотов, людей высокого личного мужества, оказался востребован там, где оригинальная стратегическая мысль, молодечество на поле боя, честь офицера и любовь к Родине были обгарены братской кровью. Вместо славы на их долю выпали проклятия, не всегда заслуженные, и ложь, которая хуже любой правды.

Общую участь со своими командирами разделили «цветные» части 1-го армейского корпуса добровольцев — корниловцы, марковцы, алексеевцы и дроздовцы. Известный пример — т. н. психическая атака из кинофильма «Чапаев» (1934). Киноинтерпретация биографии легендарного (вот точное слово!) советского комдива режиссёрами Георгием и Сергеем Васильевыми (на самом деле они были не братьями, а однофамильцами), как и её литературный первоисточник, роман Фурманова, вообще перешит неточностями. Не умаляя

достоинства актёрских работ Бориса Бабочкина и Леонида Кмита, надо признать, что фильм создавался в первую очередь как пропагандистская поделка.

Это в полной мере относится к знаменитой сцене «психической атаки». Тут перемешано всё. Начать хотя бы с того, что части 1-го Волжского армейского корпуса генерала Владимира Капшеля никогда не сходились в бою с 25-й Чапаевской дивизией. Затем, в отличие от реальных капшелевцев, киношные «хорошо идут» (выражение одного из героев фильма) почему-то под знаменем корниловцев, воевавших совсем на другом фронте. Да ещё и в форме марковцев 1-го Офицерского полка Добровольческой армии.

И вот результат — собирательный образ холёной белогвардейской «контры».

Но при ближайшем рассмотрении образ этот рассыпается. Корниловцы, например, были сторонниками республиканского строя, марковцы сочувствовали правым эсерам, в их присутствии какой-нибудь перетрусивший бывший уездный предводитель дворянства, какой-нибудь Ипполит Матвеевич Воробьянинов, запевший «Боже, царя храни!», мог лишиться головы, не допев и первого куплета. Иное дело дроздовцы — те были отъявленными монархистами.

... После Февральской революции Русская армия не везде разваливалась с одинаковой быстротой. Местами, а именно там, где случайно оказывались добросовестные офицеры, способные в решительную минуту проявить необходимую твёрдость к распоясавшейся солдатне, какое-то время ещё удавалось поддерживать в войсках относительный порядок. На общем фоне падения дисциплины Румынский фронт, как один из наиболее удалённых от Петрограда, главного рассадника смуты и мятежа, выглядел не так уж плохо. Заслуга в том отчасти принадлежала Михаилу Гордеевичу Дроздовскому.

Будущий белый генерал родился в 1881 году в Киеве. Дворянская фамилия Дроздовских дала России много служилых людей, бившихся и со шведами, и с турками, и с французами, и с кавказскими горцами. Образованием ребёнка занимался вначале его отец, генерал-майор, ветеран Севастопольской обороны. Затем его определили в киевский Владимирский кадетский корпус, позже — в Павловское военное училище в Петербурге. Последнее славилось суровой дисциплиной. Но не следует делать из этого вывод, будто юнкеров муштровали там до состояния автоматов. Да, возражения не поощрялись, и Дроздовского, например, за упорную склонность противоречить всему, что, в свою очередь, противоречило здравому смыслу или задевало честь, не раз наказывали карцером. Но вот отчислить бузотёра не позволяла его отличная успеваемость.

В 1901 году в чине подпоручика Дроздовский был выпущен в гвардию, в Волынский Его Величества полк. Дальше — Николаевская академия Генштаба, кузница русских полководцев. Тут он опять проявил характер — с первого курса, не воспользовавшись полагающейся слушателю академии «бронью», отправился на Русско-японскую войну. В рядах 1-го Сибирского корпуса сражался в Маньчжурии, был ранен, награждён орденами Святой Анны 4-й степени, с надписью «За храбрость», «Станиславом» 3-й степени, с мечами и бантом, а после войны удостоился ещё и 3-й степени «Святой Анны».

Вполне естественно, что с самого начала Первой мировой войны он из фронтового штаба рвался на передовую. Орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Золотым Георгиевским оружием были отмечены его подвиги на поле брани. В сентябре 1916-го, лично поведа полки в атаку, Дроздовский получил тяжёлое ранение. И что же? Не вполне оправившись (правая рука его так навсегда и осталась полупарализованной), он добился возвращения на фронт уже в январе следующего года. И снова попал в дивизионный штаб. Только в апреле 1917-го, в чине полковника принял командование боевой частью — 60-м Замосцким пехотным полком.

Но ни долгожданное назначение, ни представление к высоко почитавшемуся им ордену Святого Георгия не могли сгладить впечатления, произведённого на верноподданного монархиста отречением императора и Февральской революцией. Вот характерная запись в его дневнике:

«Теперь положительно ни за один день нельзя положиться, и с создавшейся у нас демагогией каждый день можно ждать какой-нибудь грандиозной боевой катастрофы... В общем перспективы очень грустные, резко упала дисциплина под влиянием безнаказанности, и впереди многое рисуется в мрачных тонах».

А это запись, сделанная в ноябре того же года: «Ещё 20-го получил Георгиевский крест по давнишнему представлению — единственный орден, к которому я никогда не был равнодушен... а между тем у меня теперь никакой радости в сердце, нисколько не стало легче на душе от этого маленького белого крестика...».

Через несколько дней Дроздовского назначают командиром 14-й пехотной дивизии. Но Русской армии уже фактически не существует: просто руководству вот-вот готового самоликвидироваться Румынского фронта потребовался благовидный предлог для вызова Дроздовского в Яссы, где располагался фронтовой штаб, на совещание относительно дальнейших действий.

Участники совещания так и не пришли к общему мнению. Действительное следствие встречи было только одно: из меньшинства офицеров,

объединившихся вокруг Дроздовского, возникло активное ядро. Немедленно началась запись в 1-ю бригаду корпуса русских добровольцев, которая к началу 1918-го года насчитывала уже несколько сотен штыков, имела собственную артиллерию и броневомобили.

Каждый поступающий в бригаду давал подписку следующего содержания:

«Я, поступая добровольно в Национальный Корпус Русских Добровольцев, имеющий целью воссоздание порядка и организацию кадров по воссозданию российской армии, причём за всё время пребывания в Корпусе обязуюсь:

1. Интересы Родины ставить превыше всех других, как-то — семейных, родственных, имущественных и пр. Поэтому защищать с оружием в руках, не жалея своей жизни, родину, жителей её без различия классов и партий — и их имущество от всякого на них посягательства.
2. Не допускать разгрома и расхищения каких бы то ни было складов.
3. Всюду стоять на страже порядка, действуя против нарушителей всеми способами до применения оружия включительно.
4. Быть внепартийным, не вносить и не допускать в свои ряды никакой партийной розни, политических страстей, агитации и т. д.
5. Признавать единую волю поставленных над мною начальников и всецело повиноваться их приказаниям и распоряжениям, не подвергая их обсуждению.
6. Всюду строго соблюдать правила дисциплины, подавая собою пример окружающим.
7. Безропотно и честно исполнять все обязанности службы, как бы ни тяжелы временами ни были.
8. Не роптать, если бы случайно оказался недостаток обуви, одежды, пищи или она оказалась бы не вполне доброкачественной.
9. Также не роптать, если бы оказались неудобства расквартирования, как-то: теснота, холод, грязь и пр.
10. Не употреблять спиртных напитков и в карты не играть.
11. Без разрешения своих начальников от своих частей не отлучаться.
12. В случае неповиновения, дезертирства, восстания, агитации против дисциплины подлежу наказанию по всей строгости законов военного времени».

Хотя в подписке говорилось о внепартийном характере добровольчества, соратники Дроздовского

втайне создали параллельную структуру, куда принимались исключительно лица монархических убеждений.

Целью 1-й бригады (около 1000 бойцов в конце февраля 1918-го), как и 2-й, формировавшейся одновременно с нею в Кишинёве (приблизительно равной по численности), и 3-й, только намеченной к созданию в Белграде, было соединение с Добровольческой армией генералов Корнилова и Алексеева.

Однако вынужденный уход добровольцев с Дона оборвал их связь со штабом Румынского фронта и сбитое с толку руководство последнего, посчитав дальнейшие усилия бесполезными, распустило обе уже набранные бригады.

Кишинёвское соединение генерал-лейтенанта Юлиана Белозора тотчас перестало существовать. Но Дроздовский был сделан из другого теста. Он не подчинился приказу фронтового штаба и в марте двинул бригаду на свой страх и риск к Дону. Для этого пришлось преодолеть сопротивление румынского правительства, только что заключившего сепаратный мир с Центральными державами, и противодействие киевских сепаратистов, заявивших притязания на причерноморские русские губернии, через которые пролегал кратчайший путь из Бессарабии в казачьи области Дона и Кубани.

26 февраля румыны даже попытались с оружием в руках воспрепятствовать готовящемуся передвижению русских добровольцев по железной дороге. Они ссылались при этом на нейтралитет соседней Украины. Дроздовский не дал втянуть себя в политическую дискуссию и ответил ультиматумом:

«При первых враждебных действиях город Яссы и королевский дворец могут быть жестоко обстреляны артиллерийским огнём».

Угроза подействовала. Бывшие союзники ещё и сами подогнали русским несколько порожних поездов.

4 марта дроздовский отряд сосредоточился в Дубоссарах, откуда выступил на третий день, 15-го переправился через Южный Буг у Александровки, 28-го перешёл Днепр у Бериславля и 3-го апреля занял Мелитополь, где удалось обзавестись обувью и пошить кое-какое обмундирование. Там же нашлись блиндированная железнодорожная платформа и мотоциклы для двух составленных тут же мотоциклетных команд. В других местах добровольцы позаимствовали оружие, боеприпасы и лошадей. В качестве трофеев им достались автомобили и даже пара аэропланов.

Наконец, 21 апреля, совершенно ошеломив красных, дроздовцы ворвались в Ростов, бывший на тот момент столицей Донской Советской Республики и занятый сильным гарнизоном (12 тыс.

красноармейцев, не считая мобилизованных рабочих). Красные укреплялись тут в ожидании наступавшей в глубь России кайзеровской армии.

Стремительной ночной атакой белым удалось захватить вокзал и прилегающие к нему улицы. Советское руководство в панике начало покидать город, но утром следующего дня со стороны Новочеркасска прибыло подкрепление. Пользуясь численным перевесом, при огневой поддержке двух гаубичных батарей и шести батарей полевой артиллерии, прикрытые огнём двух бронепоездов, а со стороны реки поддержанные залпами орудий с парохода «Колхида», 28 тысяч бойцов 39-й дивизии и Латышской стрелковой бригады пошли в атаку.

На глазах у подошедших немцев отряд добровольцев отступил из Ростова.

Ситуация выглядела безнадежной, когда в ночь с 23 на 24 апреля в селении Крым Дроздовский получил сообщение от восставших донских казаков с просьбой о помощи. Подтвердилась гибель генерала Корнилова под Екатеринодаром, но главное — стало известно, что Добровольческая армия возвращается в область Войска Донского.

Ростовская авантюра дроздовцев доставила белым и неожиданный пропит: казаки, воспользовавшись отвлечением основных сил красных от Новочеркасска, налетели на войсковую столицу и отбили её. Правда, сразу же им пришлось выдержать сильнейший натиск опомнившегося противника.

В тяжёлый момент боя донцы уже были готовы пуститься наутёк, как вдруг разнеслась весть, что отряд Дроздовского близко. И вот загрелись вдали орудия добровольцев и броневик «Верный», сопровождавший «дроздов» во время всего их похода из Ясса, въехал прямо в толпу стоявших в резерве красноармейцев, открыв ураганную стрельбу. Ободренные казаки контратаковали, опрокинули врага и преследовали, избивая, на расстоянии пятнадцати вёрст.

Вечером 25 апреля дроздовцы вступили в Новочеркассск. Двухмесячный 1200-вёрстный поход завершился.

Вот что в связи с этим говорилось в приказе по отряду:

«Пусть же послужит нам примером, что только смелость и твёрдая воля творят большие дела и что только непреклонное решение даёт успех и победу... Ещё много и много испытаний, лишений и борьбы предстоит нам впереди, но в сознании уже исполненного большого дела с великой радостью в сердце приветствую я вас, доблестные добровольцы, с окончанием вашего исторического похода».

Дроздовский отказался от сотрудничества с командующим Донской армией атаманом Петром Красновым, считая неприемлемыми его симпатии

к немцам, и выехал в станицу Мечётинскую на встречу с деникинским штабом. В результате 12 мая 1918 года отряд, значительно пополнившийся в Новочеркасске, был включён в состав Добровольческой армии под наименованием 3-й пехотной бригады, развёрнутой затем в полноценную дивизию.

Согласно приказу главнокомандующего все юнкера и кадеты старших возрастов, пришедшие на Дон вместе с Дроздовским, наряду с участниками Ледяного похода производились в офицеры. Другим приказом от 25 ноября 1918 года была учреждена для них особая, серебряная, овальная формы медаль. Носить её полагалось на ленте цветов российского триколора, левее всех степеней Георгиевского креста и Георгиевской медали и правее других знаков отличий.

Две ветки на аверсе — справа дубовая, «символ непоколебимого решения», слева лавровая, «символизирующая решение, увенчавшееся успехом» — обрамляют выпуклым рисунком, на нём под скрещёнными мечами представлена «Россия в виде женщины в древнерусском одеянии, стоящей с мечом в протянутой правой руке над обрывом, и на дне его и по скату группа русских войск с оружием в руках, взбирающаяся к ногам женщины и олицетворяющая стремление к воссоединению Единой, Неделимой, Великой России. Фон рисунка — восходящее солнце...» (сочная цитата взята из классического труда П. Пашкова «Ордена и знаки отличия гражданской войны 1917–1922 годов», изданного в 1961 году в Париже).

Новые победы добровольцев заставили страны Антанты в конце концов поддержать Белое движение. Через черноморские порты начали прибывать оружие, боеприпасы, военная амуниция. Дроздовцам были прислана их форма — малиновые фуражки с белым околышем и малиновые же погоны с белой опушкой и жёлтой литерой «Д». Появился у них и собственный марш.

Из Румынии походом
Шёл Дроздовский славный полк,
Во спасение народа,
Исполняя тяжкий долг.

Много он ночей бессонных
И лишений выносил,
Но героев закалённых
Путь далёкий не страшил!

Генерал Дроздовский смело
Шёл с полком своим вперёд.
Как герой, он верил твёрдо,
Что он Родину спасёт!

Видел он, что Русь Святая
Погибает под ярмом
И, как свечка восковая,
Угасает с каждым днём.

Верил он, настанет время,
И опомнится народ—
Сбросит варварское бремя
И за нами в бой пойдёт.

Шли Дроздовцы твёрдым шагом,
Враг под натиском бежал.
Под трёхцветным Русским Флагом
Славу полк себе стяжал!

Пусть вернёмся мы седые
От кровавого труда,
Над тобой взойдёт, Россия
Солнце новое тогда!

Припев такой:

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда!
Офицерские заставы
Занимали города!
Офицерские заставы
Занимали города!

Ничего не вспоминается? Ну конечно, «партизанские отряды занимали города»!

Кое-где в сетевых публикациях можно прочитать, что песню «По долинам и по взгорьям» красные заимствовали у белых. Но тут с плагиатом не всё так просто.

Первоначально, ещё в годы Первой мировой войны, на текст «Марша Сибирских стрелков», принадлежащий перу не абы кого, а самого Дяди Гиляя (Владимира Алексеевича Гиляровского, будущего автора книги «Москва и москвичи»), неизвестно кем была сочинена мелодия. В лихолетье войны Гражданской на эту мелодию распевали уже собственные тексты и белые, и красные, и даже махновцы. Трудно сказать, кто первый начал. Возможно, тон и впрямь задала Добровольческая армия.

Как утверждалось в статьях, опубликованных в середине семидесятых годов прошлого века в эмигрантской газете «Новое русское слово», марш на слова полковника Петра Баторина был заказан композитору Дмитрию Покрассу, лауреату Сталинской премии (он стал им, разумеется, гораздо позднее, в сороковых), находившемуся в тот момент (июнь 1919-го) в занятом белогвардейцами Харькове.

Трудно сказать, в чём заключалась работа Покрасса, если мелодия уже существовала. Предположим, он оркестровал её. Как бы там ни было, никаких претензий композитору никто впоследствии не высказывал. Да и какие могут быть претензии, когда множество деятелей русской культуры в то время не по разу побывало и на красной и на белой территории.

Правда, сотрудничали с «беляками» не все. Так, например, великий русский поэт Велимир

Хлебников отправился из занятого генералом Май-Маевским Харькова напрямиком в психиатрическую лечебницу Сабурова Дача— чтобы избежать призыва в армию, ставшую к тому времени добровольческой лишь по названию.

Но не будем отвлекаться, ведь в первую очередь нас интересуют награды.

У дроздовцев помимо медали имелся ещё знак. На реверсе, в верхней его части полукругом по краю выведено: «*Походъ дроздовцевъ*», а поперёк медали: «*Яссы—Донъ*» и «1200 вёрсть». Две даты: «26.II—25.IV.1918». Ниже, что особенно интересно, оставлено место для гравировки звания и фамилии награждённого.

Тех кто мог носить эту награду, к концу Гражданской войны на юге России осталось в живых не много. Чтобы лучше представить себе масштабы боевых потерь «дроздов», отличавшихся в бою крайним самопожертвованием, достаточно лишь бегло взглянуть на историю одного из полков 3-й дивизии— того самого «славного полка» из процитированной песни.

2-й офицерский (он же— 2-й офицерский стрелковый генерала Дроздовского, он же с августа 1919-го 1-й офицерский стрелковый генерала Дроздовского, а с апреля 1920-го 1-й стрелковый генерала Дроздовского) полк. Эта часть в начале 2-го Кубанского похода за одну только ночь потеряла в бою под Белой Глиной около четырёхсот человек, в том числе до восьмидесяти офицеров убитыми. При взятии Ростова полк лишился двухсот двадцати бойцов, а под Гейдельбергом— более трёхсот.

Позднее, уже в эмиграции, выжившие ветераны полка получили особый знак— золочёный крест длиной 3 см и шириной 2 см, верхний и правый конец которого покрыты малиновой эмалью, а левый и нижний— белой. В середине креста начальная буква фамилии шефа— «Д». Сверху надпись: «*Яссы*», внизу дата: «1917»— год начала формирования отряда.

Их командир не увидел этого знака— в январе 1919 года он скончался в ростовской клинике, куда был перевезён из Екатеринодара в безнадежном состоянии. Михаил Гордеевич погиб от гангрены, развившейся вследствие заражения крови.

Служивец вспомнил:

«Разные слухи ходили о смерти генерала Дроздовского (М. Г. был произведён в генерал-майоры на смертном одре.— *М. Л.*). Его рана была лёгкая, неопасная. Вначале не было никаких признаков заражения. Обнаружилось оно после того, как в Екатеринодаре Дроздовского стал лечить один врач, потом скрывшийся. Но верно и то, что тогда в Екатеринодаре, говорят, почти не было антисептических средств, даже йода».

Тело военачальника погребли в Екатеринодарском кафедральном соборе, но весной 1920-го, во время поражения и бегства Добровольческой

армии, небольшой отряд дроздовцев внезапно ворвался в уже оставленный белыми город и вывез останки генерала в Крым, чтобы снова предать их земле на Малаховом кургане в Севастополе, под чужим именем на кресте. Исторический курган, овеянный славными и трагическими воспоминаниями, сильно пострадал во время бомбёжек и артобстрелов в Великую Отечественную войну, так что место последнего упокоения праха генерала Дроздовского отыскать теперь невозможно.

Жизнь другого генерала в сюр, Сергея Леонидовича Маркова, сложилась во многом схоже. Он родился в 1887 году в семье офицера. С отличием окончил Первый Московский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба в Петербурге. Интерес к штабной работе сочетался у Маркова со стремлением к боевой практике и тем отличал его от обыкновенного штабиста.

Выпущенный в июне 1904 года из академии с чином штабс-капитана Марков, как и Дроздовский, отправился добровольцем в Маньчжурию, где с самого начала Русско-японской войны дела у николаевской империи шли неважно. В августе он получил боевое крещение и в дальнейшем, числясь офицером при штабе Восточного отряда русской Маньчжурской армии, пользовался любимым предложением, чтобы оказаться на линии огня.

Всего за полгода Марков был награждён пятью орденами: Святой Анны 4-й степени, с надписью «За храбрость», 3-й степени, с мечами и бантом, Святого Станислава 3-й и 2-й степеней с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

В межвоенный период он много преподавал, написал учебник по военной географии и «Записки по истории Русской армии».

С октября 1914-го Марков — начальник штаба 19-й пехотной дивизии. За бои у Дуклинских проходов в Карпатах получает «Святую Анну» 1-й степени, а позднее, уже в качестве начштаба 4-й стрелковой бригады, — «Святого Владимира» 3-й степени. Именно тогда началась его дружба с командиром бригады Антоном Ивановичем Деникиным.

В 1915-м полковника Маркова, рвавшего лично распоряжаться действиями солдат и офицеров на поле боя, назначили временно исполняющим обязанности командира 13-го стрелкового генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полка, но лишь с большим трудом после многочисленных прошений Деникина утвердили в этой должности. В том же году он стал кавалером ордена Святого Георгия 4-го класса, обладателем Георгиевского оружия и чина генерал-майора.

1916 год Сергей Марков провёл в Закавказье, начальствовал штабом 2-й Кавказской казачьей дивизии, но снова не вылезал с передовой. Оттуда его вызвали в Петербург для чтения лекций по общей тактике слушателям ускоренных курсов

при Николаевской академии. В столице боевой генерал не задержался — подал прошение о переводе обратно в действующую армию. Со слушателями курсов он попрощался такими словами:

«Всё это, господа, вздор, сухая теория! На фронте, в окопах — вот где настоящая школа. Я уйду на фронт, куда приглашаю и вас!»

Февральская революция застала Сергея Леонидовича в несвойственной его кипучей натуре должности генерала для поручений при командующем 10-й армией. Отправленный в марте в Брянск, чтобы осадить взбунтовавшихся гарнизонных солдат, он едва избежал расправы. Неудивительно, что Марков поспешил поддержать корниловский мятеж, был арестован и отправлен в заключение — сперва в Бердичевскую тюрьму, а затем в Быхов, где содержались под стражей Корнилов, Деникин и другие фронтовые товарищи.

Одним из последних действий генерала Николая Духонина на посту и. о. главнокомандующего Русской армией стало освобождение «быховских сидельцев». За это и за сознательную задержку вступления в переговоры с австро-германцами о перемирии он заплатил жизнью: революционные матросы, прикатившие из Питера в могилёвскую Ставку с новым, уже большевистским главкомверхом, бывшим прапорщиком Николаем Крыленко, учинили над генералом самосуд — пустили пулю в затылок, избили труп прикладами и растерзали штыками («отправить к Духонину» сделалось у красных иносказательным выражением, означавшим расстрел).

Кстати, о прапорщиках. В форме прапорщика из Быхова пробирался на Дон по призыву «Алексеевской организации» освобождённый генерал Иван Романовский. «Денщиком» при нём был Сергей Марков. В январе 1918-го Корнилов назначил его начштаба 1-й дивизии Добровольческой армии, а в феврале, после неудачной обороны Ростова, — командиром Сводно-офицерского полка.

Во время 1-го Кубанского (Ледяного) похода генерал Марков совершил отчаянной храбрости поступок. Добровольческая армия, только что под Екатеринодаром лишившаяся популярного командующего и ограниченная в маневре обозом с большим количеством раненых, едва не оказалась раздавленной превосходящими её численно силами красных, напиравших со всех сторон. Приняв командование 1-й отдельной пехотной бригадой (весь боеспособный состав армии не превышал в то время полутора тысяч человек), Марков в ночь на 3 апреля подошёл к расположенной возле железнодорожного переезда станице Медведовской.

Начальство собралось у путевой сторожки, организуя переправу обоза и артиллерии. В этот момент от станции к переезду двинулся вражеский бронепоезд. Дальнейшее произошло на глазах у немногочисленных добровольцев. Вот как

описал случившееся Деникин в своих «Очерках русской смуты»:

«Медленно, с закрытыми огнями, бронепоезд надвигается на нас... Поезд уже в нескольких шагах от переезда. Убудки все: генерал Алексеев, командующий армией со штабом и генерал Марков... Марков с нагайкой в руке бросился к паровозу. — Поезд, стой. Раздавишь, с..., с... Разве не видишь, что свои?..

Поезд остановился.

Пока ошалевший машинист пришёл в себя, Марков выхватил у кого-то из стрелков ручную гранату и бросил её в машину. Мгновенно из всех вагонов открыли по нам сильнейший огонь из ружей и пулемётов. Только с открытых орудийных площадок не успели дать ни одного выстрела.

Между тем Миончинский (командир батареи) придвинул к углу будки орудие и под градом пуль почти в упор навёл его на поезд.

— Отходи в сторону от поезда, ложись! — раздался громкий голос Маркова.

Грянул выстрел, граната ударила в паровоз, и он с треском повалился передней частью на полотно. Другая, третья — по блиндированному вагону... И тогда со всех сторон бросились к поезду марковцы. С ними и их генерал. Стреляли в стены вагонов, взбирались на крышу, рубили топорами отверстия и сквозь них бросали бомбы... Скоро всё кончилось. Слышался ещё только треск горящих патронов... Взято было 400 артиллерийских и около 10 тыс. (ошибка; на самом деле — до 100 тыс. — М. Л.) ружейных патронов. По добровольческим масштабам на несколько боёв мы обеспечены».

Отгнав огнём второй бронепоезд, добровольцы атаковали станицу.

Кем-то из них, по всей вероятности, и была сочинена дилетантски-неуклюжая, но искренняя песня «Смело вперёд, за Отчизну святую», ставшая маршем Марковского полка.

Смело — вперёд, за Отчизну Святую,
Дружно, как братья, пойдём!
Страху не знаем мы и удалую
Песню в бою запоём!

Песню о том, как бойцы-генералы —
Марков, Дроздовский-герой —
С песнями нам умирать завещали.
Мы поклялись головой!

Как под Медвёдовкой лихо там дрались,
Марков там был генерал.
С ним в бронированный поезд ворвались
И — большевик побежал!

Под Ново-Дмитревской, снегом занесены,
Мокрые, скованы льдом,
Шли мы безропотно, дралися весело,
Грелись холодным штыком!

Пусть знает враг, что бойцы-генералы
В наших сердцах все живут
И что опять, как и прежде бывало,
К победам нас поведут.

И снова, опять за Отчизну Святую
Дружно, как братья, пойдём!
Страху не знаем мы и удалую
Песню в бою запоём!

Приказом Деникина имя погибшего 12 июня 1918 года под Шаблиевкой генерала Маркова было присвоено 1-му Офицерскому полку, развёрнутому позднее в дивизию.

Умножение численности всюр привело её, однако, к гибели. Пока Добровольческая армия действительно состояла из добровольцев, она одерживала победы. Но насильственная мобилизация в неё крестьянства, включение в «цветные» дивизии военнопленных и вообще всякого сброда привели к значительному снижению боеспособности.

Вот что через год белогвардейская пресса писала о марковцах устаревшим языком петербургских декадентов:

«У всякого полка есть своя физиономия. Неистощим задор и молодечество дроздовцев. Непокоримо спокойное мужество, неотвратимый порыв корниловцев. Но есть ещё один полк. Странен и неповторим его облик. Строгая, простая без единого украшения чёрная форма, белеют лишь просветы да верхи фуражек. Заглушённый мягкий голос... Сдержанность — вот отличительная черта этих людей, которых провинциальные барышни давно очертили томные „марковцы“».

Томные дроздовцы!.. Текст этот опубликовала в №8 за 10 октября 1919 года в недавно занятом Курске белогвардейская газета «Россия». Это был тот самый день, когда наступление Деникина на Москву окончательно захлебнулось. А уже через два месяца Марковская дивизия во время отхода Добровольческой армии к Ростову была окружена и почти целиком попала в плен на Донбассе — практически в тех же местах, где век спустя случился Дебальцевский «котёл». Марковцев под ружьём осталось так мало, что некому было вывезти тело своего шефа, похороненного на кладбище при Вознесенском соборе Новочеркасска.

В эмиграции для уцелевших был учреждён знак полка — чёрный мальтийский крест с белой узкой каймой по краям. В центре креста — чёрный прямоугольник с двумя пересекающимися диагональными линиями, окружённый терновым венцом. На концах креста указана официальная дата возникновения части: 12 февраля 1918-го.

Имевшаяся у марковцев собственная артиллерийская часть (сначала это была Артиллерийская рота, затем 1-я Михайловско-Константиновская Сводная батарея, выросшая в бригаду),

сформированная из прибывших на Дон юнкеров Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ, в августе 1920 года, то есть ещё находясь в России, в Крыму, успела получить собственный нагрудный знак — золочёный мальтийский крест, покрытый чёрной эмалью, окаймлённый по краям сторон узкой красной полосой и обвитый терновым венцом с золотой литерой «М» по центру.

Имя русского генерала Маркова в начале двухтысячных вновь прозвучало на родине. И теперь уже не в уничижительном смысле. 13 декабря 2003 года в Сальске, с 1918-го по 1920-й носившем имя «Марков», Сергею Леонидовичу — первому из деятелей Белого движения — был установлен бронзовый памятник.

Корниловцы и алексеевцы

На втором году мировой войны, окончательно превратившейся в позиционную, дала себя знать усталость в рядах армий всех держав, вовлечённых в европейскую бойню. Не только французы, давно уже представлявшие собою лишь тень наполеоновских «железных людей», но и кичившиеся своей дисциплинированностью немцы всерьёз задумались о действенных способах подъёма солдат из окопов в атаку.

Кайзеровцы стали сколачивать у себя *sturm-bataillon*ы, русские ответили на это созданием грендерских взводов, практиковавших прицельное метание гранат. В приказе командующего 5-й русской армией генерала Плеве от 4 октября 1915 года говорилось об учреждении при каждой роте особой команды бомбометателей, потому что «безоружных... по недостатку винтовок имеется достаточное число в каждой дивизии». В команды следовало «избирать людей смелых и энергичных, вооружить каждого десятью гранатами, удобно повешенными на поясе, и топорами произвольного образца, а также снабдить каждого лопатой, по возможности большой, и ручными ножницами для резки проволоки».

Постепенно грендеры получали специальное вооружение и экипировку. А заодно и форменные знаки отличия. В ноябре 1916-го начальник Генерального штаба Русской армии генерал Алексеев докладывал венценосному Главверху Николаю II:

«С соизволения Вашего Императорского Величества при пехотных и стрелковых полках на время настоящей войны сформированы особые взводы грендер».

В целях установления некоторого отличия в форме одежды нижних чинов грендерских взводов полагалось бы установить для них на левом рукаве мундира и шинели особый знак, в виде нашитого из алого сукна изображения горящей гранаты, диаметром в один вершок».

С этой «горящей гранатой» мы ещё встретимся.

Февральская революция 1917 года, как уже не раз было сказано, повлияла на воинскую дисциплину самым разрушительным образом. Эффект разорвавшейся бомбы произвёл Приказ №1 от 1 марта, изданный захватившим власть в столице Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Этим рядившимся под демократизм, но в той ситуации попросту преступным и предательским приказом, направленным солдатам Петроградского гарнизона, «гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точно исполнения», в каждой воинской части, в каждом подразделении учреждались так называемые комитеты, то есть фактически ликвидировалось единоначалие.

Один из идейных вдохновителей коллективного текста, социал-демократ Иосиф Гольденберг, впоследствии откровенничал: «В день, когда мы „сделали революцию“, мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство».

«Средство», переданное царскосельской радиостанцией, вызвало бурю восторга у нижних чинов. Немедленно и повсеместно началось братание с врагом. Безоружные солдаты массами переходили через линию фронта. Разведка противника, особенно немецкая, поощряла и контролировала такие сходы, за которыми обыкновенно следовали у русских дезертирство и вооружённые бунты, сопровождавшиеся расправой над неугодными офицерами.

Целые дивизии, взбудораженные членами своих комитетов и распропагандированные приезжими агитаторами, наотрез отказывались воевать и, покинув передовые позиции, самовольно отходили в тыл. В этих условиях командующий Юго-Западным фронтом генерал Алексей Брусилов, знаменитый прорывом в мае 1916-го позиций австро-венгров, санкционировал формирование на добровольной основе в подчинённых ему армиях «частей смерти».

Их идею Временному правительству подсказал князь Сергей Кудашёв. В докладной записке на имя военного министра Александра Гучкова князь отметил, что практика таких частей уже «широко применяется во Франции в так называемых штурмовых колоннах, которые особо подбираются, чтобы идти на верную смерть... Этот принцип, видоизменённый к русским условиям, может возродить русскую армию. Поэтому... представляется необходимым во всех армиях фронта создать особые „ударные“ единицы, большей частью обречённые на истребление, которые должны быть составлены исключительно из добровольцев».

К началу лета 1917 года патриотическое ударническое движение приняло массовый характер. Теперь уже дивизии, а то и целые корпуса обращались в Ставку с просьбой о зачислении их в «части смерти, с почётным правом умереть за Родину».

Наибольшую известность приобрёл среди них 1-й Ударный отряд капитана (впоследствии полковника) Митрофана Неженцева, организованный при всё ещё сохранявшей относительно высокую боеспособность 8-й армии брусиловского Юго-Западного фронта.

Командовал армией в ту пору Лавр Корнилов. После неудачи летнего русского наступления именно он был назначен вместо Брусилова Верховным главнокомандующим. Его Ударный отряд, героически действовавший на фронте и понёсший тяжёлые потери, после пополнения в августе был развёрнут в четырёхбатальонный Корниловский ударный полк — последний вновь сформированный полк Русской армии.

Полк перебазировался вслед за своим прежним армейским начальником в могилёвскую Ставку, но участия в Корниловском мятеже не принимал. И всё же, опасаясь расформирования части, Неженцев обратился к возглавлявшему французскую военную миссию генералу Нисселю с просьбой о переброске полка во Францию.

Кончилось тем, что внушавший подозрение полк был «от греха подальше» включён в состав сформированной в основном из военнопленных славян 1-й Чехо-Словацкой стрелковой дивизии, сначала как 1-й Российский ударный, а затем как Славянский ударный. Что интересно, все прежние знаки отличия, включая эмблемы и звание «корниловцы» были за полком сохранены.

Когда большевистский переворот в Петрограде стал свершившимся фактом, отчаянный приказ Духонина бросил Славянский ударный полк на Кавказский фронт. Это был всего лишь трюк: глядишь, повезёт добраться до Новочеркасска.

Но организованно прибыть в казачью область полку не удалось — сказалось противодействие железнодорожных служащих и сопротивление гарнизонов по всему пути следования. Лишь около шестистот человек вместе с Неженцевым достигли цели. Туда же, в Новочеркасск, вскоре прибыл Корнилов, шеф полка, чтобы возглавить миниатюрную белую армию.

Корниловский ударный полк вошёл в состав 1-й Добровольческой дивизии, вместе с которой ему ранней весной 1918 года пришлось с боями прорываться на Кубань. При неудачном штурме Екатеринодара корниловцы с разницей в сутки лишились и шефа и своего первого командира. Генерал Деникин, свидетель гибели полковника, так описал её в своих мемуарах:

«...Неженцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки,

он видел, как цепь поднималась и опять залегала; связанный незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию и что пришла пора пустить в дело „последний резерв“. Сошёл с холма, перебежал в овраг и поднял цепи. — Корниловцы, вперёд! Голос застрял в горле. Ударил в голову пуля. Он упал. Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей».

По свидетельству Александра Трушновича, командира пулемётной роты, смерть была для корниловцев обыденностью. Только с июня по октябрь 1918 года «через Корниловский полк прошло более пятнадцати тысяч человек. В большинстве интеллигентная молодёжь». Всего же с июня 1917-го по ноябрь 1920-го полк, развёрнутый, было, в 1919 году в дивизию трёх- и даже какое-то время четырёхполкового состава, а затем снова сведённый из-за больших потерь к первоначальной организации, участвовал в 570 боях и потерял в них убитыми 13 674 человека, ранеными 34 328 человек, то есть всего около пятидесяти тысяч бойцов.

Погибли четыре командира полка, шестьдесят четыре командира батальона, четыреста семьдесят два ротных командира. Несколько раз (например, под Каховкой в 1920-м) корниловские части уничтожались практически полностью.

Неудивительно, что и форма корниловцев напоминала о смерти — чёрно-красные фуражки (второй цвет символизировал, между прочим, как и у большевиков, свободу) с серебряным черепом и костями, чёрные мундиры с белыми кантами, чёрно-красные погоны с серебряной «адамовой головой» и белыми выпушками, нашивка с черепом и костями на левом плече, серебряные кольца с черепом, чёрно-красное знамя с белым черепом и костями.

Те же атрибуты присутствуют на серебряном жетоне и на знаке полка, ценившихся их обладателями, пожалуй, не меньше Георгиевского ордена. Жетон в форме гербового щита копировал наукавную нашивку, в верхней части его так же имелась дуговая надпись «корниловцы», а в нижней, под двумя поднятыми вверх и скрещёнными мечами, изображалась пылающая граната (память о гренадерском прошлом) и дата: «1917–18».

Знак полка представляет собой покрытый чёрной эмалью и белый по краям равносторонний крест, положенный на терновый венец, под которым располагается остриём вверх и наискось, слева-направо, серебряный с золотой рукоятью меч. В центре — голубой щит, как на жетоне, только без даты, и мечи опущены вниз.

...История последней «цветной» части, алексеевцев, более коротка, но не менее трагична.

Костяк алексеевцев — образованный в феврале 1918-го Партизанский полк Добровольческой армии. «Состав полка, — вспоминал один из его

ветеранов,— был: молодые офицеры, юнкера, студенты, кадеты, гимназисты, казаки— в основном зелёная молодёжь. Впоследствии цветами формы полка стали синий и белый— цвета юности, в память именно этой молодёжи, пошедшей с Алексеевым и Корниловым в Первый Кубанский поход». Под Екатеринодаром партизаны, насчитывавшие примерно восемьсот штыков, потеряли до пятисот человек из своего состава.

После смерти осенью 1918 года организатора добровольческого движения на юге России полк получил новое название— Партизанский генерала Алексея пехотный. А зимой Первый конный (Конно-партизанский) полк и батарея лёгкого артиллерийского дивизиона тоже стали именоваться Алексеевскими.

В октябре 1919 года они были реформированы в дивизию.

Алексеевцы носили белые фуражки с синим околышем и синие погоны с белой выпушкой. Пехота (то, что от неё уцелело) получила свой знак только через двадцать лет, по решению РОВС. Это был крест белого металла, с удлинёнными вертикальными сторонами, разделённый надвое по горизонтали: верхняя часть креста покрывалась белой эмалью, нижняя— голубой. В центре креста золочёная литера «А», выполненная славянской вязью, и дата: «1917».

Собственные знаки имели также алексеевцы-кавалеристы и артиллеристы. У первых он напоминает знак корниловцев: чёрный эмалированный равносторонний крест, с белой каймой, диагонально положенный меч, рукоятью вниз, терновый венец, но только «наброшенный» на верхнюю сторону креста, а вместо «адамовой головы» на голубом щите корниловцев— фирменное «А» и та же дата под ней.

Вариант для артиллеристов: вместо креста на терновый венец положены два скрещённых орудийных ствола, накрытые сверху полковой литерой.

Сразу после развёртывания Алексеевская дивизия оказалась втянутой осенью 1919 года в общее отступление добровольческих войск. Она несла при этом настолько большие потери, что по прибытии в Крым в марте 1920-го превратилась в бригаду, а затем и вовсе была расформирована из-за малочисленности. Последний бой Алексеевского пехотного полка в октябре 1920 года под Богдановкой закончился тем, что 2-й батальон, состоявший из бывших красноармейцев, сдался в плен будёновской коннице.

Командир части полковник Пётр Бузун сообщил во врангелевский штаб, что его полка больше не существует.

Последние награды Белого движения

После поражения всю осень 1919 года и эвакуации остатков разгромлённых белых армий

в Крым дальнейшая борьба с красными на юге России стала практически безнадёжной.

Те из деникинцев, кто не бросил оружие и не самоликвидировал свои части, как это сделали кубанские казаки, оказались рассеянными на пространстве южнорусских губерний. Так, войска, подчинённые генералу Николаю Бредову, отрезанные от главных сил в правобережной Украине, медленно отходили из Киева в общем направлении на Одессу. Но приморский город был уже занят противником. Белогвардейское командование решило перейти румынскую границу, чтобы затем по морю переправиться на всё ещё оборонявшийся Крымский полуостров. Румыния отказала. Тогда в ночь на тридцатое января 1920 года потрёпанные и предельно уставшие части, тормозимые обозом с ранеными и тысячами беженцев, двинулись вверх по течению Днестра в четырнадцатидневный поход на соединение с поляками.

Польша, находившаяся с зимы 1919-го в состоянии открытого вооружённого конфликта с РСФСР, боевое содружество с деникинцами, мягко говоря, не приветствовала (Деникин, хотя и признавал польскую независимость, но был категорически против её территориальных претензий на Украине и в Белоруссии). Отряд Бредова поляки разоружили и распредели по бывшим немецким лагерям для военнопленных. Там большое число интернированных солдат и офицеров выкосил тиф. Лишь около семи тысяч из них дождались переброски в Крым в августе и приняли участие в последних боях.

В 1922 году «в воздаяние верности долгу и понесённых тяжёлых трудов и лишений чинами отряда генерала Бредова, с боями пробившимися в студёную зимнюю пору из Тирасполя в Польшу», для оставшихся к тому времени в живых участников Бредовского похода был учреждён серебряный крест, покрытый с обеих сторон белой эмалью, на трёхполосной колодке национальных цветов. Посередине креста на лицевой его стороне изображены вертикально опущенный меч и соответствующая дата, а на оборотной— надпись славянской вязью «*верные долгу*».

Позаимствованные у Некрасова слова о «студёной зимней поре» принадлежат перу барона Врангеля, принявшего командование остатками всюр в марте 1920-го, после того как Деникин под давлением окружения сложил с себя все полномочия и навсегда покинул Россию.

Первый по времени награждения с начала войны в 1914-м кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени— самой почётной награды боевых русских офицеров— за героическую и едва не стоившую ему жизни атаку в конном строю неприятельской батареи, Пётр Николаевич Врангель получил свой первый генеральский чин по одному из последних императорских указов. У Деникина Врангель

командовал Кавказской армией и проявил себя грамотным и решительным военачальником. Это его войска в конце концов отобрали у красных Царицын. Затем Врангель предложил изменить стратегический план и наступать на Москву через Поволжье вместе с Колчаком, а не коротким путём через Курск и Орёл, который в итоге завёл белых в Крым...

Положение нового главнокомандующего было самое незавидное. Прежде всего, требовалось организовать снабжение армии. А ведь за её спиной, кроме собственного населения Крыма, в Симферополе и на узкой прибрежной полосе полуострова сгрудилось ещё полмиллиона беженцев, оставшихся зимой без средств к существованию.

Эту задачу воинственный барон, в чьих жилах текла кровь соратников Карла XII, лёгших костями на Полтавском поле, решил, вызвав из Франции крупного русского экономиста Александра Кривошеина, бывшего главноуправляющего землеустройством и земледелием, одного из самых активных участников проведения в жизнь Столыпинской аграрной реформы.

Мысль о том, чтобы превратить Крым в оазис достатка и комфорта, в Мекку русской дворянской цивилизации и культуры, была, возможно, не столь уж утопической. Но Врангель допустил ошибку. Суровые с виду люди обыкновенно очень доверчивы. Барон полагал, что его западных друзей и впрямь интересует международная легитимизация крымского правительства. На самом деле они решили принести Крым в жертву польским интересам.

Не успев ещё как следует закрепиться на полуострове, Врангель атаковал.

ВСЮР были переименованы в Русскую Армию. 20-го мая за подписью барона вышел приказ №3226, начинавшийся набившими оскомину словами о том, что армия «идёт освобождать от красной нечисти Родную землю». Завершался же этот документ, по меньшей мере, двусмысленным заявлением, которое в руках красных пропагандистов превратилось прямо-таки в козырного туза.

Речь идёт о знаменитом врангелевском призыве: «Земле—волею народа поставленный Хозяин!». Это не могло не вызвать ассоциаций с избранием Земским собором 21 февраля 1613 года в цари Михаила Романова—праотца Николая Второго, в опросном листе всенародной переписи 1897-го именовавшего себя, как известно, «Хозяином Земли Русской».

В общем, как в той песне: «Белая армия, чёрный барон, снова готовят нам царский трон...»

6 июня для поддержания в белых войсках наступательного духа был учреждён крест Екатеринославского похода—в «воздаяние доблести» участников полуторагодовой давности прорыва в Крым сводного отряда 34-й пехотной дивизии,

полка новороссийских драгун и нескольких артиллерийских и инженерных частей под общим командованием генерала Васильченко (всего порядка тысячи штыков). Крест копировал форму Георгиевского, но покрывался не белой, а чёрной эмалью с широкой каймой по краям. Он был положен на общий для многих белогвардейских наград терновый венец. В середине креста располагался голубой щиток с гербом Екатеринослава (ныне г. Днепр, областной центр Днепропетровской области Украины), представлявшим из себя окружённый звёздами золотой вензель императрицы Екатерины II,—ведь это в эпоху её правления Екатеринослав получил статус города.

А несколько ранее, в апреле, в надежде на чудо, которое только и могло спасти Русскую Армию, Врангель установил последний и, пожалуй, единственный значимый и полноценный белогвардейский орден—орден Святителя Николая Чудотворца. Внешне он тоже напоминал Георгиевский, к которому фактически приравнивался. Девиз «*верой спасётся Россия*» был начертан вокруг изображения святителя в медальоне.

Носить награду на мундире полагалось всё-таки ниже Георгиевского ордена, зато получить её наравне с офицерами могли и рядовые. Правда, только те, кто был ранее удостоен хотя бы двух степеней солдатского «Егория».

В условиях осаждённого Крыма, где ощущалась нужда в самом необходимом, конечно, не могло быть и речи об изготовлении награды из драгоценных металлов, о покрытии её эмалью. Поэтому белогвардейский Николаевский орден делался из ничем не замаскированного железа, что вполне соответствовало обстановке.

1-й степени так никому и не досталась, но 2-ю получили несколько сотен солдат, офицеров и генералов. В том числе и сам Врангель.

Первым же кавалером, согласно приказу Главнокомандующего от 26 мая 1920 года, стал штабс-капитан 3-го отряда 1-го танкового дивизиона, прорвавший на головном танке проволочные заграждения красных и тем открывший путь атакующей пехоте. Фамилия у танкиста не самая простая для произношения: Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский.

Месяц спустя после этого награждения приказом от 26 июня был учреждён трёхцветный вымпел Ордена Святого Николая Чудотворца—военно-морская награда. В тот же день вымпел пожаловали канонеркам «Страж», «Грозный», «Алтай» и «Урал», ледоколам «Всадник» и «Гайдамак», катерам «Мария», «Азовец», «Николай Пашич», «Димитрий», «Панतिकопея» и «Меотида».

Помощь моряков врангелевцам вскоре очень понадобилась. После разгрома белых под Каховкой, Красная армия в начале ноября штурмовала Турецкий вал на Перекопском перешейке

и, одновременно форсировав с примкнувшими к ней махновцами «гнилое море» Сиваш, ворвалась в Крым.

Около ста пятидесяти тысяч человек—не только военные, но и значительное число гражданских лиц—на французских и русских кораблях эвакуировались в оккупированный Антантой Константинополь. Судьба оставшихся представляет собой одну из наиболее ужасающих страниц истории гражданской смуты в России: десятки тысяч офицеров, чиновников и просто тех, кто казался победившему пролетариату «буржуями» и «контрой», были расстреляны по приказанию председателя Крымского ревкома венгерского карателя Бель Куна и его подручных—завсегдатая «чрезвычайек» Григория Пятакова и революционной фурии Розалии Залкинд, более известной под партийным псевдонимом «Землячка».

Остатки врангелевской армии несколько лет влачили жалкое существование на Балканах. Какое-то время они сохраняли внутреннюю организацию и условную боеспособность. Врангель даже придумал для них в 1921–22 годах с полдюжины «утешительных» наград. Таких, например, как Крест для эвакуированных на остров Лемнос, Крест для эвакуированных в Галлиполи и др.

Интереснее других Крест для чинов яхты «Лукулл». На этом судне барон проживал на стамбульском рейде. 35 октября 1921 года яхту протаранил и потопил итальянский пароход «Адрия», пришедший из советского Батума. Главкомандующего в тот момент на борту не оказалось, погибло трое членов экипажа. Возникло предположение о террористическом акте, которое подтвердилось спустя десятилетия.

В 1924 году Русская Армия была преобразована в Русский обще-воинский союз—организацию, существующую и в настоящее время. Союз учредил

помимо полковых знаков для военнослужащих «цветных» дивизий крест для членов Общества галлиполийцев, так никогда и не изготовленный. В своей практике РОВС перешёл от открытого вооружённого противостояния Советам к подпольно-террористической деятельности.

После эвакуации Крыма и ликвидации семейно-новщины и унгерновщины последним очагом централизованного белого сопротивления большевикам на территории России осталось только Приморье. Здесь при поддержке японцев генерал Михаил Дитерихс, назвавшийся «земским воеводой», пытался командовать жалкими остатками колчаковских армий. В сентябре 1922 года он даже перешёл в наступление на войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики, но был разгромлён под Спасском и бежал в Китай, оставив на память об этих бесславных временах медаль Приамурского Земского собора, на аверсе которой изображён святой Георгий, поражающий змия копьём, а на реверсе—лаврой веноч с датами проведения собора и с поясняющей событие надписью.

25 октября части НРА и партизаны вступили во Владивосток.

В ноябре командиры НРА двр от имени Народного собрания обратились во вцик с просьбой о включении «буферной» республики в состав РСФСР, и на следующий день, 15 ноября 1922 года в советской стране появилась Дальневосточная область.

Теперь ветераны Красной армии могли с удовлетворением сказать, что они

Разгромили атаманов, разогнали воевод
И на Тихом океане свой закончили поход.

Закончим и мы рассказ о наградах Белого движения.

Александр Астраханцев

О бранных монологах
на «поле брани Виктора Астафьева»

Заметки по поводу

Ну вот, наконец дождался я окончания публикации критической статьи А. Г. Байбородина «Поле брани Виктора Астафьева» в альманахе «Енисей» (2017. №1, 2) и дочитал её до конца. Статья—длинная, общим объёмом в 68 журнальных страниц. И странное дело, пока я читал её, меня преследовало одно воспоминание из далёкой молодости: жаркое лето, сумерки, Бердский военно-учебный полигон (подозреваю, что на этом самом полигоне во время войны проходил солдатскую учёбу В. П. Астафьев), и меня, студента в солдатской форме, проходившего летние военные сборы, «прорабатывает» на плацу дежурный сержант с красной повязкой на рукаве. Я тогда действительно провинился: после ужина, когда полагалось «личное время», собрался сигануть через двухметровый дощатый забор—за забором был обрыв, а под обрывом—широкое Обское море с огромным закатом вдали; однажды я уже лазал туда, а когда полез во второй раз—сержант меня «застукал». Я готов был понести наказание за нарушение правил, но, надеясь на снисхождение, виновато оправдывался: пишу, мол, стихи и хотел бы в своё личное время побыть в одиночестве, среди природы,—однако сержанту мои оправдания были не нужны—он всё-таки влепил мне внеочередной наряд на кухню на следующий день: с утра до ночи чистить картошку,—а, кроме того, ещё минут сорок «жучил» меня: закинув руки за спину и неспешно прохаживаясь передо мной, стоявшим по стойке «смирно», заставлял цитировать устав строевой службы, а т. к. все параграфы его вспомнить дословно я не мог—он мне их напоминал и заставлял повторять за ним, кое-какие из них при этом многословно комментируя, и, кроме того, учил жить—т. е. всегда слепо подчиняться всевозможным правилам, уставам, начальникам и командирам. А я, слушая его, думал о том, что, во-первых, у него тоже свободный час, но он не знает, как им распорядиться, а тут маленькое развлечение: поизмываться над курсантом; во-вторых, хоть он и знает, что я без пяти минут инженер, но здесь, сейчас я—весь в его власти, и главный начальник для меня в данный момент не командир части, не комбат или комроты—а только он, сержант; в-третьих, что сержант этот, похоже,

мало что в жизни знает, кроме воинского устава, и, стало быть, человек дремуче-невежественный; а в-четвёртых, думал о том, что он, конечно, может наказать меня за нарушение порядка, но думать, как он, и заставить меня жить, как он, ему слабо.

Так вот, когда я читал вышеупомянутый очерк, автор его чем-то напомнил мне того сержанта: как и тот сержант, автор статьи хотел бы построить всех писателей в ряд и заставить их думать, да, наконец, и писать тоже, как он сам, да вот не получается, и он явно этим огорчён. В том числе взялся он распекать и великого русского писателя В. П. Астафьева (успешного скончаться за 16 лет до этих поучений), однако мало, видимо, зная и недостаточно читая, упомянутый выше автор нагородил в своём очерке столько несуразицы по поводу страны, народа, времени, да ещё и предъявил множество обвинений в адрес В. П. Астафьева, главное из которых—ненависть его к своей стране и своему народу, особенно в последние годы жизни, т. е. в 90-е годы XX века, и попутно «разоблачил» его культ среди красноярских властей, писателей, библиотекарей и музейщиков края, а также среди издателей и критиков, писавших о нём: «Жалко мне,—печалится он в своей статье,—лукавых критиков, ловких издателей и прочих деятелей, что лезут в друзья к знаменитым русским писателям, возлюбив не за слово, а за славу...».

И изложена статья этаким учительски-наставительным тоном, да ещё с обильными кудрявыми «словесы», да со множеством цитат из Евангелия, Достоевского, Ст. Куняева и самого В. Астафьева: ни дать ни взять евангельский пастырь, поучающий неразумных овец человеческого стада. Правда, этот тон и этот стиль, вместе с чрезмерным обилием цитат выглядят некоторым перебором и литературной безвкусицей; причём автор, кажется, даже не понимает, что некоторые цитаты противоречат смыслу его же разоблачительного напора; чего стоит, например, цитата: «Не судите, да не судимы будете»,—которую скорее надо отнести в адрес самого автора статьи.

Казалось бы, хозяин—барин, что хочу, то и ворочу, бумага всё стерпит. Однако же за всем

этим елейно-кудреватым многословием, да разве ещё за прямо-таки бухгалтерски точным перечислением всех государственных наград, премий и гонораров В. П. Астафьева (которые ставятся ему в укор), проступает глухая обида автора статьи в адрес «красноярского классика»: как же так, дескать, я столько раз (и опять по-бухгалтерски точно перечисляется, где и сколько) встречался и сживал с ним в дружеских застольях (даже свидетелей этих застолий перечислил)—а тот всего лишь однажды где-то упомянул о моих рассказах (обиженный автор статьи успевает напомнить об этом аж три раза)!..

И всё-таки, как говорится в народе, «за базар» (т. е. за все горы лжи и обвинений в статье в адрес В. П. Астафьева и его окружения) надо «отвечать». А поскольку сам обвиняемый классик дать достойный отпор «разоблачителю» не может, то защитить его ото лжи и обвинений взялся я. Причём ото лжи и обвинений не только со стороны автора статьи, но и со стороны всех тех, кому тоже ещё захочется поучаствовать в «разоблачении» В. П. Астафьева.

Почему я? Да потому, во-первых, что он был моим старшим товарищем по творческому цеху, я его безмерно уважал и являюсь почитателем его творчества (несмотря на сложное отношение к нему самому, о чём я давно уже, в 2005 году, писал в своём многократно изданном очерке «О В. П. Астафьеве, человеке и писателе»); во-вторых, потому, что автор статьи предъявляет косвенный счёт в своих обвинениях и мне как литератору, поскольку я около 20 лет состоял в одной с ним красноярской писательской организации и даже написал о нём воспоминания, стало быть, по мнению автора статьи, был одним из его «подпевал» и «причиндалов»: «Наперебой подпевали Астафьеву,— пишет он,— литературные причиндалы, что пытались просиять, посягать в астафьевском сиянии, по пути и зашибить копейку на восхвалении енисейского классика...». И в-третьих, потому ещё я взялся защитить нашего классика, что всякая ложь и облыжные наветы должны быть непременно опровергнуты.

А теперь—мои конкретные возражения на конкретные же обвинения в адрес Астафьева и его окружения...

Возражение первое: по поводу «лукавых критиков».

Да, у В. П. Астафьева было много приятелей и собутыльников по России, и многие из них после его смерти объявили о своей близкой дружбе с ним; однако на самом деле был он необычайно щепетилен и избирателен насчёт близкой дружбы и товарищества и кого попало на слишком близкое расстояние к себе не подпускал. Если бы автор статьи открыл и внимательно прочитал книгу его писем «Нет мне ответа» (*издатель Сапронов,*

2009), изданную, кстати, в Иркутске, где обитает сам автор статьи, то понял бы, что за всю свою жизнь Астафьев близко дружил всего лишь с несколькими товарищами во всей России (среди которых—и несколько писателей), с которыми долго переписывался и был в письмах предельно открыт и искренен.

Вот что он написал, например (*в письме В. Я. Курбатову от 3 марта 1980 г.*), про Вологду, где он прожил 11 лет: «В Вологде у меня нет никакого общения. Пока мог водку пить, собутыльничать было с кем. А вот не могу, да и неинтересно стало, не веселит и водка, и нету собеседника по душе...». Примерно то же самое он писал ранее по поводу Перми, а позже—и по поводу Красноярска.

А из критиков (и литературоведов одновременно), насколько я знаю, он водил близкую дружбу всего с четырьмя: это А. Н. Макаров (Москва), Н. Н. Яновский (Новосибирск), Г. М. Шлёнская (Красноярск) и В. Я. Курбатов (Псков). Но объявить, как наш автор статьи, что они из какого-то «лукавства» и выгоды «лезли к нему в друзья»—значит, ничего не знать о жизни писателя и при этом судить о нём и его друзьях вкрявь и вкось. А между тем их отношения с Астафьевым складывались по-разному и в то же время в чём-то схоже.

А. Н. Макаров (1912–1967), один из самых влиятельных критиков СССР в 1960-е годы, был членом редколлегий в журналах «Знамя» и «Молодая гвардия» и в нескольких московских издательствах. Сам Астафьев считал, что знакомство их, переросшее затем в дружбу—для него «счастье, подаренное судьбой». Знакомство это, сначала эпистолярное, началось с того, что Астафьев послал ему вышедшую в 1962 году в Москве книгу «Звездапад» с дарственной надписью. Переписка быстро переросла в дружбу, длившуюся всего 5 лет, до кончины Макарова, и если внимательно вчитаться в их переписку, то хорошо заметно, как в начале её ещё не уверенный в себе Астафьев обращается к Макарову с большим почтением как к человеку высокоэрудированному и одновременно занимавшему высокое положение в литературном мире, и при дальнейшем знакомстве регулярно высылал ему все свои книги и рукописи, прося прочитать их и дать свою оценку, а Макаров после этого писал ему длинные, многостраничные ответы, и в них—тщательная разборка текстов Астафьева. Попутно с этим критик делал письменные экскурсии в историю мировой литературы и культуры, просвещая не ахти как образованного Астафьева. То есть со стороны Макарова—это бескорыстная (подчёркиваю—бескорыстная!) и, видимо, отнимавшая много времени помощь молодому писателю, в котором он, правда, почувствовал большой творческий потенциал и много преуспел в его воспитании и образовании.

Недаром после его смерти Виктор Петрович опубликовал посвящённую ему книгу «Зрячий посох» со вставленными в собственные тексты письмами к нему Макарова, причём книга эта — восторженный гимн старшему товарищу и одновременно знак горячей благодарности своему учителю и наставнику.

Второй (в последовательности по времени) духовно близкий Астафьеву критик — новосибирец Н. Н. Яновский (1919–1990), авторитетнейший в России специалист по истории сибирской литературы и по совместительству многолетний зам. главного редактора журнала «Сибирские огни», причём сделанное им в литературоведении настолько велико, что практически не поддаётся перечислению.

Деловая его переписка с Астафьевым, начавшаяся в 1965 году, тоже быстро переросла в дружескую и длилась 25 лет, до кончины Яновского. Теперь, когда усилиями новосибирского критика и литературоведа В. Н. Яранцева она собрана вместе и опубликована (см. журнал «День и ночь», 2016, №5, 6; 2017, №1), стало понятно, что эта переписка — самая длительная, самая интенсивная и самая объёмистая в сравнении с перепиской со всеми остальными адресатами Астафьева. Они стали близкими друзьями; сближало их очень многое: оба — родом из сибирской деревни (Яновский — с Алтая), оба — участники воев, причём воевали при форсировании Днепра почти бок о бок; оба имели тяжёлые ранения; а главное — имели очень схожие взгляды на литературу и современную им жизнь.

Вот как писал о нём после его смерти Астафьев в письме В. Т. Невзорову (*много лет возглавлявшему Вологодское отделение Союза журналистов; письмо от 27 марта 1991 г.*): «Умер у меня в Новосибирске старший друг, умнейший человек, труженик и наставник — Николай Николаевич Яновский... Николая Николаевича садили три раза, но он остался могучим красавцем, умницей, застенчивым с друзьями и яростным с врагами, а они у него не переводились, особенно в партийных конторах. Не могли ему там прощать, что он умнее их, честнее и неуязвим ни с моральной, ни с материальной стороны...».

Так вот, Н. Н. Яновский тоже как-то не укладывается в формулу Байбородина «лукавый критик» и «подпевала».

По поводу дружбы Астафьева с Г. М. Шлёнской (1921–2012), красноярским литературоведом и кандидатом филологических наук, лучше всего расскажет сам Виктор Петрович: «Преподаёт иль, по-учёному, „читает“ литературу в нашем университете Галина Максимовна Шлёнская, бабища здоровая, отважная, ума — палата. Я иногда, к сожалению, редко, с нею встречаясь, её подыеддыкиваю. Так однажды слушали мы вместе художественно-сценическое чтение столичным

приличным гастролёром „Руслана и Людмилы“, и по окончании, отхлопав в ладоши, Галина Максимовна сказала: „Две неточности допустил чтец“. А я ей: „По-моему, одну“, а она мне: „Нет, две!“ — и давай на ходу читать поэму, да ещё попутно почти всего Пушкина прочла. Однажды я с нею ездил в Канск, где она в местном педколледже подрабатывает... ибо вкальывает на трёх работах, чтобы прокормить семью. Поражённый глубиной её знаний, уму и памяти незаурядного человека поклоняясь, я признался ей, что всегда сожалел, что не поучился ни в каких университетах и страшно завидую тем студентам, которые учатся у неё умному, внимают ей и самосовершенствуются, подталкиваемые ею» (*письмо В. Я. Курбатову от 2 марта 2000 г.*). В данном случае тоже нет смысла видеть выгоду от дружбы Г. М. Шлёнской с Астафьевым — он сам был заинтересован в дружбе с ней.

По-моему, эта же самая причина привела и к чисто человеческой дружбе Астафьева с литературоведом и критиком В. Я. Курбатовым, тоже человеком высокообразованным и при этом глубоко верующим, что очень важно было для Астафьева в красноярском периоде его жизни. Если внимательно просмотреть уже упомянутую выше книгу «Нет мне ответа», станет понятно, что когда он перебрался в 1980 году на постоянное жительство в Красноярск и очутился в духовном и интеллектуальном одиночестве, вдали от своих старых друзей (и одновременно — адресатов), едва ли не половину книги, начиная с 1980 года, занимают его письма к В. Курбатову. А если вчитаться в них, то станет понятно, насколько они искренни и откровенны, вплоть до жалоб на обстоятельство — особенно когда он с возрастом становился стар, начал часто болеть и страдать от бессилия, от приступов тоски и даже отчаяния. К тому же Валентин Яковлевич, будучи намного моложе и мобильней Астафьева, регулярно, несмотря на огромные расстояния и дороговизну поездок, навещал его в Красноярске и Овсянке, особенно в трудные для Астафьева времена, причём Астафьев порой сам упрашивал его приехать к нему. Так что опять не получается обвинить критика в лукавстве и своекорыстии!

Возражение второе: по поводу обвинения красноярцев в культе Астафьева среди красноярских «литературных причиндалов и подпевал, а также жаждущих погреться возле его славы, а заодно и подзаработать ловких издателей» (*цитата из статьи*).

Я не готов защищать от этих обвинений всех многочисленных гостей Астафьева, «жаждущих погреться возле его славы», но некоторые их категории защитить готов. Во-первых, у него бывало множество журналистов, причём красноярцев среди них было мизерное количество в сравнении со слетавшимися как мухи на мёд журналистами из всех городов страны, в том числе

и из Москвы. Однако ведь это их журналистский хлеб. Как можно упрекать их за их хлеб?

Причём журналисты при встречах с известными писателями не только свой хлеб зарабатывают — но ещё и полезное дело делают: пропагандируют писателей и их творчество. Какой же здравомыслящий писатель откажется от пропаганды своего творчества? Только ведь для этого нужно одно существенное условие: чтобы писатель имел известность. У неизвестных писателей интервью не берут, потому что они никому не интересны... Но вот парадокс: чаще всего именно неизвестные писатели любят злословить в адрес писателей известных.

Вторая категория астафьевских гостей — известные российские писатели, философы, артисты, музыканты, театральные и кинорежиссёры. И ведь они не только не гнушались, а ещё и за честь считали приехать в такую даль, чтобы пообщаться с Астафьевым как равные с равным и отдать ему свою дань уважения и признательности. Мало того, к нему тянулись гости со всего света: из Германии, Англии, Америки.

Хочется упомянуть персонально лишь нескольких именитых его гостей. Первый из них — А. Солженицын. Напомню, что, возвращаясь в 90-х годах на Родину из эмиграции (к которой, кстати, его принудили насильственно), он решил проехать от Владивостока до Москвы на поезде, останавливаясь в крупных городах, дабы иметь беглое представление о жизни России того периода. И единственный человек во всей России, которому он нанёс визит (и при этом беседовал один на один три часа), был Астафьев!

А два других именитых гостя — президенты СССР и России. М. С. Горбачёв прилетал на 70-летний юбилей Астафьева, был в гостях у него дома, в Академгородке. Б. Н. Ельцин посещал Астафьева в Овсянке. Но почему они ехали именно к Астафьеву, когда в Москве и вокруг было полно известных, знаменитых писателей? Дело в том, что в большой степени это были визиты политические; состоялись они в 90-е годы, в период российской «шатости» — им была очень, очень нужна поддержка всемирно известного писателя с огромным авторитетом в России и за рубежом. Так ведь автор упомянутой статьи и тут нашёлся, в чём упрекнуть нашего классика: заискивал, дескать, перед сильными мира сего! Это как же надо перевернуть всё с ног на голову: это кто же перед кем заискивал в данном случае?

И третья категория астафьевских гостей — действительно «литературные причиндалы», по преимуществу молодые литераторы, которые липли к нему, вились вокруг, смотрели ему в рот, бражничали с ним, набивались в друзья, совали свои книжки и ждали одобрения. Да, среди них было и несколько бойких молодых красноярцев (кстати, его же потом и предававших). Но большая-то

часть этих «литературных причиндалов» всё-таки слеталась со всех концов страны — часть из них перечислил сам автор упомянутой статьи; да ведь он признаётся, что и сам многократно бывал этим «причиндалом»!

Основная же часть корпуса красноярских писателей, имея достаточно чувства самоуважения, в этих литературных шабашах и запанибратских компаниях старалась не участвовать и в свите нашего короля от литературы не состоять. Правда, тому была ещё одна причина: мы все уже прекрасно знали о его прямо-таки диктаторском нраве в компаниях, не терпящем никаких возражений и любящем, чтобы ему льстили и поддакивали, поэтому предпочитали держаться от него на некотором расстоянии. Иногородные же гости-литераторы всё это, видимо, легко сносили ради удовольствия побыть рядом и пообщаться с ним.

Теперь — о культе Астафьева в красноярских библиотеках и музеях. Вот как говорит об этом сам автор статьи: «Да, культ Виктора Астафьева в Красноярске ныне столь велик и отмашист, что уже, кажется, нет музея, нет библиотеки в городе, где бы Виктор Петрович не был запечатлён классиком русской литературы. А что уж говорить о родной писателю Овсянке, о соседнем городке Дивногорске... Вот и педагогическому университету дано его имя, и вырос на енисейском берегу величавый памятник, силуэтом смахивающий на тьму памятников Ленину, где Ильич — на революционном ветру, голоуший (!), в широко распахнутом пальто».

Чувствуете, сколько здесь раздражения, иронии, насмешки над дураками-красноярцами, над их нелепым культом Астафьева? Причём верхом иронии надо, по-видимому, считать это «голоуший» (если кто-нибудь видел не «голоуших» персонажей, воплощённых в монументах — отзовитесь!).

А почему, собственно, красноярцам не гордиться своим земляком, всенародно и всемирно признанным классиком русской литературы? В СССР и России издано общим счётом около 170 его книг (только учтённых Российской книжной палатой); ни один другой классик русской литературы не издавался во второй половине XX века столь обильно. Это — не считая многих фильмов, спектаклей, музыкальных композиций по его произведениям. Словом, его творчество заняло огромную сферу культурной жизни России второй половины XX века.

А сколько его книг издано пиратским способом в постсоветское время в России и бывших советских республиках, а ныне независимых государствах — не знает никто. Он, пока был жив, сам пытался бороться с пиратским изданием их — и не мог ничего сделать. Но они продолжают и продолжают выходить, и ничто не в силах остановить их печатание. Вот и в 2017 году до Красноярска

дошли, кроме изданных в России, ещё две его объёмистых, прекрасно оформленных изданных за рубежом книги: одна в Харькове (Украина), вторая в Минске (Белоруссия).

Но вот что интересно: почему книгоиздатели и в советское, и уж тем более в постсоветское время так жаждали и жаждут издавать его книги? Ведь теперь-то издавать их никто не заставляет? Правильно заметил автор статьи: издатели извлекают из издания его книг хорошую прибыль — потому что книги Астафьева любят, охотно читают и покупают! И если он издавался и издаётся чаще и большими тиражами, чем другие советские писатели — значит, его книги любили и любят больше, чем книги его современников, как бы это ни раздражало его литературных завистников и злопыхателей.

Мало того, книги Астафьева издавались и издаются практически на всех литературных языках планеты. Как образцы художественной литературы они входят в школьные программы во Франции и Японии.

А что касается наших библиотек и музеев — что же в том предосудительного, если в них пропагандируется признанный классик русской литературы, автор текстов высочайшего художественного уровня? Особенно в наше-то время, среди разлитого моря графомании, литературной пошлости и дурновкусия!

Следующее возражение — против обвинения в том, что «родная» советская власть якобы слишком баловала Астафьева и закармливала его литературными гонорарами и премиями, буквально «озолачивая» его. Ах, как нравится автору статьи считать деньги в чужих карманах! И тут же — его собственные сетования: почему же его-то самого никто не «озолачивает»? — ведь он-то тоже писатель!.. А теперь — правда о «закармливании» Астафьева со стороны советской власти.

Имея некоторый опыт общения с читателями, я обратил внимание на одну странность в их среде: те читатели, что выросли и «возмужали» в 1960–1970-е, т. е. в самые относительно благополучные за всё советское время годы, прекрасно замечают литературные красоты в произведениях Астафьева — и «в упор» не видят описанных им страшных народных бедствий (и, соответственно, бедствий его героев). Эти самые читатели просто не замечают таких, вроде бы незначительных деталей, едва проступающих фоном в «Последнем поклоне», как, например, бабушка Катерина Петровна выпрашивает у соседней горстки муки, чтобы испечь лишней пирожок внуку-сироте (ведь у них с дедушкой в коллективизацию было отобрано большевиками всё: земля, домашний скот, дедушкина мельница); или как в Игарке героя-полусироту отправляют из семьи в детдом, так как в детдоме можно лучше одеться и прокормиться, чем дома; или как среди

бедствий начала войны юноша-герой, учась в ФЗО и работая затем на железной дороге, едва держится на ногах от постоянного голода, а в голове изо дня в день — одна-единственная мысль: «чего бы пожрать?»... А послевоенные бедствия его и его семьи, вплоть до 60-х годов (о которых он лишь намекал в советское время и описал их полностью только в 90-е гг. в повести «Пролётный гусь»)?

Почему такая аберрация зрения происходит у упомянутой мною части читателей? Ну, во-первых, потому, что «сытый голодного не понимает». А во-вторых, что ещё существенней, детали бедствий в рукописях Астафьева наверняка были намного резче, однако цензура советского времени заставляла его многократно вымарывать всё, сколько-нибудь «крамольное», годами «мурыжа» почти каждое его произведение, даже короткие рассказы, так что в конце концов драматический этот фон приглажен до минимума: почитайте внимательней его письма близким друзьям в изданиях его писем (на которые я уже ссылался): сколько проклятий он посылает в них в адрес власти предрежащей и её партийных цензоров, как прокликает свою судьбу советского писателя и как слёзно жалуется друзьям, что порой от бессилия перед издателями ему хочется навсегда бросить писательский труд и даже покончить с собой, т. к. он уже не мыслит себя без писательства.

А постсоветское время, 90-е годы, когда на него, уже всемирно известного писателя, и в самом деле посыпались одна за другой литературные премии, а издатели стали особенно обильно его издавать (в советское время им чаще всего навязывали издавать «правильных» с партийной точки зрения, но непопулярных у читателя писателей и в то же время «придерживать» любимых ими)? Казалось бы, именно в эти годы на него и полился настоящий «золотой дождь»? Но дело-то в том, что и гонорары, и премии в эти годы катастрофически обесценивались. Помню, он сам жаловался нам с грустной усмешкой, что за публикацию романа «Прокляты и убиты» в четырёх номерах «Нового мира» в середине 90-х годов (над которым он работал более двадцати лет!) ему прислали аж семь с чем-то тысяч рублей, на которые большой семье можно было тогда прожить не больше недели.

Да, со второй половины 60-х по 80-е годы он был вполне благополучен (во всяком случае, с точки зрения автора статьи). И всё-таки благополучие его было относительным, если учесть, что семейство его разрасталось (а единственным кормильцем был он один), что он помогал (материально) очень многим людям: многочисленным родственникам, разбросанным по всей стране, своим однополчанам и односельчанам, особенно когда они старели, болели и лишались средств к существованию, и обязательно давал (или посылал)

деньги на их похороны. Ведь он эту свою сторону жизни никогда не афишировал; о ней знают лишь немногие.

А что касается «партийных апартаментов», которыми, опять же, упрекает его автор статьи, то позвольте: в Красноярске он жил в стандартной трёхкомнатной квартире в стандартном же панельном доме — у нас в Красноярске сотни тысяч живут в таких «апартаментах». Правда, ему добавили дополнительно две комнаты, когда они с Марией Семёновной, будучи уже пожилыми и больными людьми, взяли на воспитание двоих внуков после смерти дочери — так, может быть, автор статьи попрекнул В. Астафьева именно этими двумя лишними комнатами?.. Да, имел он ещё машину, но т. к. был слеп на один глаз — ему приходилось держать за свой счёт водителя-пенсионера. И его домик в Овсянке был скорее тесным, нежели просторным; большинство деревенских домов там даже в советское время было намного просторней.

Вспоминаю ещё один его устный рассказ, изложенный им тоже с грустью и даже чуть-чуть с завистью — о том, как ещё в советское время, когда он был однажды в Венгрии, его, писателя с мировой славой, пригласил к себе в гости какой-то венгерский писатель, никому за пределами Венгрии не известный — каким огромным дворцом показался нашему классику двухэтажный коттедж этого писателя!

Так что если говорить о благополучии Астафьева, то, учитывая, что во второй половине XX века он был самым читаемым и самым широко издаваемым в России и в мире советским писателем — он должен был быть самым благополучным из всех российских писателей; но он им не был — мы были осведомлены о жизни советских столичных писателей-миллионеров с их роскошными квартирами и роскошными же писательскими дачами. А у Астафьева ничего этого не было! Почему? Ведь, в отличие от всех остальных своих собратьев, своими книгами он давал государству выручки не меньше, чем средних размеров завод или большой совхоз, причём большая часть этой выручки была в иностранной валюте! Однако более 90% валюты государство забирало себе, остальное отдавая писателям в рублях; но даже этот перерасчёт на рубли был грабительским (по 56 копеек за доллар). Так что и этот упрёк в адрес Астафьева несостоятелен: не государство было его благодетелем — а наоборот, он сам был щедрым благодетелем государства (а также — тех писателей, которых мало издавали и ещё меньше читали, т. к. эти писатели издавались и материально поддерживались за счёт писателей многотиражных).

И его прижизненная слава не была «дарована» ему «красной империей», как уверяет автор статьи, без конца повторяя, как мантру, про «власть, которая сделала его писателем» и «ублажила писателя

великими почестями». Нет, эту славу он сам шаг за шагом отвоёвывал у «красной империи». Если заглянуть в уже упомянутые мною издания его писем, можно найти в них его многочисленные жалобы друзьям на цензоров, редакторов и издателей этой самой «красной империи», чуть не всё советское время изматывавших ему нервы. Так, например, свою повесть «Кража» он не мог издать около семи лет, многократно переделывая её; повесть «Пастух и пастушка» была переделана им, как уверял он сам, четырнадцать раз!

И всё-таки он издавал их, благодаря изнурительному труду, терпению и упорству, а также благодаря всенародной поддержке и любви к его книгам и публикациям, да разве ещё благодаря помощи надёжных и влиятельных А. Н. Макарова, Н. Н. Яновского, писателя М. Н. Алексева и ещё нескольких таких же верных ему и влиятельных друзей. Но ведь в Союзе писателей СССР было более десяти тысяч писателей, и «красной империи» было из кого выбирать; почему же она всё-таки издавала Астафьева? Потому что, зная, насколько он популярен и любим среди читателей, она изо всех сил пыталась навязать ему свои задачи в литературе.

И непонятно, почему автор статьи насмешничает над тем, что учёные филологи и лингвисты тщательно, «до буковки», изучают творчество Астафьева? Было бы понятней, если б насмешничал над этим малограмотный, плохо образованный человек — но человеку, числящему себя писателем, надо бы не насмешничать, а задуматься над этим: значит, в текстах Астафьева есть какие-то тайны, не поддающиеся пониманию с первого прочтения, а потому, как и всякого классика, его надо многожды перечитывать и изучать. Тем более что ещё не все его тексты опубликованы: так, например, множество писем его ещё ждёт расшифровки, публикации и изучения, причём именно в письмах к его друзьям — самые ценные мысли и искренние признания. Подозреваю, что автору статьи просто недостаёт понимания масштаба личности и творчества Астафьева. Видимо, и в самом деле «большое видится на расстоянии», а тут на тебе: «сживали рядом в дружеских застольях», — а «друг»-то вон куда взлетел, оставив собутыльников ни с чем!.. Сквозь строки автора статьи так и слышится немой возмущённый крик: «Не по-дружески это!.. А я-то чем хуже?..»

Непонимание масштаба личности и творчества Астафьева пробивается и в следующей фразе из упомянутой мною статьи: «Единодушно, единомышленно и равноправно с именитыми деревенщиками вошёл в русскую литературу Виктор Астафьев». Получается, что автор статьи великодушно снисходит до Астафьева, причисляя его к «именитым деревенщикам». А ведь по многим факторам: по силе изображения жизни и глубине осмысления её, по объёму сделанного,

по широте тем, вопросов, проблем, которые он озвучил и заставил читателей осмысливать их, по высочайшему накалу писательского темперамента, по высокой степени совершенства языка и стилистики его текстов, по огромной любви и интересу к его творчеству со стороны как читателей, так и исследователей его творчества, которые не иссякают до сих пор,—он превосходит всех своих коллег-писателей второй половины XX века. Так что история, «баба капризная», делает свой выбор: стало быть, пришло время назвать его великим русским писателем среди современных ему «известных» и «именитых» коллег (не побоюсь произнести слово «великий», если даже обижу целую вереницу писателей, претендующих на это звание, и массу читателей, «болеющих» за этих писателей).

И наконец, последнее возражение—на обвинение Астафьева в ненависти к России и русскому народу. Но прежде чем возразить на обвинение, хочу уточнить одно часто употребляемое автором статьи понятие: «наша родная власть».

Согласно авторскому подтексту, под «родной властью» он подразумевает как называемую «советскую власть». Почему «так называемую»? Потому что начиная с Октябрьского переворота и до самого развала СССР понятие «советская власть» было чистой воды эвфемизмом, которым прикрывался жёсткий диктат большевиков-коммунистов—сам хорошо это знаю: неоднократно бывал в советское время членом избирательных комиссий по выборам в эту самую власть, сам считал бюллетени, почти половина которых были исчеркана и исписана непотребными словами, а потом председатель комиссии докладывал выше, во власть партийную, об участии в выборах 99,98% избирателей. Ну да ладно, для упрощения дальнейших рассуждений воспользуемся понятием «советская власть». Что же она собой представляла?

В начале 2000-х годов в России было проведено несколько независимых научно-социологических исследований по советской и российской демографии XX века; результаты их имеют мало расхождений между собой, поэтому воспользуемся лишь одним из них: исследованием члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, президента общественного фонда «Славянский Мир» В. Н. Гетманова (Новосибирск, 2007): «Российская демография 19–21 веков».

Согласно этому исследованию, в 1917 году население России (в границах Российской империи, но без учёта Польши и Финляндии) составляло 165,7 млн чел. (кстати, в 1914–1917 гг. в России на фронтах Первой мировой войны погибло 4 млн чел., в то время как за счёт высокой рождаемости население России выросло за эти годы на 2 млн чел.).

А в 1922 году население СССР, преемницы Российской империи,—136,1 млн чел.; т. е. убыль

населения составила около 30 млн чел.! С учётом того, что в эти годы шёл также и естественный прирост населения за счёт продолжающейся высокой рождаемости, то истинные потери населения за 1917–1922 годы составили 35–37 млн чел. Отчего такие огромные потери?

Во-первых, это результат беспримерной по масштабу братоубийственной гражданской войны в виде убитых, расстрелянных, умерших от ран и отсутствия лекарств, от голода и инфекционных болезней, а также от массовой эмиграции (до 4–5 млн чел.) в страхе перед большевиками.

Во-вторых, это уменьшение площади страны (и, естественно, населения) за счёт потери Прибалтики и Молдавии.

И в-третьих, это результат беспримерной по масштабам крестьянской войны, развернувшейся в России уже по окончании войны гражданской, когда из-за непосильных поборов, наложенных большевиками на российское крестьянство в виде зерна, мяса, шерсти, кож, а также непомерных обязательных тягот в виде заготовки дров для городов, сена для армии, крестьяне начали вставать против большевиков и собираться в повстанческие отряды. Самым массовым это движение было в наиболее плодородных и продуктивных в сельскохозяйственном отношении регионах страны: на юге России и Украины («махновщина»), в Центрально-Чернозёмном регионе с центром в Тамбовской губернии («антоновщина»), в Среднем и Нижнем Поволжье, в Оренбуржье, в Западной Сибири, на Алтае, в Прииртышье («Сибирская казачья линия» с центром в Семипалатинске). О масштабах этого движения говорят следующие цифры: в повстанческой армии Н. Махно, например, насчитывалось до 35 тыс. человек, в повстанческой армии Антонова—до 70 тыс. Но самое масштабное—и наиболее замалчиваемое!—повстанческое движение в Западной Сибири с центром в Тюменской области; в этой повстанческой армии насчитывалось до 120 тыс. чел., причём армия эта была построена по военному принципу: делилась на фронты, дивизии, полки, роты и т. д.

Против повстанцев направлялись регулярные войска с использованием пехоты, кавалерии, артиллерии, даже авиации и отравляющих газов. Пленны, как правило, не брали; было негласное постановление вЦИК, разрешающее расстреливать каждого повстанца, держащего в руках оружие, и каждого человека, укрывающего повстанца, а также сжигать дома, принадлежавшие повстанцам, а имущество их, землю и скот раздавать соседям. То есть это была крупномасштабная война большевиков с российским крестьянством на уничтожение. Естественно, никто жертв этой войны не считал, но, по прикидке специалистов, в СССР с обеих сторон в ней погибло более миллиона человек, девять десятых из которых—наиболее производительная

часть населения, крестьяне. А конечный результат этой войны — полностью разорённое сельское хозяйство страны и последовавший затем страшный голод 1921–1922 годов, разразившийся именно на тех территориях, где шла эта война, и гибель ещё нескольких миллионов человек (факты и цифры этой войны взяты из книги П. Ф. Алёшкина и Ю. А. Васильева «Крестьянская война в России в условиях политики военного коммунизма и её последствия (1918–1922)» (М.: «Голос-пресс», 2010). Кстати, один из упомянутых авторов этой книги, кандидат исторических наук Пётр Фёдорович Алёшкин — член Союза писателей России, издатель молодёжного патриотического журнала «Наша молодёжь» и сам активный патриот.

Следующая крупномасштабная война с российским крестьянством — годы коллективизации и индустриализации (1926–1934). Коллективизация сельского хозяйства производилась жесточайшими методами: поголовно у всех крестьян, и состоятельных, и бедных, обобществлялись (т. е. попросту отбирались) земля, скот; сельхозинвентарь, а миллионы «кулаков» вместе с семьями высылались на Север, так что рождаемость в стране в эти годы была даже не плюсовой, а минусовой (т. е. детей умирало больше, чем рождалось), и названа эта коллективизация в позднесоветской публицистике «сталинским разгромом деревни».

Но причём здесь, спросите вы, ещё и индустриализация? А при том, что она опять осуществлялась за счёт тотального обирания крестьянства. Результатом этого стала следующая волна голода 1926–1933 годов. В результате коллективизации и её последствий, по данным социологов, прямые и косвенные потери населения в стране в 1926–1932 годах составили 2,3 млн чел., а в 1932–1933 годах — 6,5 млн чел., т. е. в сумме 8,7 млн чел. (косвенные потери населения — это потери из-за не родившихся детей, когда родители умирают в репродуктивном возрасте, или из-за голода и крайней нищеты женщины перестают рожать).

О «сталинских» репрессиях 1937 года, кажется, не писал в наше время только ленивый. Однако социологи с карандашами в руках подсчитали, что в этих репрессиях погибло «не так уж много людей» по сравнению с другими потерями — всего-то около 2 млн чел. Но что это были за потери? Откройте большой энциклопедический справочник, проследите годы смерти крупных учёных, инженеров, военных и политических деятелей, деятелей литературы и искусства, живших в 30-е годы XX века — и вы увидите, что огромное большинство их умерло в 1937–1938 годах, и это не случайно: именно интеллектуальную и духовную элиту страны планомерно уничтожала сталинская кровавая машина, чтобы посеять в стране всеобщий страх, обезглавить и плебейзировать общество, превратить его в безмолвный и покорный рабочий скот.

Общие прямые потери населения страны в Великой Отечественной войне тоже уже общеизвестны — это 26 млн чел. Но вместе с косвенными потерями и демографическими провалами рождаемости через каждые 20–25 лет как следствием вов эти потери населения страны составили около 35 млн чел. Мало того, недавно появилась информация, что в 2017 году в Госдуме поднимался вопрос о последних подсчётах общих (прямых и косвенных) потерь в вов; была представлена обоснованная цифра в 41 млн чел.; однако решено было эту цифру не публиковать, дабы окончательно не дискредитировать советскую власть среди соотечественников и среди мирового сообщества.

Однако существовала на свете книга под названием: «1941 г., 22 июня» (М.: «Наука», 1965, автор — доктор исторических наук А. М. Некрич); книга написана на основе немецких (изъятых у фашистов) и советских (к тому времени ставших доступными для изучения) документов. У меня есть копия протокола обсуждения этой книги на учёном совете в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (достал я её ещё в 60-е гг.). На учёном совете присутствовало 160 человек, в том числе много учёных со званиями академиков и докторов наук, а также генералов — участников вов. Разговор при обсуждении начала войны шёл суровый и откровенный, и обсуждались (в дискуссиях) там чудовищные факты преступного поведения Сталина и его ближайшего окружения перед началом и в самом начале вов, а также неразберихи в Красной армии из-за некомпетентности высшего командного состава, когда три четверти его было уничтожено в репрессиях, а оставшиеся были просто не способны что-либо делать. И в то же время военные историки, учёные и генералы утверждают (приводя при этом неопровержимые аргументы), что у СССР было вполне достаточно вооружений и сил, чтобы остановить наступление немецких армий на расстоянии 200–300 км от границы — и, стало быть, избежать таких чудовищных потерь. И эти исторические факты тоже до сих пор не обнародованы как самая секретнейшая на свете информация, а сама книга в 1967 году была запрещена, подлежала уничтожению во всех библиотеках страны и до сих пор в России не переиздана.

Кстати, уже после войны был зарегистрирован ещё один голодный год, 1946-й, когда страну постиг новый неурожай, а ресурсов, чтобы пережить его, не было; и погибло ещё около 1 млн чел.

После 1946 года катаклизмов в виде крупных войн и тотальных голодовок в СССР больше не случалось, однако были катаклизмы иного рода.

У меня в руках — доклад доктора юридических наук Г. И. Литвиновой «О дальнейшем совершенствовании национальных отношений и укреплении

дружбы народов СССР» (на научно-социологической конференции в Новосибирске в 1985 г.), и опять секретный, в официальной печати не публиковавшийся. Казалось бы, название доклада — вполне позитивное, в духе официальной советской терминологии, однако цифры и выводы, содержащиеся в нём, поражают чудовищной несправедливостью политики КПСС по отношению к населению РСФСР по сравнению с населением остальных республик. Приведу лишь несколько фактов.

Основными источниками наполнения бюджета в СССР были подоходный налог и налог с оборота; причём все союзные республики (кроме РСФСР) оставляли в своём бюджете 100% этих поступлений; РСФСР же оставляла у себя лишь 50%; остальные 50% отдавались другим республикам в виде дотаций.

Далее, личные доходы крестьян в РСФСР были самыми низкими в стране — в 10 раз ниже, чем, например, в Узбекистане, и в 15 раз ниже, чем в Грузии. Это было главной причиной того, что русская молодёжь в массовом порядке мигрировала в союзные республики, в результате чего в РСФСР резко падала рождаемость, а в остальных увеличивалась, и в то же время 22 млн россиян оказались теперь в ближнем зарубежье.

Далее, в РСФСР к 1985 году в расчёте на душу сельского населения были намного ниже, чем в остальных республиках, энерговооружённость сельского хозяйства, количество жилья, дорог, сельхозмашин, минеральных удобрений, что отрицательно сказывалось на урожайности и, естественно, на заработках сельских жителей.

По количеству научных работников, а также лиц с высшим образованием среди занятого населения (в расчёте на 1 тыс. человек) РСФСР оказалась на последнем месте среди других республик, и в то же время РСФСР была на первом месте по процентному количеству женщин среди лиц, занятых малоквалифицированным, вредным для здоровья и тяжёлым физическим трудом (что в конце концов сказывалось на здоровье нации и уровне рождаемости).

И это лишь малая часть примеров дискредитации населения РСФСР; какую бы сферу жизни советского государства, руководимого «родной» КПСС, ни взять: политическую, экономическую, социальную, демографическую, образовательную, культурную, — везде была целенаправленная дискриминация россиян.

Ну и наконец, самый крупный катаклизм в жизни государства второй половины XX века, случившийся уже на глазах у всех, — это распад СССР (преемницы дореволюционной России) и все связанные с распадом невиданные народные бедствия. Потери народонаселения России за 1992–2013 годы оцениваются социологами примерно в 13 млн чел.

Партия советских и российских большевиков-коммунистов всегда пыталась (и пытается до сих пор) уйти от ответственности за все свои преступления в течение всего времени её правления, навешивая их на отдельных руководящих лиц: то на Троцкого и его сподвижников-евреев, якобы главных виновников в развязывании гражданской войны и её преступных зверств, то на Сталина, «главспеца» по национальному вопросу (в том числе и по расчленению страны на республики, то бишь на мелкие княжества), то на Сталина вместе с Берией, развязавших тотальный террор против народа, то на Хрущёва, «главного волюнтариста» партии (да ещё «подарившего» Крым Украинской ССР), то на Горбачёва с Ельциным, якобы единственных виновников развала СССР. Это стандартный приём партии большевиков-коммунистов по увиливанию от ответственности. А как всё происходило на самом деле? Откройте и почитайте партийные газеты, выходившие с 1917 по 1992 год; с самого начала её правления в 1917 году и до саморазвала её в 1992 году: ведь все решения партии были коллективными; на всех проектах своих решений все до одного члены главных руководящих органов партии ставили собственные подписи, затем проводилось утверждение этих проектов с личным голосованием всех членов этих руководящих органов, а после этого проводились съезды (или конференции) партии; на них обсуждались эти решения (как всегда то была единодушная поддержка «родной коммунистической партии») и проводилось голосование этих решений (как всегда — единогласное). Так что во всех кровавых злодеяниях и нравственных преступлениях против государства и против народа виновата только партия большевиков-коммунистов вместе со всеми её руководителями (составлявшая, кстати, невиданную в мире партийную армию в двадцать миллионов человек!). И на каждом члене партии (и уж тем более на каждом, без исключений, её руководителе) есть кровь. Много крови.

Теперь откройте любой справочник по народонаселению всех стран мира в XX веке, посмотрите, как изменилось количество населения разных стран в XX веке, и вы увидите, что население огромного большинства их за 100 лет увеличилось, как правило, в 2–3 раза. Даже в Германии, развязавшей в XX веке 2 мировые войны и в обеих потерпевшей поражение, население увеличилось в 1,5 раза. Единственная страна в мире, в которой население не выросло, а даже уменьшилось, — это Россия.

В 1900 году (так же, как и в 2000-м) были модными прогнозы крупных учёных относительно нового, XX века; делались они и в России. И великий русский учёный Д. И. Менделеев сделал такой прогноз: население России к 1950 году должно было составить 300–350 млн чел. Если продолжить экстраполяцию этой цифры до 2000 года,

население её должно было бы составить 600–700 млн чел. А на самом деле после почти векового правления большевиков-коммунистов конечный итог таков: если в 1917 году в Российской империи проживало (как мы уже говорили) 165,7 млн чел., то в 2017-м — 146 млн чел., т. е. потеря населения за 100 лет составила примерно 450 млн чел.! Да при этом ещё потеряна почти четверть своей территории. Вот он каков — чудовищный результат правления большевиков-коммунистов!

Но кроме этих неисчислимых людских и территориальных потерь от их правления, не менее страшны их преступления нравственного порядка: беспощадная борьба с религией (с убийством многих тысяч священников и разрушением тысяч храмов), разрушение института семьи (якобы источника индивидуалистического и мелкобуржуазного воспитания), воспитание ненависти к собственности и собственникам, неуважение к интеллигентному труду: труду врача, учителя, научного работника, работника культуры (зарплата которых всегда была ниже средней зарплаты по стране — на уровне самых низкоквалифицированных рабочих) и т. д. и т. п. А чего стоит поощрявшееся большевиками-коммунистами научное мракобесие запретом генетики, кибернетики, социологии и других «буржуазных» наук, а также разгром и уничтожение целых научных школ, затормозившее развитие в России науки в целом на целые поколения!

Плоды этой «деятельности» мы пожинаем до сих пор, и неизвестно, сколько ещё поколений будут пожинать их в будущем.

Причём власть большевиков-коммунистов, словно гигантский клещ, так глубоко впилась в тело государства, что удаление этого, уже омертвевшего, клеща произошло вместе с развалом страны, так что, может быть, эта власть и была кому-то «родной» — но для народа и страны она была губительной, потому и рухнула почти в одночасье: т. к. всякая власть, утвердившаяся на крови, лжи и жесточайшем насилии, в конце концов обречена; об этом написано в Библии и многократно повторялось в трёхтысячелетней истории мировой культуры, но малограмотным, полубразованным большевикам-коммунистам на эти предсказания было глубоко наплевать.

А к чему я привёл столь пространное отступление от основной темы? Да к тому, что В. П. Астафьев много читал, многим интересовался, постоянно встречался с высокообразованными и имевшими большой запас информации людьми, и потому вся та информация, которую я здесь привёл, ему, конечно же, была хорошо известна. Мало того, он всю жизнь, начиная с раннего сиротства, беспризорничества, бродяжьей жизни, нищеты и голода, на своей, как говорится, шкуре испытал все «прелести» «родной» автору статьи власти.

Изображением этих испытаний пронизано практически всё его творчество. И любят-то его книги простые читатели в первую очередь не за красоты стиля, а именно за пронзительную боль и страдания народные, так страстно им поведанные.

Но, как и всякий масштабно мыслящий писатель, он не ограничивался одним лишь изображением народных бед — а, обобщая, неизбежно выходил на изображение порочной тоталитарной системы с её бездушной государственной машиной, унижающей, растлевающей и убивающей личность.

При этом всё его творчество, начиная с первых рассказов о войне и заканчивая последними повестями, рассказами и «затесями», — это непрерывное объяснение в любви к «малым сим»; и в то же самое время в его творчестве постоянно присутствует — пусть иногда под сурдину — протест против всякого насилия над личностью ли, над деревней, над природой, над народом; а иногда и страстная, во весь голос, ненависть ко всей советской власти и её прихлебателям.

Достаточно вспомнить «запев» в его «затеси» «Прихлебатели», написанной уже в постсоветское время: «Долго я искал в старых сибирских словарях это слово... и не нашёл. В ожеговском словаре кратко — подхалим, дармоед. Зато уж если кому доведётся составлять словарь советской эпохи, слово „прихлебатель“ займёт в нём главенствующее место. Сказано, что социалистическая система — самая лучшая для воровства, но уж советское время, новая наша эпоха, несомненно, самая плодovitая для прихлебателей. Они так тучами и следовали за трудовым народом, и впереди всех толп бравое комиссарство в галифе — главные прихлебатели века...» Слышите? Даже в этом крохотном отрывке Астафьев чётко разделяет «трудовой народ» и советских «прихлебателей». Так, может быть, упомянутый в начале этих заметок автор статьи потому так страстно и защищает «нашу родную власть», в то же время обвиняя Астафьева в ненависти к России и русскому народу, что принимает за Россию и русский народ именно этих самых прихлебателей его «родной власти»?

А вот что пишет Астафьев об этой же самой власти в письме своему ближайшему другу-писателю: «Живём мы, как и все уже старики, похварывая и тревожась о будущем детей наших и совсем почти разрушенного Отечества нашего. Державшееся на ржавых гвоздях и гнилых верёвках лжи и демагогии государство рухнуло, началась расхватуха, мародёрство, и первыми грабителями были и остались партийные деятели, которым удалось убедить наш убогий народ, что обокрал его американец клятый, а коммунисты — святые люди, лишь то и делали в своих партийных квартирах в двести метров на двоих, что печалились о народе» (письмо Е. И. Носову от 17 февраля 1996 г.).

Да, вместе с той же ненавистью к прежней власти он употребляет выражение «убогий народ», но ведь в нём— всего лишь жалость к своему народу. . .

Впрочем, иногда в его письмах и публичных выступлениях, особенно в 90-х годах, и в самом деле прорывалось раздражение своим народом. Вот что пишет он в другом письме, другому адресату, в год 50-летия Победы: «...Весна плохая, народ, разогнавшийся в праздники, гуляет, отмечает, празднует, достаёт и в деревне, целится камерами, фотоаппаратами, тянет из души патриотическое слово о Родине и народе дорогое, да о Великой Победе. А у меня их нет, да и не было в душе-то, ибо я раньше других сперва почувствовал, а потом и увидел трагедию своего народа, сваленного в червивую яму коммунистами. И оттуда так и не выбравшегося, да и не желающего выбираться. Оказывается, можно жить и в помойке, пусть и в облике животного. Нашлось (и немало) так уж униженных, до скотства доведённых, что им помойка— родной дом. Погибает бедный народишко, погибает, и вроде как не осознаёт этого, что давно его лишили сознания и разума. Уж коли он снова за большевиками, а не за Богом устремился, значит, сам себя и приговорил к кончине. Дело в сроках, но большевички сократят эти сроки и, погибнув во зле и смраде, погубят и страну, и народ» (письмо Г. В. Вершинину от 28 мая 1995 г.). Но не ненависть же к народу звучит в этом письме— а лишь раздражение им, да ещё большая тревога от предощущения гибели его, и печаль писателя от собственного бессилия противостоять этой гибели. Так ведь в 90-е годы у многих писателей, страстно любящих Родину и свой народ, было это апокалиптическое чувство предстоящей гибели страны и народа.

И в то же время что ни письмо, написанное им в 90-е годы, то непременно— скромное, негромкое объяснение в любви к товарищам-писателям, к товарищам-фронтовикам, к своим односельчанам, к родной земле, к своему народу, а также боль и тревога за них в те тревожные годы.

Особенно примечателен в этом отношении один текст Астафьева: вдова его, Мария Семёновна, разбирая после его смерти «рыбачкий» ящик, с которым он ездил раньше рыбачить на далёкие таёжные реки, с удивлением случайно наткнулась в этом ящике на мятый лист бумаги с написанной его рукой молитвой о спасении своего народа, обращённой к Христу. Для экономии места приведу здесь только один абзац этой большой молитвы: «Спаситель мира, Иисусе Христе, ты отверз очи слепорождённому— открой глаза и нашему русскому народу, дабы он познал Твою Святую волю, отрёкся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым и честным. . .». Что это за молитва? Остаётся предположить, что он, видимо, сочинил

её на тех далёких таёжных реках и там же, в одиночестве, неоднократно её произносил.

Но вот чего нет ни в письмах, ни во всех произведениях Астафьева— так это слов о «патриотизме», о «любви к России», «любви к Родине». Он просто не терпел этих громких слов и вот что писал о тех, кто любил и любит произносить такие слова (заметьте, цитата взята из книги, изданной ещё в советское время, в 1980 г.): «Крики в литературе, битие себя в грудь и заверение в том, что ты вот любишь родину, а другие вроде бы уж и не любят её и не умеют любить, свойственны больше людям неумным. . . Я уже заканчивал курсы (Высшие литературные курсы в Москве.— А. А.) и за два года наслушался всякой всячины и заметил уже, если „борец“ орёт слова: «Россия, Родина» и т. д. и т. п., то значит поблизости есть кто-то из тех, кому это услышать надлежит, кто может за эти «патриотические» крики заплатить рублишко, напечатать подборку стихов, увеличить тираж книги и даже ввести в какую ни есть редколлегию. . . Нет бескорыстных витий, особенно в литературе. Бескорыстные, как правило, талантливы, и им кричать не надо, за них говорят стихи, книги, перо— словом, их уединённый, тяжкий труд. . .» (В. Астафьев. *Посох памяти*. М.: «Современник», 1980). Так что неприятие таких вот «патриотов» появилось у Астафьева не в 90-е годы, как уверяет упомянутый мною выше автор статьи, а намного раньше, хотя особенно ярко проявилось оно у него именно в 90-е, и тому есть причины: после роспуска КПСС руководители новой партии, КПРФ, получили мощный рупор своей пропаганды в многотиражном тогда, руководимом Ст. Куняевым журнале «Наш современник». Вокруг этого журнала группировались и «совпатриоты», горячо поддерживавшие КПРФ, надеясь, конечно же, на возвращение к власти коммунистов и, соответственно, на возвращение прежних писательских материальных благ (тем более что возвращение коммунистов к власти в России было в 90-х гг. вполне возможным). Именно этот альянс и отталкивал от «совпатриотов» Астафьева, имевшего к большевикам-коммунистам слишком много претензий. Но времена меняются. В наше время появилось мощное патриотическое движение, дистанцирующееся от коммунистов; у них появилось множество собственных сми. Да и сама КПРФ постепенно перерождается, становясь цивилизованной парламентской партией; много значит тут и пример коммунистов Китая, успешно строящих современное рыночное общество и достигших на этом поприще невиданных успехов. Только наш, упоминаемый выше автор статьи так и остался в 90-х, повторяя и перефразируя цитаты из старых-престарых редакционных статей Ст. Куняева, обращённых против Астафьева. Но то был диалог с естественными в публицистике перехлёстами,

в котором живой ещё Астафьев называл весь «патриотический лагерь» «Нашего современника» «красно-коричневыми», а Ст. Куняев, в свою очередь, обвинял Астафьева в ненависти к России и русскому народу, явно при этом передёргивая: выдавая за Россию и русский народ «патриотический лагерь» «Нашего современника».

Хотя, конечно, именно в 90-е годы и в публичных выступлениях, и в письмах у Астафьева среди полемического пыла иногда и в самом деле прокальзывает гневное бичевание тяжёлых пороков русского народа: «Так, видно, и остынет обиженная и израненная земелюшка, и скоты, её населяющие, в пьянстве, зле и суете не заметят, что давно уже погибают. И погибнут, танцую и вопя о всеобщем совокуплении, называя это любовью» (*письмо Е. И. Носову от 1 декабря 1995 г.*). Но от ненависти ли к народу подобные гневные высказывания? Чтобы не искать новых мыслей о его неиссякаемой, несмотря ни на что, любви к своему народу, я повторю лишь одну фразу из своего старого очерка: «Любовь к людям у него своеобразна: он любит их, как строгий отец патриархального склада — своих малых чад: горячо и нежно, готовый умиляться ими до сладких слёз и самоотверженно защищать их от чужих наветов и обид, но за малые проступки готовый обязательно попенять им, а уж за крупные — снять ремень да и настегать пребольно по мягкому месту: не ленись! не пей! не воруй! не лги! не подличай!»

А вообще, надо ли использовать писателю или поэту «юваналов бич» в изображении пороков своего народа? Может быть, из любви к нему нужнее скрывать его пороки и лишь воспевать его добродетели?

Но как быть, например, с поэмой великого русского поэта-демократа Н. А. Некрасова «Эй, Иван!» (которую, кстати, издатели никогда не вставляют в современные сборники его поэзии, стыдливо её замалчивая)?

Вот он весь, как намалёван,
Верный твой Иван:
Неумыт, угрюм, оплёван,
Вечно полупьян...

И так далее — три страницы стихотворного текста, главный герой в котором — простонародный тип подневольного, почти потерявшего человеческий облик русского человека (между прочим, очень напоминающего сегодняшнего «алкаша»).

Или, например — с таким вот стихотворением известного советского поэта М. Дудина, Героя Соцтруда, лауреата Госпремии СССР, автора более 70 поэтических книг (и тоже, как сказал бы упомянутый мною в начале моих заметок автор статьи, «закормленного нашей властью» и «ненавидящего Россию и русский народ»)?

Был дом и поле на два дышла,
Там ни двора и ни кола.
России нет. Россия вышла,
И не звонят колокола.
О ней ни слуху и ни духу,
Печаль никто не сторожит.
Россия глушит бормотуху
И кверху задницей лежит.
И мы уходим с ней навеки,
Не уяснив свою вину.
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину.

Между прочим, это стихотворение, в советское время не публиковавшееся, прислал В. П. Астафьев Н. Н. Яновскому в письме от 6 июня 1982 года.

А как быть с мемуарными эссе, в которых вызывающие большое доверие русские писатели И. Бунин, И. Шмелёв, М. Горький, В. Короленко и др. с возмущением описывали не только зверства «революционной» власти, но и недостойное поведение народа, буквально озверевшего и быстро опустившегося во время Русской революции? Или, например, со стихотворением Макс. Волошина «Мир», написанным 27 ноября 1917-го, т. е. в первые дни после Октябрьского переворота:

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на пыльных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволоч на гноище, как падаль... — и т. д.

Большевики-коммунисты поступали со всеми этими произведениями просто: запрещали и тщательно прятали от народа. Помогло это им избежать полного краха? Нет.

Острые дискуссии о том, где грань между обличением пороков народа в художественной литературе и откровенным оскорблением национального чувства, велись в России ещё в середине XIX века. Так, московский литературный журнал «Москвитянин», объединявший писателей-славянофилов, резко выступал против творчества Н. В. Гоголя после публикаций пьесы «Ревизор», повести «Шинель» и романа-поэмы «Мёртвые души», обвиняя автора в пошлости, одностороннем изображении «низкого» в русской жизни и оскорблении национального чувства.

За Гоголя вступился В. Г. Белинский в своей статье «Ответ „Москвитянину“» (1847). Вот что он писал в ней, защищая произведения Гоголя, а заодно и высказывая принципы «натуральной школы» (т. е. реализма) в литературе (приведу лишь несколько фраз из этой большой статьи): «Он изобразил вам порок, разврат, пошлость:

судите, верно ли, хорошо ли он это сделал; а не толкуйте, зачем он сделал это, а не другое, или вместе с этим не сделал и другого. Говорят: что это за направление — изображать одно низкое и пошлое?... Подобное обвинение больше всего показывает незрелость нашего общественного образования... Никто не скажет, чтобы англичане не были ревнивы к своей национальной чести; напротив, едва ли есть другой народ, в котором национальный эгоизм доходил бы до таких крайностей, как у англичан. И между тем они любят своего Гогарта (Хогарта. — А. А.), который изображал только пороки, разврат, злоупотребления и пошлость английского общества его времени. И ни один англичанин не скажет, что он оклеветал Англию, что он не видел и не признавал в ней ничего человеческого, благородного, возвышенного... Чем сильнее человек, чем выше он нравственно, тем смелее он смотрит на свои слабые стороны и недостатки. Ещё более можно сказать это о народах, которые живут не человеческий век, а целые века. Народ слабый, ничтожный или состарившийся, изживший всю свою жизнь до невозможности, любит только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны: он знает, что они смертельны, что его действительность не представляет ему ничего отрадного и что только в обмане самого себя может он находить те ложные утешения, до которых так падки слабые и дряхлые...».

Особенно рекомендую читать в последнюю приведённую здесь фразу — о «народе слабом, ничтожном», который «любит только хвалить себя» и «боится взглянуть на свои раны», «зная, что они смертельны». Ведь эти провидческие слова один к одному относятся и к изжившей себя власти большевиков-коммунистов! Не это ли главная причина одряхления и развала её, повлёкшая за собой развал целого огромного государства, СССР? И всё-таки кое-кто из писателей-староверов, которых жизнь так ничему и не научила, продолжают цепляться за обветшавшие принципы той власти и оплакивают её, до сих пор считая «нашей родной властью».

Чтобы очиститься от пороков, как отдельный человек, так и народ, общество в целом должны первым делом осознать их в себе, и помочь им в этом должна в первую очередь художественная литература с её гуманной составляющей. Это хорошо понимали русские писатели XIX века. Зря на неё клеветают (с лёгкой руки В. В. Розанова), будто именно она виновна в великих потрясениях в России XX века. На мой взгляд, всё как раз наоборот: русская литература мало использовала свои апостольские и пророческие возможности, будучи по преимуществу по-дворянски благодушной, уходя в дебри человеческой души или восхваляя и боготворя свой народ; слишком мало было среди них писателей, бичующих, подобно

библейским пророкам, слабости и пороки своего народа и своего общества; тогда бы меньше было влияния большевизма: ведь мотивы деятельности у них совершенно противоположны: большевизм призывал к ненависти, грабежу и убийству, а литературой, даже бичующей язвы общества, двигает в конечном счёте любовь к народу и желание его воспитывать и исправлять.

Хотя бичевать язвы — занятие почти всегда неблагоприятное. Во всяком случае, в России всегда найдутся поэты и писатели, поющие величальные песни своему народу и своей стране; это легче, да и выгоднее, чем говорить народу тяжёлую, нелюбимую правду. Астафьеву хватило решимости взять на себя эту неблагоприятную работу, особенно в 80–90-е годы, когда перестройка, с одной стороны, дала освобождение народу от большевистского ига, а с другой — вскрыла подспудные язвы и пороки общества, созданного большевизмом. Эта неблагоприятность потекла мутным ручейком протестных писем в его адрес в 90-е годы, вызвав в душе писателя ответную реакцию в виде предсмертного письма, обращённого к своему народу, полного бесспорной горечи и отчаяния.

Думаю, что доживи он до наших дней — это письмо было бы другим: народ, интуитивно нащупывая пути к своему оздоровлению, пусть медленно, черепашими шагами, но отряхивается от тех язв и пороков, поразивших общество в 90-е годы, и избавляется от того безумия, в котором пребывал. Какая-то часть лекарства от этих язв и этого безумия — и в трудах нашего классика тоже.

Заканчивая свои возражения автору статьи «Поле брани Виктора Астафьева», хочу задать ещё одним вопросом: почему этот автор, житель Иркутска, взялся опубликовать свою статью именно в Красноярске, в альманахе «Енисей»? Ведь в Иркутске, насколько я знаю, выходят несколько периодических литературных изданий, да и сам он, судя по биографической справке, приложенной в альманахе — исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль»?

Предполагаемый ответ напрашивается сам собой: автору, обильно нагружившему свою статью столькими обвинениями не только в адрес нашего земляка В. П. Астафьева, но и в адрес красноярцев, дорожащих памятью о нём, видимо, очень хотелось подбросить нам «чёрного пиара» о нём и ткнуть нам всем в нос большой кукиш: «Вот вам ваш Астафьев!». Это ведь так современно и так эффектно! К тому же давно известно, что авторы всяческой «чернухи» частенько страдают психическим комплексом, известным как «слава» Герострата, спалившего в своё время одно из семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе, только затем, чтобы оставить своё имя в истории, поскольку ничем иным он заслужить память о себе не мог.

Альбина Мамаева

Большие детки—большие бедки

До деревни дошёл слух—Варвара едет! Хочет об пенсии хлопотать. Ох ты моя родна! Я уж не чаяла свидетца. Мы вить всю жись в соседях прóжили. Это уж моя сама задушевна подружка.

...Чё-то долго нётука её. Кабы вправду приехала, уж она бы в пёрву голову ко мне прибежала. Паря, неуж наврала? Им чё? Язык-от без костей. А я на радостях плошшуся. Пол во всёй избе вышваркала, половики выхлопола, по углам веником паутину собрала... Вчерась холóдново наварила, сёдни шанег настряпала. В кобрег сама спóлзала, доглядёла продукты—всево хватат, слава Бох. А то Варюха-то с порóгу запросит рыжиков солёных, да штоб ишшучья голова отварна была. Мы, бывать, к яблокам да конфетам-ту непривышны. Вай, дефка, другой день как на угóльях сижу! Радиво и то не включаю—боюсь прослушать, как воротá хлопнут. Не здря сказано: ждять да догонять—хуже нету!

Вай, однако чё-то брякнуло... Выскочила в сени—идёт!!! Ей Бох Варюха идёт! Ради Христа, кака гостья-то ко мне припожаловала! У меня ноги подкосились. Стала подходить, я пушше-то пригладелась—дак она ли? Неуж вправду Варя? Она счево эдак-ту сгорбатилась?

На крыльце схватáли друг дружку в берёмя, заревели в голос... Да повела её в избу. Да посадила ко столу. А у самих кусок в горло не лезет—наговоритца не можем. Варюша-то всё трóстит, мол не верю, што дома! Иду, говорит, по улице—ног под собой не чую! Ну, всё даки прижухнулись маленькя. Нáлили чаю. Я уж вижу, што она сама не своя. Ну ка, дай-ка расспрошу, хто у ней чаво:

— Гляжу на тебя, Варюша, у тебя всё ли ладны? Чё-то невесёла ты...

Как была рёва-корова, так и осталася. Я ишшо не выговорила, а у ней уж глаза мокры. Тут на неё рывкнуть нады, тожнó успокоитца:

— Слушай сюда! Ты ково ревёшь? Ну ка, обсказывай—можеть и плакать-ту нё об чем...

— Ох ты моя родна, не знаю, откуль рассказ зачинать...

— Не знат она! Я вить сразу смекнóла, што не с добра явилася. Три годочка в городе-то прожила, а состарилась на все десять.

— Вай, Лиза! Как не состаришься? Лиза, я в таку мялку попала—не дай Бох никому.

— Варвара, не пужай меня! Што уж за така за мялка?

Ревú на неё, а у самой сердце заподмывáло. Варюха здря говорить не будет.

Мне пали на ум все передачи по радиву да телевизеру ково над стариками в городах-то делают. Ничё, што в деревне выросла, голова-то у меня варит будь здоров:

— Мама родимы! Ты уж не в работницах ли у них жила? Вай, дак оне изгалялись над тобой, ли ково ли? Ну Алькя! Приедет она суды, я ей живо кудри-то расчешу! Она не одичала ли? Вай, стыда нету—родну мать в работницах держать! Оне тебе хоть ись-то давали? Гли-ка, по телевизеру-то напрохóт кажут, как над старухами-то куражатца...

Варвара выпучила глаза:

— Ты ково кружашь? Я вить тебе ишшо слова не успела сказать, где ково берёшь? Кабы работать заставляли, дак это полбеды. Это я привышна... Меж собой у них худо, вот вить чё...

Та-а-ак... Я таково повороту не ждала. Растерялася.

— Варя, ты однако ково-то присбírывашь. Мне дак Алькин Яшка-то смиренный показался.

Варюша мольчит, толька успеват глаза вытирать. А у меня в голове шурупы крутятца. Крутятца и придумывають, чё это тако «меж собой у них худо»? Видать, поколáчиват Алькю-то... Какá змея с хорошим мужиком подёковалась? Тут меня как ожгнóло—одно што из-за вина одичал... Чё боле-то? Из-за чево ишшо мужик бабу мутузить будет?

— Вай, Варюша, мы-то об этим дúху никово не слыхали. Неуж Яшка наготово запивáтца? Так, чем же ей помогчú-то можно? Ну уж девку не оставим одну с пропойцей. Варюха! Бросай чай пить, пошли на почту, радиограмму Альке отбивать—пушай суды едет. Тут мы ей с голоду не дадим умереть. Нет, погоди! Чё это Алькя будет бросать свою фатеру да хорошу работу? Нады Яшку в дурдом сдать, там не таких лечат! Полгода—и на ноги поставят мужика!

Глаза у Варюхи высохли. Вижу, очумела. Сказать ково-то хочет, а выговорить не может—то ли склыктыват, то ли íчетца ей после слёз:

— Вот сроду ты едак! Ты пошто меня не слушашь-то? Яша-то золотой—не пьёт, не курит,

на работе с доски почёта не слезат... И всё в дом, всё в дом! С три лешево уж натаскал—добро-то никуда не воходит. Мне ничё тяжёло делать не даёт, у каждого слова мама да мама... Што ты! У меня и в мечтах еково зятя не было...

Правильно на меня Варюха стырит—терпенья у меня не хватат долго слушать:

— Ну чё ты тут рассусобливашь? Как всё равно нервы на палец наматывашь! Давай, говори напрямку, хто чаво заспёлось?..

Спрашиваю, а шарики-то мои не перестают, крутятца. Из-за чево тогда ишло моя Варька слезами залётца? Неуж хто-то захворал! Вай, от старости я окружала, ли чё ли?! Тут и думат нечево, раз зятя не пьёт и не дэкуетца, стало быть уж присмерти лежит? А я-то вся беспута, с расспросами лезу...

— Знашь чё, Варя, никово не говори. Я сама догадалась. Ты пошто сразу-то не сказала? На нево, на Яшку-то, худá болесь ли чё ли навязалась? Вай, ради Христа, дак это чё дётца на белом-то свете? Эта страмота, рак-от этот, скоро весь народишко изведёт. Стариков мало, до молодых уж добрался!.. Он чё, шибко захворал, зять-от? Ты не переживай, давай, оболокайся! К нам тут ссыльново мужика отправили, дак не поверишь—все болести настойкой лечит!

— Тьфу на тебя, прости Господи! Отведи и отнеси всяково крешшоново! Ты счево така заполошна-то?! Вот уж вправду, голова как у вола, да всё кажетца мала... У тебя мозги-то есть?

Ну, слава Бох! Ругатца взялась, скоро должна очуствоватьца.

— Дак сама виновата, все кишки вытянула с молчанкой. Я уж всяко передумала.

— Я за три-то года отвыкла разговаривать с людьми. Што в КПЗ отсидела. Людей толька в окошки видела. Забыла, что тебе чем доказать, легче снять да показать. Сроду ека была—сама всё знашь, рот никому не дашь отворить.

Варвара, видать, всё же взяла себя в руки. Успокоилась:

— Я вить выговорить не могу, не знаю, куды от стыда деватца. Алькя-то моя бегать взялась из-за зятя-то! Спуталась с каким-то приежжим! Ну ка, самбй четвёртый десяток, а она ухажера себе нашла!

Я-то всё в голове перебрала, а об этим не подумала. Алькя-то уж така консомолка росла, дак хоть счас бери в газету «Правду» работать. Не подкопатца—в дневнике одне пятёрки да благодарности!

— Гли-ка, счас поднять бы из земли стариков-то, дак с ума бы сошли! Ране вить тятя ли мама поглядит в твою сторону—сразу ростом ниже станешь! А счас чё? Стариков ни во што не ставят. Моли Бога, што жива да здорова. Мужика бросила—дак это не она первая, не она последняя. Народ-от весь

одичал, Бога не боятца... А она, паря, где на него трафилась?

— Лешак их знат! Где, поди, што не на работе. Толькя об ём заговорю, она замольчит, как уду съела. Она вить чё не захочет, ни за што не скажет—на огне не допрёшь! Я уж с ней и по-доброму разговаривала, и стырила и всяко! Днём-ту одна дома сижу, думаю, придёт с работы, дак я уж настыжужо-то! А она в резон не берёт! Отвечат, дескать мне не шешнадцать годов, а учителей и без тебя хватат. Ну! Есь у этой бабы мозги или нету?!

— А ты спомни, как она росла. Она ково послушат, когды сроду всима командовала?

— Вай, Лизавета, никово не говори. И так тошно. Тебе дивья с троими-то, а у меня одна порошшина. Да уж така картинка—любо поглядеть! И везде-то она перва. Да всё-то она на людях. Я думала, уж моя-то Алькя начальником будет. Погляжу на наши руки—не руки, а грабли! Смблodu пальцы скрючит, дак потом уж ничем не выправишь... А как начальница с ёкими руками руководить будет? Вот и жалела её.

— Я и говорю—сама исповадила. Сроду ей поперёк слова не сказала. Кусок послáшше—Алке, нову лопатину—Алке... Я всё споминаю, как мы с тобой в Кежмы-то летали. На совешшанне-то. И в райёне народ-от не весь богато ходил, а уж об нас чё говореть? Явились депутатки—все юбчёнки в заплатах... По магазинам бы сбегать, а деньжонок с собой тоже в обрез. Кроили мы их, кроили и сдумали—если чё и брать, дак сабоги резиновы. Войны уж сколь годов нету, а мы всё в черках бегам. Зашли в лавку—мамы родимы! А сабоги-то рядами, рядами стоят! И повыше и покороче. И все блестят! Выбрали себе по сабогам, дак вся душа трясётца, рады-радешеньки!

И какой лешак тебя натокал к другому прилавку-то сунутца?! А там, как на грех, туфельки. Оне у меня и счас в глазах стоят: цветом-ту поднебёсны. С клубучками. С пряжками. Продавщица говорит, одне остались, и те маломерки. На ково, мол, их шьют—на куклу одевать, ли чё ли? А как сказала, что оне тридцать четвёртый-то номер, ты свои сабоги отбросила, а туфельки боле из рук не выпустила. Я уж и отговаривала тебя, и стырила—нет, ты гнёшь свою линию. Где не надь, дак ты на своём постановишь, своротить неможно! Алькя-то тебя за них всю исцеловала!

Назавтре гляжу в окошки—бежит из школы. Дожжина льёт, грязишша под ногами чавкат, а она в новых туфельках! У меня сердце зашло, прямо ходить перестало! Вай, она ково делат? Ох ты, лиходейка ты, сжабашь вить такую красотишшу! Дбры-то девки в непогодь не то што туфли—черки и те в руках дёржат, штоб не промочить... Ладны, думаю, Варюха умом тронулась—самой одеть нечево, в люди выйти стыдно, а она последние деньжонки на баловство издержала! А ты-то,

Алька, не без головы! Эвон кака лыха вымахала! Ты-то пошто не берегёшь обнову? Ну охота тебе пофорсить, дак одень на туфли-то галоши!

Вишь, с каких пор она тебе подчинятца-то перестала? И тебя не берегёт, и мужика не почитат, и об челядёнке забыла. Однуё себя помлит.

Гляжу, Варюха моя опять носом зашвыркала. Оно хто чево, сидит у меня третий час и всё ревёт короной!

— Варюша, но-ка перестань! Надцелась со слезами! — Дак как не заплачешь? Внучка-то помянула.

Парень-от весь в зятя, ни дать ни взять! И станет, и сядет, и заговорит — вылитый отец! И карахтером екай же уважительный. Уж до чево малёный парнишка, сроду не загнусит. За три года единово разу не слышала, штоб каял об чем-нить. С пяти годов читат как большой. По вечерам домином да сашками с отцом играют. Дак обыгрыват отца-то! Ну-ка? Это хто из нево вырастет?!

— Ну и слава Бох! Ему годов-ту сколь? Алькя-то ево уж не молодинька рожала.

— Дак сколь? Она ево на двадцать девятом году принесла... Вот и шштай, ей тридцать пять сравнялось вёснись. Седьмой годок ему. До чево ласковый растёт, да разумный. Всё толкуёт, пестряк! Гли-ка, я тутака то ли с переживанья, то ли нажабалась огурцов базарных — чё-то неловко мне сделалось, в брюхе закрутило, да така резота заспелась! Это бы ишшо ничаво, да пошли газы, ўдержу нету! На стол направляю, хожу креплюсь, а нет-нет да вырветца. Аля-то, сама знашь, долго терпеть не будет. Как скажет, так и припечата! «Мама, это неприлично при всех! Если ты забыла, дак я поднаўмлю — у нас в избе для этово уборна есть!» Я готова была скрозь землю провалитца. Ну-ка, при зяте сказать! А Мишенька заступилс: «Мама, ты на бабулю не ругайся! Она даром што попёрдыват, зато шаньги стряпат и пироги».

Тут уж я опять не вытерпела:

— А я тебе чё говорю? Ты хоть сколь обижайся на меня, а я скажу! Девка у тебя с душком выросла! Ну-ка, хоть раз она помогла тебе управитца? Ни вилы, ни лопату в руках не держала. Не знат, как дверь во клев отворятца. До восемнадцати годов в деревне прожила, а по хозяйству палец о палец не ударила. Репетироватца в клубе да на собранне — тут её два раз повешшати не надь.

У Варюхи видать накипело на сердце-то, рассказыват, а сама аж захлёбыватца слезами:

— Вай, Лиза, я уж её тоже стыдила. Ты, говорю, не одичала ли — парня без отца оставить хошь? Ты ково это придумала? Мне, говорю, как тебя не гадить-ту, раз у самой головы нету? У тебя мужик-от што красна девка, слова худово от нево не слыхивали. Ты, говорю, за нём как в саду живёшь. Вить не конюх, не сторож — в конторе сидит шши-товбодом! Не хухры-мухры. И в избе, говорю, всё на свете есь. Тебя, дуру, с языка не спускят, всё-то

хвалит. Уж вино бы пил да тебя гонял, ишо бы понятно было... Вся ты кругова... тьфу ты будь ты проклята, тебе ково не хватат? За геологом за своим ты едак сидеть не будешь, вот помяни моё слово! От добра добра-то умны люди не ишшут...

— Едак-едак! Эти испидишники — до чево ўшлый народ! У них вить по всему миру, в каждой дыре — по бабе! Где работат, там и подженился. Ему чё? Дуры ево обстирывают, обихаживают, кормят своим. А он отработал — ишши-свишши жениха. — Вот и я это же! Испидишник, говорю, твой на край ж...й не сядет! Живёшь вить за мужиком, што у Христа за пазухой! А она мне: — Вай, мама, да какой он мужик? Какэсь колода-колодой. На всех-то он оглядыватца, штоб худо об ём не подумали да не осудили.

Никак в резон не берёт эта баба, хоть говори хоть нет!!! Ты пошто, говорю, не слушаешь-ту? Исповадил тебя Яшка. Конее-ешно... Городской... На булгахтерских курсах отучился... К вину да к матюгам непривышной... Дефка-дефка, не жила ты, говорю, с нашими мужиками... Приходил бы через день да каждый день без сознания с работы-то... Да тебя же выгадил бы да выстрамил, а потом ишшо и отбўцкал... Не знаю, говорю, часто ли про любовь-ту думала бы? А она опять за своё: — Как хошь, а уж не возьмёт меня Степан — от Яши я всё равно уйду! Пушай хочь золотом осыплет... — Но-но... Погляжу, говорю, через месяц-другой, не побежишь ли врыссу за своим Яшей... До меня доведись — я бы побежала...

— Вишь, как городски-то? Живут дверь в дверь, а не знают ково как звать. Убьют у порогу — ништо не выйдет! Жили бы тут, да не дай Бох увидали бы, што она хвостом завиляла, живо бы пропесочили. И этово ўхаря взяли бы в стяги, да так бы понужнули — штоб забыл, как чужих баб сомущшати! — Ну-у-у — понужнули?! Мужики — Алькина-то ровня — эти бы ему рожу начистили да фуганули бы отцель. Ишь, жеребец какой нашелся, штоб ему ни дна, ни покрышки!

Чё-то сидим-сидим, а веселья нету. Всё одно да по одному. Боле не об чем поразговаривать, кроме этих испидишников, ли чё ли?

Поглядела я кругом, никакой посудыны в куте нету, куды всё распехала? Взяла малированный чайник, натцедила пива. Достала шшучью голову, поставила чашку с рыжиками. Нарушала хлеба. Разлила пиво, себе и Варюше, по большушшей люмёновой кружке. А пока шапёрлилась в куте, всё думала — не здря стары люди говорили, мол маленьки детки — маленьки бедки, а больши детки... Вот и есть, што наши-то детки скоро сами баушками будут. Хто их счас переделат?

— А давай-ка, Варюха, оставайся тут! Мы с тобой уж не в таких годах, штоб свою избу бросать, да по чужим углам гретца. Будем с тобой одним домом

жить. Не поглянетца, в свою избу уйдёшь. И к дитям лезти с советами непочеву. Она вить не дурней нас с тобой. Сами делов наделают — сами пушай и исправляют. Я-то умирать буду, ни к кому из ребят не поеду. И тебе не советую. Давай тут доживать!

Загранпаспорт

У нас счас нова забота, парень наш из Америки посулился к весне приехать, погостить. Дак опеть загвоздка — у его молодухи-то не все документы готовы, переживает, что к тому времю не успеют притти. Не знаю, говорит, вырвемся к вам ли нет.

Товды уж вы суды прилетайте опеть. Я и хватилась — пачпорт тамошной у миня обменивать нады, строк ему вышел.

Куды деватца, пошла в пачпортный, штоб до послёду не дотянуть. И всё бы ничаво — девки сидят обходительны, грамотны, всё живо обстряпали. Кабы не карточка...

— Ну вот, осталось сфотографироватца. Раздевайся, говорят, иди в кабину.

Посадила миня в каку-то капошну кабинку. Да сколь времья она мне начитывала! То туды, то суды. То прижмись, то отодвинься. То голову опусти, то подыми. Но хуже всево, што глядеть прямо нады...

А как бытто прямо-то глядеть?! Не знаю уж, што за ланпы оне тамака навешали, но до чево ярко горят, глаза открыть неможно! Не успела я устроится половчэ да глаза хоть сколь-нить расширить, она уж командует:

— Всё готово, выходи. Узнавай через месяц.

Но, думаю, слава бох, исправилась.

Прошел месяц...

Нады идти получать документ.

Поглядела в нево — чуть из рук не выпустила!..

— Ты, говорю, родима, чужой чей-от дала.

Паспортиска-то осердилась, обратно мне ево шматырнула:

— Чей чужой? Фамилья-то ваша?

Я призадумалась:

— Дак фамилья моя... А баба-то тут чья сидит?

Она одно што успорят, мол приглядись, сроду этово не было, штоб кому-то чужу карточку прилепили.

Куды деватца? Достала я очки, давай пушше глядеть.

Бровишки у миня, правду сказать, белы, а тут уж досталь — никаких нету... Глаза надико глядят. Волосья раскосматились, что у волхитки... Мамы родимы! Рот-от сколь худо ли перекосило! Ну никово моёво нету! Нос и тот чужой...

— Да нет, дефка, никак не могу себя признать. Не я это! Ково хошь говори — не я!

Тут у меня глаза пали на одёжу... Дак кофтёнка-то, однако, на мою находит, ли чё ли... Неуж вправду я?! Всё бытто думала, што я ишшо помоложе да побашше...

— Но, дефки, счас мне эту лопатину нады будет все десять годов пушше глазу берегчи. Без этой кофты меня в заграницах некто не признает, никуды не пустят.

Поохотали, с тем и ушла... Дó дому всё думала — подфартит куды съездить с новым документом, или вправду никуды не выпустят? Неуж на своёй даче отдыхать до старости придётца?

А потом меня как торкнуло! Уж не политика ли счас така пошла? А чё, у нас уж скоро работать некому будет. Русски-то, наипаче молоды, не башше грузинов да китайцев, по всему миру разбрелися. Вот оне и придумали нарочи нас на карточках уродовать! Глядишь, которово в пачпорте не признают, тово не выпустят! Я-то, конешно, на пензии давно, лешаку нужна, боле никому...

Счас сижу, на себе волосья рву! Да я сроду не думала, што вправду едак можно изуродовать человека! Два часа глаз не свожу — никак не делаюсь красивше...

Мужику пачпорт ни за што не покажу!.. Ишо приглядыватца ко мне начнёт (оборонішна мать), да увидит, што я на ету бабу с карточки находить стала... Я ково потом делатъ-ту буду? Не дай бох, уж вправду чаво заспётца в семье — в суд подам. Деньгами за ушшерб брать не буду. Отсужу, штоб кажной год в заграницы летать за шшот паспортиски, котора меня на карточку сымала!!!

Ильин день

Не увидали, как подскочил август. Опеть приипас начинатца. Рыжики с груздями да ягоды. Поехали поглядеть черемуху, мол не поспела ли где. Денёк уж до чево баской стоял, ясно да жарко. Заехали в колок, а её — черным черно! Ой, змея дала, мы счево без посудыны-то поехали? Да нашарили в багажнике кошэль, слава Бох. Черемушка-то уж самый раз — почернела, сладка. А руками ишшо не давитца, собирать ловко. Кошель-то хоть и большой, а двоём живо набрали.

Сам-от давай меня сомущшать:

— Можеть на берег заедем, искупнёмся. Нонче за всё лето ноги не намочили в реке-то...

— Так-ту чё не искупнутца... А сёдни како число-то?

— Однако второ... На работу не хожу, дак в численник не заглядываю. А тебе чё число-то?

— Да так, ничё. Счас на ум пало — сёдни вить Ильин день... Большой праздник-от... Старухи говаривали, мол Илья-пророк сёдни льдинку в воду бросил. С Ильина дня купатца большой грех.

— Ну ты и сказанула! И чё — купатца не будем? Гли-ка, жаришша стоит, кака тебе льдинка! Ты навроде нормальна, а как сказанёшь — хоть стой хоть падай!

— Чё я сказанула-то? Не веришь, дак послушай. Как счас помню...

Мы вить на реке-то шштай, што жили. Из воды всё лето не вылезали. Вся челядь там. Кто в воде плёшшетца, хто на каменях отогреёца...

Ну дак вот. Я, однако, классе в третьем училась, ли чё ли... Эдак же было, второ августа. Собрались с девками под угор бежать. Баушка ни за што не отпускат, дескать заморочало, дожжик направлятца. А нам чё, в дожжик-от вода ишшо тепле кажетца. — Я кому говорю, не пойдёшь! Не знашь, какой сёдни день-то?

— Нету никаково Ильи! Мы же пионерки, нам в школе распатрошили — всё это сказки!

— Стары люди здря не скажут! Илья-то сёдни льдинку в Ангару опустил.

— Подумашь, одна льдинка.

— А само-то главно, хто в Ильин день купатца, тово чёрт за ноги ко дну уташшит. Вот вить чё!

Хто нас отговорит?! Убежали на верхний край, спустились по сельповскому звóзу на́ берег. Нашли подходящее бревёшко, оседлали ево и поплыли на низ. Так и плыли — то на бревне, то рядом. Думали до сельсоветского звóзу доплыть, да увидели на нижнем краю самоходку. Почево и, главно, к кому там пристали? Там и пристани-то нету, от берегу далекóнька стоит, на якоре. Как не поглядеть? Поплыли дальше. Навроде и ветру шибко не было, не знаю уж, чем наше бревно подхватило, глядим — относит нас в реку. Ума-то нету, нет бы бросить бревно да поворачивать на́ берег! Опомнитца не успели, глядим, несёт как раз на эту самоходку. Тут уж мы с ума сошли, оттолкнулись от бревна, да давай к ней подгребатца. До берегу-то далёко, силёнок не хватит. На самоходке никово не видать, давай мы имáтца хто за што. Меня нанесло на цепь якорну, схватилась за неё без памяти. Валькя, гляжу, виситца на спасательном кругу. Поднятца не может, ножонки-то подмыват, утягиват книзу. Двое булькают сзаде, а Наташка почево-то поплыла кругом, видать на другу сторону. Думаю, што с этой стороны не нашла, за што прицепítца. Или уж теченем пронесло её. Чё боле-то? Ишшо не успела íзвиду скрытца, заньряла. Раз с головой ушла, два ушла... Глядим — нигде её не стало. Вай, ково делать-ту? Это вить она не с добра́! И всё молчком. Тут уж, видать, мы шибко испужались, давай реветь! А в самоходке-то люди оказались. Кака-то баба выскочила, не растерялась — нырнула, куды мы казали. Нашла нашу Наташку. Дивья, што у ней косишша большушша была, за неё и выташшила. Ишшо бы маленько — затянуло бы её под днишше. Она уж не здышала, синеть начала. Даκ повариха-то грамотна оказалась, всё сделала куды с добром, дай ей Бох здоровья! Тут ишшо два мужика выскочили, да бросилися пособлять. Уменя какэс пальцы свело, кое как от цепи оторвал мужик-от, другой Валькю с кругу снял, надава́л ей по жопе. Всех нас на́ берег переправили, Наташку откачали. Некак не помлю,

как она очутилась у Хомайков в избе, хто её туды уташшил? Да успели по тётю Марусю на свинарник сбежали... Счас в глазах стоит — Наташка-то ишшо в себя добром не пришла, лежит на койке, а мать сидит в ногах ни жива, ни мертва...

Тётя Маруся-то шибко боялась, мол отойдёт, даκ хоть бы всё ладно было. Она и вправду долго боялась одна в избе оставатца. Сколь раз вить её родимчик хватал. Ну, што ты! Вот бытто всё ничё, сидит ли стоит, потом падаг, губёнки почернеют, какэс заумира́т. А отойдёт — ничё не помнит. Наташка-то и так уж от Христа была, нигде воды не замутит. А тут и овсе задумыватца стала. Моя-то баба долго к нимя ходила, лечила её от испугу.

Вот мы выросли, из Дворца разъехалися. Унас с ней уж по ребёнку было, да угадали вместе приехать в отпуск. Как раз на троицу. Заходит она по меня, а я ребячье выполоскала да развешиваю в ограде. Ругать она меня не ругала, а всё же не утерпела:

— Здря ты сёдни грязнó-то работу делаешь. Я даκ по празникам не стираюсь.

Я íздива вышла, ты чё, говорю, не одичала ли? Ты вить учительша. Физике челядят учишь. Ну-ка, спомни-ка, как старух-ту в концертах продёргивали?!

— Даκ дура была! Я не из-за себя боюсь. Представляшь, я сделаю чё-то, а это не на меня, а на ребёнка чем-нить повлият...

— Баба говорит, што Бох только лентяев не любит, а работать не грех!

— Ну не знаю... Да никто не проверял, есть там кто-то или никово нету... А береженого Бох бережет...

Вот и я счас уж запуталась — то ли есть, то ли нет? Самой проверять не охота. А слив на внучатах отразитца? Боязно как-то...

Счастливая старость

Пашка крестом лежал на кровати и крыл сватовьёв на чём свет стоит:

— ...Навязались на мою голову! Штоб вся ваша родова до седьмово колена понóсом изошла!

Жа́ба в рот мужику! Всё утро не затыкátца, распóчило бы тебя от вина-то!..

Но Наде слова никто не давал. Она молчкóм прибрала молоко, перемила посудёнку, подмела в избе. Хоть на край света беги — ишь бы не слышать этово гнусíну.

Поглядела в окошко — на своей лавочке сидела Настасья. Вышла к ней:

— Здорова живёшь, тётушка!

— Да ничаво... шапёрюся тихóнькю... Вы ково подёльваете?

— Осенью работы хватат. Присесь нековды.

— Картошки-то ишо не рыли?

— Даκ роём с краю-то... Она нонче выбухали какэс с ребячью голову — как гнездо, так ведро! Вечóр

кулí спускала в пополье да запястье наджабила. Сёдни никово в руку взять не могу. Не знаю, хто докапывать будет...

— Мужика гонí в огород, зима-то дóлга. Ково ись будет — он не шибко тебе припасат...

— То и есь... Припаситель... Хотела сёдни порáne на Ёрму съездить по рыжики, дак сам-от опеть в худых душах. Вчерась обжабался, счас лежит, орокат. Боле-то приставлятца, стыдно роже-то... Не сёдни-завтре утренники ударят, рыжики околеют. Опеть без соленины останемся...

— То я гляжу, бытто глаза у тебя невесёлы. Думаю, может померёшилось мне...

— Зápил опеть... Неделю не просыхат... А пьянай, сама знашь он какой... Вечóр сватовья пришли в баню. Мы-то в первой жар сходили. Я ужну направила, всё чин-чинарём. Докуль те из бани вышли — мой уж чуть тёпленький! Ковды успел?! Сяли за стол, вот он буровит и буровит, всяку всéчину собирает... Сват ишо с ним выпить отказался, он и вызверился! Расстырили вить, маленька до кулаков дело не дошло...

Я со стыда было сторела, а ему хоть бы хны! Утром соскочил, да как ни в чём не бывало побежал к нимя опохмелятца! До чево хитёр — приставился, бытто никово не помлит... А сватя, не будь дурой, не то што в избу — в ворóта ево не пустила... Прибежал домой, што ошпареный! В четверти стояли ишо одёнки пива — всё выхлебал... Вот и хожу по ограде, задёлле ишшу... Драгца-то он не дерётца... Дак вить это бóгало языком мелет — слушать гáдко! — Дак пошли ко мне. Отдохни. Чаю согрем да поразговаривам. Мне от ребят третьёводни посылка пришла. Всё ругаюсь, почево отправляют? Шмутья своёво хватат, мне уж вного ли нады? Всё есь. Дак оне заместо лóпати пóлон яшшик сластéй наклали... Федя-то приписал, мол зови Надю, чайку попить. Всё веселе, чем одной сидеть. — Гляжу на тебя, тётка Настасья, маленне с ёкими-то дитяи. И не пьют, и работяшши (дай Бог здоровья), и тебя не забывают — даром што далёко живут. Дивья тебе, как сыр в масле катáтся.

— Дак оне счево помогать-ту не будут? Больши уж были, как без отца-то остались. Видели, што мне спать нековды было, всё копейку зарабатывала. Вот и жалеют меня...

— Да не все эки... Далёко не все... Эвон, Таня с Аграфеной тоже своих девок без мужиков рóстили... А счас по всему лету выглядывают — не ихны ли с пристани идут? Может хочь ребят на лето привезут суды... Не-е-ет... По морям не забывают кататца, а к матерям дороги нету...

Настасья оправила косынку, согласно покачала головой:

— Дак, родима, докуль оне все на глазах — об этим вить не думаешь... Мне уж грех плакать, не забывают. Дак и то думаю, переехал бы хто ко мне, куды бы лучше-то? Оне вить скрость с собой

звуют — поехали, да поехали. Я уж всяко передумала.

— Так-то так. А всё ж даки, дай нам Бох всем таку старось, как у тебя. Да тако уваженне от сыновьёв

Сдаём пушнину

Сёдни сдаём пушнину. Мужиков в заготконторе битком набилось. Все в уме подшшитывают, хто сколь получит. Прикидывают, как ловчэ у бабы выманить на новы лыжи, а хто и на ружьишко замэхиватца... И купить охота и штоб не убытошно было.

Хоть како переживáнне, а в сельпо посылново снарядить не забыли. Хто первый деньжонки получил, тот и побежал. Бежать недалёко... А добычу не обмыть — грех...

Охотники хто сидит, хто стоит. Переговариваютца. В одном углу спорят, а в другом уж стырить взялись. Даром, што горло промочить не успели, а ревут бытто встёлку напились.

Спорили недолго — сошлись на том, што нóнешна осень хуже прошлогодной.

Толя Зая, приёмшик, посмеиватца:

— Сколь годов слушаю ваши разговоры — ни разу нонешным годом не похвастались! Всё-то у вас осень даром прошла! Где на сдачу-то берёте?

— Дак мы счево врать-то будем? Ково хошь спроси — в прошлом гóде куды лучше добыли. Белка-то какэсь хóдом шла. Не успевали оснимывать.

— А ты чё сравнивашь? В прошлом годе на шишку урожай был. Раз корму навалом, вот и белки и птицы полно. Наипáче пальников.

— Не бай, я одних белок сдал боле двух сотен. Дак это ишо Вера оставила сколь-то нам с ребятами на шапки. А себоды — кака охота?!

— Да-а-а, товариш, эти годá соболя-то стало много мéне. Кое-как наскрёб, штоб хоть оправдátца. Однако на правьянт да на харчí бóле издержáлся. — Не ты один, все жалуютца — в лесу-то голó, дúху никово нету! Так пойдёт, дак нéпочево и охотитца будет...

Андрей не выдюжил, поддел:

— Тебе, сват, грех плакать — все видали, сколь на сдачу прибурóвил. Одних соболей пóлон куль.

— Не знай уж ково вы увидали... Шибко-то завидовать нéчему. Белка нонче вся сполóдимо с пóдпалью. Соболишки невыходны. Добрых-то штуки четыре однако, а эти — ништо ничево. Хорошо, если с половины схóдны будут. На меня-то чё оглядыватца? Эвон Иван с Костей побóле при-ташшили, чё-то не хвастаютца...

Иван сразу оширшивел:

— А ты, паря, на чужо-то не зарься. Тоже пúтново мало. За еку пушнину хорошу цену ништо не дас. Так што наравнэ будем получать...

Встрял Николай — лентяй и трепло:

— Ну-у-у! Я бы ёстоль-то добыл, счас бы вам бутылку выставил. С такой добычей можно жить!

— Кольша, ты с добрыми-то не равняйся, ага,— все знам, какой из тебя охотник! Ты из зимовья-то, ага, только опр́авитца выходишь. Тебе вить на лыжи стать нёковды, ага! В ночь-полно́чь рацию включаю— ты уж там сидишь, ага, анекдоты травишь! Пушнина, паря, сама не придёт... За ней, ага, побегать нады!

Тут в углу у дверей захохотали. Все потянулись послушать— над чем?

Платонович сидит в самом углу, сб́уриват на Михаила.

А маленько погода вместе со всима покаты-ватся со́ смеху:

— В прошлом годе отгуляли мы тут. Я с уст́атку придремну́л, не слышал, как разошлись. Навр́оде показалось, быгто под столом собака шараб́оритца. Гляжу, Кобыча выполза́т! Видать ишо хл́ешше меня нализался. Ты ково, говорю, там ползаешь? Он мне отвечат, да так сурьёзно:

— Пробки от красново вина собираю.

— Оне тебе почево? Не лешака ли с нимя делать-то? На ёлку вешать?

— А ты не знашь? Капканья наживлять буду.

— Не заливай! Сроду не слыхивал, штоб их пробками наживляли...

— А ты где услышишь? Я ланись вычитал в журнале, сам нонче только опровердал. Не поверишь, еди́ново капкана простово не было! Пробки-то пропитались вином, дак соболь на них валом валит! Возьми эвот на пробу, я счас насобирал.

Я шибко-то не поверил. А потом стал задумы-ватца. Михаил без добычи из лесу не выходит. Пушнины сдаёт порядошно... Опеть же охотничий журнал из году в год выписыват. Там вить ково ни напишут?! Можеть и вправду вычитал...

С другой стороны поглядеть, пробка— это тебе не рыба. Один раз наживи́л— и на всю зиму хватит. Ходи потом— собирай соболей! Подживлять не нады...

Всюё зиму пробки собирал! Чёлядь настропои́л, где увидят— сразу в карман. Павловна и та штук пять притащи́ла.

Всё же наживил я капканья. Дивья— пробочки из карману доставай да поддевай! Это тебе не с крохой таска́тца! Спасибо Мишке!

Сам себе загадал— выдьюжу неделю на пу́тик не заглядывать— буду с добычей... Который день невтерпёж, осáживаю себя, мол пушай поболе попадёт, штоб здря не бегать. Уж шибко хорошо

пойдёт дело с пробками, дак почево с ружьём-то бегать?! Я вить тоже не молодёю, всё лишный день отдохну...

Время идёт. С собакой загнал с десяток соболишек. Ходил влего́точку, не надсажа́лся. Думаю— вдруг в капканья напонада́т пробасть, как со всеми́-то идти сдавать? Завидовать будут— не без этово... Придётся всем рассказывать об пробках. На другой год, тово и гляди, соболей на всех охотников не хватит...

На восьмой день всё же пошёл проверять. А к капканьям— хоть бы один след! Хоть бы нарошно!..

Чё делать? Давай другой раз ходить, да накроху раскладывать... Ох уж я ево и погадил! Столь время провёл! Хорошо, што он далёко охотитца, а то бы взял грех на́ душу...

Подошел Хомай, Кобычин зять:

— С моим тестем, паря, не стоскнёшься...

— Но-ка, но-ка расскажи, ково он опеть отчубучил?

— Дак чё? Прихожу к нему в избушку, гляжу— кругом соболя сушатца. Уокошка ишо кака-то шкура натянута. Сыздале́-то бытто на песка нахóдит. Он ево де взял? Спрашиваю:

— Ты не шшенка́ ли застрелил? Уокошка-то ково сушишь?

— Сობоль.

— Я чё, соболей не видал? Этот с хорошево песка ростом-ту...

— Ну и чё што с песка? Така порóда...

Дóбыл я огонь, давай пу́шше глядеть. Оно хто чево?! И шерсь и мордочка навр́оде соболины. Дак это што за соболь за такой? Ушей не видать, одне дырки... И лапок-то шшитай нисколь нету, какэсь ка́пошны. Как на еких ходить— он чё, на брюхе ползал?

Оно это што за дикóвина? Расцветкой-ту точно как соболь... Лешай знат, што за зверёк...

Я разглядываю, а тесь как ни в чём не бывало поха́живат— управлятца, собак кормит.

Как я добром-ту разглядел— ухотóтался, думал учиша́юсь! Это вить нады было дод́уматца— соболя натянул на большо пяло! Как уж он ево растягивал— не знаю... И уши и лапы— всё утянуто. Дак шкура-то скрось просвечивала, не то што чево! Диву даюсь— как не порвалась?

Это вить нады— соболя не пожалел. Вот уж любитель пошпанить!..

Сергей Арутюнов

Взыскание простоты

Крупин В. Л. «Возвращение родника» и другие рассказы.—
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.—592 с., ил.

Литература, отрѣкшаяся от учительства, главным жанром которого является притча, перестаёт быть русской.

«Увы» или «ура», но главным национальным вектором любого писания у нас выступает «урок, извлечѣнный из прочитанного», и ни в коем случае не краткий, но изрядно протяжѣнный во времени, замирающий искрой в подсознании, может быть, надолго, а приходящий на память в критические моменты.

По точно тому же принципу отбирается и наша классика—или она «бомба замедленного действия» во имя спасения каждого услышавшего её, или ничтожная, праздная и невесомая шутиха «стиля», на миг всколыхнувшая застывающий морозный воздух («смотря какая Бабель»)..

Владимир Крупин, долго отдававший дань детской литературе, вряд ли теперь избавится от её подспудного влияния: фраза его проста и если стремится, то к ещё большей, почти журналистско-очерковой, простоте. Рассказчик, открыватель истин простых и вечных, поневоле становится вещим Иванушкой, взыскующим правды, и ничего, кроме неё. Русская же правда может быть, конечно же, мудрёной, но—к чему?

Потому, наверно, круг молодых читателей Крупина (а такие более чем есть, судя по работам Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелёва) определяется теми, кто ещё причастен традиции вдумчивого и неторопливого чтения и не привык пропускать, как часто бывает в юности, «описаний природы», но внимать автору строка за строкой. Другим в крупинских притчах, по крайней мере, пока—не бывать...

Перед нами—язык последнего поколения, пережившего войну, послевоенную нищету и возрождение уже не прежнего, но сегодняшнего странного цивилизационного уклада, в котором чувствуется привкус искусственности, неокончателности, потому что главную скрипку в образовании его сыграла спешная и вынужденная урбанизация.

Жертвы его, понукаемые срываться с родимых мест, поступать в институты и вести после

них городское неприкаянное существование, люди, родившиеся в деревне и прожившие в ней начальные годы, будут грезить о ней до самого конца, стремиться принести ей, разрушенной, почти выкорчеванной, пользу и словом, и делом. Они едут на родные пепелища, чтобы отрывать родники, ставить часовни, ходить крестными ходами, прививать внукам и правнукам чувство благоговения пред живительной свободой, которой город лишает каждого своего члена улья с почти откровенным сладострастием.

Как страшен этот слом надвое и какие иллюзии он создаёт в сердце, ясно из ужасающих слов брата рассказчика, прожившего, в отличие от него, в деревне безвыездно: «Не жили хорошо, нечего и начинать»—сколько в них боли, сарказма, переворачивающего истинное отношение к вещам, почувствует лишь тот, кто знает натуру деревенских жителей, которых, по размеру и тяжести бедствий в двадцатом веке, можно сравнить лишь с американскими индейцами.

Жутко сказать: рассказы о прежнем ладе порой воспринимаются как чистая этнография! То есть книга Крупина может в каких-нибудь искажѣнных координатах рассматриваться как уникальное свидетельство о родовом быте племѣн аборигенов. Как же вышло так, что русской, пусть уже советской, жизни нынешнее поколение не знает, а зачастую и откровенно побаивается её? Что нужно было учинить над 90% крестьянской России для того, чтобы она стала настоящей Terra Incognita? Насколько сотрясти основания национального бытия?

Погрузить в атмосферу «старой Руси» призвана зарисовка «У отца, у матери». Приѣм «заныривания» в бытовую речь повторится затем в «Московском дворике» (архетипические рассуждения стариков, любящих выпить, бессильных остановить грядущую цивилизационную катастрофу) и в «С наступающим!», где лишь к концу выясняется, что пропитанные пошлостью монологи героя-пьяницы даны ему свыше во избежание окончательного безумия. Приставучий, как гнус, насквозь большой и ничем не унимаемый, он воевал в Афганистане...

Наконец, главный исповедуемый грех—в рассказе «У бездны на краю»: молодой солдат почти поддаётся уговору сослуживца «убрать» (физически) соперника—мужа библиотечарши, в которую тот влюблён. Убийство не совершается, но ощущение падения приближается к самому лицу и обдаёт могильным холодом ещё долго.

Семь разделов «Возвращения родника» и других рассказов—школа Соборности, познания Руси такой, какой она была на протяжении последних восьми десятилетий, и не только—автор презирает этот термин—«малой родины» писателя, Вятской Земли, но и московской, и Святой, и Японии, в которой он улавливает такое очарование, что обращается к белым стихам.

Уже в первом разделе книги резко прочерчено противопоставление собственных лучистых детских воспоминаний, исключительно наедине с природой и людьми с бытием сегодняшних компьютеризованных детей. «Те, да не те» извечные Добро и Зло в них, точнее, генезис их образования, и технотронный, и навязанный извне залихватскими авторами и бойкими продавцами «страшилок-бродилок-стрелялок».

Так, рассказ «Доставка пиццы», в которой дед никак не может объяснить внукам, то что их фильм о немотивированном убийстве плох, противопоставлен зарисовке «Баня горит», где целомудренная деревенская девушка отказывается покинуть горящую баню до тех пор, пока её парень не приносит ей одежды—прикрыть наготу...

Возможно, прожив большую часть жизни, легко быть «консерватором», ратуя за «естественность» условий рождения-вырастания-взросления, но сто раз правомочно задать вопрос современности—а так ли она уверена, что своей непрестанной заботой о комфорте подрастающего поколения не уродует его, не прививает ему диких ценностных шкал, грозящих её носителям сокрушительной духовной нищетой?

Однако гораздо дольше обсуждения очевидностей занимает фигура рассказчика, собирающая вокруг себя весь неверный, подрагивающий в воздухе повествования фокус. Ещё не утраченным—слава Богу!—инстинктом, звериным чутьём чуешь: основное богатство—здесь. Важная деталь: начинал Крупин как поэт, но—вот след глубокой внутренней трагедии—пришёл к прозе как наименее вредоносному для страны занятию, и такой выбор сделали многие, включая Гоголя... запретив себе возможность беззаботного щебетания и обрета другой, более басовитый тембр.

Личность Крушина, особенно судя по здешней же речи на Русском Соборе, взыскующая, пристрастная. После таких речей становятся врагами «западной цивилизации» с её убийственными завабами навсегда, а он был таковым много раньше.

Лично нас, студентов Литинститута, его именем пугала обильная (богатая и скорая на обобщения) либеральная пресса ещё больше четверти века назад.

Чем же не пришёлся он ей по нраву? Удачными рассказами, один из которых, «Янки, гоу хоум», представлен в «Возвращении родника...». В чём же состояло «преступление» Крушина? В покушении, конечно, на основы «добрососедских» отношений, установившихся тогда меж Россией и США, а на деле являвшихся беззащитным и вполне большевистским, по сути, грабежом ресурсов и материальных, и духовных. В начале 1990-х гг. писатель задал всего один вопрос—милые заокеанцы, а не хватит ли вмешиваться в наш образ жизни?—и этого было достаточно, чтобы его совершенно натуральному вопросу (не требованию!) ужасались так, что пугали им детей.

Совершенно другую линию прочерчивают рассказы «Колокольчик» и «Сталинская дача»: ещё советский, выморочный писательский быт, его раздутая тогда и приниженная сейчас значимость накладываются друг на друга и вместе обрисовывают картину крушения советской цивилизации, попытавшейся, но так и не смогшей зачеркнуть ценностей небесных. Подсвечивает апокалиптическую композицию репортаж «Новорусская премия», где (жаль, без конкретной фамилии!) описан «меценат» (на деле—вор и обманщик), ради минимизации своих налогов публично присуждающий, а затем тихо зажимающий писателю литературную премию. Финальная точка в развенчании отгулявшего над нами века—хроника «Было дело под Полтавой!»—помпезного празднования 300-летия Полтавской баталии, искажающего историческую правду в угоду... побеждённым Петром шведам и особенно украинцам, деяния которых сейчас кроваво выпирают за грань не только «общечеловеческих ценностей», но и вообще всего человеческого.

А самым загадочным рассказом в книге мерцает «Чистый нож»—то ли прообраз меча-кладенца, доставшегося по неразумию природных сил не тому, кому надо, то ли символ страстей человеческих, оружие абсолютной мощи и абсолютного же убийства, участь которого—гробовое (вечное ли?) сокрытие с владельцем, уже не могущим его отвергнуть или передарить.

...Неловко, немыслимо рассуждать о том, что подано тебе на открытой ладони. Не бьют по ней ни стариков, ни детей, ни юродствующих—никого из тех, кто принёс в мир пусть порой заскорузлую и посконную, но—правду осмысления русской жизни через себя и людей, встреченных на пути за почти восемь десятилетий. С другой стороны, как не юродствовать, когда нас—всех!—изуродовали? Какой может быть русская литература

после лишения целого народа Веры, видно и без увеличительных приборов.

«Возвращение родника», именем которого названа книга, как бы выразился радикально почвеннический книжник, «духоподъём»: неспешен темп повествования, высока цель — заново отрыть в селе Троицком и очистить от соседства с болотом из земли родник, иссохший после убийства красными комиссарами местного батюшки. Как по волшебству, у писателя, его брата и внука — получается, и торжествует великая радость.

Не случайно венчает сборник торжественная повесть «Великорецкие крестоходцы» — эпос причастия Общему Бытию в Боге при использовании

того же приёма «ныряния» в бытовую речь участников Великорецкого крестного хода — действия, длящегося неделю при участии десятков тысяч человек. Русский Марафон — похлеще классического греческого, тем более что никто здесь никуда не спешит. Как и юношеская армия писателя, Ход — Великий Уравнитель, пространство и вне обыденности, и полное ею, ответ на извечный вопрос о Русской Тайне, где случится с паломником может всё, что угодно, лишь бы душа открывалась и открывалась Господнему Чуду.

Владея такими алмазами, Владимир Крупин в полном праве может рассчитывать не только на прозорливых цеховых критиков, но и на сотни тысяч будущих благодарных чтецов.

ДиН РЕВЮ



Дарья Герасимова

У меня живёт дракон

Москва: «Водолей», 2018

Вулканный зверь

Тот, кто не любит
Каши манной,
Не съест её в один присест...

... Живёт в вулкане
Зверь Вулканный,
Среди далёких, диких мест.

Размером зверь тот
С пеликана,
Но полосатее, чем кот.
Копает он внутри вулкана
Один огромный, чёрный ход.

Он глохнет камень запечённый,
Как ты — ватрушку с молоком,
И не известен он учёным,
И звероловам незнаком.

Не ест он сливы и картошку
Среди камней и огня...

... Так съешь за зверя
Каши ложку,
За маму,
Папу
И меня!

Осеннее утро

Рыжий дворник
у ворот
притворяется сердитым.
Магазин,
что на углу,
притворяется открытым.
На скамейке
серый кот
притворяется не спящим,
А прохожий
по делам
притворяется спешащим.
Притворяется забор,
что он что-то охраняет,
А промокший старый двор,
будто он с листвой летает.
Я иду, себя бужу,
но никак не просыпаюсь,
то ли в школу я спешу,
то ли тоже —
притворяюсь.

Александр Орлов

А я боюсь покоя своего...

Перед сном я читал стихи Василия Ивановича Белова, а утром, и на работе всё думал о них, о поколении детей войны, а потом настало время контрольной работы по истории. Позже я проверял работы учеников и оказалось, что все не смогли ответить на задание, которое звучало так: В истории существует значительное число устойчивых фраз и выражений. Укажите, какое событие или явление обозначает каждое из приведённых выражений, и объясните, почему данное событие или явление получило такое название. Самым не узнанным оказалось название статьи Сталина 1929 года «Год великого перелома», которая была написана к XII годовщине Октября. После работы я поехал в Переделкино к семейству Костровых, с которым был дружен уже много лет, а в голове всё крутилось название статьи отца народов. Всплывали строки Пастернака и Вергинского, посвящённые отцу народов. Уже вскоре мы пили чай и долго разговаривали с Костровыми. Я завёл разговор о стихах Белова на что Владимир Андреевич Костров мне ответил: «Мы с Василием Ивановичем вместе работали над редакцией романа „Год великого перелома“ перед публикацией в журнале „Новый мир“, и в это время он прислал мне книгу своих стихов и написал: „Не знаю, что получается, но никому не хочу верить, а верю только тебе, скажи, что это такое“. Прошло время, и Белов позвонил мне, и я ему ответил: „Василий Иванович, ваши стихи не надо редактировать. Это стихи простодушные, что очень любил Пушкин, и они могут оказаться интересны. Нет никакой ни интеллектуальной, ни чувственной зашоренности“».

Дома я вновь читал стихи Василия Ивановича и вспоминал строки из романа «Год великого перелома»: «но Сталин редко замечал несобственные обиды...». Куда было «шашлычнику» или «семинаристу», как называли вождя народов троцкисты, замечать обиды народа, последствия этих обид, многолетнюю горечь, которая ещё успеет перерасти в вековую безутешность. Этот кровавый рубец на сердце русского народа впитался в сознание, исходящая от него боль передаётся на генетическом уровне, не даёт спокойно спать, запрещает врать самому себе, заставляет быть, а не казаться.

Пожалей меня, пощади,
С грозовой не своди дороги,
Чтоб горел и горел в груди
Неуёмный огонь тревоги.
Слишком мало в запасе дней,
Слишком многое сделать надо.
Пощади меня, пожалей,
Не считай тишину наградой.
Так бы жить вот, чтобы ни дня
Без ветров ошалелых, резких.
Пострашнее меча и огня
Абажуры да занавески...
Если ж я—что всего страшней—
Поверну с грозовой дороги,
Не щади тогда, не жалеи,
Разожги мне огонь тревоги.
(1960)

Я читаю стихи Белова и вспоминаю своего деда Александра Павловича Орлова. Седого, голубоглазого, кряжистого, с могучими плечами, большими кулаками, настоящего русского человека, смолянина, сына врага народа. Вспоминаю его сильным и грустным, смотрящим в окно и ответившим мне, десятилетнему, на вопрос «Кто такой Сталин?» коротко и непривычно зло: «Это такая сволочь, Саша!» Сразу на ум приходят строки из великого беловского романа: «Прошлогодня поездка в Сибирь ещё раз убедила его в том, что Троцкий по отношению к крестьянству был абсолютно прав. Эти мешки с дерьмом действительно не годятся даже на баррикады. Мировая революция выдохнется и растворится в инертной мужицкой массе». Эти «мешки с дерьмом», эта «инертная масса» вынесла всё!

Это великое поколение фронтовиков, сидельцев и их детей учило нас не просто жить, а выживать, и так научить сегодня может только Господь Бог, но из землян более никто и никогда. Как быстро разменивали судьбы миллионов, но как величественно терпение русского народа, он весел и непобедим в своей беде и нищете, и это говорит наша история, очевидцем и летописцем которой был Василий Иванович Белов.

Традиционалист Белов не хваток, не впадает в радикальное безумие, в чёрствое неприятие, он искренне жалеет поклонников и поклонниц

эволюционного эпатажа, любителей Миллера, Гудмана, Эллингтогна, Пресли... Но разве сегодня мы не с отвращением смотрим на показные выкрутасы маменькиных сынков? Разве не с уважением относимся к людям целеустремлённым, выстроившим свой мировоззренческий фундамент?

Юность

Нас жизнь повстречала
 Не воплями джаза,
 Не запахом вин,
 Не трясушкой фокстрота.
 Вложила упрямство
 В сердца до отказа,
 Спецовку дала
 И послала работать.
 Зажаты мозоли
 Мальчишеской горстью,
 Защиты штанины
 И рукавицы.
 Мы встретили зиму—
 Холодную гостью—
 Жарищей в крови,
 Пузырями на лицах.
 Мы спали в палатках
 Совсем не для форса!
 А утром вставая
 С промёрзших постелей,
 Кляли холода
 И работников ОРСа
 И шли в заваруху
 Таёжных метелей.
 Тропинка с комочком
 Замёрзшей синицы.
 Дымится пурга
 Над верхушками елей,
 А где-то, а кто-то
 Под ручку с девицей
 Вразвалку бродил
 По зелёным аллеям.
 Нет, думали мы
 О таких без обиды.
 Балбесы и девицы
 Розовой масти,
 Мамашины детки
 Стиляжного вида
 Не портили наше
 Громадное счастье!
 Дымились костры,
 Котлованы зияли,
 Гремели цепями
 Бетономешалки,
 И тех, кто не нюхал
 Цемент и стали,
 Нам попросту было
 Немножечко жалко.
 Чернели глазницы

Оконных проёмов,
 Росли корпуса,
 Кирпичами краснели.
 А тех, что сидели
 Безвыездно дома,
 Мы попросту
 Искренне очень жалели.
 (1959)

Белов в поэзии и прозе показывает, как человеку на первый взгляд в нечеловеческих условиях не превратиться в животное. Это так легко и так тяжело. Каждый из нас инстинктивно и рефлекторно направлен на самосохранение, именно поэтому мы выбираем социальные роли, моделируем поведение, стараемся предугадать ход действий, предвидеть последствия. И такая действенная неповторимость ведёт каждого. Как часто герои Белова выявляют двойственную натуру человека, но всё это в прозе, а стихи? Стихи представляют нам коренную и многовековую боль народа, который умеет и любить, и прощать. Народа, разделённого на палачей и жертв. Если вдуматься, безусловно, только русский человек будет пить густой лагерный чай со вкусом, воспринимать его как что-то особенное, потаённое, как возможность прикоснуться к великим бедам, стать братом истинным страдальцам, врагом всемогущих подлецов. И в этот момент, когда жгучий настой будет согревать его дух, душу и тело, он становится блажен, от тепла, оттого что становится сопричастен к горестям, и ему хорошо, ведь он частица великого народа, испытавшего, казалось бы, уже всё что только можно, но нет, внутренний голос нашептывает нам: всё ещё только предстоит. И мы ждём! Чего? Сами не знаем, но ждём, ибо есть на наше ожидание высшее суждение.

Новогодняя песня

Анатолию Заболоцкому

Когда вокруг ни друга, ни врага,
 когда толпа знамёнами полощет, —
 на горький дым родного очага
 я каждый раз иду как бы на ощупь.

В лесном краю никто меня не ждёт,
 кольцом ворот побрякаю для вида...
 В моём окошке тает синий лёд,
 а в сердце тает горькая обида.

Клубится в небо белый-белый дым.
 Едва умоюсь снегом белым-белым,
 я становлюсь как прежде молодым,
 я становлюсь удачливым и смелым.

И в этот час печная головня
 дороже мне, чем телефонный вызов.
 Пускай друзья пируют без меня,
 пусть не меня дурачит телевизор.

Перед огнём родного очага
я голубую полночь повстречаю
и в тишине за друга и врага
налью густого лагерного чаю.
(1985)

Белов был чист и обманут, как был обманут каждый человек, родившийся и живший в Советском Союзе, и причина этого обмана — наша вера. Такова наша национальная особенность. Мы, идеалисты и романтики, умеем верить, и этим пользуются все и всегда. Поэтому Белов пишет в стихах тепло о Ленине и Брежневе... но разве он был такой один?

Встреча

Берedit мне сердце встреча эта.
Я тогда увидел Ильича,
Не в богатой раме из багета,
Не в густых сполохах кумача.
Не сверкали радужные люстры,
Не играли марши на трубе,
Было тихо, холодно и пусто
В деревенской рубленой избе.
Не забуду вырезочку эту
Из простой газетной полосы.
Примостившись краешком к портрету,
Тихо, тихо тикали часы.
Тикали ритмично, осторожно,
Словно потакая тишине.
Был приклеен, видимо, картошкой,
Тот портрет к бревенчатой стене.
Тишина была больше раны,
Тишина такая — хоть кричи.
Жили в доме только тараканы
Да большая бабка на печи.
Мне в глаза смотрел Ильич с укором,
Не прощал ни капельки вины,
И дымил я горьким беломором
В тишине убогой старины.
...Мы и эту хворость одали,
На своём же вынесли горбе,
Вновь качают бабки колыбели
Чуть не в каждом доме и избе,
Подспели новые события,
Тишина которым нипочём.
Всё равно до смерти не забыть мне
Ту избу и встречу с Ильичом.
(1961)

Помню, как мама встретила меня из школы, и это было удивительно, так как я перемещался самостоятельно, взяла за руку и сказала: Умер Брежнев.

Я сразу ответил: «Так говорить нельзя. Он не умер».

Мама настаивала на своём: Нет умер, взял и умер. Продолжила она, заулыбавшись моему неверию. Мы пришли домой. Бабушка подтвердила мне смерть генерального секретаря КПСС, но этого

оказалось мало, и я позвонил папиной маме, она тоже удостоверила меня в происшедшем. Я позвал дедушку к телефону, так как женщинам я не поверил, и только слова деда заставили меня принять смерть Брежнева. Мне было семь лет. Я учился в первом классе.

Время меняло всё, менялись вожди, вспоминаю, как в год новомирской публикации романа Белова «Год великого перелома», когда с экранов телевизоров, на радио, в газетах и журналах не престанно разоблачали высших должностных лиц Советского государства, будучи в гостях у деда, я спросил: «А ты не хотел бы сдать свой партийный билет?» В ответ я поймал суровый взгляд и сквозь зубы он ответил: «Я нет! За эту страну я воевал, я восстанавливал её после войны, я честно трудился, а те, кто крали, вот пусть и сдают».

На родине моей
Сегодня листопад.
Октябрь стрижёт
Лесную шевелюру.
В пустых полях,
За древними домами
Усатой рысью
Ходит тишина,
И только слышно,
Как в стальное небо
Вбивает осень
Журавлиный клин,
Да тракторный
Усталый рокоток
В последний раз
Дробится над землёй.
Не жди меня,
Весёлая страна,
Тебе нужна
Твоя пора покоя,
Укутывайся
Снежной телогрейкой,
Дыши глубоко
Свежими ветрами,
Пусть отдохнут
От летней канители
Родимые ложбины и бугры.
А я боюсь покоя своего,
Как раз уснёшь
И больше не проснёшься —
Спокойствие души
Необратимо...
(1965)

Мы жили и живём в весёлой стране! Стране, где национальная черта воспринимать боль как ниспосланное свыше приводит к мученическому подвигу, счастливому ожиданию высшего света, словно каждый из нас знает слова блаженного Максима Московского Христа ради юродивого чудотворца: «Хоть люта зима, но сладок рай».

стр.
81

Алейников Владимир Дмитриевич
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. При советской власти на родине не издавался. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член пен-клуба.

стр.
168

Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр.
188

Арутюнов Сергей Сергеевич
Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий — «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии»,

«НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (дважды, 2010, 2012), ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр.
85

Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.

стр.
20

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил Пермский государственный университет имени А. М. Горького. В конце 80—начале 90-х его стихи публикуются в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989), куда прибыли авторы отечественного подполья, удостоен Гран-при и титула «Махатма российских поэтов». В 1991-м принят в Союз российских писателей, в том числе по устной

рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил рубрики «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы» — в издательстве «Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!» — в Пермском книжном издательстве. В 2005 году за «утверждение идеалов великой русской литературы» творцы Великих Лук награждают Юрия орденom-знаком Велимира «Крест поэта». Третья книга «Не такой» выходит в 2007 году в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отмечена всероссийской литературной премией имени Павла Бажова. В 2013 году увидела свет четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», получившая две престижных награды — премию имени Алексея Решетова и всероссийскую общенациональную премию «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. Входит в редколлегии двух отечественных журналов: «Дети Ра» и «День и ночь». Член Русского пен-центра и Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. Награждён орденом общественного признания Достоевского I степени.

стр.
87

Брагин Никита Юрьевич
Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический факультет Московского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Геологического института РАН, эксперт ВАК, автор многочисленных научных работ. Преподаёт в Российском государственном геологоразведочном университете (Москва). Автор сборников и книг стихов: «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, потоки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» (2010). Публиковался в альманахах и сборниках по итогам различных поэтических конкурсов, журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», «Чайка», «Литературный меридиан», «Невский альманах», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России.

стр.
110

Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах.

Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр.
4

Васильева Лариса Николаевна
Москва, 1935–2018

Поэт, писатель, драматург. Родилась в Харькове в семье инженера Николая Алексеевича Кучеренко, одного из создателей серии танков БТ и Т-34. В 1958 году окончила филологический факультет мгу. Начала писать с детства, одно стихотворение было опубликовано в газете «Пионерская правда». Первые «взрослые» стихи Ларисы Васильевой увидели свет в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Москва». Печатается с 1957 года. Автор более двадцати поэтических сборников и поэм. В 1983 году вышла в свет «Книга об отце» — роман-воспоминание об отце, результат упорных поисков и многочисленных встреч с ветеранами — танкостроителями и танкистами. На основе материалов, присланных читателями, Ларисой Васильевой был создан домашний музей «История тридцатьчетвёрки», который 2 мая 1985 года принял первых посетителей. Лариса Васильева также автор многих мемуарных, публицистических и литературно-критических работ. В 1993 году вышла документальная книга «Кремлёвские жёны» с основанными на личных впечатлениях или беседах с очевидцами рассказах о Н. К. Крупской, П. С. Жемчужиной, Н. П. Хрущёвой, В. П. Брежневой, Р. М. Горбачёвой и других женщинах, которым выпала доля быть жёнами «вождей» советского народа. В художественно-публицистическом исследовании «Дети Кремля» (1997) останавливается на судьбе детей Л. Б. Каменева, И. В. Сталина, С. М. Будённого, Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущёва и др. Произведения Ларисы Васильевой переведены на несколько иностранных языков (в том числе на английский). Лауреат нескольких литературных премий. С 1996 года — профессор Ноттингенского университета (Великобритания), академик Академии российской словесности. Умерла 27 февраля 2018 года.

стр.
118

Веселовский (Алексеев)
Павел Анатольевич
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Писатель-прозаик, фантаст, журналист. Окончил Красноярский государственный университет (ныне — СФУ) по специальности «Математика». Основное направление творчества — ироническая проза и фантастика (как в направлении «твёрдая нФ», так и мистические и сюрреалистические произведения). В качестве журналиста публикуется в различных специализированных изданиях Красноярска, Новосибирска, Москвы, Астаны с 2008 года. Участник и дипломант (шорт-листы, лонг-листы) нескольких российских литературных конкурсов, конкурсов

фантастических рассказов; рассказы публиковались в сборниках в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске, а также в Германии; дипломант Международного литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в 2014, 2015, 2016 годах (Красноярск). При содействии филиала СРП в Красноярске готовится к печати сборник фантастических рассказов автора «Три стороны пуговицы».

стр.
138

Каминский Евгений Юрьевич
Санкт-Петербург, 1957 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик. Автор девяти поэтических сборников и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учёба», «Волга», «Урал», в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Постоянный автор журнала «Нева». Лауреат премии Гоголя за 2007 год.

стр.
133

Катуков Сергей
Москва, 1981 г. р.

Родился в городе Борисоглебске Воронежской области, учился на филологическом факультете педагогического вуза, окончил аспирантуру Воронежского государственного университета. Живёт в Москве, работает лингвистом-аналитиком в сфере ИТ. Публиковался в журналах «Сибирские огни» и «Новая юность».

стр.
115

Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Живёт в Красноярске.

стр.
143

Лаврентьев Максим Игоревич
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, редактор. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 2001 году. Работал кладовщиком на автостанции, редактором в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», главным редактором журнала «Литературная учёба». Помимо редакторской деятельности (в частности, он являлся литературным редактором Виктора Пелевина), занимается исследованием предсмертных произведений русских поэтов XIX–XX веков, историей орденов Российской империи. Стихи, проза и статьи публиковались в газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Учительская

газета», «Независимая газета» и «Литературная Россия», в российских журналах «Журнального зала» и других изданиях. Сборники стихов неоднократно входили в число 50 лучших книг года по версии «НГ-Exlibris».

стр.
181

Мамаева Альбина Романовна
Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Публикации в журнале «День и ночь».

стр.
117,141

Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
14

Никифоров Владимир Семёнович
Новосибирск, 1943 г. р.

Родился в посёлке Подтёсово Красноярского края. Работал матросом несамоходного судна, слесарем, шкипером рейда, диспетчером в управлении пароходства, начальником смены в речном порту. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Кандидат технических наук, профессор. На счету Никифорова десятки книг: учебные пособия, монографии, сборники прозы. В 2007 году московским издательством «ТрансЛит» издано учебное пособие по логистике, которое в 2013 году было переиздано как учебник. Издан ряд монографий, посвящённых судоходству и водным путям Верхне-Иртышского, Енисейского и Обь-Иртышского бассейнов. Активно печатается в журналах «Речной транспорт», «Сибирские огни», «День и ночь», «Новосибирск». Член Союза писателей России.

стр.
191

Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт

имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

обл.

Отрошко Александр Иванович
Сочи, 1955 г. р.

Родился в Краснодарском крае. Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников (ИФА), член Союза художников России. Живет и работает в городе Сочи. Участник многих городских, краевых, республиканских и международных выставок с 1980 года. Лауреат Краевого конкурса в области изобразительного искусства (Краснодар), дипломант конкурсов «Золотая кисть» (Сочи) и Межрегионального профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале» (Краснодар). Награждён медалью Российской академии художеств. За время творческой деятельности создал более пяти тысяч живописных работ. Картины находятся в Сочинском художественном музее, в зии города Краснодара, в частных коллекциях в России и за рубежом (в т. ч. в коллекции сочинской резиденции В. В. Путина).

стр.

142

Пеньков Владислав
Таллин, Эстония, 1969 г. р.

Автор трёх поэтических сборников и ряда публикаций в российской и зарубежной периодике. Член Союза российских писателей.

стр.

10

Прашкевич Геннадий Мартович
Новосибирск, 1941 г. р.

Родился в селе Пировское Красноярского края. Учился в Томском государственном университете. Работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск), Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР (Южно-Сахалинск), Западно-Сибирском книжном издательстве (Новосибирск). Первая публикация — в 1956 году. Член Союза писателей СССР с 1982 года, Союза писателей России — с 1992 года, Союза журналистов России —

с 1974 года, Нью-Йоркского клуба русских писателей — с 1997 года, ПЕН-клуба — с 2002 года. Заслуженный работник культуры РФ (2007). Лауреат многочисленных премий. Редактор издательства «Свиньи и сыновья» (Новосибирск). Занимается переводами с разных языков мира. Книги автора переведены на многие языки и издавались в США, Англии, Германии, Франции, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии, Литве, Узбекистане, Казахстане, Украине и других странах. Ряд произведений выходил под псевдонимами. Роман «Пятый сон Веры Павловны» (написанный в соавторстве с Александром Богданом) номинировался на Букеровскую премию (2002).

стр.

79

Скворцов Константин Васильевич
Москва, 1939 г. р.

Русский писатель, поэт. Родился в Туле. Мастер драматической поэзии. Окончил Челябинский агропромышленный университет и Высшие литературные курсы. Член Международного сообщества писательских союзов. Участник съездов писателей СССР и РСФСР. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор двадцати пьес в стихах. Обладатель многочисленных наград и литературных премий.

стр.

62

Смирнов Сергей Александрович
Норильск, 1953 г. р.

Прозаик, поэт, автор песен. Родился в Норильске. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Работал геологом в Средней Азии, на Крайнем Северо-Востоке, в Арктике. Рассказы публиковались в анадырской газете «Крайний Север», в норильских литературных альманахах, журнале «День и ночь» (Красноярск).

стр.

136

Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского государственного педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики мгу (2004). Кандидат филологических наук. Докторант рггу. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона плюс». Соиздатель и заместитель главного редактора

журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП России, Союза писателей Москвы, Пен-клуба, правления Союза литераторов России.

стр.
27

Тарковский Михаил Александрович
Бахта, Красноярский край, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр.
20

Тюленев Игорь Николаевич
Пермь, 1953 г. р.

Родился на Урале. Поэт, почётный гражданин поселения городского типа Новоильинский Нытвенского района Пермского края — родины поэта. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (мастерская Юрия Кузнецова, 1991). Автор 21 сборника стихов и многочисленных публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-художественных журналах. Стихи печатались в Санкт-Петербурге и Омске, Калуге и Воронеже, в Екатеринбурге и Самаре. В антологиях и альманахах Казахстана, Украины и Армении, в региональных журналах Карелии, Алтая, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Ставропольского края, Якутии. Публиковались Международной организацией поэтов в журнале «Le Journal des Poètes» в Бельгии и Франции в издательстве «Marchal», в Польше, Болгарии и Канаде. Стихи переведены на английский, французский, немецкий, румынский, сербский, болгарский языки. Член Союза писателей

СССР с 1989 года. Секретарь Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского. Лауреат премии имени Фатиха Карима в номинации «Русская литература» (Республика Башкортостан). Лауреат премии Союза писателей России «Традиция». Дважды лауреат журнала «Наш современник». За книгу стихов «И только Слово выше Света» стал лауреатом премии «Имперская культура» и лауреатом Международной премии имени Сергея Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Победитель VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» — 2017 в номинации «Поэзия» за книгу стихов «В берегах славянства» (Серебряный Витязь). Награждён Министерством культуры Российской Федерации памятной медалью «100-летие А. Т. Твардовского». Участник Московских и Санкт-Петербургских международных книжных ярмарок; XXV Парижского Книжного Салона во Франции; XIII Международной книжной ярмарки в Пекине.

стр.
6

Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году, и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр.
76

Щипахина Людмила Васильевна
Москва, 1933 г. р.

Родилась в Свердловске. Поэт, публицист. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Будучи студенткой третьего курса, совершила дальнее плавание в составе экипажа теплохода «Архангельск». Впечатления от этого путешествия составили основу повести «Завтра и всегда» и книги стихов «В дороге». После окончания Литературного института жила в Ленинграде. Изучила испанский язык и многократно бывала в Латинской Америке. Во время войны была в районе военных действий на границе с Гондурасом. Посетила Эквадор, Перу, Аргентину, Кубу. Автор более 40 книг стихов и переводов. Награждена двумя орденами «Дружба народов», орденом «Знак Почёта», несколькими медалями и почётными грамотами, в том числе «Золотое перо» (Польша), «Золотое перо» (Эквадор). Литературные награды: Международная премия имени М. А. Шолохова, Всероссийская премия А. Твардовского, Всеукраинская премия имени Владимира Даля, премия

имени Константина Симонова, литературная премия имени Сергея Есенина. Секретарь правления Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов. Член исполкома Международного сообщества писательских союзов, сопредседатель комиссии по туркменской литературе. Заслуженный работник культуры Туркменистана.

стр.
140

Юшманова Варвара Алексеевна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка пятого курса Литературного института имени А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга—XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы Казаковой «Начало» (2014).

главный редактор

М. О. Наумова

издательский совет

Иса Айтукбаев

Андрей Бардаков

Ольга Ермакова

Валентина

Ерофеева-Тверская

Ольга Карлова

Татьяна Савельева

Михаил Тарковский

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Дарья Романова

секретарь

Юлия Вятчина

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Сергей Арутюнов

Москва

Александр Астраханцев

Красноярск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Вера Зубарева

Филадельфия, США

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим, Израиль

Виталий Молчанов

Оренбург

Миясат Муслимова

Махачкала

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Вероника Шелленберг

Омск

Владимир Шемшученко

Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева

Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки использованы картины Александра Отрошко.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

издатель

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186

в «Сибирском» филиале

банка ВТБ ПАО

в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт

3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются

по электронной почте:

dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3

т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.04.2018

Дата выхода в свет: 27.04.2018

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная.

Отпечатано ИП Азарова Н.Н.

в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,

д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340

эл. почта: 2007tex@mail.ru



Александр Отрошко | Дворики детства | 142 × 108 | 2017



Александр Отрошко

Берег «Надежды» | 56 × 56 | 2017

На обложке:

День меж зимой и весной (фрагмент) | 100 × 80 | 2017